

Русская литература

№ 1

И С Т О Р И К О - Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й Ж У Р Н А Л

1989

Издается с января 1958 года

Выходит 4 раза в год

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
М. С. Петровский. Михаил Булгаков: киевские театральные впечатления	3
Я. С. Лурье. Об исторической концепции Льва Толстого	26
А. К. Исламова. Лев Толстой и Эмерсон: о связи эстетических систем	44
В. А. Котельников. Оптина пустынь и русская литература	61
Г. М. Фридендер. Русская и французская литературы XIX века (типологическая общность, взаимосвязи, контакты)	87

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В. Ф. Ходасевич. Литературно-критические статьи	
«Слово о полку Игореве»	100
Дмитриев	102
«Щастливый Вяземский»	104
О символизме	107
Аблеуховы—Летаевы—Коробкины	109
Из воспоминаний	
Андрей Белый (вступительная статья и примечания А. В. Лаврова)	118
Н. И. Толстая. «Полюс» Набокова и «Последняя экспедиция Скотта»	133
В. В. Набоков. Полюс	136

ТЕКСТОЛОГИЯ И АТРИБУЦИЯ

Т. И. Краснобородько. «Нетворческие» тексты А. С. Пушкина: проблемы издания (по материалам архива редакции академического издания собрания сочинений А. С. Пушкина)	145
--	-----

(См. на обороте)

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

С. А. Фомичев. Белинский и Гоголь в 1839 году	153
О. К. Супрунук. Из комментариев к письмам Н. В. Гоголя	156
Новонайденное либретто А. А. Фета «Днепровские русалки» (публикация М. Д. Эльзона) .	163
Б. В. Мельгунов. Некрасов и военные корреспонденты «Современника» .	166
И. Г. Ямпольский. «Люцерн» Л. Толстого в оценке современника .	172
Е. М. Аксененко. Эпизод из деятельности «саратовского кружка»	174
Л. Г. Чуднова. Отредактированный Лесков (история публикация одного письма)	179
Н. М. Малыгина. «Прогресс человечности» (забытые рецензии Платонова в журналах «Литературный критик» и «Литературное обозрение»)	184
Б. К. Зайцев о русских и советских писателях (публикация Л. Н. Назаровой) .	193
В. И. Глоцер. Хармс собирает книгу	206

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

В. Н. Баскаков. Литературное источниковедение и литературная библиография Сибири .	213
О. Р. Демидова. Теккерей в России	225
Л. Д. Опульская. Горизонты русской литературы .	227
А. И. Павловский. Книги о Валентине Распутине .	230

ХРОНИКА

М. Ю. Коренева. Четвертые Алексеевские чтения	234
А. М. Грачева, С. А. Якунина-Семячко. Вторая научная конференция молодых специалистов «Литература и общество»	236

Редакционная коллегия:

Н. Н. СКАТОВ (и. о. главного редактора),
В. Н. БАСКАКОВ, Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора), *А. А. ГОРЕЛОВ,*
Г. А. ГОРЫШИН, В. Я. ГРЕЧНЕВ, Н. А. ГРОЗНОВА, Л. А. ДМИТРИЕВ, В. Ф. ЕГОРОВ,
А. И. ПАВЛОВСКИЙ, А. М. ПАНЧЕНКО, В. А. ТУНИМАНОВ, С. А. ФОМИЧЕВ,
Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

Отв. секретарь редакции *М. Д. Кондратьев*

Адрес редакции: 199034, Ленинград, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

МИХАИЛ БУЛГАКОВ: КИЕВСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

1

Будущий драматург и автор «Театрального романа» Михаил Булгаков уже и в киевские годы свои несомненно был человеком театра — влюбленным и пристальным *зрителем*. А смотреть в Киеве было что. Город, пользовавшийся в конце прошлого века репутацией театрального захолустья (по свидетельству современников), на глазах у Булгакова превратился в одну из театральных столиц страны. Случилось так, что год рождения Михаила Булгакова стал и годом создания в Киеве театра Н. Н. Соловцова — одного из лучших драматических театров в России. Киевская опера обладала слаженной труппой, опытными дирижерами, ее подмостки привлекали самых знаменитых гастролеров. В пору событий «Белой гвардии» и в предшествовавшие годы мировой войны Киев сосредоточил неслыханные театральные силы — московские, петроградские, местные. Сразу после революции театральная жизнь в городе стала приобретать черты бума: одновременно шли спектакли оперные и драматические, опереточные и цирковые, возникали и исчезали эфемерные «театры миниатюр», кабаре, подвальчики, и в этом театральном Вавилоне звучало с подмостков русское, украинское, польское, немецкое и еврейское слово. Не случайно столь высокое напряжение театральной культуры города вскоре разрешилось марджановским спектаклем «Фуэнте Овехуна», ставшим советской классикой.

Но, быть может, это же напряжение разрешилось и другим театральным явлением, которое называется — Михаил Булгаков. Творчество Булгакова — прямое порождение киевского культурного очага, драматург — птенец из этого гнезда, и театральные мотивы его произведений небезотносительны к месту и роли театра в «киевской культуре».

«Впечатления полутора революционных лет, проведенных в Киеве, оказали огромное формирующее влияние на творческое сознание писателя и преломились так или иначе во всех решительно его произведениях — вплоть до последних редакций последнего романа», — решительно заявила М. Чудакова двенадцать лет назад.¹ Полностью солидаризуясь с этим заявлением, попробуем уточнить его и расширить в сторону нашей темы: к полутора революционным годам (1918—1919) прибавим годы ученичества — гимназические и студенческие годы Булгакова, а слово «впечатления» дополним словом «театральные», ибо киевские театральные впечатления воспринимало всего охотней своеобразно ориентированное творческое сознание будущего писателя.

Весь быт Турбиных в «Белой гвардии» пронизан театральными образами — преимущественно оперными, определяющими, прежде всего, театральные склонности и вкусы культурной военной семьи. Пейзаж за окном турбинского дома в начале романа напоминает «Ночь перед Рождеством», — очевидно, не только или даже не столько повесть Гоголя, сколько оперу Римского-Корсакова, ее

¹ Чудакова М. О. Архив М. А. Булгакова: Материалы для творческой биографии писателя // Записки отдела рукописей ГБЛ. М., 1976. С. 35.

уютную, мирно-патриархальную декорацию, в которой вот-вот разыграется кровавая оперетка романа. Оперой Турбины словно бы защищаются от оперетки — точно так же, как «кремовыми шторами». Оперные знаки тяготеют к дому и противостоят опереточным знакам города. На рояле у Елены разложены ноты «Фауста»; в ее воспоминаниях проходит тема Лизы из «Пиковой дамы» — все три оперы, заметим, с «чертовщинкой», с потусторонними силами, поданными «всерьез» или иронически, но так или иначе присутствующими (выпадает из этого наметившегося было ряда только ссылка на «Аиду», звучащая в голосе Радамеса-Мышлаевского).

Все эти вещи Турбины (и неоднократно М. Булгаков) слышали в Киевской опере на протяжении 1900—1910-х годов. «Саардамский плотник», упоминаемый среди теплых знаков «домашности», был для Булгакова связан, возможно, не только с простодушной повестью П. Р. Фурмана, прочитанной в детстве, но и с оперой Г. А. Лорцинга «Царь-плотник», шедшей на сцене Киевского оперного театра («Царь-плотник», быть может, аукнул в собственном произведении Булгакова на близкую тему — в оперном либретто «Петр Великий»). Ни одно оперное произведение Булгаков не вводит в свой роман «условно»: репертуарные списки Киевской оперы подтверждают уважительно точное следование автора за «натурой» — реалиями культурной жизни города.

Булгаков следует за «натурой» даже в таких обстоятельствах, в которых он, казалось бы, может воспользоваться творческой свободой и прибегнуть к вымыслу по любому, самому строгому эстетическому кодексу, — например, в изображении зрительских впечатлений своих героев. За столом у Турбиных идет пьяный разговор, — так сказать, последние судороги монархических настроений:

«— На Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная!.. Я.. был на „Павле Первом“... неделю тому назад... — заплетаясь, бормотал Мышлаевский, — и когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: „Вер-но!“ — и что ж вы думаете, кругом заплодировали. И только какая-то сволочь в ярусе крикнула: „Идиот!“».²

Даже эта, — по всей видимости, сочиненная Булгаковым для своего персонажа зрительская реакция Мышлаевского, — даже она, оказывается, написана «с натуры» и подтверждается объективными свидетельствами. Пьеса Мережковского с большим успехом шла в киевском театре «Соловцов» — только эту постановку и мог видеть Мышлаевский. Местная периодика с удивлением отметила редкий по тем временам успех, когда число спектаклей перевалило за двадцать пять. Успех был подтвержден театрами миниатюр, где представляли пародии на «Павла Первого» (с участием В. Я. Хенкина).

Сочиненная в 1908 году, в ту пору либерально-оппозиционная и даже запрещенная (чем, прежде всего, и был вызван репертуарный интерес к ней после революции), пьеса Мережковского ходом событий была смещена резко вправо. На это осторожно намекал Всеволод Чаговец в своей рецензии на киевский спектакль: «В целом же пьеса значительная, и, вероятно, в свое время могла будить известные настроения. Теперь же все это воспринимается иначе...»³ Отличие нового восприятия от прежнего рецензент подтверждает реакцией зрительного зала: «...воспринимается иначе, вплоть до того, что когда заговорили на сцене о том, что величие России зиждется только на самодержавии, — в театре раздалась, правда, робкие, хлопки».⁴ Вот эти-то «робкие

² Булгаков Михаил. Избр. проза. М.: Худож. лит. 1966. С. 143. Ссылки на «Белую гвардию» приводятся по этому изданию в тексте.

³ Чаговец Всеволод. [Рецензия] // Киевская мысль. 1918. 9 апр. / 27 марта.

⁴ Там же.

хлопки» и перенес Булгаков на страницы своего романа, в реплику пьяненького, завирающегося Мышлаевского «кругом зааплодировали».

Несколько раньше, еще до революции, Булгаков, надо полагать, видел на киевской сцене «Сирано де Бержерак» Э. Ростана в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник. Переводчица была дочерью известного киевского адвоката — в глазах киевлян это придавало переводу особый «киевский», «местный», «свой» привкус. Будущий «трижды романтический мастер», Булгаков, несомненно, многое вынес из романтического «Сирано». Об этом писал Юрий Олеша в мхатовской многотиражке, когда МХАТ репетировал булгаковского «Мольера» («Кабалу святоша»): «Булгаков очень хороший драматург, и все, что выходит из-под его пера, блестяще, талантливо. Не лишена этого свойства и пьеса „Мольер“. Но когда смотришь эту пьесу, нельзя отделаться от воспоминаний о „Сирано де Бержераке“ Ростана. Обе пьесы говорят об одном и том же: поэте и власти. В обеих — горестная судьба поэта и торжество „сильных“. Возможно, что Булгаков, создавая своего „Мольера“, сводил счеты с тем впечатлением, какое в свое время произвела на него замечательная пьеса Ростана. . .»⁵

Наблюдение Ю. Олеси подтверждает отзвуки пьесы Ростана в других вещах Булгакова (и само подтверждается ими). Диалог об обстоятельствах гибели Сирано (привожу его, опуская имена действующих лиц) своеобразно аукнулся в диалоге о возможности случайной гибели на первых же страницах «Мастера и Маргариты»:

— Я шел к нему: он в это время вышел
Из дома своего. Вдруг хлопнуло окно
И тут я страшный крик услышал.
Я улицу едва перебежал —
Передо мной он весь в крови лежал. . .
— О подлецы! Но что же это было?
— Должно быть, случай. Страшное бревно
Упало вдруг с окна и голову разбило
Там проходившему случайно Сирано.
— Случайно? Подлецы!⁶

Смысл диалога ясен: Сирано погибает из-за хорошо подготовленной его врагами «случайности». Случайность как причину гибели своего героя Ростан этим диалогом отводит. Роман Булгакова исключает возможность чьей-либо случайной гибели в принципе. В художественном мире «Мастера и Маргариты» случайность вообще отсутствует. То, что люди в простоте своей принимают за случайность, находится в ведении Воланда — генерального специалиста по этой части. Поэтому человек не может сказать, что он будет делать сегодня вечером.

«— Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собою разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голову кирпич. . .»

— Кирпич ни с того ни с сего, — внушительно перебил неизвестный, — никому и никогда на голову не свалится. . .»⁷

Так что замечание Олеси о ростановских впечатлениях Булгакова весьма основательно. Кроме того, наблюдательный Олеша заметил в «Мольере» (отсутствующую у Ростана) главную ситуацию всего творчества Булгакова: противостояние поэта, пророка, правдолюбца с «бессудной властью».

⁵ Горьковец. 1936. № 4 (10).

⁶ *Ростан Эдмон*. Пьесы. М., 1958. С. 379.

⁷ *Булгаков Михаил*. Избранное. М.: Худож. лит., 1980. С. 17. Все ссылки на «Мастера и Маргариту» приводятся по этому изданию в тексте.

Эту ситуацию впечатляюще представляла другая пьеса — шиллеровский «Дон Карлос». «Призыв маркиза Позы „О, дайте людям свободу мысли!“ покрывался бурными аплодисментами зрителей», — сообщает историк киевского театра «Соловцов».⁸ Его сообщение, строго говоря, не сообщительно: такова была реакция на слова Позы во всех постановках «Дон Карлоса». Демократическая публика с восторгом, словно прозвучавший с подмостков собственный манифест, встречала десятую сцену третьего действия пьесы — ту самую, где в диалоге с королем Филиппом Поза провозглашал необходимость свободы мнений. Нисколько не покушаясь на значительность пьесы в целом, можно утверждать, что «Дон Карлос» ради этой сцены прежде всего и ставился: здесь — идейный пик шиллеровского творения. О роли «Дон Карлоса» в русском духовном развитии — упомянутой сцены прежде всего — следовало бы написать специальное исследование, и странно, если оно не будет написано.

«Дон Карлос» на киевской сцене (с Е. Неделиным — королем Филиппом, И. Шуваловым и Е. Лепковским — маркизом Позой) шел в переводе Михаила Михайловича Достоевского.⁹ Необходимо предположить, что юный театрал Булгаков видел соловцовскую (антреприза И. Э. Дуван-Торцова) постановку «Дон Карлоса», пользовавшуюся шумным успехом, а знаменитую сцену маркиза Позы с королем Филиппом мог видеть, сверх того, в неоднократно повторявшихся сборных концертных программах театра.¹⁰ Эта сцена отложились в творческой памяти будущего писателя особым образом — не столько своим текстом, переведенным довольно сучковато и занозисто, сколько типологически, ситуативно, в виде некоей мелодии, на которую можно «спеть» и другие слова, разыграть с другими персонажами.

Ершалаимские (в отличие от московских) главы «Мастера и Маргариты» в литературе принято именовать «евангельскими», и мнимая очевидность происхождения заслоняет тот факт, что в Евангелии нет никакого материала для столь детальной психологической развертки, какую находим в булгаковском романе, например в сцене Иешуа Га Ноцри с Понтием Пилатом. Эта сцена в «Мастере и Маргарите» положена на «мелодию» «Дон Карлоса», ситуативно и психологически развернута по схеме диалога маркиза Позы с королем Филиппом.

Обе ситуации — Позы с Филиппом и Иешуа с Пилатом — подвергают художественному исследованию, в сущности, один и тот же вопрос о власти. В обоих случаях оказывается, что могущественная власть слаба и чревата предательством: и король, и прокуратор предают своих любимцев. Предают из страха: над королем мировой державы, какой была во времена Филиппа Испания, нависает еще более грозная власть Великого Инквизитора, над всемогущим, казалось бы, наместником Иудеи — державная власть римского императора. Но чудо, тайна и авторитет власти разрушены мыслью Позы и Иешуа.

Вы видите, как я снимаю с власти
Все тайные покровы, и вам страшно,

⁸ Городиский М. П. Київський театр «Соловцов». Київ, 1961. С. 71.

⁹ Таким образом, не соответствует действительности утверждение исследовательницы: «„Дон Карлос“ в переводе М. М. Достоевского ни разу не появился на сцене» (Коган Г. Ф. Цензурная история «Дон Карлоса» в переводе М. М. Достоевского // Фридрих Шиллер: Статьи и материалы. М., 1966. С. 328).

¹⁰ Например, киевский «Театральный курьер» (1912. 30 янв. С. 10) сообщал: «„Дон Карлос“, траг. Шиллера, пер. Достоевского (дана будет 3-го акта 10-я картина). Роль Позы исп. М. Ф. Багров».

Что для меня теперь не свято то,
Чего страшиться перестал я...¹¹

Булгаков строит сцену между Иешуа и Пилатом в точном соответствии с этими словами Позы: прокуратору страшно из-за того, что нищий бродяга, сняв тайные покровы с власти, перестал ее страшиться. Перед королем и прокуратором предстают два однотипных персонажа — два аутсайдера, бескорыстные и честные до безрассудства. Два «идеалиста» — в том смысле, какой вкладывало в это слово прошлое столетие, называвшее так человека, живущего ради идеи, безраздельно преданного своему идеалу.

«Гражданин мира» Поза освобожден от жесткой национальной прикрепленности своим званием мальтийского рыцаря так же, как вываренный в многонациональном ближневосточном котле Иешуа — своей безродностью и полиглотством, и оба они говорят с владыками от имени человека «вообще» и общечеловеческих идеалов. Излагая перед ликом «бессудной власти» эти идеалы, они не испрашивают ничего для себя лично, да и не могут ничего получить, кроме гибельной опасности. Поэтому король поначалу берется защитить Позу от инквизиции, Пилат — защитить Иешуа от Синедриона. Они и впрямь нуждаются в защите, ибо то и дело забывают об уязвимости своей «материи», когда говорят об идеалах, словно дети, не ведающие страха. Поэтому очень выразительно детское простодушие Иешуа и то, что увлеченность Позы король оправдывает его молодостью. В обоих случаях — типичная позиция и поведение пророка, чья «должность» в том и заключается, чтобы любой ценой высказать правду, даже ценой собственной жизни. Пророк может одержать только нравственную победу, и ее вероятность — в готовности бескомпромиссно и самоотреченно идти до конца. Попытка уклониться — равносильна поражению.

Вся сцена Иешуа с Пилатом (до известных пределов) разворачивается как бы «по программе» сцены Позы с Филиппом. Внутреннее развитие обеих сцен, их психологическое содержание — в переходе властителя от самоуверенности, основанной на мнимом знании людей, к ошеломленности, вызванной встречей с *таким* человеком. Владыки поражены глубоко серьезным, внеэтикетным, жертвенным благородством своих собеседников. Привыкшие к лести, заискиванию, угодливости Филипп и Пилат впервые встречаются с людьми, которые — как равные равным — сообщают им безусловно запретную правду. «Я еще не знал такого человека», — признается самому себе Филипп (с. 165). Пилат тоже еще не знал такого человека: «Впервые слышу об этом», — пытается он иронизировать, но не может скрыть свою растерянность (с. 26).

Король и прокуратор, два усталых циника, изверившиеся в людях, сталкиваются с двумя одержимыми, горячо верующими в добро и в человека. Вера Позы так велика, что он и короля объявляет добрым: «Ведь от природы вы добры», на что следует иронический вопрос Филиппа: «Кто ж вас в том так уверил?» (с. 162). Насмешливый скепсис короля обоснован: король знает себя и осведомлен о своей репутации. Точно так же Иешуа называет «добрым человеком» Пилата, а тот спокойно и не без горечи возражает: «Это меня ты называешь

¹¹ Шиллер Фридрих. Собр. соч. в переводах русских писателей, изданных под ред. Н. В. Гербеля. 3-е изд. СПб., 1864. С. 157. Перевод «Дон Карлоса», выполненный М. М. Достоевским еще в 1847 году, некоторое время печатался с цензурными сокращениями — как раз в десятой сцене третьего действия и в других местах, касавшихся маркиза Позы. Полный текст перевода увидел свет лишь в составе названного, третьего издания сочинений Шиллера. Далее ссылки на это издание даются в тексте (по экземпляру, принадлежавшему некогда библиотеке киевской Первой гимназии, той самой Александровской гимназии, из стен которой вышел будущий писатель и драматург Михаил Булгаков).

добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно. . .» (с. 21). Прокуратор прямо проговаривает то, что король только подразумевает. Пилат идет дальше — он знакомит Иешуа с Марком Крысобоем. Но грубый кусок почти бездушной «материи», заведомый палач Марк для Иешуа тоже добрый, «правда, несчастный человек», т. е. «добрый от природы», как говорил маркиз Поза.

Философствующий рыцарь и бродячий философ отличаются от всех людей, стоявших когда-либо перед Филиппом и Пилатом, высочайшей духовностью — дивным умением переживать все муки мира как свои собственные — и человечностью — изумительным даром понимания другого человека как самого себя. Никто никогда не отваживался коснуться внутреннего мира Филиппа и Пилата, заговорить с ними об их интимной душевной жизни, догадаться о сокровенной скорби, терзающей короля и прокуратора. Поза и Иешуа отваживаются, и эффект этого, в сущности, простого человеческого поступка сокрушительен. Признание Филиппа: «Клянусь, он проникает в душу мне!» — означает перелом в рискованном диалоге (с. 159). То же мог бы сказать и Пилат — пронизательность бродячего философа круто меняет отношения.

Одиночество властителя — вот та сокровенная скорбь, в которой король и прокуратор, торжественные символы власти, не признаются даже самим себе — человеку Филиппу и человеку Пилату. С легкостью догадываясь, с уверенностью сообщая властителям об их одиночестве, Поза и Иешуа становятся почти нечаянно духовными врачевателями, воплощениями совести, без которых король и прокуратор уже не могут обойтись. Нынешним читателям хорошо памятен этот эпизод из главы «Понтий Пилат» булгаковского романа. В переводе «Дон Карлоса», выполненном М. М. Достоевским, соответствующее место выглядит на первый взгляд не слишком выразительно. Поза упрекает короля в том, что, неслыханно возвысившись над людьми, он тем самым отъединился от них и обрек себя на одиночество:

Человека
Вы сделали лишь клавишью своею:
Кому же созвучьем с вами поделиться?
(с. 159)

Гораздо резче эта мысль выражена в другом месте шиллеровской пьесы, в реплике принца Карлоса, друга Позы, его единомышленника и отчасти даже двойника. Принц говорит королю-отцу: «Мне ужасно подумать, что и я на троне буду стоять один. . . один. . .» Согласно ремарке, Филипп, «пораженный этими словами, стоит в глубоком размышлении», а затем, «после некоторого молчания», потрясенно подтверждает: «Да, я один. . .» (с. 57). Двойничество Позы и Карлоса скрепляет дублирующие друг друга эпизоды в общий мотив, который, по-видимому, и был на свой лад воспроизведен Булгаковым: «. . . ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласишься, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон. . .» (с. 25).

Оба — Иешуа и Поза — напоминают владыкам о суде грядущих поколений. «И если вам так хорошо известно, как обо мне судить потомство будет. . .» — иронизирует Филипп (с. 166). Пилату не до иронии, им овладевает таинственная уверенность, что потомство будет судить его — именно так, как сказал нищий философ. Поза для короля — «странный мечтатель» (с. 163), речи Иешуа для прокуратора — «утопические» (с. 27) — бросается в глаза преднамеренный анахронизм этого определения. Поза предрекает, что век Филиппа сменится другим и тогда

Родится мудрость кроткая, и счастье
 Граждан в согласье с тронем уживется;
 Престол народом будет дорожить
 И укротит свой меч необходимость. . .

(с. 161)

Иешуа идет в своем пророчестве гораздо дальше, ему видится не просвещенная монархия, а времена гармонии столь полной, что всякая власть станет излишней. Но утопическое напряжение, пророческий пафос и драматическая функция уравнивают говорящих о будущем Позу и Иешуа: ни король, ни прокуратор дальше слушать не желают. Уверенность Иешуа в том, что «настанет царство истины», вызывает яростный крик Пилата: «Оно никогда не настанет!» (с. 30). Точно так же — «Ни слова более!» — обрывает Филипп Позу; утопии странного мечтателя никогда не сбудутся, и он сам поймет это, когда получше узнает людей (С. 166).

И еще одно — знаменательное — совпадение: в репликах Позы, как и в репликах Иешуа, возникает вопрос об *истине*, напоминая, что у этих образов есть общий источник, тот самый, где великому вопросу «Что есть истина?» придан циничный смысл, ставящий под сомнение несомненное. Отталкиваясь от этого общего источника, Булгаков мог использовать шиллеровскую типологию для создания своего Иешуа. Ведь и Ф. М. Достоевский опирался на «Дон Карлоса», когда, создавая своего Великого Инквизитора, соединял Шиллера и Евангелие. Таким образом, от шиллеровской пьесы тянутся связи к двум знаменитым русским мистериям — вставному рассказу в романе Ф. М. Достоевского и новозаветным (тоже как бы «вставным») главам в романе М. А. Булгакова.

3

Булгаков едва ли не в каждой своей вещи (после «Белой гвардии») возвращался к коллизии того типа, который представлен у Шиллера в сцене короля Филиппа с маркизом Позой, словно испытывая и проверяя разные возможности, таящиеся в столкновении правдолюбца, пророка, поэта, утописта с «бессудной властью». Даже отсутствие Пушкина среди сценических лиц в «Последних днях» не мешает возникновению этой коллизии: поэт шлет на сцену свое создание, свой воплощенный в стихах голос, и диалог между царем Николаем и поэтом Пушкиным все-таки происходит. Наоборот, не происходит этого рода диалога между королем Людовиком и поэтом Мольером — сломленным правдолюбцем, отступившимся пророком и, следовательно, уже не поэтом. В контексте других вещей Булгакова эта несостоявшаяся беседа по-своему выразительна — именно тем, что не состоялась.

Минутная слабость пророка, равносильная полному поражению, проверена в сцене «красноречивого вестового» Крапилина с Хлудовым («Бег»). Вестовой выбран на эту роль не случайно: вестовой — тот, кто приносит *вести* (прозрачный псевдоним вестника, который на языке Библии называется «ангелом»), но Крапилин до этой сцены разве что красноречиво безмолвствует, а свою искреннюю и правдивую *весть* не осмеливается договорить до конца. Крапилин срывается и тем обрекает на гибель себя, Хлудова — на Пилатов грех.

Разными способами устраивает Булгаков встречу власти с «научно-техническим пророком», ученым или изобретателем, в «Роковых яйцах», «Собачьем сердце», «Иване Васильевиче», «Адаме и Еве». Замечательно, что драмодел Дымогацкий («Багровый остров») оказывается пророком, так сказать,

внепрофессиональным образом — не в своей пьесе, а тогда, когда, жалкий неудачник, он оплакивает свое несправедливо загубленное создание. Даже Алексей Турбин, в меру простодушный герой «Белой гвардии», становится в ряд булгаковских пророков — он пророк-сновидец. Ему снятся провидческие сны, все значение которых он не в силах постичь, «напрягая свой бедный земной ум» (С. 165). Как бы ни был сомнителен и слаб «Батум», он типологически родствен любому другому булгаковскому произведению, сталкивающему пророка с властью. Это становится неопровержимо очевидным, если вспомнить раннее название пьесы — «Пастырь», т. е. юный пастырь, пророк в столкновении со старой властью. «Батум» — неудачная попытка сказать свою правду на материале, продиктованном обстоятельствами.

Лиддел Гарт, английский историк, остроумно отличает «пророков» от «вождей»: если дело пророка — познать истину и провозгласить ее любой ценой, даже ценой собственной жизни, то дело вождя — воплотить эту истину на практике, опять-таки любой ценой, пусть даже ценой компромиссов, умаляющих самое истину. Пророк — отчаянный максималист, идущий напролом; вождь вынужден сообразоваться с обстоятельствами и достигает цели тем успешней, чем лучше с ними сообразуется. Своей гибелью пророк укрепляет достоинство своей проповеди, гибель вождя означает крах его дела: «Пророков неизбежно забрасывают камнями, такова их участь, и это критерий того, в какой мере выполнили они свое предназначение. Но вождь, которого забрасывают камнями, доказывает тем самым, что он не справился со своей задачей по недостатку мудрости или же потому, что спутал свои функции с функциями пророка».¹²

Ошибка «Батума» заключается в том, что пьеса написана о пророке, который между тем давно перестал быть пророком и сделался вождем. Образ пророка, подсвеченный прототипом, ставшим вождем, разрывается этим противоречием, становится фальшивым, «неистинным» в терминах Булгакова. Тем самым отступился от своей роли пророка и драматург, но несомненно, что Иешуа Га Ноцри, чей диалог с Пилатом восходит к диалогу Поэты с Филиппом, представляет собою инвариант всех прочих булгаковских пророков, так или иначе вступающих с властью в роковой диалог.

Называя типичную фигуру булгаковского героя пророком, нужно сразу же и решительно снять с этого слова ореол таинственности, лишить его каких-либо провиденциальных оттенков. Булгаковских пророков точно и полно описывает афоризм Уильяма Блейка (тоже «мистического писателя», с которым Булгаков, по-видимому, сошелся бы не только в этом пункте): «Каждый человек — пророк. Он высказывает свое мнение о частных и общественных делах. Например: если вы будете поступать так, последствия будут такие-то. Он никогда не говорит: то-то случится, что бы вы ни делали. Пророк — провидец, а не произвольный диктатор».¹³ Нечего жаловаться на разруху, ворчит один из булгаковских пророков, гениальный хирург Преображенский, «если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. . .»¹⁴ Пророчество, по Булгакову, простая и естественная функция порядочного человека.

Пророки Булгакова — честные профессионалы, крепко знающие свое дело и сообщающие о весьма возможных результатах тех или иных человеческих действий. Они красноречивые вестовые, не более, часто — увы, слишком часто — делящие судьбу вестового Крапилина. На долю Мастера выпадает

¹² Лиддел Гарт Б. Х. Стратегия непрямых действий. М., 1957. С. 26.

¹³ Блейк У. Заметки на книгу Уатсона «Апология Библии» // Цит. по: Некрасова Е. Уильям Блейк. М., 1960. С. 32.

¹⁴ Булгаков Михаил. Собачье сердце // Знамя. 1987. № 6. С. 93.

редкостное счастье — он убеждается в правоте своего пророчества: «Как я угадал! О, как я все угадал!» Но Мастер — историк по профессии, тот самый историк, которого Гегель ненароком, и очевидно наугад, сравнил (в стихах Пастернака, спутавших Гегеля с Шлегелем, но в остальном правильных) с пророком, пророчествующим назад. Ничто не отвергает провиденциального пророка решительней, никто не противостоит ему безоговорочней, нежели пророк-историк. По-видимому, историком осознавал себя и писатель: профессия Мастера прояснилась, кажется, в то же время, когда Булгаков начал работу над конкурсной рукописью по истории СССР.

Знаменитая реплика Мастера «О, как я угадал! О, как я все угадал!» (С. 110) тоже имеет свой источник, хотя и московский по-видимому, но вытекающий из киевской почвы.

В киевской Первой гимназии, где учился Михаил Булгаков, существовало, как водится, почитание знаменитых выпускников — своего рода школьный «культ предков». Среди знаменитых выпускников гимназии самым знаменитым был Николай Николаевич Ге, окончивший ее в 1847 году. Прославленный художник стал легендой родного учебного заведения, чем-то вроде «культурного героя» гимназического мифа. За полгода до смерти Н. Н. Ге заплатил дань памяти годам ученичества, написав очерк о киевской Первой гимназии.¹⁵

Легендарная слава выпускника 1847 года, конечно, вызывала у гимназистов булгаковских времен повышенный интерес к художнику. Если взглянуть на творчество Н. Н. Ге под углом нашей темы, в нем обнаружится параллель к тем образам, которые потом будут развиты в романе другого выпускника киевской Первой гимназии — в «Мастере и Маргарите». Художник начал свой путь картиной «Тайная вечеря», затем были написаны картины «Христос в Гефсиманском саду», «Вестники воскресения», «Что есть истина?» («Христос и Пилат»), «Совість» («Иуда»), «Суд Синедриона», «Выход Христа с учениками с тайной вечера в Гефсиманский сад» и два варианта «Распятия» (1892 и 1894 годы).¹⁶

Этот пласт работ Н. Н. Ге, дающий как бы заблаговременный, упреждающий ряд к новозаветным главам «Мастера и Маргариты», пересекался с другим пластом работ художника — с портретами современников. Евангельские сюжеты, решенные без всякой оглядки на ортодоксальную церковно-живописную традицию и на традицию академическую, образовали с портретами контрастно-связанное целое, по смыслу близкое к контрастно-связанному целому «Мастера и Маргариты».

Свой последний шедевр — второй вариант «Распятия» — Н. Н. Ге повез в Петербург на передвижную выставку через Москву: автор мечтал показать свое творение Льву Николаевичу Толстому. К тому времени художника и писателя связывала уже многолетняя дружба, а перед нравственным и эстетическим авторитетом Толстого Ге благоговел всегда. В Москве Ге показывал свою картину приватно в мастерской С. Мамонтова. О том, что было дальше, художник рассказал Е. И. Страннолюбской. Лев Николаевич остался наедине с картиной, а когда через некоторое время Ге подошел к нему, Толстой был

¹⁵ Ге Н. Н. Киевская Первая гимназия в сороковых годах // Сборник в пользу недостаточных студентов Университета св. Владимира. СПб., 1895. С. 52—65.

¹⁶ На картине Ге «Что есть истина?» Пилат стоит в ослепительном солнечном свете, Иисус же задвинут в глухую тень. Быть может, следует предположить, что освещение персонажей в «Мастере и Маргарите» сформировано знакомством с картиной Ге: «Пилат. . . увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца» (С. 24). Ср. аналогичную ремарку из «Адама и Евы»: «Дараган стоит на солнце, над ним поблескивает снаряжение, Ефросимов стоит в тени».

в слезах. «Он обнял меня и сказал: „Друг мой, я чувствую, что это *именно так и было*. Это выше всего, что вы сделали. . .“». ¹⁷

Слова Толстого, обращенные к художнику, — «я чувствую, что это именно так и было» — стали у Булгакова словами Мастера, обращенными к самому себе: «Как я угадал! О, как я все угадал!». Совпадение смысла едва ли нужно доказывать, но стоит заметить, что обе фразы произносятся *по одному и тому же поводу*. В обоих случаях речь идет о творческом прозрении художника, восстановившего с неоспоримой достоверностью голгофскую трагедию. Знакомство Булгакова с отзывом Толстого очевидно, но познакомился с ним Булгаков, вероятней всего, не по запискам Е. И. Страннолюбской, опубликованным в книге В. В. Стасова, а по другому источнику.

В 1930 году издательство «Academia» опубликовало переписку Ге с Львом Толстым. В предисловии к этой книге С. П. Яремич, киевский художник и искусствовед, приводил адресованное ему письмо Ге, представляющее собой вариант рассказа, переданного Страннолюбской: «Милый Степан Петрович. . . Картина свое сделала. Толстой в восторге, залился слезами и сказал: *Так должно было быть*. Вы ничего не сделали лучше этого. . .». ¹⁸

Булгаков, по всем сведениям, внимательно следил за новинками культурно-исторической литературы, в том числе за книгами этого рода, выходящими в издательстве «Academia». 1930 год — переломный момент в истории «Мастера и Маргариты», когда первый вариант романа уже был сожжен, последующие только формировались. Книга с толстовской фразой «так должно было быть», отнесенной к «Распятию» Н. Н. Ге, попала в руки Булгакова как нельзя более своевременно. Она была притягательна для Булгакова памятью о знаменитом однокашнике — авторе картин на евангельские сюжеты, памятью о киевской гимназии, о Киеве. Этот булгаковский источник показывает, между прочим, глубокую собирательность и обобщенность образа Мастера: кроме автопортретных черт и черт Гоголя (что уже обнаружено литературоведами), в нем присутствует и отклик толстовской фразы. Отдельные черты и черточки булгаковских пророков, так же как типология этих образов в целом, восходят к киевским впечатлениям писателя.

Но не слишком ли далеко рассказ о киевских впечатлениях Булгакова углубился в область типологии его творчества? Ничего не поделаешь: между этими двумя темами существует неотменимая связь и, касаясь одной, с неизбежностью задеваешь другую.

4

Киевские театральные впечатления отразились в творчестве Булгакова множеством ярких рефлексов, порой до парадоксальности неожиданных.

Во вторник 29 (15) октября 1918 года, в самый канун событий булгаковского романа «Белая гвардия», на сцене Народной аудитории Киевского общества содействия начальному образованию (Бульварно-Кудрявская, 26) была показана премьера спектакля «Царь Иудейский» в постановке режиссера Л. Лукьянова. Всякая премьера так или иначе событие, у этой же были особые причины попасть в разряд событий.

У пьесы была краткая, но громкая, с привкусом скандала история. Сочинен-

¹⁷ Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка / Составил В. Стасов. М., 1904. С. 388. (Курсив мой, — М. П.).

¹⁸ Лев Николаевич Толстой и Николай Николаевич Ге: Переписка / Вступ. статья и примеч. С. П. Яремича. М.; Л.: Academia, 1930. С. 39. (Курсив мой, — М. П.).

ная великим князем Константином Константиновичем Романовым, публиковавшим свои произведения под криптонимом «К. Р.», пьеса не была допущена на сцену цензурой. До революции состоялась одна-единственная, любительская постановка «Царя Иудейского» на сцене дворцового Эрмитажного театра силами придворного литературно-драматического кружка «Измайловские досуги». Естественно, что спектакль, в котором одну из главных ролей исполнял автор — «августейший поэт К. Р.», как именовали его верноподданные критики, — был, говоря нынешним языком, «закрытым». Пьеса неоднократно издавалась, но запрет, наложенный на ее сценическое осуществление, «закрытость» единственного спектакля — все это создавало вокруг «Царя Иудейского» ореол таинственности и скандала.

История — ироничная особа и любит пошутить, порой невпопад: только февральская революция, покончившая с самодержавием, открыла путь на сцену произведению великого князя, члена царствующего дома. Вскоре киевская публика получила возможность познакомиться с пьесой в концертной — «ан фрак» — постановке с участием Мамонта Дальского, а затем состоялась упомянутая постановка Л. Лукьянова.¹⁹

Интерес к «Царю Иудейскому», произведению художественно незначительному, был основан не в последнюю очередь как раз на его запретности и еще, конечно, на том, что пьеса была посвящена Иисусу Христу, точнее, последнему акту евангельской трагедии — от въезда в Иерусалим до Голгофы и Воскресения. Это была мистерия в точном смысле слова — жанр скорее западноевропейский, неведомый русской драматургии XIX века.

Представление, осуществленное в Киеве будущим режиссером Московского камерного театра Л. Лукьяновым, с трудом поддается реконструкции, но известный советский театровед Г. Крыжицкий, видевший в юности этот спектакль, вспоминал, что «постановка „Царя Иудейского“ превратилась в большое событие. Главную роль — Иосифа Аримафейского — блестяще играл талантливый артист Л. Фенин... Оформил спектакль Г. Комар строго и со вкусом. Ряд больших белых лилий вдоль рампы создавал как бы рамку для сценической картины...»²⁰ В постановке была использована музыка А. Глазунова, написанная еще для того первого, придворного спектакля. Уж если Булгаков был на «Павле Первом» (вспомним «документальность» реплики Мышлаевского), то «Царя Иудейского» будущий автор романа об Иешуа Га Ноцри никак не мог пропустить. Второе действие «Царя Иудейского» происходит «У Пилата» и подробная ремарка описывает обстановку. Вспомним в эту ремарку, раз уж у нас нет возможности всмотреться в декорацию художника Г. Комара.

«Перистиль дворца Ирода Великого. Две стены, сходящиеся под углом в глубине сцены. В первой стене две двери: первая, ближайшая к зрителю, на *судейский помост* (лифостратон или гаввафу)... В левой стене, посередине, *третья дверь, ведущая к выходу из дворца*. Между дверьми в правой стене *ниша с мраморной статуей*. Отступая от стен и параллельно им идет *колоннада* из нескольких колонн, на которых утверждено *перекрытие, образующее навес* над проходом между стенами и колоннами... *Посередине мраморного мозаичного пола фонтан*. Отверстие в потолке затянуто мягкой тканью, сквозь

¹⁹ Когда эти заметки о киевских театральных впечатлениях Михаила Булгакова уже были написаны, в печати появилось утверждение И. Бэлзы о том, что пьеса К. Р. «Царь Иудейский» будто бы ставилась в Киеве «в студенческие годы Булгакова» (Контекст—1980. М., 1981. С. 216). Утверждение это, как видим, безосновательно: в студенческие годы Булгакова пьеса еще была запрещена к постановке на сцене.

²⁰ Крыжицкий Г. Пути театральные. М., 1976. С. 60.

которую сверху проходит свет... Ложе, столы, кресла, скамьи, мраморы, бронза... *Предрассветный сумрак*.²¹

В этой декорации, созданной воображением драматурга К. Р. на основе археологических реконструкций, протекают не только сцены из «Царя Иудейского», но и все сцены во дворце Понтия Пилата в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Тождественность этих декораций (по отношению к роману слово «декорация» употребляется, конечно, условно) обнаруживается не сразу, потому что Булгаков не дает подробного предварительного описания, как в ремарке К. Р., а создает картину места действия постепенным, но последовательным вводом деталей: «ранним утром... в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудей Понтий Пилат...», «на мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло...», «и сейчас же с площадки сада под колонны на балкон...» (С. 20), «полное молчание настало в колоннаде, и слышно было, как ворковали голуби на площадке сада у балкона, да еще вода пела... в фонтане...», «вынул из рук легионера, стоявшего у подножия бронзовой статуи...» (С. 21). Далее по всему тексту новозаветных глав «Мастера и Маргариты» местопребывание Пилата рисуется многократными напоминаниями о крытой колоннаде, мозаичном поле, фонтане и статуе в нише — деталями, организующими пространство сцены.

Передвижения героев «Мастера и Маргариты» во дворце Пилата безусловно подтверждают, что устройство этого пространства полностью совпадает с устройством дворца Ирода Великого у К. Р. (как если бы это были « типовые » или « стандартные » дворцы), отличаясь, кажется, только материалом статуи — в одном случае она бронзовая, в другом — мраморная. Столь точное воспроизведение пространственных обстоятельств, по-видимому, обусловлено тем, что Булгаков ориентировался не на печатный текст ремарки, а на зримое ее сценическое воплощение. Художник театра — при любой трактовке авторской ремарки — не мог уйти от ее основных, организующих сценическое пространство указаний, иначе в его декорациях просто невозможно было бы разыграть пьесу К. Р. Поэтому текст Булгакова нужно сравнивать не с текстом ремарки, а с ее представимой и обусловленной сценической реализацией.

«Дело в том, — признается булгаковский Воланд, — что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать...» (С. 39). У Булгакова были серьезные основания дать эту реплику своему герою: он, будущий автор «Мастера и Маргариты», наверняка «лично присутствовал при всем этом» — в качестве зрителя на киевском спектакле «Царь Иудейский». Едва ли мы отклонимся от истины, представив себе, что Булгаков, сочиняя новозаветные главы «Мастера и Маргариты», видел перед собой фигурки, движущиеся в «коробочке» киевской сцены, как это случилось однажды с героем «Театрального романа»...

Во втором действии «Царя Иудейского» на сцене Лия и Александр — влюбленные друг в друга молодые невольники жены Пилата, тайные приверженцы Христа. Александр напоминает Лии обстоятельства их вчерашнего неудачного свидания. Драматургически (и поэтически) это, конечно, чрезвычайно наивно: слуги, излагающие «экспозицию» (обычно — «накрывая стол»), — театральный штамп прошлого века, неспособный соблазнить даже пародиста. Тем не менее к этой сцене у К. Р. стоит приглядеться.

²¹ К. Р. Царь Иудейский. СПб., 1914. С. 54. (Курсив мой, — М. П.). Далее ссылки на это издание даются в тексте.

Вчера, лишь я успел тебе признаться,
И в роще Гефсиманской голоса
Так напугали нас, ты обещала
Свиданье мне в другом пустынном месте.
Тогда я видел, поспешила ты.
Я за тобой поодаль шел, чтоб вместе
Не подглядели нас. И вдруг толпа
Мне преградила путь. То были слуги
Первосвященника. Не видно было,
Кого вели они, но рассмотрел
Я римских воинов. На меди шлемов
И лат играли месяца лучи
И пламень светочей. Шли эти люди,
Кто с кольями, а кто с мечами. . . Лия,
Зачем ты не сдержала обещанья
Мне подарить хоть несколько мгновений
В глуши Иосафатовой долины?
Зачем у моста чрез поток Кедронский
Под старым кипарисом у гробницы
Меня не дождалась ты?

(С. 55—56)

Булгакову крепко запомнился этот монолог о неудачном свидании. Через полтора десятка лет, сочиняя роман о Мастере и Маргарите, он воспроизвел ситуации, топографию и последовательность деталей этого рассказа в эпизоде другого *неудачного свидания* — Иуды из Кириафа с Низой, свидания, закончившегося гибелью предателя. При этом искренний испуг и простодушное кокетство Лии превратилось в хорошо разыгранную осторожность и провокационное кокетство Низы, заманивающей Иуду в ловушку.

Так же как Александр Лию, Иуда упрекает Низу за нарушенное обещание. Так же как у Лии с Александром, свидание назначается за городом («в Гефсиманию, за Кедрон, понял?» — говорит Низа — С. 254), маршруты обеих пар влюбленных и место встречи совпадают во всех деталях: «Поток Кедронский. . . у гробницы» — в пьесе К. Р.; «маленькое кладбище. . . к кедронскому потоку. . .» (С. 255) — у Булгакова.

Пространство в художественном произведении формируется не столько описанием устойчивых, больших или малых, ориентиров местности, сколько динамическими моментами, характером движения в этом пространстве прежде всего. Статически трактуемые сведения о древнем Иерусалиме были достаточно известны образованному человеку дореволюционной поры — не в них дело. Сходство между сценой в романе Булгакова и рассказом в пьесе К. Р. менее всего в статических элементах топографии Иерусалима — оно в далеко идущей «параллельности» движения и движущихся персонажей, ситуаций, связывающих персонажи друг с другом, направления, характера и психологических мотивировок движения, обстоятельств, тормозящих движение, и т. д.

По примеру Александра, скрывающего свои отношения с Лией, Иуда должен следовать за Низой на расстоянии, поодаль: «Я пойду вперед, — предупреждает Низа Иуду, — но ты не иди по моим пятам, а отделись от меня. Я уйду вперед. . . Когда перейдешь поток. . . ты знаешь, где грот?». И дальше снова: «Но только не смей идти сейчас же за мной, имей терпение. . .» — мотив, сблизивший этот эпизод у Булгакова с рассказом Александра, усилен тем, что повторен.

Иуда, поспешая за Низой, натывается на такое же препятствие, какое задерживает Александра, догоняющего Лию: «конный римский патруль с факелом, залившим тревожным светом его путь» (С. 254) — у Булгакова; «рассмотрел. . . римских воинов», озаренных «пламенем светочей», — у К. Р. Александру «не видно было, кого вели они», но читатель (или зритель) «Царя

Иудейского» знает, что там, в толпе слуг первосвященника, — арестованный Иисус. Булгаков словно бы настаивает на моментах сближающих эпизод его романа с эпизодом из «Царя Иудейского» (быть может, произвольно) и пересекает путь Иуды встречным потоком еще раз: Иуда «попал наконец к Гефсиманским воротам. В них, горя от нетерпения, он все-таки вынужден был задержаться. В город входили верблюды, вслед за ними въехал сирийский военный патруль. . .» (С. 255).

Но, надо полагать, сознательно, художественно преднамеренно Булгаков «скрещивает» путь Христа, которого (в «Царе Иудейском») влекут на неправедный суд и казнь, с путем Иуды, бегущего (в «Мастере и Маргарите») навстречу справедливому возмездию. Возможностью этого «пересечения», выскажем догадку, и привлек Булгакова не ахти какой изобретательный эпизод у К. Р. Можно показать и другие «параллельные места» в «Царе Иудейском» и «Мастере и Маргарите».

О древнем Ершалаиме Булгаков рассказывает так, словно он и впрямь «это видел». Исторические и евангельские реалии в «Мастере и Маргарите» придают повествованию острый и терпкий привкус добротной достоверности. Ясно, что Булгаков эти реалии не выдумал, а заимствовал из заслуживающих доверия источников. Из каких? Некоторые литературоведы называют груды и вороха библиографических раритетов и уникамов. При этом как бы предполагается знакомство Булгакова чуть ли не с монастырскими библиотеками Западной Европы. . .

Эти догадки красноречиво свидетельствуют об эрудиции литературоведов, но едва ли имеют какое-либо отношение к Булгакову. Автор «Мастера и Маргариты» сродни своему «трижды романтическому мастеру», творящему свободно и вдохновенно; образ добросовестного начетчика, зарывшегося с головой в манускрипты и волюмы, впору скорее Константину Романову. Тем более что интерес к вопросам религиоведения был традиционным в той ветви царствующей семьи, к которой принадлежал автор «Царя Иудейского» (его отец, например, был причастен к приобретению для России так называемого «Синайского кодекса»).

Литературоведы, дальнзоркие чересчур, все же *отчасти* правы: в «Мастере и Маргарите» действительно учтены многие сведения из редкостных и труднодоступных источников. Другое дело — где нашел писатель эти сведения. Подсчитав, сколько разных вещей написал Булгаков в период работы над «Мастером и Маргаритой», И. Л. Галинская пришла к обоснованному выводу: профессиональная занятость писателя была физически несовместима со штудированием того объема источников, который использован в романе. У Булгакова «просто не могло быть времени на то, чтобы собирать по крупицам различные сведения по теме Пилата из столь большого числа источников». ²² Если для их изучения не было времени, а в романе они учтены, значит, логично заключает исследовательница, Булгаков воспользовался специфическими «сгущенными» источниками — вроде «сумм», компендиумов, энциклопедий, экстрактов.

Такой «суммой» — сводом рассеянных сведений — было издание «Царя Иудейского», отпечатанное в 1914 году типографией министерства внутренних дел. Этот роскошный полупудовый фолиант был снабжен рисунками и фотографиями, относящимися к единственной постановке пьесы, нотами А. К. Глазунова и, главное, обширным и дотошным автокомментарием, представлявшим собой, по словам почетного академика А. Ф. Кони, «в высшей степени ученый

²² Галинская И. Л. «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова: к вопросу об историко-философских источниках романа // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1983. Т. 42, № 2. С. 107.

труд, богатый историческими и археологическими данными и справками».²³ Авторский комментарий показывает, как основательно К. Р. освоил литературу вопроса, в том числе те редкостные и труднодоступные источники, знакомство с которыми будто бы обнаруживается у Булгакова: все они процитированы в книге К. Р. и снабжены ссылками. Возможно, на мысль взять в руки печатное издание «Царя Иудейского» Булгакова навела память о спектакле, увиденном некогда в Киеве.

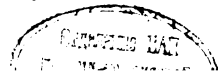
Автокомментарий К. Р. к этому изданию — самый простой (и уже потому заслуживающий внимания) ответ на вопрос о религиозных источниках «Мастера и Маргариты»: вместе с ним Булгаков получал почти исчерпывающую сводку интересующих его материалов, представленных как раз теми выдержками, фрагментами, цитатами, которые, по мнению исследователей, использованы в романе. Другими словами, знакомство с этим изданием (кстати сказать, излюбленным объектом обывательского книгособирательства) делало для Булгакова излишним или сводило к минимуму необходимость дальнейших библиотечных разысканий. Простая ссылка на автокомментарий К. Р. к этому изданию отменяет литературоведческую легенду о несметном множестве источников булгаковского романа.

Реалии «Мастера и Маргариты», восходящие к забытым или редкостным книгам, преспокойно извлекаются из мистерии К. Р. — из ее текста и особенно из автокомментария: и Капрея — резиденция императора, и Кесаря — резиденция Пилата, и Себастьянская когорта, и страшная Антониева башня, и многое другое — практически все. Из комментария можно получить необходимые и достаточные сведения о дворце Ирода Великого (в реконструкции Н. К. Макковейского), о болезни цезаря, о происхождении Пилата, о маслобойке в Гефсиманской роще, о полиглотстве Христа и о его осле («У меня и осла-то никакого нет», — говорит булгаковский Иешуа — С. 26). На раскрашенной фотографии Булгаков мог увидеть артиста А. Л. Герхена в роли Понтия Пилата: снимок изображает сухощавого, коротко остриженного человека в белом плаще на алой подкладке. Легко показать, что в большинстве случаев Булгаков ближе к интерпретации источников у К. Р. (в пьесе и в автокомментарии), чем к источникам непосредственно.

Экземпляром «роскошного» издания «Царя Иудейского», надо думать, располагал и постановщик киевского спектакля режиссер Л. Лукьянов. Музыка А. К. Глазунова для своего спектакля он мог получить в виде отдельного нотного издания, но ряд деталей оформления, в том числе «рамку из лилий», о которой вспоминал Г. Крыжицкий, можно было извлечь, кажется, только из названного «роскошного» издания, где эта рамка воспроизведена в цвете. Десять лет спустя на сцене Московского камерного театра Л. Лукьянов (совместно с А. Я. Таировым) поставил «Багровый остров» Булгакова — режиссер, конечно, не знал о влиянии своего киевского спектакля на драматурга и о том, что постановкой «Багрового острова» он замыкает кольцом эту линию нашего рассказа.

Не подвергая сомнению глубокую образованность и широкую осведомленность Булгакова, следует допустить, что он охотнее пользовался источниками ближайшими, в особенности если они были связаны с впечатлениями его юности, с киевскими впечатлениями.

²³ Кони А. Ф. К. Р.: (Речь в общем собрании АН в память великого князя Константина Константиновича) // Ежемесячные литературные и научно-популярные приложения к ж. «Нива» на 1916 г. Т. 3, ноябрь. Стлб. 455.



Впечатление от «Царя Иудейского» было столь сильным, что, отложившись в «Мастере и Маргарите», оно вышло за пределы романа и переплеснулось в другие произведения Булгакова.

Здесь самое время сообщить об одной особенности пьесы К. Р. — об особенности, до сих пор намеренно не упоминавшейся. Дело в том, что в посвященном Христу «Царе Иудейском» Христа нет, в перечне действующих лиц он не значится, и события евангельской трагедии разворачиваются вокруг Христа, остающегося все время за сценой. Собираясь рассказать свою «Легенду о великом инквизиторе» — самую знаменитую в русской литературе XIX века и, заметим, нетеатральную мистерию — Иван Карамазов предуведомлял: «У меня на сцену является Он». О своей мистерии К. Р. мог бы сказать: «У меня Он на сцену не является. . .».

В «Царе Иудейском» перед нами проходят *последние дни* Христа — без Христа. Эту уникальную драматургическую композицию Булгаков воспроизвел в пьесе «Пушкин». Другое название булгаковской пьесы — «Последние дни», и Пушкин в ней на сцену не является. (Прикрепленность формулы «последние дни» к евангельским событиям была очевидностью культурных представлений той среды, из которой вышел Михаил Булгаков. Он, надо полагать, знал книгу «Последние дни земной жизни Иисуса Христа» либерального церковного деятеля о. Иннокентия — И. А. Борисова, занимавшего одно время пост ректора Киевской духовной академии. Начиная с середины XIX века книга «Последние дни земной жизни. . .» выходила отдельными изданиями не менее трех раз).

Драматург К. Р. отказался от сценической фигуры Христа скорее всего вынужденно, сообразуясь с цензурными условиями: театральная цензура, не колеблясь, запрещала к представлению то, что общая цензура легко пропускала в печать. На сцену не допускались предметы православного культа — скажем, иконы; о появлении же на подмостках фигуры Христа и речи быть не могло, сценическая судьба пьесы и без нее не задалась.

Булгаков оценил, насколько художественно выразительной оказалась уступка драматурга К. Р. Цензурно вынужденное он переосмыслил как эстетически необходимое. Выразительность этого драматического решения основана на том, что из общеизвестной ситуации выведена (вернее, введена в нее особым, «отрицательным» образом) фигура самого высокого уровня — такая фигура, что ее отсутствие в произведении превращается в художественное событие, осмысляется не как вычеркивание, а как подчеркивание, и, конечно, нет в русской культуре более подходящего кандидата на подобную роль, нежели Пушкин.

Булгаков демистифицировал пьесу К. Р. и наполнил заимствованную у него композиционную «раму» конкретным историческим материалом. «Последние дни» — светская версия духовного сюжета. Но, противопоставив свою пьесу пьесе К. Р. (как история противостоит мифу), Булгаков щедро насытил рассказывающую о Пушкине «светскую мистерию» (сочетание парадоксальное, но в нашем случае необходимое и точное) легендарными мотивами. Нет ничего удивительного в том, что это — именно евангельские мотивы. Отсутствующий на сцене Пушкин становится главным действующим лицом и событийным центром трагедии — незримая мистериальная «модель» берет на себя главную смыслообразующую роль. Правильное, соответствующее авторскому замыслу понимание «Пушкина» требует прочтения пьесы, так сказать, по евангельскому

коду, точнее, по коду мистерии. По тому мистериальному сюжету, который развит в «Царе Иудейском».²⁴

История последних дней поэта в пьесе Булгакова непрерывно подсвечивается легендой о последних днях Христа. Мотив «страстей» вводится в первом же действии: «Христос терпел и нам велел», — говорит ростовщик, отставной подполковник Шишкин, и лицемерие этих слов в устах «процентщика», разоряющего поэта, предупреждает о том, что Пушкину предстоит бороться и погибнуть в борьбе со святошами. Мелкий лицемер заимодавец Шишкин предваряет появление крупного лицемера — высочайшего заимодавца поэта. Пушкин попадает в кабалу к «кабале святош». Евангельская тема в пьесе подспудно продолжается: за поэтом установлен надзор, и Дубельт платит своим мелким осведомителям по тридцати рублей, агентам покрупнее — по тридцати червонцев, но всегда расплачивается с ними только этой иудинной суммой.

Для пьесы о великом поэте далеко не пустяк, каким своим произведением поэт будет в ней представлен. Изъятое из контекста сочинений Пушкина и помещенное в контекст произведения о Пушкине, оно с неизбежностью включится в другие связи, переосмыслится. Тем более что это произведение должно как бы заменить собой своего автора, отсутствующего на сцене. Булгаков отказывается вывести на подмостки Пушкина, погруженного в заботы суетного света. Но поэт, призванный к священной жертве Аполлоном, на сцене присутствует своим деянием, своим поэтическим словом. И другой «священной жертвой» — «полной гибелью всерьез», которой оплачивается поэтическое слово. Потому что причиной гибели поэта в пьесе о нем оказывается его деяние — поэзия, стихи.

В «Последних днях» таких пушкинских текстов два. Первый — «Буря мглою небо кроет», своего рода фон, заменитель отсутствующего в пьесе Петербурга (отсутствующего не так, как Пушкин, иначе), образ пространства, в котором пляска метели неотличима от бесовского шабаша. Этот пушкинский текст окаймляет действие, «закольцовывает» сюжет, служит характеристикой наружного пространства, когда действие протекает в интерьере.

Другой пушкинский текст поставлен в середину пьесы, в ее причинный центр. Это — «Мирская власть», стихотворение, через Дубельта и Бенкендорфа попавшее в руки царя и решившее судьбу поэта. В пьесе Булгакова царь прочитывает «Мирскую власть» как прямой вызов и обрекает Пушкина на гибель.

По Булгакову, поводом для создания этого стихотворения послужила воинская охрана, приставленная царским приказом к картине Брюллова «Распятие», — версия, отвергнутая пушкиноведением. В те самые месяцы, когда Булгаков работал над пьесой о Пушкине, вышел том «Звеньев» с заметкой Н. О. Лернера, опровергавшей легенду о «Мирской власти».²⁵ Булгаков, внимательный читатель литературы подобного рода, мог быть знаком с лернеровской заметкой или другими опровержениями легенды, но это едва ли остановило бы его: для художественных целей Булгакова *нужно*, чтобы стража стояла именно у «Распятия». Нужно, чтобы в центре пьесы о гибели и бессмертии Пушкина было помещено стихотворение о гибели и воскресении Христа, проясняющее мистериальный смысл «Последних дней», хотя пушкиноведению решительно ничего не известно о сколько-нибудь исключительной роли «Мир-

²⁴ Предположение о связи булгаковского «Пушкина» с «Царем Иудейским» К. Р. принял А. М. Смелянский, познакомившийся с этой работой в рукописи (см.: Смелянский А. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1986. С. 343, 377).

²⁵ Лернер Н. О. . . К истории «Мирской власти» // Звенья. М.; Л.: Academia, 1935. Кн. 5. С. 186—187. (Книга подписана к печати 3 июня 1935 года).

ской власти» в судьбе поэта. Нужно, чтобы прозвучали пушкинские строки, противопоставляющие власть духовную «мирской власти», поэта — царю, пророка — кесарю:

Когда великое свершалось торжество,
И в муках на кресте кончалось божество,
Тогда по сторонам животворяща древа
Мария-грешница и пресвятая дева
Стояли две жены,
В неизмеримую печаль погружены. . .

Все это нужно было потому, что Булгаков писал не историю, а *мистерию* о Пушкине. Соотнесенность с «Царем Иудейским» прослеживается до самого конца его пьесы. Агент охраны Битков, шпионивший за Пушкиным все его «последние дни», сопровождает тело поэта в Святые Горы (еще одна, словно самой историей подстроенная и ученная драматургом евангельская аналогия) — и тут что-то странное происходит с мелким соглядатаем: напевая стихи погибшего поэта, Битков начинает догадываться о позоре шпионского ремесла и о том, что убитый победил своих убийц. Слово поэта из-за гроба как бы отпевает воистину погибшую душу и «обращает» маленького человечка, потому что это слово *истинно*: «Буря мглою небо кроет. . .».

Здесь — решительное сходство с финалом «Царя Иудейского»: римский центурион, преследовавший Христа и сопровождавший его на Голгофу, раскаялся и уверовал в распятого. Финал булгаковской пьесы нужно возводить к финалу пьесы К. Р., а не к Евангелию (их общему источнику), потому что Евангелие не придает эпизоду с центурионом такого подчеркнуто завершительного — «под занавес» — значения. Подчеркнутость этого эпизода — своеобразии трактовки материала у К. Р.

Перекличка «Последних дней» с «Царем Иудейским» неожиданно открывает в пьесе о Пушкине глубокое типологическое сходство «в другую сторону» — с романом о Мастере и Маргарите. «Пушкин» тоже рассказ о борениях и гибели Мастера, причем в центре пьесы поставлено произведение ее Мастера о Христе, как роман о Христе — в «Мастере и Маргарите». И роман о Христе становится причиной гибели его создателя в «Мастере и Маргарите», подобно тому как стихотворение о Христе — причина гибели Пушкина в «Последних днях».

Типологический ряд: «Царь Иудейский» — «Пушкин» — «Мастер и Маргарита» — подтверждается присутствием в каждом из названных произведений функционально однотипных персонажей, например фигуры, которую можно условно охарактеризовать как «гонитель, раскаявшийся и уверовавший в гонимого». В «Царе Иудейском» и «Пушкине» — это соответственно, как уже говорилось, безмянный римский легионер и соглядатай Битков. Нетрудно догадаться, что в «Мастере и Маргарите» эту роль выполняет Иван Бездомный, ставший профессором Поныревым (т. е. Савл, превратившийся в Павла). Утверждение П. В. Палиевского, что все происходящее в булгаковском романе «обращено» к Иванушке и имеет смысл лишь относительно него,²⁶ столь же основательно, сколь и гипотетическое утверждение, будто все происходящее в Евангелии обращено к римскому легионеру, который распинал Христа, а потом уверовал в распятого. Очевидно, что здесь происходит размыкание текста во внетекстовое пространство — в мир читателя.

Сопоставлением с «Царем Иудейским» булгаковский «Пушкин» открывается

²⁶ Палиевский П. В. Последняя книга М. Булгакова // Палиевский П. В. Пути реализма: Литература и теория. М., 1974. С. 270. (Первоначально: Наш современник. 1963. № 3).

не как случайное, невесть откуда залетевшее произведение («заказная работа», «юбилейная пьеса»), но как мотивированный всем развитием художника не очень далекий подступ к его главной вещи, значительный этап в размышлениях писателя, одна из ранних попыток освоить тот комплекс образов и идей, который с наибольшей полнотой и силой будет воплощен в «Мастере и Маргарите». Структурное родство, тематическая и идейная связь «Последних дней» с «Мастером и Маргаритой» заходят так далеко, что исследователь творчества Булгакова получает вместе с пьесой как бы еще один ранний — неучтенный — вариант романа. Сопоставление этих двух булгаковских вещей (конечно, куда более обстоятельное, нежели беглая заявка, предпринятая на этих страницах) может многое прояснить в движении художественной мысли писателя. Не исключено, скажем, что новозаветные главы в «Мастере и Маргарите» должны быть прочитаны как романная развертка пушкинской «Мирской власти».

Мы смотрим пьесу о Пушкине, в которой Пушкин как сценическое лицо отсутствует. В «Зойкиной квартире» видим на сцене Аметистова, «расстрелянного в Баку», а в «Беге» — некую Барабанчикову, «даму, существующую исключительно в воображении генерала Чарноты». Мы читаем сочиненный Мастером роман, хотя прочесть его нельзя: он сожжен и тем самым отсутствует (в этом же смысле, кстати, нельзя прочесть «Легенду о Великом Инквизиторе», только задуманную, но не написанную Иваном Карамазовым). Точно так же читаем (в «Собачьем сердце») дневник доктора Борментала, недоступный для прочтения, ибо он сожжен у нас на глазах. Мы знаем эпиграф к «Театральному роману» — «Коемуждо по делом его...», хотя, поставленный было условным публикатором романа, этот эпиграф, по его же, «публикатора», свидетельству, был снят. В пьесе драматурга Булгакова «Багровый остров» мы видим («сцена на сцене», как «Мастер и Маргарита» — «роман в романе») пьесу драматурга Дымогацкого под тем же названием, но увидеть ее нельзя: она запрещена к постановке согласно сюжету первой пьесы. Видим то, что нельзя увидеть, читаем то, что нельзя прочесть, и тому подобное — эта подмывающая игра в «отсутствие присутствующего» (и наоборот) проходит через все творчество Булгакова, странным образом переключаясь с литературной судьбой писателя.

Воланд сообщает, что был свидетелем тех событий, о которых повествуют новозаветные главы романа. Мессир — персонаж серьезный: раз говорит, что был, значит был. Но где в новозаветных главах Воланд? Его нет как нет, хотя он должен быть. Утверждают, будто здесь ошибка писателя, промах незавершенного романа; гадают, в чьем облике — не Афрания ли? — мог бы скрываться в этих главах Воланд. Контекст творчества Булгакова заставляет усомниться в правомерности таких утверждений и гаданий: уж очень игра в «отсутствие присутствующего» системна у Булгакова, уж очень она булгаковская. Нужно, по-видимому, не пытаться заполнить этот пропуск, а осмыслить его как особенность произведения.

Неявный Воланд «Белой гвардии» — Михаил Семенович Шполянский — все время вертится на авансцене романа и мощно воздействует на все его события, включая судьбы главных героев, но читатель почти не замечает эту «частицу силы, которая...» и т. д., потому что пути Шполянского нигде не пересекаются в открытую с путями Турбиных, ни в одной точке романа он не приходит в непосредственное соприкосновение с ними, и те даже не догадываются о его существовании. Он «отсутствует» для них и тем самым для читателя, следящего за судьбой Турбиных.

Редактор Рудольфи — маленький Воланд «Театрального романа» — запускает механизм романного действия и исчезает; спровоцированные им события протекают без него; читатель узнает об этом из записок Максудова, который

«отсутствует», ибо покончил с собой, как сообщает предуведомление к роману (первоначально названному «Записки покойника» — не «покойного», заметим). Булгаковский Дон-Кихот живет на грани реальности и книжных фантазий: трезво отдавая себе отчет в вымышленности книжного мира, он предпочитает жить в нем, отсутствующем, и погибает, утратив этот второй (для него — первый!) ирреальный план своего бытия. Визиты булгаковских героев в прошлое и будущее тоже вливаются в прочерченный ряд изображений «отсутствующего» и загадочно-демонстративных пропусков в изображении «присутствующего».

Рассказ о киевских впечатлениях Булгакова снова закономерно перерастает в размышления о типологии булгаковского творчества. Ничего удивительного: киевские впечатления — своего рода ключ к этой типологии.

6

Мне уже приходилось писать, что едва ли не каждое булгаковское произведение — своего рода «мистерия-буфф» (если воспользоваться словом Маяковского), свободно сочетающая высочайшее с низким, сакральное — с профаническим, всемирно-историческое — с будничным, нетленно вечное — с бранным сиюминутным, истово серьезное — с неистово шутовским и балаганным.²⁷ Мистерияльно-буффонадная типология начала формироваться у Булгакова с первой его большой вещи — «Белой гвардии», и можно сказать, что и эта особенность булгаковского творчества непосредственно связана с темой «киевских впечатлений».

В заведении мадам Анжу, по Театральному проезду 10, среди распыленных на плечиках дамских платьев и коробок со шляпками, расположился один из пунктов записи добровольцев в белые отряды. Сюда дважды попадает Алексей Турбин: впервые — чтобы из штатского врача превратиться в военного, а затем — чтобы в последний (буквально) час гетманщины сорвать с себя погоню и вновь стать штатским, на худой конец — полувоенным, но без этих губительных офицерских знаков. . . Заведение мадам Анжу, кажется, для того и существует в романе, чтобы служить для переодеваний героя.

Через весь роман лейтмотивом проходит тема «оперетки». Гетманщина — оперетка, и все с ней связанное было бы до крайности несерьезно, если бы не кровь. На сцене Города идет оперетка — кровавая. Спектакль, идущий на исторической сцене, отличается от театрального тем, что у него нет и не может быть зрителей. В него втянуты все, сторонних нет — только участники, даже несколько не опереточные персонажи Турбины.

Тема этого лейтмотива ни в малой мере не принадлежит Булгакову: она проходит через всю литературу о той эпохе и, что особенно важно, через современную событиям киевскую публицистику. В самый день падения гетманщины солидная киевская газета писала в передовой статье: «Гетманство началось на Украине как оперетка немецко-венского изделия. Кончалась она как тяжелая драма».²⁸ Переживший трагикомедию падения гетманщины в Киеве Роман Гуль описал ее той же театральной метафорой: «Все это внешне — опереточно весело. По существу ж — тяжело и, быть может, трагично».²⁹ Значит, подобные оценки режима в устах героев и автора «Белой гвардии»

²⁷ Петровский М. С. Два мастера: Владимир Маяковский и Михаил Булгаков // Лит. обозрение. 1987. № 6. С. 30—37.

²⁸ Киевская мысль. 1918. 15/2 дек.

²⁹ Гуль Роман. Жизнь на фуксе. М.; Л., 1927. С. 13.

исторически достоверны, документально подтверждены, но публицистическую метафору Булгаков «реализует» — возвращает к прямому значению (впрочем, сохраняя при этом и переносное).

Для оперетки, венской особенно, куда как характерны всяческие переодевания, и герои «Белой гвардии» то и дело переодеваются. То в вечернем костюме денди, то в элегантной форме военного шофера появляется Шполянский. Роскошную черкеску с газырями меняет на не менее роскошный смокинг Шервинский, правда, прикрывая этот новый наряд убогим рваньем, выменным у какого-то прощелыги. Становится известно о переодевании и бегстве гетмана (в пьесе «Дни Турбиных» этот эпизод выведен на сцену).

Включенный в оперетку, идущую на сцене гетманского города, ничуть не опереточный персонаж Алексей Турбин тоже все время переодевается (в последний раз, увы, недостаточно тщательно). К тому же дело происходит в реквизированном дамском конфекционе — слишком «низком» месте для переодевания боевого офицера, снижающем трагедию до фарса. Да и расположено оно рядом с оперным театром, где в ту пору шли не оперы, а как раз оперетты (роман оговаривает это обстоятельство). Роман заботливо и настойчиво напоминает, что дело происходит в Театральном проезде, т. е. что оно несомненно отмечено театральностью. Но и этого Булгакову мало для «снижения» — и реальному салону мадам Ольги, действительно находившемуся по этому адресу, присваивается имя мадам Анжу, — конечно, не без намекающего кивка в сторону мадам Анго, героини оперетки, где, между прочим, тоже идет речь о какой-то Директории. . .

У нас, кажется, есть возможность назвать по имени оперетку, идущую в булгаковском Городе, — это именно «Дочь мадам Анго». Дело даже не в том, что «Дочь мадам Анго» была самой популярной вещью киевского опереточного репертуара, о чем еще в конце прошлого века писал местный театральный критик,³⁰ а театральные афишки и программки свидетельствуют о незатухающей популярности этой оперетты в последующие годы. Дело в том, что «Дочь мадам Анго», по словам Абрама Эфроса (писавшего о другой, московской постановке оперетты), «становится меткой сатирой на всякое правительство, по внешности рожденное революцией и действующее якобы именем народа и во имя народа, но по существу оказывающееся старым знакомцем, со старыми навыками и старыми приемами».³¹ Подобно тому как в Париже 70-х годов XIX века «Дочь мадам Анго» выглядела сатирой на Третью республику, так в Киеве 1918 года она с неизбежностью становилась сатирой на гетманщину.

Мысль переименовать салон и сделать его местом почти маскарадного переодевания героя взята не с потолка. Нет, она взята с *витрины* заведения мадам Ольги в Театральном проезде 10, — с витрины, где в декабре 1918 года висело (повторенное местной прессой) объявление о том, что салон «предлагает изящный выбор *маскарадных* костюмов». Вот этим-то предложением воспользовался Булгаков для своего трагифарсового маскарада и, вслив в помещение мадам Ольги салон мадам Анжу, превратил его в своего рода *костюмерную* оперетки, идущей на исторической сцене.

Гоголь — булгаковский «учитель в чугунной шинели», оставляя на поверхности буффонаду, глубоко упрятывал мистерию («Ревизор», «Мертвые души»). Ученик вывел на поверхность оба потока — сакральный и профанический. К роману об исторической оперетке «Белая гвардия» стоит эпиграф из Апокалипсиса, и апокалиптические темы, образы, цитаты пронизывают все произведе-

³⁰ См.: Николаев Н. И. Драматический театр в Киеве. Киев, 1898. С. 97.

³¹ Эфрос Абрам. [Рецензия] // Культура театра. М., 1921. № 1. С. 37.

ние вторым — параллельным опереточному — лейтмотивом. Легкомысленнейший жанр на сцене Вечного Города, всемирно-историческое действо на шантаных подмостках, оперетка и апокалипсис *одновременно* — это же она и есть, булгаковская «мистерия-буфф». При этом тема «киевских театральных впечатлений» получает неожиданный, не предусмотренный изначально расширительный смысл: речь идет уже не о спектаклях на сценах киевских театров, но о самом городе — всем городе, воспринимаемом как огромная сценическая площадка. Насыщенная театральная жизнь Киева начинает окрашивать всю городскую жизнь, которая приобретает черты театральности и осмысливается по законам зрелищных искусств.

Нужно добавить, что внутри этого опереточно-апокалиптического, этого мистериально-буффонадного города, в самом центре его художественного пространства, поставлен *дом*, устроенный, как вертеп — коробочка украинского народного действа. Подобно кукольному вертепному домику, дом на Алексеевском спуске в романе Булгакова разделен на два отсека по вертикальной оси — на «землю» внизу и «небо» наверху, причем Турбины оказываются «небожителями»; а отвратительный Василиса со своей тоже несимпатичной Вандой пресмыкается у них под ногами. Вертепное устройство турбинского дома уже отмечалось в литературе, но не было осознано, что при этом дом Турбиных превращается в маленькую модель всего романа, с его резким противопоставлением «верха» и «низа», что эта модель достоверно воспроизводит мистериально-буффонадную структуру «Белой гвардии», и роман предстает как «театр в театре» (подобно «Багровому острову» и «Мольеру» или как «роман в романе» в «Мастере и Маргарите»). Эту конструкцию (впрочем, весьма распространённую) следует признать типичной для творчества Булгакова и связанной с его киевскими театральными впечатлениями.

Все булгаковские вещи — и прозаические, и собственно драматические — располагаются между двумя крайними точками театральности — между мистерией и буффонадой — и потому легко поглощают все промежуточные виды театральности выразительности. Каждая вещь Булгакова поэтому производит впечатление сумятицы жанров — жанрового многоязычия. В театральном Вавилоне Булгаков был полиглотом, подобно Мастеру и бродячему философу его романа. Читая по-русски диалог Иешуа с Пилатом, мы едва осознаем, что на самом деле (в художественной реальности, в подразумеваемом «оригинале») этот диалог идет на трех языках — арамейском, греческом, латыни. Вот так осознается не сценическое «многоязычие» Булгакова, «снятое» художественным синтезом, а смыслы и эффекты, извлекаемые у нас на глазах из столкновения разных театральных «языков». В этом синтезе растворены ситуации, фрагменты, мотивы, «цитаты», заимствованные из разных, порой, казалось бы, несовместимых источников: мистерия-буфф все в себя примет и все превратит в себя.

Булгаков нисколько не маскирует мистериально-буффонадный смысл своих вещей, напротив — заботливо тычет читателя носом в этот смысл, заявленный эпиграфами. У булгаковских эпиграфов своя манера, совпадающая с манерой его произведений, моделирующая их в миниатюрном и обозримом виде: обычно эти эпиграфы двойные и резко контрастные. В эпиграфе к «Жизни господина де Мольера» стоит строчка из Горация: «Что мешает мне, смеясь, говорить правду?», в которой не хватает одного слова — «страшную»: «смеясь, говорить страшную правду», — и эта недостака восполняется вторым эпиграфом, эпически-величаво говорящим о трагедии. В эпиграфе к «Белой гвардии» рядом с историческими соседствуют мифологические строки, их взаимодействие создает «бездну пространства». То же самое — в эпиграфе к «Адаму и Еве»:

исполненное пафоса пророчество о благоденствии снабжено шутовской ссылкой на «неизвестную книгу, найденную Маркизовым».

С. Ермолинский как-то обмолвился, что Булгаков словно бы жонглировал стилями и жанрами.³² Продолжим и уточним метафору: художник, подобно простодушному мастеру — «жонглеру богоматери» из рассказа Анатоля Франса, становясь вверх ногами и кувыряясь, возносил «аллилуйя» своему прекрасному и горькому миру.

Замечено, с какой легкостью проза Булгакова транспонируется для сцены. Так бывает легко «перевести обратно» на язык подлинника переводной текст. Эта легкость — свойство структуры: проза Булгакова осуществлена на грани драмы. Он писал пьесы раскованные и емкие, подобно большим жанрам прозы, и прозу, помнящую о своем сценическом происхождении. Свободу, которую художник искал, он несомненно обрел — в творчестве.

³² *Ермолинский С. О Михаиле Булгакове // Театр. 1966. № 9. С. 91.*

ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Судьба исторической концепции Толстого, изложенной им в «Войне и мире», своеобразна. Ею редко интересовались историки; чаще она привлекала внимание исследователей творчества писателя, литературоведов, иногда философов. Именно философу В. Ф. Асмусу принадлежит одно из наиболее убедительных истолкований взгляда Толстого на историю: вопреки довольно распространенным представлениям, основной концепции Толстого было не отрицание причинности в истории, а «сглаживание различий между результатами действий, совершаемых великими деятелями истории, и результатами действий, совершаемых рядовыми участниками исторического процесса», убеждение, что «свободным субъектом и свободной причиной этой деятельности может быть только *народ в целом*, человечество в целом, а не отдельное лицо, на какой бы ступени власти оно ни стояло. . .».¹ О том, что «действительной и единственной причиной» исторического процесса Толстой считал действие «всех стихийно творящих его „человеческих масс“», складывающееся из «сознательных, но различных, противоречивых личных устремлений», писала и Е. Н. Купреянова.² Связь воззрений Толстого с детерминистическим направлением в русской и мировой историографии отмечали А. А. Сабуров и В. А. Дьяков.³

Но наряду со взглядом на историческую концепцию Толстого как на важное направление научной мысли в работах о Толстом нередко высказывалось и противоположное мнение — о противоречивости и нелогичности исторической концепции Толстого.⁴ Особенно часто высказывается эта мысль в зарубежной литературе о Толстом. Поскольку характеристика исторических взглядов Толстого в иностранных работах последних десятилетий не была предметом специального рассмотрения, мы начнем именно с этих работ.

Характеризуя «Войну и мир» как с литературоведческой, так и с историко-философской точки зрения, английский славист И. Берлин указывал на важность общей концепции Толстого для всего построения его романа. Отмечая существование двух типов литературного повествования — «монистического», направленного на обоснование некой единой идеи, и «плюралистического» — и вспоминая древнюю басню Архилоха о лисе, прибегающей ко множеству уловок, и еже, твердо придерживающемся одного способа действия, И. Берлин несколько парадоксально разделял писателей на две категории — «ежей» и «лис». К первой группе он относил, в частности, Данте, Платона и Достоевского, ко второй — Мольера, Гете и Пушкина. Кем же был Толстой? По И. Бер-

¹ Асмус В. Ф. Причина и цель в истории по роману Л. Н. Толстого «Война и мир» // Из истории русских литературных отношений XVIII—XX вв. М.; Л., 1959. С. 199—210.

² Купреянова Е. Н. Эстетика Льва Толстого. М.; Л., 1966. С. 199.

³ Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н. Толстого: Проблематика и поэтика. М., 1959. С. 277—278; Дьяков В. А. Л. Н. Толстой о закономерностях исторического процесса, роли личности и народных масс в истории // Вопросы истории. 1978. № 8. С. 28—29.

⁴ Критику исторических взглядов Толстого в работах XIX—первой половины XX века мы рассматривали в другой статье (Лурье Я. С. «Дифференциал истории» в «Войне и мире» // Русская литература. 1978. № 3. С. 43—48) и не будем здесь останавливаться на этом вопросе.

лину, он хотел быть «ежом» — подчинить свое творчество единой монистической концепции, но оставался все же «лисой», видевшей и отражавшей бесконечное разнообразие мира.⁵ Эти оригинальные литературоведческие наблюдения И. Берлина несомненно заслуживают внимания: в литературе мы постоянно встречаемся с двумя типами сюжетов — «телеологическими», с ясно обозначенным раскрытием авторской идеи, и «амбивалентными», когда писатель, если воспользоваться выражением А. П. Чехова, не решает вопрос, а только ставит его.⁶ Справедливо и то, что сюжеты произведений Толстого, как и любого подлинного художника, не укладывались в жесткую рамку «монистической» сюжетной схемы, а включали множество мотивов, выходящих за ее пределы.

Однако И. Берлину противоречие между сюжетными схемами Толстого и многообразием его художественного творчества представляется прежде всего свидетельством противоречивости самой концепции писателя. Призывая рассматривать исторические доктрины Толстого «так же серьезно, как он хотел представить их читателю», И. Берлин отмечал, что в основе реализма Толстого «лежал дух эмпирического исследования, которое вдохновляло великих антитеологических и антиметафизических мыслителей XVIII века». Как и другим русским авторам XIX века, Толстому свойственно было стремление дать «прямые ответы» на «проклятые вопросы» человеческого и исторического бытия. В этой связи И. Берлин сравнивает Толстого также с Марксом и Дарвином. Подобно Марксу, «Толстой ясно видел, что если история — наука, то должно быть возможным раскрыть и формулировать ряд подлинных законов истории», которые давали бы возможность «предвидения» исторического будущего.⁷ Эти соображения, казалось бы, должны были привести автора к серьезному анализу «исторических доктрин» Толстого. Но такого анализа мы у И. Берлина не находим. Отвергая философию истории Толстого, И. Берлин заявляет, что в «Войне и мире» писатель «сознательно игнорирует исторические свидетельства», «искажает факты» и трактует их «бесцеремонно», «потому что он прежде всего одержим своим тезисом».⁸

В чем же состоят эти «искажения»? И. Берлин сослался лишь на наблюдения предшествующих авторов, в первую очередь на В. Б. Шкловского. Между тем В. Б. Шкловский анализировал фактическую основу «Войны и мира» по-разному в двух работах, разделенных двадцатью годами. В книге 1928 года, на которую ссылался И. Берлин, Шкловский специально оговаривался, что

⁵ Berlin I. The Hedgehog and the Fox // Berlin I. Russian Thinkers. London. 1978. P. 22—24. Первоначально статья о Толстом была опубликована И. Берлином в 1951 году, переиздана под нынешним названием в 1953 году.

⁶ См.: Чехов А. П. Собр. соч.: В 12 т. М., 1963. Т. 11. С. 274—275. Ср.: Истоки русской беллетристики. М., 1970. С. 22—24, 570—571. Едва ли прав А. В. Макеев, решительно отвергающий литературоведческие соображения И. Берлина (Макеев А. В. Толстой глазами зарубежных славистов // Яснополянский сборник, 1984. Тула, 1984. С. 21). В противоположность А. В. Макееву Д. С. Лихачев признал мысль И. Берлина о «ежах» и «лисицах» плодотворной (Лихачев Д. С. Лев Толстой и традиции древней русской литературы // Лихачев Д. С. Литература — реальность — литература. Л., 1984. С. 108—109).

⁷ Berlin I. Op. cit. P. 29—32. Рядом с этими словами И. Берлина несколько странным представляется примечание к его работе, в котором он отвергает «попытки связать исторические взгляды Толстого со взглядами различных последующих марксистов — Каутского, Ленина, Сталина» как «курьезные» (Ibid. P. 27). Никаких ссылок на работы, где делаются такие «попытки», И. Берлин в своей статье не приводит. В известных нам антологиях на эту тему исторические взгляды Л. Н. Толстого, напротив, резко противопоставляются марксизму. Ср.: О Толстом: Литературно-критический сборник / Под ред. В. М. Фриче. М.; Л., 1928; Л. Н. Толстой в свете марксистской критики: Систематический сборник извлечений из работ критиков-марксистов / Ред. В. М. Фриче. М.; Л., 1929.

⁸ Berlin I. Op. cit. P. 43. Ср.: Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 108—109.

не собирается «упрекать» Толстого «в чем-нибудь», а только изучает его метод привлечения исторических источников. Далее В. Шкловский приводил ряд примеров того, как использовался и деформировался материал источников и исторических сочинений в романе. Возражения исследователя Толстому как историку носили в основном общий характер: он упрекал его за принятие «официальной» историографической «легенды о том, что Бородино было победой», и за преувеличение роли Кутузова.⁹ Вместе с тем главу «Войны и мира», имевшую для Толстого важнейшее теоретическое значение, — о Бородинской битве — В. Шкловский признавал удачей не только в художественном, но и в чисто исследовательском отношении. «Здесь Толстой подробно анализировал Бородино, дал чертеж боя и сделал ценные указания о плане Наполеона. Оценка Бородина и, в частности, указание на первоначальную позицию, которую хотели занять русские, — эта оценка получила единогласное признание военных авторитетов как правильная», — писал В. Шкловский.¹⁰

В 1948 году В. Шкловский критиковал исторические главы «Войны и мира» совершенно иначе. Возражая Толстому, видевшему в Кутузове прежде всего человека, который «руководит только духом армии, а не сражением», В. Шкловский писал, что Л. Толстой недооценил роль Кутузова. Отвергая мнение Толстого, что перед Бородинским боем «русские не отыскивали лучшей позиции; а напротив в отступлении своем прошли много позиций, которые были лучше Бородинской»,¹¹ В. Шкловский писал, что «Бородинское поле отличается от других мест», ибо уже «самое название речек, которые протекают через это поле, показывает. . . что здесь происходили сражения» (Кольча, Война, Стонница).¹² Он, однако, не объяснил, почему эти древние названия рек лишают основания анализ Бородинской позиции, данный Толстым.

Таким образом, ссылка на В. Шкловского никак не подкрепляет мнение И. Берлина о противоречивости и недостоверности исторических глав «Войны и мира». Не привел И. Берлин и других убедительных примеров противоречивости изложения Толстого и несоответствия его рассказа данным источников. Он ограничился лишь утверждением, что «ужасная дилемма» между закономерностью исторического процесса и свободной волей отдельных лиц так и не была разрешена Толстым и что его «теория мельчайших частиц, требующих интегрирования, кажется избитой и искусственной. . .».¹³ Вторая часть работы И. Берлина посвящена более частному вопросу — сопоставлению взглядов Толстого с воззрениями философа-роялиста конца XVIII—начала XIX века, иезуита Ж. де Местра. Хотя де Местр прославлял войну, а Толстой отвергал ее, их обоих, по мнению И. Берлина, сближало отрицание «рационализма».¹⁴

Еще менее склонен был разбирать философию истории Толстого К. Поппер.

⁹ Шкловский В. Материал и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М., [1928]. С. 36—38, 52—53, 65—67, 70—72, 75.

¹⁰ Там же. С. 191. Ср.: Витмер А. 1812 год в «Войне и мире». СПб., 1869. С. 49; Драгомиров М. И. Разбор романа «Война и мир». Киев, 1895. С. 71—73.

¹¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1932. Т. 11. С. 184. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

¹² Шкловский В. М. И. Кутузов и Платон Каратаев в романе «Война и мир» // Знамя. 1948. № 5. С. 138—141.

¹³ Berlin I. Op. cit. P. 49—50.

¹⁴ Ibid. P. 56—79. Отметим, что де Местр был, по всей видимости, прототипом виконта-роялиста из салона Анны Павловны Шерер, изображенного в «Войне и мире» остросатирически (де Местр прямо упоминается в предварительных редакциях романа как лицо, принадлежащее к кружку А. П. Шерер. — Т. 13. С. 687, 710); последующие высказывания Толстого о де Местре были резко отрицательными (Т. 36. С. 102, 114). Ср.: Rzhnevsky N. The Shape of Chaos: Herzen and War and Peace // The Russian Review. V. 34. Oct. 1975. N 4. P. 379.

Принципиальный противник исторического детерминизма, который он определял как «историцизм», Поппер признавал, что Толстой «успешно» доказал «незначительность влияний действий и решений Наполеона, Александра, Кутузова. . . перед лицом того, что может быть названо логикой событий», и что исторические рассуждения в «Войне и мире» «могут напомнить нам, что в историцизме имеются *некоторые* здоровые элементы: это реакция против наивного метода интерпретации политической истории как простой истории великих тиранов и великих полководцев». Но присутствующая у Толстого идея «духа» — «духа времени, народа, армии» — вызывала у Поппера решительный протест: «. . . у меня нет ни малейшей симпатии к этим „духам“ — ни в их идеалистическом прообразе, ни в их диалектическом и материалистическом воплощении».¹⁵ В связи с этим К. Поппер даже не попытался понять, что означали понятия «духа армии», «духа народа» в системе Толстого и чем они, по представлениям писателя, определялись.

Опираясь на работу И. Берлина, автор большого исследования и комментария к «Войне и миру» Э. Симмонс утверждал, что возникающий в романе «контраст между всеобщей и вместе с тем иллюзорной свободой воли и историческим детерминизмом отражает внутренний конфликт, возникавший у самого Толстого между двумя системами». «Иррациональное пренебрежение к величю в „Войне и мире“» Э. Симмонс склонен был объяснять «собственной системой оценок» Толстого, например «чувством личной зависти к Наполеону. . .».¹⁶

Еще решительнее отвергает взгляды Толстого на историю Ф. Сили. Подобно И. Берлину, он утверждает, что историческая концепция в «Войне и мире» не только внутренне противоречива, но и не соответствует фактам; при этом, однако, Ф. Сили, как и Берлин, опирается не на собственное исследование источников, а на труды историков, в основном на книгу Л. Г. Бескровного об Отечественной войне 1812 года. Заметим также, что отмеченная Ф. Сили вслед за Л. Бескровным неточность Толстого в подведении итогов Бородинского сражения едва ли существенно изменила данную в «Войне и мире» оценку этих итогов. Наполеон и французские войска, по словам Толстого, «испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв *половину* войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения» (Т. 11. С. 262). По данным Л. Г. Бескровного, потери русской армии составляли примерно третью часть ее численности.¹⁷ Но ослабляло ли это «чувство ужаса» Наполеона перед армией, способной после таких потерь оставаться на прежних позициях?

Не более убедительными представляются и возражения Ф. Сили против философии истории Толстого. Иронизируя по поводу приписываемых Толстому «мощных аналитических способностей», Ф. Сили заявляет, что рассуждение Толстого о роли власти в исторических событиях основывается на элементарной логической ошибке, которая именуется «*non sequitur*» («не следует»). Толстой, по мнению его критика, смешивает понятие «причины» как «достаточного условия» с понятием «причины» как «необходимого условия»: в действительности власть и воля правителя не являются «достаточными условиями» для осуществления исторического события, ибо нужна еще совокупность благоприятных обстоятельств, но это не мешает им быть «необходимыми

¹⁵ Popper K. The Poverty of Historicism. London, 1961. P. 148—149.

¹⁶ Simmons E. J. Introduction to Tolstoy's Writings. Chicago, 1968. P. 72, 204.

¹⁷ Бескровный Л. Отечественная война 1812 г. М., 1963. С. 396. Ср.: Seeley F. F. Le réel dans le roman de L. Tolstoy // Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire orientales et Slaves. T. XVII (1966—1967): Dédié à B. Unbegaun. Bruxelles, 1968. P. 350—352.

условиями». ¹⁸ Однако Толстой вовсе не совершал той ошибки, которую приписал ему Ф. Сили. Напротив, он считал власть необходимым условием и единственной силой, «заставляющей людей направлять свою деятельность к одной цели». Именно в этом заключалось его основное возражение автору, с которым он был согласен в признании закономерности исторического процесса, — Г. Боклю: понятие власти «есть единственная ручка, посредством которой можно владеть матерьялом истории при теперешнем ее изложении, и тот, кто отломил бы эту ручку, как то сделал Бокль, не узнав другого приема обращения с историческим матерьялом, тот только лишил бы себя последней возможности обращаться с ним» (Т. 12. С. 305). Но является ли «необходимым условием» исторического события власть и воля определенного, конкретного человека, скажем, Наполеона? И служит ли его успех доказательством того, что события совершились по его воле? «Всегда, когда совершается событие, является человек или люди, по воле которых событие представляется совершившимся», — писал Толстой (Т. 12. С. 314).

Почему в одном случае исторический деятель достигает успеха, а в другом терпит неудачу? «Почему Наполеон III, когда его поймали в Булони (в 1840 году, когда он был еще принцем Луи Бонапартом, — Я. Л.), был преступник, а потом были преступники те, которых он поймал?» (Т. 12. С. 308). Почему происходят войны, революции, движения масс, почему в одних случаях они достигают успеха, а в других нет? Именно такие проблемы стремился решить Толстой, обращаясь к истории (Т. 12. С. 309, 313, 320). Но Ф. Сили явно не понял стремления писателя дать «прямые ответы» на эти «проклятые вопросы». Почему движение французской армии на Восток вплоть до Москвы оказалось возможным, а высадка в Англии не совершилась (Т. 12. С. 316)? — спрашивал автор «Войны и мира». А почему Толстой не объяснил неудачу «плана декабристов»? — отвечает контрвопросом Ф. Сили. ¹⁹ Лев Толстой, к сожалению, не осуществил свой первоначальный замысел, возникший еще до «Войны и мира», — написать роман о декабристах, и мы не можем услышать ответ писателя. Но вопрос нетрудно переадресовать его критику. В самом деле — почему? Почему восстание 1825 года в России не удалось, а революция во Франции пять лет спустя совершилась? Если бы Ф. Сили предложил хоть какое-нибудь объяснение этому, то мы получили бы счастливую возможность сравнить его «аналитические способности» со способностями Толстого.

В ряде случаев критик явно не желает вдуматься в смысл критикуемого им текста. По поводу замечания Толстого о непонятности того, «каким образом книга „Contrat social“ («Общественный договор» Руссо, — Я. Л.) сделала то, что французы стали топить друг друга», Ф. Сили язвительно заметил, что «если бы имело смысл подрывать аргументы Толстого, можно было бы указать, что книга, хорошо известная Толстому, Библия, вызвала больше кровопролития, чем „Общественный договор“». ²⁰ Но Толстой здесь вовсе не обличал Руссо, а, напротив, опровергал мнение авторов, считавших, что история управляется идеями, — так что критик в данном случае просто ломится в открытую дверь.

Подобная аргументация показала Ф. Сили совершенно достаточной для решительного отказа от «общепринятого» вывода о силе «аналитической и критической мысли» Толстого. Впрочем, некоторое снисхождение к Л. Толстому его критик все-таки проявляет. Толстой, великодушно признает он, владел «техникой писательского мастерства», подобно тому как Наполеон —

¹⁸ Seeley F. F. Tolstoy's Philosophy of History // New Essays on Tolstoy. Cambridge Mass., 1978. P. 179—183.

¹⁹ Ibid. P. 180—181.

²⁰ Ibid. P. 178.

военной техникой. Наполеон был «Толстым на поле брани», а Толстой — «Наполеоном в литературе». Но это не означает, заявляет Ф. Сили, что философствование Толстого «может представлять какой-либо интерес для философов, — обязанность доказать противоположное лежит на тех, кто верит, что оно представляет интерес».²¹

Несмотря на отмеченные выше пробелы в аргументации Ф. Сили, концепция его нашла сторонников. Полностью принял ее М. Фатрелл, заявивший, что «острые как бритва страницы» статьи Ф. Сили «окончательно уничтожили» философию истории Толстого, довершив работу, начатую уже прежде трудом И. Берлина.²²

Отрицательный взгляд на философию истории Толстого присущ отнюдь не всем иностранным авторам, писавшим о ней. Многие из них согласились именно с исходной мыслью И. Берлина — о необходимости отнестись ко взглядам писателя на историю со всей серьезностью. Как отмечал итальянский публицист и критик Н. Кьярамонте, взгляд Толстого на историю противостоял и представлению «о божественном Провидении, и мнению, согласно которому человеческий разум может управлять ходом истории».²³ В книге, посвященной «Войне и миру», Р. Кристиан справедливо заметил, что неточности Толстого в передаче источников и его отступления от них не имеют принципиального значения: «Замечательно именно то, что в работе такого огромного масштаба было обнаружено столь немного ошибок». Р. Кристиан писал, что главный тезис Толстого, согласно которому «процесс понимания истории начинается не с описания деятельности „великих“ людей, но с интегрирования бесконечно большого числа бесконечно малых человеческих действий, — этот тезис есть оригинальный вклад Толстого в роман».²⁴ «Приемлем ли этот тезис для читателя или нет, — писал Р. Кристиан в другом месте, — он не является ни абсурдным, ни ничтожным, как считали некоторые критики, ни противоречащим основному действию романа»; эмоциональные и героические поступки действующих лиц романа Толстого «сами по себе не опровергают его теории».²⁵

Итак, в иностранной критике и литературоведении нет единого взгляда на философию истории Толстого, как нет его и в русской литературе о Толстом; своеобразие заключается лишь в большей резкости отрицательных оценок. В общем же к серьезному восприятию исторической концепции Толстого приходят не те авторы — русские и иностранные, — которые спешат отстранить его «теорию мельчайших частиц, требующих интегрирования», как излишнюю в романе и нелогичную, а те, которые стараются продумать и осмыслить эту теорию. Это обстоятельство отметил американский исследователь Э. Весиолек, убедительно критиковавший ниспровергателей исторической теории Толстого.²⁶ Е. Н. Купреянова справедливо возразила С. Бочарову, утверждавшему, что в рассуждениях «Войны и мира» Толстой «не сводит концы с концами, объясняя исторический результат то стихийным и случайным совпадением произволов, то предопределением свыше».²⁷ Она показала, что историческая концепция Толстого «предполагает не постоянное вмешательство провидения в общественно-исторический процесс», а «самодвижение народов»: «Самодвижение, а не персональная воля отдельных власть имущих лиц. Но каждый его шаг является

²¹ Ibid. P. 188—190.

²² Futrell M. Tolstoi and History / Russian Literary Triquarterly. 1982. № 17. P. 64—72.

²³ Chiaramonte N. The Paradox of History. London, S. a. P. 29—55.

²⁴ Christian R. F. Tolstoy's «War and Peace»: A Study. Oxford, 1962. P. 80—83, 87—91, 94.

²⁵ Ibid. P. 110.

²⁶ Wasiolek E. Tolstoy's Major Fiction. Chicago; London, 1978. P. 112—127.

²⁷ Бочаров С. Роман Л. Толстого «Война и мир». 3-е изд. М., 1978. С. 28.

объективным результатом разнонаправленных и в этом только смысле „случайных“ личных произволов миллионов людей. . .».²⁸

Не претендуя на приоритет в истолковании философии истории Толстого, автор этой статьи хотел бы еще раз проследить последовательный ход рассуждений писателя.

* * *

Прежде всего отметим, что «разнонаправленность» человеческих воль не представлялась Толстому абсолютной: если бы они были вполне «разнонаправленными», то никакой равнодействующей, определяющей направление исторического процесса в определенный период (даже в рамках истории одной страны), не получилось бы. «Только допустив бесконечно-малую единицу для наблюдения — дифференциал истории, т. е. однородные влечения людей и достигнув искусств интегрировать (брать суммы этих бесконечно-малых), мы можем надеяться на постигновение законов истории. . . Для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно-малые элементы, которые руководят массами» (Т. 11. С. 265—266, 267). Что же это за «однородные влечения людей», составляющие «бесконечно-малые единицы» исторического процесса? Ясное и конкретное определение этого понятия Толстой дал в сюжетной части романа, где описывается пребывание Пьера Безухова в плену. Только там, пишет Толстой, Пьер «оценил наслаждение еды, когда хотелось есть, питья, когда хотелось пить, сна, когда хотелось спать, тепла, когда было холодно, разговора с человеком, когда хотелось говорить и послушать человеческого голоса. Удовлетворение потребностей — хорошая пища, чистота, свобода — теперь, когда он был лишен всего этого, казались Пьеру совершенным счастьем. . .» (Т. 12. С. 97—98).

Ход истории рассматривался Толстым как следствие интегрирования «бесконечно-малых элементов», «однородных влечений людей». Именно с этим связан пример с паровозом, приведенный в эпилоге к «Войне и миру»: одному кажется, что паровоз движет черт, другому — колеса, третьему — дым из паровой трубы. Но прав будет лишь тот, «кто придет к последней причине движения паровоза, к сжатою в паровике пару». Так же, по Толстому, должно быть объяснено и «движение народов» (Т. 12. С. 304—305). Разбирая этот пример, А. В. Гулыга увидел суть его в отрицании Толстым причинности в истории и нашел, что «Толстой не лучшим образом формулирует свою мысль». Но в разбираемом тексте Толстой вовсе не отстает от неприменимости понятия причины к истории — он как раз говорит о «последней причине движения паровоза», — а, напротив, утверждает, что если «единственное понятие, которое может объяснить движение паровоза, есть понятие силы, равной видимому движению», то «единственное понятие, посредством которого может быть объяснено движение народов, есть понятие силы, равной всему движению народов».

Как же осуществляется интеграция «однородных влечений», создающая силу, «равную всему движению народов» и определяющую их движение? Говоря о наполеоновских войнах, Толстой рассматривает их прежде всего как «движение людей Запада» «на Восток», как «необыкновенное движение миллионов людей» (Т. 11. С. 3, 6, 8, 266) с целью завоевания. Он утверждает,

²⁸ Куприянова Е. Н. О проблематике и жанровой природе романа Л. Толстого «Война и мир» // Русская литература. 1985. № 1. С. 162.

что в основе этого движения лежали не одни лишь стремления Наполеона и других государей, но и сочетание действий «каждого солдата». А. Гулыге вывод этот представляется «недостаточным, неутешительным, негибким».²⁹

Действительно, Толстой не определял сущность тех «однородных влечений», которые вызвали наполеоновские войны, но обусловленность их «силой, равной всему движению народов», едва ли может вызывать сомнения. Мы характеризуем это явление обычно как начало колониальных войн, связанных с социальными переворотами в Англии, Франции и других государствах. Новые, капиталистические отношения освободили и оторвали от сельского хозяйства множество людей — открылась возможность завоевания других, менее развитых стран. «Это была агрессия нового победившего класса, мобилизовавшего силы Западной Европы на подчинение стран Востока, готового превратить в колонии и полукolonии старые культурно-исторические государственные образования» — так переводит на современный исторический язык толстовское понятие «движения народов» А. А. Сабуров.³⁰ В конечном счете «движение» пошло не в том направлении, в каком оно развивалось первоначально: покорить Россию и европейские страны французским войскам не удалось, но Африка и большое число азиатских стран подверглись завоеванию, и осуществили его отнюдь не «гениальные полководцы», подобные Наполеону I, а сугубо посредственные военачальники. Однако самый факт этого «движения» вполне реален.

Из идеи «однородных влечений людей» как основных двигателей исторического процесса Толстой исходил и в утверждении, кажущемся странным и гиперболическим, — о том, что наполеоновские солдаты шли в сражение под Бородином «по собственному желанию», и «ежели бы Наполеон запретил им теперь драться с русскими, они бы его убили и пошли бы драться с русскими, потому что это было им необходимо». Почему необходимо? Толстой здесь вовсе не обвинял французов в какой-то особой воинственности. Вся наполеоновская армия, «французы, итальянцы, немцы, поляки — голодные, оборванные и измученные походом, в виду армии, загораживающей от них Москву», шли драться, «чтобы найти пищу и отдых победителей в Москве» (Т. 11. С. 219—220). Сознательный художественный гиперболизм, допущенный здесь Толстым, — только в заведомо невозможном предположении, что Наполеон мог накануне Бородина «запретить» своим солдатам драться. По мысли Толстого, Наполеон так же следовал ходу неизбежных событий, как и его солдаты, — ему «казалось только, что все дело происходило по воле его» (Т. 11. С. 220).

Стремление Наполеона и его солдат вступить в Москву, чтобы найти там «пищу и отдых победителей», было единым — этим и определялась осуществимость такого стремления. Приведенный ход рассуждения Толстого помогает нам понять и то его высказывание, которое казалось парадоксальным не только авторам, безоговорочно отвергающим философию истории в «Войне и мире», но и исследователям, относящимся к этой философии с достаточным вниманием и желанием понять ее. Мы имеем в виду утверждение Толстого, что отказ Наполеона «отвести свои войска за Вислу и отдать назад герцогство Ольденбургское» представляется причиной войны 1812 года не в большей степени, чем «желание или нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу», и что для осуществления войны необходимо было, чтобы миллионы ее участников «согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разно-

²⁹ Гулыга А. Искусство истории. М., 1980. С. 241—242.

³⁰ Сабуров А. А. Указ. соч. С. 277.

образных причин» (Т. 11. С. 5). А. А. Сабуров усматривает в этом утверждении «очевидный софизм», связанный с присущим Толстому игнорированием факта существования «государственного аппарата, являющегося огромным коэффициентом при личной силе носителя власти». Благодаря роли этого аппарата людям, для того чтобы исполнить волю носителей власти, «вовсе не надо было „соглашаться“»: «Вот чтобы не „исполнить“ волю упомянутых якобы единичных людей, им действительно надо было „согласиться“, и для этого потребовались усилия нескольких поколений». Наполеон не мог бы быть «рабом истории» и осуществлять исторический процесс, «если бы его роль как личности была равна нулю или одной мельчайшей единице, рядовому капралу, дифференциалу истории».³¹

Справедливым здесь представляется лишь утверждение, что для рядового человека подчиниться воле сильной власти несравненно легче, чем противостоять ей. Но упрек в «софизме», высказанный Толстому, и основные возражения ему проистекают, как нам представляется, из недостаточно точного рассмотрения терминологии писателя. Толстой нигде не утверждает, что «роль капрала» как личности равна роли Наполеона, — он говорит лишь, что решения Наполеона (подчинявшиеся логике развития завоевательной политики Франции) были «причиной» войны не в большей степени, чем «желание... капрала поступить на вторичную службу». Разъясняя взгляды Толстого, А. А. Сабуров справедливо отметил исходную мысль писателя: если бы Бонапарт был убит на Аркольском мосту, то вместо него нашелся бы другой человек, способный выполнить роль, «которая исторически должна была быть выполнена».³²

Конечно, историческая наука не знает эксперимента, и мы не можем вновь «поставить» историю начала XIX века, заменив Наполеона кем-нибудь другим. Но исследование параллельных исторических процессов в разных странах, как и исследование истории одной страны, почти всегда свидетельствует о наличии у «великого человека» своеобразных «двойников», которые могли бы претендовать на такую же историческую роль. Такие «двойники» были у Наполеона (Гош, Моро и другие). Такие же «двойники» находятся и у любого диктатора.

Само собой разумеется, что отказ одного капрала от вторичной службы имел бы для него лично иные последствия и произвел бы иное впечатление, чем отказ Наполеона от принятых им военно-дипломатических решений. Но Толстой, вопреки распространенному, но неверному пониманию его слов,³³ считал «дифференциалом истории» не одного капрала, не одного рядового человека, а «однородные влечения людей». И решающая роль этих «дифференциалов» сказывается при интегрировании их, создающем, по представлениям Толстого, тот самый «дух армии», «дух народа», который показался непонятным и вызывал протест К. Поппера. Об этом и говорил Толстой в своем рассуждении о «капрале»: «... ежели бы он не захотел итти на службу и не захотел бы другой, и третий, и тысячный капрал и солдат, настолько менее людей было бы в войске Наполеона». Говоря о том, что солдаты Наполеона «согласились» пойти на войну, Толстой вовсе не имел в виду некий сговор. Войска Наполеона «согла-

³¹ Там же. С. 287.

³² Там же. С. 278.

³³ *Перцев В.* Философия истории Л. Н. Толстого // «Война и мир»: Памяти Л. Толстого / Сборник под ред. В. П. Обнинского и Т. И. Полнера. М., 1912. С. 142; Л. Н. Толстой в свете марксистской критики. С. 83 (статья А. Мартынова); *Сабуров А. А.* Указ. соч. С. 282. Н. Скатов справедливо возразил в связи с этим А. А. Сабурову, что «дифференциалом истории» в представлениях Толстого был не «простой человек», а «однородные влечения людей» (*Скатов Н.* Некрасов: Современники и продолжатели. М., 1986. С. 182).

сились» сражаться за Москву и вступить в нее, ибо они стремились к отдыху и зимним квартирам. Но когда их встретили пустая столица, голод, холод и «дубина народной войны», они с еще большей силой устремились обратно. Можно ли говорить, что они «согласились» подчиниться приказу Наполеона об отступлении из России? Не правильнее ли будет сказать, что скорее Наполеон «согласился» на это стихийное движение, которое вовсе не входило в его первоначальные намерения?

Верно, что для того, чтобы осуществилось свержение монархии во Франции, в России и в других странах, понадобились «огромные усилия нескольких поколений». Но акт взятия Бастилии в 1789 году, революции 1830 и 1848 годов во Франции и февральская революция 1917 года в России не были прямым следствием какого-либо конкретного «соглашения» между участниками восстаний. Людовик XVI, Карл X, Луи-Филипп и Николай II имели, как и Наполеон, свой «государственный аппарат» и войско. Но войско это в критический момент не «согласилось» защищать королевскую власть, а рядовые граждане «согласились» ее свергнуть. Свержение власти, как и подчинение ей, часто бывает стихийным процессом, в определенный момент подводящим итог «усилиям нескольких поколений».

Историческая концепция Толстого логична и глубоко продумана писателем. Но историческое построение «Войны и мира» действительно заключает в себе некое противоречие — однако причина его коренится вовсе не в недостатках «логического мышления» писателя: он сам — лучше своих критиков — отмечал и подчеркивал это противоречие. «Если бы история имела дело с внешними явлениями», то «мы бы кончили наше рассуждение», писал он, признанием «простого и очевидного закона» — «общего закона необходимости». «Но закон истории относится к человеку», а человек не может признать свою волю несвободной и отказаться от какой бы то ни было деятельности: «Вы говорите: я не свободен. А я поднял и опустил руку. Всякий понимает, что этот нелогический ответ есть неопровержимое доказательство свободы» (Т. 12. С. 322—324). Если в признании «предустановленности» и неотвратимости исторического процесса Толстой сходил с Гегелем, то в решении вопроса о человеческой деятельности он непосредственно следовал другому философу — Канту.³⁴ «Доказав неотразимо с точки зрения разума закон причинности или необходимости, Кант по тому же пути разума приходит к признанию *Intelligible Wille* (сознательной воли, — Я. Л.), который, в противоположность воле чувственной, не подлежит закону причинности и может существовать наравне с общим законом необходимости», — писал он в одном из вариантов «Войны и мира» (Т. 15. С. 245). Наряду с понятием «дифференциала истории» он вводил поэтому и другое понятие — «бесконечно малую величину» свободы в человеческой деятельности. Полагая, что материалисты приписывают человеку «нуль свободы», Толстой указывал, что, согласно его взглядам, человек имеет «бесконечно малую величину свободы» (Т. 15. С. 321; ср.: Т. 12. С. 338). Именно поэтому, по справедливому замечанию американского исследователя Э. Весиолека, дилемма исторической необходимости и свободы, вопреки И. Берлину, не оставалась обойденной в «Войне и мире».³⁵

Но в какой степени «бесконечно малая свободы» дает возможность человеку влиять на историю? Не предопределяет ли закономерность явлений, возникающих вследствие «интегрирования» бесконечного числа «дифференциалов

³⁴ Ср.: Купрянова Е. Н. О проблематике и жанровой природе романа Л. Толстого «Война и мир». С. 166.

³⁵ Wasiolek E. Op. cit. P. 117—127.

истории», бессилия человека перед ходом исторического процесса? Не должен ли мыслитель, признающий причинную обусловленность исторических явлений, склониться перед их закономерностью, признав все совершившееся в прошлом «прогрессивным», а тем самым и «правильным», справедливым? Этот «проклятый вопрос», естественно возникающий перед читателем «Войны и мира», не теряет своей важности и сейчас, через 120 лет после написания романа. Попытки понять причинную обусловленность событий нашего века, включая самые трагические, почти неизбежно вызывают подозрения в склонности к «фатализму», который отвергает возможность «иного пути» в прошлом, «разрушает» человека и выгоден «власть имущим», ибо порождает смирение и покорность по отношению к самым злодейским преступлениям.³⁶ Но такое мнение несправедливо. Именно И. Клямкин, писавший недавно, что принудительная коллективизация и создание «административной системы» были не порождением злодейских умыслов отдельных лиц, а следствием «законов общественного развития, не зависящих от воли и сознания людей», заявлял, что признать это — вовсе не значит осудить тех, кто противодействовал насилию, и оправдать насильников. Признание «исторической необходимости» свершившегося ничуть не означает признания его «правды». Правда Петра I и правда Евгения из пушкинского «Медного всадника» не могут быть уравнены. «Правда на стороне Евгения, на стороне тех, кто страдает. И больше ни на чьей!»³⁷

Но именно такой была позиция Льва Толстого. Признавая, подобно Гегелю, неизбежность того, что уже совершилось в истории, он решительно отвергал гегельянство при решении вопроса о человеческой деятельности. По справедливому наблюдению Э. Весиолека, Толстой не подчинял понятие «свободы» понятию «необходимости».³⁸ «Мировой дух на коне» — в лице Наполеона или кого-либо другого — не вызывал у него никакого благоговения.

Человек обладает «сознательной волей». Вот почему герои Толстого думали не только о личной, но и об общественной деятельности. Сюжетное изложение романа завершается как раз спорами о полезности и допустимости такой деятельности — между Пьером Безуховым, уже решившим вступить в общество декабристов, и Николаем Ростовым, заявляющим, что если Аракчеев прикажет ему, он будет «рубить» любимых заговорщиков. Молчаливым, но едва ли не главным участником этого спора оказывается еще один персонаж — «забытый всеми мальчик» Николай Болконский, спрашивающий затем Пьера, был ли бы согласен с ним погибший в 1812 году отец Николеньки. Пьер отвечает утвердительно (Т. 12. С. 283—285). И кончается повествование в «Войне и мире» сном Николеньки, в котором он, дядя Пьер и отец идут впереди «огромного войска», а «дядя Николай Ильич все ближе и ближе надвигался на них» (Т. 12. С. 294—295).

Будущее Пьера нам известно из заранее написанного эпилога первоначальной версии романа — он будет декабристом, изведает тридцать лет сибирской каторги и ссылки. А юный Николай Болконский? Ему в 1820 году, на котором заканчивается роман, 15 лет, в 1825 году будет двадцать; это возраст ряда молодых декабристов. Но наиболее, пожалуй, любопытно, что во сне Николеньки вместе с ним и Пьером выступает и отец, князь Андрей, который накануне Бородинского сражения, искушенный опытом военной и политической деятель-

³⁶ Ср.: Клямкин И. Какая улица ведет к храму? // Новый мир. 1987. № 11. С. 150—188; Селюнин В. Истоки // Новый мир. 1988. № 5. С. 174; Лацис О. Перелом // Знамя. 1988. № 6. С. 125—126.

³⁷ Клямкин И. Указ. соч. С. 184—187.

³⁸ Wasiolek E. Op. cit. P. 122—127.

ности, высказывал Пьеру те самые мысли о невозможности руководить действиями человеческих масс (Т. 11. С. 205—206), к которым пришел Лев Толстой.

Если исторический процесс детерминирован, если он является следствием соединения бесчисленного числа человеческих волей, то что может и должен делать отдельный человек перед лицом истории? Этот вопрос, вставший перед Толстым во время написания «Войны и мира», продолжал стоять перед ним и в последующие годы.

* * *

Остался ли Толстой после «Войны и мира» верен своим взглядам на историю, высказанным в романе? Сохранил ли он, став проповедником «непротivления злу злом», убеждение в закономерности исторического процесса?

Как и всякий думающий человек, Толстой менял свои взгляды. Но никогда его мысли не подчинялись моде, «мыслям других людей». «Одни люди в большинстве случаев пользуются своими мыслями, как умственной игрой. . . а в поступках своих подчиняются чужим мыслям — обычаю, преданию, закону; другие же, считая свои мысли главными двигателями всей своей деятельности, почти всегда прислушиваются к требованиям своего разума и подчиняются ему. . .», — писал Толстой в «Воскресении» (Т. 32. С. 369). Сам он принадлежал ко второй категории людей. С еще большим правом, чем поэт XX века, он мог сказать о себе: «Нет, никогда ничей я не был современник. . .».

Мнения Толстого о конкретных политических событиях менялись после «Войны и мира», и довольно резко. В этом легко убедиться, сравнив высказывания Толстого до и после «Войны и мира». Вот как начинается характеристика Александра I в дневниковой записи 1865 года, предшествующей написанию книги: «Александр, умный, милый, чувствительный. . . ищущий высоты человеческой. . .». «Надо написать свой роман и работать для этого», — заканчивает Толстой эту запись (Т. 48. С. 61). А спустя двадцать лет Толстой характеризовал того же царя как «отцеубийцу» и создателя «аракчеевщины», в царствование которого «из 100 — 20 человек забивали насмерть» (Т. 26. С. 555, 564, 568—569). Именно Александра I Толстой сделал главным персонажем и повествователем незаконченных «Посмертных записок старца Федора Кузмича», говорящим о себе: «Я величайший преступник, убийца отца, убийца сотен тысяч людей на войнах. . .» (Т. 36. С. 60—61).

Во время написания «Войны и мира» Толстой был связан со славянофилами (Аксаковы, Хомяковы, Ю. Ф. Самарин) и с представителями консервативного направления общественной мысли (М. П. Погодин; М. Н. Катков). О влиянии славянофилов на его мировоззрение писатель вспоминал и впоследствии. «Никто из русских не имел на меня, для моего духовного направления, воспитания такого влияния, как славянофилы», — говорил он много лет спустя, но замечал, что взгляды славянофилов и их любовь к самодержавию архаичны, что они принадлежат «детству».³⁹

Сам он уже в годы написания «Войны и мира» от этого «детства» отходил. Недаром близкий к славянофилам Н. Н. Страхов, высоко оценивший роман сразу после его выхода в свет, решительно отверг историческую концепцию Толстого. Он упрекал писателя за то, что в «Войне и мире» тот не уделил доста-

³⁹ Маковицкий Д. П. Яснополянские записки // Лит. наследство. 1979. Т. 90. Кн. 2. С. 107—108; ср. предисловие В. Ф. Асмуса (там же. Кн. 1. С. 27).

точного внимания «борьбе России с Европой» и не закончил свою книгу рассуждениями, «из которых нам стал бы яснее смысл Бородинского сражения, сила русского народа, тот идеал, который нас тогда спас и живет до сих пор».⁴⁰ И действительно, тема войны была решена в «Войне и мире» совсем не так, как хотелось Страхову, — она рассматривалась там прежде всего как «противное человеческому разуму и человеческой природе событие». В сцене разговора с князем Андреем накануне Бородинского сражения Пьер понимает «скрытую» «теплоту патриотизма», одушевлявшую русские войска, но в той же сцене князь Андрей говорит, что «цель войны — убийство, орудия войны — шпионство, измена и поощрение ее. . . нравы военного сословия — отсутствие свободы, т. е. дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство» (Т. 11. С. 208, 209).

Именно взгляды, резко противостоявшие воззрениям славянофилов 60—70-х годов (почвенников) и консерваторов, получили в дальнейшем творчестве Толстого наибольшее развитие. Характерна в этом отношении реакция на широкую кампанию в пользу вступления в Балканскую войну, развернувшуюся в русской публицистике в конце 70-х годов. Как известно, последняя, восьмая часть «Анны Карениной» была отвергнута в 1877 году М. Н. Катковым и печаталась вне «Русского вестника» именно из-за высказанного там мнения, что война «есть такое животное, жестокое и ужасное дело, что ни один человек, не говоря уже христианин, не может лично взять на свою ответственность начало войны» (Т. 19. С. 387). За это же мнение осудил Толстого и Достоевский, посвятивший две главы «Дневника писателя» за июль—август 1877 года полемике с Толстым по «восточному вопросу» и заявивший, что «ревности о Христе» не противоречат призыв «убить турку».⁴¹ Явно отвечая на эти слова, Толстой писал в начале 1878 года Страхову, что готов принять разделяемое всеми «предание», «но когда мне предание. . . говорит: будемте все молиться, чтобы побить побольше турок. . . — я говорю: это предание ложное» (Т. 62. С. 382).

Своеобразным итогом расхождений с прежними друзьями был упомянутый Толстым в дневниках «спор о русском» со Страховым в 1890 году. «Одно из двух: славянофильство или евангелие», — записал Толстой и, вспоминая далее слова Герцена о противоестественности и чудовищности соединения «Чингис-хана с телеграфами»,⁴² продолжал: «Мы переживаем то ужасное время, о котором говорил Герцен. Чингис-хан уже не с телеграфами, а с телефонами и бездымным порохом. Конституция, известные формы свободы печати, собраний, исповеданий, все это тормоза на увеличение власти вследствие телефонов и т. п. Без этого происходит нечто ужасное и то, что есть только в России» (Т. 51. С. 61—62).⁴³

Как же отразилась эта эволюция в идеологии и политических взглядах Толстого на его философско-исторической концепции? Изменение взгляда на Александра I и монархию, резкое осуждение «Чингис-хана с телеграфами» —

⁴⁰ Страхов Н. «Война и мир». Сочинение гр. Л. Н. Толстого // Заря. 1870. Январь. С. 129—130.

⁴¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1983. Т. 25. С. 213—221.

⁴² К образу «Чингис-хана с телеграфами», заимствованному Толстым из письма Герцена Александру II (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 13. С. 38), Толстой возвращался неоднократно. Особенно заслуживает внимания замечание писателя, что «железные дороги, телеграфы, пресса» не только дают «могущественное орудие в руки Чингис Хана», но, с другой стороны, «соединяют людей в одном и том же сознании», вследствие чего народ «не может уже быть принужден повиноваться существующему правительству» (Т. 38. С. 165; ср. С. 161; ср. также: Розанова С. Толстой и Герцен. М., 1972. С. 134).

⁴³ Ср. также иронический отзыв Толстого о славянофильстве Страхова в письме к нему от 18 мая 1890 года (Т. 65. С. 94).

все это определялось новым изучением исторических материалов и в особенности эволюцией религиозно-нравственных воззрений писателя. Как смотрел теперь Толстой на «общий закон необходимости» в истории, вытекающий из «действий, совершаемых рядовыми участниками исторического процесса» и диктуемых их «однородными влечениями»?

Осуждение царской власти и того общества, в котором он жил, отнюдь не означало, что Толстой отрекся от того понимания истории, о котором он писал, что оно «трудами и страданиями выработалось во мне» (Т. 61. С. 195) и «выворочено с болю из моей утробы» (Т. 61. С. 217). Единственным аргументом в пользу предположения об изменении Толстым его взглядов на историю могло бы служить третье издание романа, подготовленное в 1873 году Н. Н. Страховым. Страхов исключил часть исторических рассуждений из основного текста романа и заменил «Эпилог» особым приложением — «Статьями о кампании 1812 г.». Издание Страхова не закрепилось в печатной традиции романа, но в 1964 году Н. К. Гудзий предложил признать «каноническим» текстом «Войны и мира» именно это издание, ибо в нем исторические рассуждения, казавшиеся Н. К. Гудзию «сомнительными», «сложными» и «спорными», были устранены или перенесены в приложение. Все остальные исследователи творчества Толстого отвергли предложение Н. К. Гудзиева, указав прежде всего на то, что в четвертом издании романа, подготовленном С. А. Толстой в Ясной Поляне в 1886 году, и во всех остальных прижизненных изданиях «Войны и мира» исторические рассуждения восстановлены в прежнем виде, — а между тем издание 1886 года готовилось с ведома Толстого, принимавшего участие в чтении корректур.⁴⁴ Да и страховскую переделку Толстой разрешил явно скрепя сердце и с большими сомнениями: «... благодарю за предпринимаемый труд, но, признаюсь, жалею. Мне кажется (я наверно заблуждаюсь), что там нет ничего лишнего» (Т. 62. С. 46).

Уступки Толстого при переиздании 1873 года объяснялись отнюдь не изменением его взглядов — напротив, в решении конкретных исторических вопросов Толстой за время, прошедшее с 1863—1869 годов, не только не сблизился со Страховым, но все более отдалялся от него. Главной причиной колебаний Толстого при переизданиях романа были соображения художественные — он чувствовал, что исторические отступления отяжеляли и без того обширную книгу. И в этом он был прав. Стодвадцатилетний опыт восприятия «Войны и мира» показал, что, к сожалению, значительное число читателей (в том числе и таких, которые охотно рассуждали о романе) пропускало впоследствии эти разделы или проглядывало их крайне невнимательно. Но не меньшее значение для Толстого имело изменение его взгляда на самую сущность писательской деятельности. Что нужнее людям — художественная литература или прямая проповедь? В «Исповеди» (1879), подводя итоги тому периоду, когда были написаны «Война и мир» и «Анна Каренина» (1862—1877), Толстой признавался: «Несмотря на то, что я считал писательство пустяками в продолжение этих пятнадцати лет, я все-таки продолжал писать» (т. 23. С. 10). Отсюда и спокойное отношение к переизданию этого «писательства».

Однако Толстой неоднократно заявлял о неизменности своего взгляда на историю, высказанного в «Войне и мире». Уже в 1883 году он говорил Г. А. Русанову, что его радует новое отношение критики, в частности французской, к его «историческим воззрениям в „Войне и мире“», которые «начинают це-

⁴⁴ Гудзий Н. Что считать «каноническим» текстом «Войны и мира»? // Новый мир. 1963. № 4; Жданов В., Зайденинур Э. Еще раз об издании сочинений Л. Н. Толстого // Русская литература. 1964. № 2. Итоги этого спора см.: Опульская Л. Д. Как же печатать «Войну и мир»? // Страницы истории русской литературы. М., 1971.

ниться», между тем как прежде его совсем отрицали «как мыслителя».⁴⁵ В 1890 году на запрос А. И. Эртеля, сохраняет ли он свою оценку Наполеона, данную в «Войне и мире», Толстой ответил: «Да, я не изменил своего взгляда и даже скажу, что очень дорожу им» (Т. 65. С. 4). В том же году он записал в дневнике: «. . . одно из обычных заблуждений людей то, что они делают то, что делается само собою, что они везут то, на чем сами едут. Государь правит государством, министр министерством, хозяйка домом и т. п. Они делают только то, что им велит делать предание и окружающие, и участвуют в общем движении» (Т. 51. С. 54). Это мнение совершенно аналогично известному читателям «Войны и мира» уподоблению Наполеона мальчику, дергающему «тесемочки, привязанные внутри кареты», воображая, что он сам правит (Т. 12. С. 92). В разговоре со своим английским биографом Эйльмером Моодом Толстой указывал, что, хотя «отвлеченные рассуждения» осложняли повествование в «Войне и мире», «он по-прежнему придерживается тех же мнений относительно влияния и роли „великих“ людей и того, что он тогда сказал о необходимости и свободе воли».⁴⁶

Историческая концепция «Войны и мира» не только не была отвергнута автором в последующие годы, но сыграла важнейшую роль в дальнейшем развитии его мировоззрения. Об этом со всей определенностью заявил сам Толстой в 1906 году в письме П. И. Бирюкову. Он объяснял, что «отрицательное отношение к государству и власти» окончательно сложилось у него под влиянием казни народовольцев в 1881 году, но что «началось это и установилось в душе давно, при писании „Война и мир“, и было так сильно, что не могло усилиться, а только усналось» (Т. 76. С. 114).

Какова же связь между этими двумя явлениями? Еще в «Войне и мире» Толстой, отмечая важнейшую роль «власти» в историческом процессе, задавал вопрос: «Если власть есть перенесенная на правителя совокупность воли, то Пугачев есть ли представитель воли масс?» (Т. 12. С. 308), и вопрос этот звучал достаточно внушительно в 60-х годах, после восстания в Бездне и других крестьянских волнений. Но тот же вопрос, и не менее остро, ставился в 1877 году в «Анне Карениной» — там, где Левин спорит с приезжими гостями об общественном движении в пользу вступления России в войну с турками. «. . . Могут быть случаи, когда правительство не исполняет воли граждан, и тогда общество заявляет свою волю», — говорит один из его оппонентов; «. . . мы видели и видим сотни и сотни людей, которые бросают все, чтобы послужить правому делу. . .», — указывает другой. Но Левин полагает, что таким же образом множество людей может соединиться «в шайку Пугачева», что «если общественное мнение есть непогрешимый судья, то почему революция, коммуна не так же законны, как и движение в пользу Славян?» (Т. 19. С. 387—392). Это место в «Анне Карениной» чрезвычайно шокировало Достоевского, который заявлял, что поскольку в данном случае «великий народ русский оправдал великую и вечную надежду нашу на него», и «царь-освободитель заодно с народом своим», то «сравнение с шайкой Пугачева, с коммуной и проч.» не могло ни с какой стороны быть «применено. . . к его благородному и кроткому движению».⁴⁷ Однако он так и не дал ответа на вопрос, поставленный Толстым еще в «Войне и мире»: что же

⁴⁵ Русанов Г. А., Русанов А. Г. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом: 1883—1901 гг. Воронеж, 1972. С. 30—31. Ср.: Гусев Н. О каноническом тексте «Войны и мира» // Вопросы литературы. 1964. № 2. С. 188.

⁴⁶ Maude Aylmer. The Life of Tolstoy. Oxford, 1930. V. 1. P. 422. Э. Моод посетил Толстого впервые в 1897 году; в 1906 году был вновь в Ясной Поляне (см.: Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого: 1891—1910. М., 1960. С. 234, 567). Первый том биографии Толстого был издан Моодом в 1908 году.

⁴⁷ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 25. С. 217.

является критерием народной воли, и если тот или иной монарх (Наполеон или «царь-освободитель») есть представитель «воли масс», то почему ее представителями не могут оказаться Пугачев или Парижская коммуна?

Всего через несколько лет вопрос о критерии «воли народа» и «общества» обрел новый и весьма острый смысл. Между общественным движением во время Балканской войны и революционной ситуацией конца 70-х годов существовала связь — она отмечена историками.⁴⁸ Многие из тех, кто поддерживал войну поработанных славян, сочли не менее справедливой борьбу за права угнетенных крестьян. Народническое движение развивалось сперва как мирное, затем стало на путь вооруженной борьбы. Первые казни народовольцев Толстой в 1879 году назвал «убийством заблудших беспомощных юношей» (Т. 23. С. 56). 1 марта 1881 года «Народная воля» убила Александра II; после этого она была разгромлена, а основные ее деятели казнены или заточены.

В своих позднейших воспоминаниях Толстой не случайно вспоминал эти события в связи со взглядами на власть и государство, высказанными им в «Войне и мире». Для писателя события 1881 года явились не только глубоким нравственным переживанием, но и своеобразным средством практической проверки его взглядов на историю. Еще в 1861 году в письме к Герцену Толстой причислил себя к «людям практическим» (Т. 60. С. 374), таким, которых философские размышления побуждают к действию. Что же он мог сделать?

В течение ряда лет он пытался воздействовать на власть. Решительно осудив царевубийство 1881 года, он счел смертный приговор первоапрельцам также несовместимым с христианским учением. Толстой обратился с письмом к Александру III, объяснив, что осужденные — не «бандиты», не «шайка», а «люди, которые ненавидят существующий порядок вещей»; он просил помиловать осужденных (Т. 63. С. 51, 52). Ответа не последовало; революционеры были казнены. Несколько раз он обращался и к Николаю II — в двух случаях по важным политическим вопросам, убеждая его согласиться на реформы государственной власти. Все эти обращения оказывались безрезультатными.

Неудача этих попыток лишней раз подтверждала мнение писателя о носителях власти как о фигурах, способных делать лишь то, «что им велит делать предание и окружающие». О Николае II Толстой писал в 1905 году, что это «жалкий, слабый, очень глупый человек, который никак не может быть причиной таких больших событий» (Т. 36. С. 448).⁴⁹

Однако представлялся и другой путь воздействия на историю. Если всякая власть, будь то «Екатерина или Пугачев», как вновь в 90-х годах отметил Толстой, есть порождение «борьбы одной власти против другой» (Т. 39. С. 91); то мыслим и путь снизу — противодействие государству. Противопоставляя «борьбе силою и внешними проявлениями» борьбу одной «духовной силой» (Т. 36. С. 158), Толстой исходил из стремления «верить в то, что человеку, а потому и человечеству, как собранию людей, стбит только захотеть, чтобы с корнем вырвать из себя зло» (Т. 52. С. 31). Но каким образом превратить индивидуальную волю человека в волю «человечества как собрания людей»? В «Войне и мире» Толстой отвергал мнение историков, полагавших, что «Общественный договор» Руссо породил Французскую революцию. Но если проповедь Руссо не была причиной революции во Франции, то могла ли проповедь Толстого вызвать революцию в России — и вдобавок ту мирную, ненасильственную революцию, о которой мечтал писатель?

⁴⁸ См.: Хевролина В. М. Революционно-демократическая мысль о внешней политике России и международных отношениях (конец 60-х—начало 80-х гг. XIX в.). М., 1986. С. 137—160, 167—198.

⁴⁹ Ср. аналогичное высказывание 1896 года, приведенное В. А. Поссе (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 2. С. 25).

Проповедь Толстого имела широчайшее распространение, но последствия ее были совсем не такими, к каким стремился писатель. Противоречивость позиции Толстого, его непоследовательность в 1905 году отмечалась неоднократно,⁵⁰ и едва ли нам необходимо теперь, почти век спустя, вступать с писателем в спор. Следует, однако, иметь в виду, что сам Толстой ясно ощущал и тяжело переживал противоречие между своими взглядами и действительностью. В феврале 1909 года, в годы реакции, он признается в записной книжке: «Главное же в чем я ошибся, то, что любовь делает свое дело и теперь в России с казнями, виселицами и пр.» (Т. 57. С. 200), а в июне 1910 года записывает в дневнике: «Страшно сказать, но что же делать, если это так, а именно, что со всем желанием жить только для души, для Бога, перед многими и многими вопросами остаешься в сомнении, нерешительности» (Т. 58. С. 65).

Историческое движение определяется не волей отдельных людей, будь то монархи или проповедники добра, а «интегрированием» бесконечного числа «дифференциалов истории» — «однородных влечений людей». Эта идея «Войны и мира» не только вновь и вновь возникала перед автором книги, но получила весьма наглядное воплощение в последней повести Толстого «Ходынка». Здесь описывалось поведение одного человека в многотысячной толпе, собравшейся во время коронации Николая II: «Емельян... напруживая здоровые, широкие плечи... раздвигал, как мог, и рвался вперед... потому только, что все рвались... Сзади его, с обоих боков были люди, и все жали его... Емельян... толкал передних, и хоть медленно, но двигался... Он увидел палатки, те палатки, из которых должны были раздавать гостинцы... та с начала поставленная себе цель: дойти до палаток и получить мешок с гостинцами... влекла его» (Т. 38. С. 208—209). Перед нами как бы модель исторического движения в представлениях Толстого. Что же может сделать один человек, затянутый в такое неумолимое массовое движение? Емельян в повести совершает одно: спасает мальчика, попавшего под ноги толпе, и лишившуюся сознания женщину.

Человеческая личность не может по своей воле повернуть ход истории — даже если эта личность Лев Толстой. Но человеку, по представлению писателя, принадлежит «бесконечно малая свободы» — собственная нравственная воля. «Последствия наших поступков не в нашей власти. В нашей власти только самые поступки наши», — написал Толстой в одной из последних своих статей, названной «Неизбежный переворот» (вариант названия: «Революция неизбежна» — Т. 38. С. 94, 512). Значит ли это, как писал в недавно опубликованной статье В. Краснов,⁵¹ что Толстой был «пассивистом» — противником всякой общественной деятельности? Едва ли. Ведь он считал необходимым «бороться с правительством орудием мысли, слова, поступков жизни, не делая ему уступок» (Т. 53. С. 7), а если «нельзя у себя — за границей, как Герцен» (Т. 55. С. 255), организовывал эмиграцию духоборов в Канаду. В конце жизни он особенно сблизился с В. Г. Короленко, и последний записал удивительный разговор с Толстым в 1902 году, когда его собеседник неожиданно заявил, что поведение революционеров-террористов «целесообразно» и что крестьяне, грабившие помещичьи имения, — «молодцы», а Короленко — бывший сысьный, никогда не считавший себя «непротивленцем», — отстаивал более мирные воззрения, чем Лев Толстой.⁵² После 1905 года Толстой вместе с Короленко —

⁵⁰ Ср.: Тютюкин С. В. Л. Н. Толстой и первая российская революция. (По «Яснополянским запискам» Д. П. Маковницкого) // Исторические записки. М., 1986. Т. 113. С. 154—207.

⁵¹ Краснов В. Wrestling with Lev Tolstoi. War, Peace and Revolution in A. Solzhenitsyn's New August Chetyrnadsatogo // Slavic Review. 1986. V. 45. N 4. P. 708.

⁵² Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1960. Т. 2. С. 193.

и весьма решительно — выступал против столыпинских военно-полевых судов и расправ над восставшими крестьянами.

За четыре дня до смерти, 3 ноября 1910 года, на станции Астапово умирающий писатель занес в записную книжку свой последний «план» — французскую поговорку: «Fais ce que doit, adv<ieppe que rougga>» («Делай, что должно, а будет то, что может совершиться») — текст не дописан Толстым (Т. 58. С. 126). «Этими знаменательными словами заканчивается навсегда дневник Льва Николаевича», — отметил В. Г. Чертков,⁵³ и несомненно, что последние написанные Толстым слова относятся не только к его жизни, но и ко взгляду на историю.

⁵³ Там же. С. 411.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ЭМЕРСОН: О СВЯЗИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

При решении творческих задач Л. Н. Толстой исходил не только из собственного жизненного и художественного опыта, но и из того знания, которое было уже достигнуто его отечественными и зарубежными предшественниками в области философии и эстетики. Соотнося свою мысль с ценностями, созданными мировой духовной культурой, Лев Толстой придал ей широчайшую перспективу, обусловившую значительное влияние его творчества на последующее литературное развитие во многих странах.

Очевидно, момент тождества или сходства является условием любого взаимодействия, и если сузить предмет изучения до связи эстетических систем Льва Толстого и американского трансцендентализма, то этот факт обнаруживается вполне отчетливо. А вместе с тем и факт обратного влияния, оказанного творчеством Толстого на развитие литературной мысли в США, получает дополнительное объяснение. Суждения, позволяющие предположить, что между произведениями Толстого и некоторыми явлениями литературного процесса в Америке существует определенная связь, высказывались еще при жизни писателя. Так, английский социолог и публицист У. Т. Стэд, посетивший Толстого в 1888 году в Ясной Поляне, отметил: «...американцы относятся к идеям Толстого более сочувственно, чем англичане. Его сочинения были переведены в Америке раньше, чем в Англии, и нашли за океаном более восторженных почитателей, чем у нас». Здесь же Стэд подчеркивает, что и сам Толстой с не меньшим сочувствием относится к идеям американских писателей — Р. У. Эмерсона, Т. Паркера и Г. Д. Торо, «с которым у него много общего».¹

В творческой биографии Л. Н. Толстого присутствует значительное число фактов, свидетельствующих о его устойчивом интересе к наследию лидеров американского трансцендентализма и позволяющих утверждать, что определенная общность в их воззрениях действительно существовала.

Первая дневниковая запись Толстого, где было упомянуто имя Р. У. Эмерсона — главы американской трансцендентальной школы, — относится к 1858 году. Тогда писатель прочел статью о немецком переводе двух эссе о Гете и Шекспире из книги Эмерсона «Представители человечества» в немецком журнале «*Literarisches Zentralblatt*». Эта книга имеется в библиотеке Толстого (лейпцигское издание 1856 года), и вполне возможно, материал в журнале потому заинтересовал писателя, что он уже был знаком с сочинением американского автора. Однако произведения Эмерсона, а также Торо, Паркера и близких к ним Чаннинга, Уитьера, Лоуэлла, Уитмена прочно вошли в круг чтения Толстого лишь в начале 80-х годов. Тогда и появились многочисленные дневниковые записи, выражающие одобрение и согласие, а оценки этих сочинений, данные впоследствии в статьях и устных высказываниях писателя, говорят не только о прочности первых впечатлений, но и о серьезном воздействии американского трансцендентализма на формирование идейных и художественно-эстетических принципов Льва Толстого.

¹ Лит. наследство. 1965. Т. 75. Кн. 2. С. 108.

Сам писатель расценивал это влияние как один из существенных факторов его творчества. Так, в 1900 году в ответ на предложение английского журналиста Э. Гарнета написать обращение к американскому народу Толстой заметил: «. . .если бы мне пришлось обратиться к американскому народу, то я постарался бы выразить ему мою благодарность за ту большую помощь, которую я получил от его писателей, процветавших в пятидесятых годах. Я бы упомянул Гарисона, Паркера, Эмерсона, Балу и Торо, не как самых великих, но как тех, которые, я думаю, особенно повлияли на меня. Среди других имен назову: Чаннинга, Уитиера, Лоуелла, Уота Уитмена — блестящую плеяду, подобную которой редко можно найти во всемирной литературе. И мне хотелось бы просить американский народ, почему он не обращает больше внимания на эти голоса. . .»²

Вероятно, до конца своих дней Л. Н. Толстой считал идеи трансценденталистов в высшей степени актуальными, поскольку принимал личное участие в издании их произведений в России³ и сполна представил эти идеи в «Круге чтения» (1904—1908), задуманном как ряд книг, «которые все говорят про то одно, что нужно человеку прежде всего, в чем его жизнь, его благо» (Т. 85. С. 218).

Обращение русского писателя-реалиста к творческому наследию трансценденталистов имело своим основанием прежде всего объективные причины. В эпоху стремительного развития капиталистических противоречий, когда напряженные внутренние конфликты вырастали в открытые столкновения противоборствующих группировок, американские трансценденталисты во главе с Эмерсоном и Л. Толстой, крупнейший художник России, стали в своих странах яркими выразителями настроений, в которых резкое отрицание буржуазных порядков противоречиво соединилось с верой в духовное перерождение людей как способ совершенствования общественного бытия. Преимущество духовного, а точнее, этического начала — вот тот основной признак, который сближал системы Эмерсона и Толстого; он и обусловил известное их сходство, способствовавшее в свою очередь возникновению живой связи между двумя этими системами. Сам Толстой именно в возвышении моральной идеи видел общность в развитии русской и американской литературной мысли, а условием этой общности считал совпадение общественных событий и обстоятельств, в которых происходило литературное движение в России и США в XIX веке. Он писал: «Великая литература рождается тогда, когда пробуждается высокое нравственное чувство. Взять, например, период освободительных движений, борьбу за отмену крепостного права в России и борьбу освобожденных негров в Соединенных Штатах. Посмотрите, какие писатели появились тогда в Америке: Гарриет Бичер-Стоу, Торо, Эмерсон, Лоуэлл, Уитьер, Лонгфелло, Уильям Ллойд Гаррисон, Теодор Паркер, а в России — Достоевский, Тургенев, Герцен и другие, чье влияние на образованные круги общества . . . было очень велико».⁴

Высокое нравственное чувство, всегда отличаемое Толстым как главное качество произведений американских писателей, соединилось в трансцендентализме с новыми представлениями о бытии человека, общества и природы. Идейное оформление трансцендентализма происходило под сильнейшим влиянием унитаризма, в котором пуританская духовно-культурная традиция со-

² Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1933. Т. 72. С. 397. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

³ В 1902 году в издательстве «Посредник» вышла книга Р. У. Эмерсона «О доверии к себе» под редакцией Л. Н. Толстого.

⁴ Лит. наследство. Т. 75. Кн. 1. С. 428.

четалась с просветительскими тенденциями в общественном сознании. Однако трансцендентализм не был только обмирщенной формой унитарного вероучения — то была оригинальная теория, составившая этап в развитии мировой философской мысли. Уникальность же американского трансцендентализма состояла в том, что в нем нравственному началу жизни впервые было придано онтологическое значение. В тот момент, когда социум «распался» на множество индивидуумов, движимых своекорыстными интересами, и экспансия личности, осуществляемая за счет ущемления прав других людей, обещала войну всех против всех, Эмерсон создал свой фундаментальный труд «Природа» (1836), где утвердил добро как высший принцип единства мира и обвинил современное ему общество в нарушении вселенских моральных законов.

Введя в свою систему гипотетическую категорию Сверхдуши, предсуществующей во внешнем мире и несущей в себе мировой нравственный закон, Эмерсон обосновал в конечном итоге не только возможность, но и необходимость общественного устройства в соответствии с принципами добра. Способом достижения этой цели американский философ считал нравственное совершенствование каждого человека — освобождение им собственной души, которая носит в себе закон высшего порядка, но томится под гнетом ложных, извращенных представлений о добре и истине. Эмерсон писал в «Природе»: «Как только ты подчинишь свою жизнь чистой идее, зародившейся в твоей душе, последняя раскроет свои великие возможности. Возвышение духа повлечет за собой соответствующую революцию в мире вещей».⁵

Лев Толстой, так же как и Эмерсон, возлагал большие надежды на нравственное совершенствование личности, и, следовательно, принцип этической целостности бытия имел для него такое же важное значение — тогда путь самосовершенствования обретал конечную цель в том смысле, что он вел человека к отношениям единства с внешним миром, восстановлению утраченной гармонии. Очевидно, представление о человеке как неотъемлемой части морального универсума, широко распространенное в эпоху Просвещения, стало одной из исходных предпосылок к развитию толстовской мысли в этом направлении. Однако в течение исторического периода, отделявшего мысль Толстого от идей просветителей, в общественной жизни произошли значительные изменения, которые повлекли за собой новое развитие философского знания. В эпоху Толстого этический принцип целостности нуждался не только в реабилитации, но и в реконструкции на новой основе. Проблема состояла в том, что в Просвещении, с его сосредоточенностью на самоценности личности, существовала тенденция к субъективной разработке этой основы, т. е. «помещению» универсального нравственного начала в конечную индивидуальность. Так, в книге швейцарского последователя Руссо Ф. Р. Вейсса «Нравственные основы жизни», которая на первоначальном этапе послужила Толстому своеобразным компендиумом проблем, поставленных просветителями перед последующими поколениями, вполне определенно указывается, что «личный интерес» есть «единственный стимул», «единственная сила, исходящая из души» человека «как центра».⁶ Субъективистская концепция приобрела законченное выражение в формуле категорического императива Канта, которая позднее, в период становления капитализма и, особенно, во время наполеоновских войн, была осмыслена как поощрение ничем не ограниченных индивидуалистических устремлений и вызвала решительный протест со стороны романтиков, прежде

⁵ Эмерсон Ралф. Эссе; Торо Генри. Уолден, или Жизнь в лесу. М., 1986. С. 66.

⁶ О влиянии взглядов Ф. Р. Вейсса на мировоззрение Л. Н. Толстого см.: Купрянова Е. Н. Эстетика Л. Н. Толстого. М.; Л., 1966.

всего немецких. Они разрушили субъективную этику Канта, но вместе с ней был утрачен и этический принцип целостности бытия.⁷ Отсюда — свободно утверждаемый культ гения от рождения, за которым признавалось исключительное право на познание абсолютной истины.

Элитаризм ни в коей мере не мог быть принят ни Толстым с его безграничным уважением к мысли народной, ни Эмерсоном, глубоко уверовавшим в демократические устои американской духовной культуры. По сути оба писателя стали перед одной и той же задачей — утвердить единство и равенство всех людей в добре, решить тождество субъекта и объекта на основе моральной идеи, но так, чтобы нравственный идеал мыслился всегда вне отдельной личности, а именно как существующая во внешнем мире цель, к которой должно устремить все помыслы, поступки и дела каждого человека. Примечательно, что для утверждения этического принципа целостности на *объективной основе* Лев Толстой и Эмерсон обращаются к христианскому вероучению. Безграничный «моральный идеализм Христа» Эмерсон противопоставляет «грубому приближению» — субъективизму Беркли, замкнутому на индивидуальном сознании: «И слепота ума наступает тогда, когда человек пребывает как вещь в себе. Слабоволие проявляется тогда, когда индивид пребывает как вещь в себе».⁸ Толстого в христианстве также привлекла идея бесконечного совершенства, внеположенная в мире, но, отрицая с этих позиций концепцию субъективизма в этике, писатель обнаруживает ее начало в исторически более отдаленной эпохе — в дохристианском, языческом сознании. Изучая труды Руссо и осмысляя их одновременно с чтением диалогов Платона,⁹ Толстой отдает явное предпочтение христианской этике как вероучению, предполагающему бесконечный процесс совершенствования, или движения человека к всеобщей идее любви и добра. По сути за этим выбором стояло утверждение объективизма в этике в противовес тем направлениям в философии, которые ставили индивидуалистическую мораль над общечеловеческими нравственными законами: «Достижение высшей добродетели по языческому учению возможно, и всякая ступень достижения имеет свое относительное значение: чем выше ступень, тем больше достоинства, так что люди с языческой точки зрения разделяются на добродетельных и недобродетельных, на более или менее добродетельных. По христианскому же учению, выставившему идеал бесконечного совершенства, деления этого не может быть» (Т. 29. С. 59).

Очевидно, именно недостигаемость нравственной всеобщности, ее защищенность от всевластия отдельного индивида более всего привлекали Толстого и Эмерсона в христианстве. Однако моральные идеи, воспринятые через теологическую систему, отделились в художественной мысли обоих писателей от атрибутов официальной веры и развивались в их эстетических системах независимо от данных атрибутов. С этой точки зрения разрыв Толстого с православной церковью, а Эмерсона — с унитарной представляется вполне закономерным, ибо само понятие о боге как мировом нравственном сознании, ставшее неотъемлемой частью их философских воззрений, далеко выходило за пределы религиозных доктрин. Очень важным в этой связи представляется высказывание Толстого, в котором он упрекнул новых философов в том, что они «признают одно сознание себя индивидуума (так называемого

⁷ По этому вопросу см.: Литературная теория немецкого романтизма: Документы / Под ред. Н. Я. Берковского. Л., 1934.

⁸ The Works of Ralph Waldo Emerson. London: G. Bell and Sons, 1913. Vol. 1. P. 145. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

⁹ О влиянии этики Платона и Руссо на формирование воззрений Л. Н. Толстого см.: *Галаган Г. Я.* Художественно-этические искания Л. Н. Толстого. Л., 1981.

субъекта), тогда как сознание — именно сознание всего мира, так называемого объекта, так же несомненно» (Т. 48. С. 127).

Таким образом, основанием обеих эстетических систем, создатели которых были разделены огромным расстоянием и значительным промежутком времени, стала идея бесконечного добра, подчиняющего себе многообразие предметов и явлений действительности; в ней осуществлялся синтез субъективного и объективного и происходило соединение логических понятий с объемными художественными образами, обладавшими неисчерпаемой глубиной. Но в основании коренились и различия, разводящие системы: если для Эмерсона добро было в первую очередь способом единения человека и вселенной, то для Толстого оно было прежде всего средством единения всех людей. В этой связи справедливо и для данного случая заключение, выведенное Е. Н. Купреяновой из сопоставления эстетических позиций Л. Н. Толстого и представителя романтического направления русской мысли Н. В. Станкевича: «Социальным эквивалентом умозрительной категории „всеобщности жизни“ и столь же умозрительного идеала приближения „отдельной“ личности к этой всеобщности посредством любви выступили в сознании и творчестве Толстого „общая“ жизнь крестьянских масс и приобщение к ее нравственным нормам. Это и явилось тем новым содержанием, которое внесла эпоха Толстого в унаследованные им философские традиции русской общественной мысли тридцатых годов. . .»¹⁰

Принципиальные различия в понимании объекта — трансцендентально-мистическом у Эмерсона и социально-конкретном у Толстого — распространялись на всю сферу субъектно-объектных отношений в их эстетических системах, но нравственный идеал оставался общей для обеих систем мерой единства этих отношений. Возникновению этой общности, помимо указанных уже внешних факторов, способствовали и внутренние предпосылки литературного процесса в Америке и России. Как известно, реализм в русской литературе, так же как и романтизм в США, имел универсальный, синтетический характер и свободно включал в себя некоторые черты, свойственные другим направлениям. Н. Я. Берковский отметил в этой связи, что русский реализм «пограничен» с романтикой: «Он заходит глубже, чем показано наличной действительностью, а это уже приближает к романтизму».¹¹ Что же касается американского романтизма, то, возникнув гораздо позднее, чем романтизм европейский, и пережив свой расцвет в тот период, когда Диккенс, сестры Бронте, Теккерея и Бальзак уже выступили со своими произведениями, он соприкоснулся и с реализмом — но преимущественно в теоретической области.

Р. У. Эмерсон, глава трансцендентализма и основоположник американской эстетики, был поставлен перед необходимостью оценки новых явлений. Еще в 40-х годах он высказал первые свои суждения по поводу реалистических романов, созданных в Европе, а в дальнейшем развил и углубил мотивировку этих первичных суждений. В конечном итоге американский теоретик в высшей степени проникательно определил сущность метода критического реализма, признав новый роман «естественным плодом и экспрессией нашего времени» и предсказав ему великое будущее; но критику и отрицание враждебных обстоятельств без утверждения силы, способной им противостоять, он считал неприемлемой для целостного художественного произведения. Эмерсон был убежден, что источник этой силы скрыт в человеке, и задача художника — найти его. И потому, чувствуя приближение реалистической эпохи в американской лите-

¹⁰ Купреянова Е. Н. Указ. соч. С. 77.

¹¹ Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975. С. 151.

ратуре, Эмерсон настойчиво призывал писателей не только к точному воспроизведению обстоятельств, но и к глубокой разработке характеров, проникновению в самые основы человеческой природы: «Как далек еще от жизни, нравов и движущих сил наш роман! Жизнь нема, время еще не обрело свой голос. . . Но когда-нибудь он найдет путь к нашему внутреннему существу, он не останется навсегда просто романом об обстоятельствах» (Vol. 9. P. 114).

Очевидно, жизненная перспектива, приданная эстетике трансцендентализма самой художественной реальностью, была столь широка, что ее не смогли ограничить пределы романтического направления. Поэтому впоследствии трансцендентализм не только сохранил свою жизнеспособность, но продолжал интенсивно воздействовать на другие эстетические системы, в том числе и инородные. Лев Толстой в полной мере оценил новизну и практическую значимость учения Эмерсона; он неоднократно упоминал имя Эмерсона в одном ряду с именами Руссо, Канта, Паскаля — великих мудрецов, которые, как он считал, учили человека «исправлять себя, увеличивать в себе любовь ко всем людям и уничтожать в себе все то, что препятствует этой любви» (Т. 38. С. 414). Однако следует особо подчеркнуть, что Толстой приветствовал заокеанского мыслителя как единомышленник, самостоятельно пришедший к сходным выводам, в частности при осмыслении национальной действительности. Движение идей, сблизивших художественно-эстетическую мысль Толстого и Эмерсона, происходило тогда уже на новой ступени опыта и знания, которые обусловили стремительную их прогрессию в реалистическом искусстве.

В 1852 году, когда Эмерсон разрабатывал свою «Философию души» применительно к законам писательского творчества, Лев Толстой выступил с повестью «Детство». В то время писатель не был еще знаком с первой философией трансцендентализма, но аналогии обнаруживаются в самом развитии авторской мысли. Толстой изображает действительность с позиций нравственного идеала, так что именно нравственное совершенствование личности утверждается как важнейшее условие гармонического бытия, устройства человеческой жизни по законам добра. Отсюда глубокий психологизм, направленный на поиски нравственного начала в сознании индивида, — именно то свойство, которое Эмерсон считал необходимым для создания истинной картины бытия. Толстой, заметил Н. Г. Чернышевский, всего более занимает «сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души».¹² По-видимому, такое содержание, насыщенное глубинными психологическими коллизиями, вполне удовлетворило бы требования, предъявляемые романтиками к литературному произведению и сформулированные в литературных теориях братьев Шлегель, Новалиса, Колриджа, Эмерсона. Но в не меньшей степени это содержание отвечало принципам реалистической эстетики: деятельность сознания в «Детстве» рассматривается как продукт взаимодействия индивида и реальной внешней среды, а не как процесс соединения в разуме идеального и земного миров, на которые «расколосось» мироздание в романтизме.

В повести присутствует еще один момент, который изначально — и довольно определенно — обозначил элементы тождества и различия в системах Эмерсона и Толстого, позднее развившиеся соответственно в конструктивные и деструктивные элементы связи. Это момент преемственности, соединяющий мысль Толстого с философией Просвещения: в концептуальную основу «Детства», как известно, заложена идея о первородном совершенстве человека. И у Эмерсона эта идея, прочно укоренившаяся в сознании его соотечественников благодаря трудам просветителей и унитарийцев, не только сохранена,

¹² Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1947. Т. 3. С. 423.

но и возведена в принцип развития системы; однако американский философ разрабатывает ее способом восхождения к трансцендентному бытию, и только через апелляцию к запредельному Добру он утверждает самоценность личности. Толстой, напротив, полностью сосредоточивает свое внимание на реальной действительности. И тогда на первый план выступает чисто реалистическая тенденция изображения, когда индивид ставится в повседневную зависимость от жизненных обстоятельств; и проблему для Толстого составляет не только познание человеком добра и совершенства для себя, но утверждение их во внешнем мире через действительный человеческий опыт — в поведении, деятельности, поступке. Несколькими годами позднее писатель подтвердил свою позицию: «Во всех веках и у всех людей ребенок представлялся образцом невинности, безгрешности, добра, правды и красоты. Человек рождается совершенным, — есть великое слово, сказанное Руссо, и слово это, как камень, останется твердым и истинным. Родившись, человек представляет собой первообраз гармонии, правды, красоты и добра. Но каждый час в жизни, каждая минута времени увеличивают пространства, количества и время тех отношений, которые во время его рождения находились в совершенной гармонии, и каждый шаг и каждый час грозит нарушением этой гармонии! . . .» (Т. 8. С. 322).

Раскрывая связь личности и среды, Толстой мыслит противодействие как существенный элемент этой связи. Соединение противоположностей, восстановление целостности в отношениях человека и внешнего мира стало для писателя задачей первостепенной важности, и, решая эту задачу, он с самого начала положил мерой единства нравственный идеал, подчинив ему все помыслы и действия первого же своего героя — Николеньки Иртеньева. И Эмерсон в Америке, размышляя над проблемой единства и целостности, неоднократно подчеркивал, что сущность мира — в добре: «Тем живет Вселенная. Все вещи моральны. Та душа, которая внутри нас живет как чувство, вне нас есть закон. Мы чувствуем, как она вдохновляет нас, но в истории мы видим ее роковую силу. „Она существует в мире, и мир стоит на ней“» (Vol. 1. P. 54).¹³ Как уже говорилось, оба автора настаивали на моральном тождестве субъекта и объекта и на том основывали принцип целостности бытия. Но реализация этой идеи в писательской практике была задачей много более сложной, чем ее доказательство в теории. Если Эмерсон логически «надстроил» реальный мир, чтобы поместить в «надстройке» абсолютное добро, и тем удовлетворился, то Толстой имел в своем распоряжении только реальность; и только жизнь, то, что он сам видел и знал, а не логическая абстракция могла быть для него доказательством. И именно потому не состоялся «Роман русского помещика», что единство его замысла было разрушено глубоким противоречием между идеалом и правдой жизни, за которой стояло реальное зло крепостных отношений в России. С самого начала основная творческая задача — утверждение нравственного идеала — была сопряжена для Толстого с проблемой ее практического осуществления в тех конкретных обстоятельствах, которые составляют реальное окружение человека.

В рассказах «Набег» (1852), «Рубка леса» (1853—1855), «Записки маркера» (1853) писатель раскрывает мотивы человеческого поведения в чрезвычайных, но опять-таки вполне реальных ситуациях. Использование этого приема позволяет показать, что люди вынуждены преступать нравственный закон, уступая

¹³ В изданном переводе: «Это и поддерживает жизнь во вселенной. Все в ней имеет свою душу. Ее присутствие ощущается нами лишь смутно, хотя вне нас она действует как закон. В нас она вызывает вдохновение, в масштабе же всей человеческой истории ее решающее воздействие ощущается гораздо явственней и зримей. Она всемогуща. Вся природа ощущает на себе ее воздействие. „Она живет в мире, который сам был создан ею“» (*Эмерсон Ралф. Эссе. . .* С. 167).

силе враждебных обстоятельств. Но эта уступка, как считал Толстой, в не меньшей степени обусловлена и собственными, эгоистическими стремлениями индивида, во власть которых он отдался без должной борьбы и которые неминуемо вовлекают его в пучину нравственного падения. Такой вывод вполне сообразовался с эмерсоновским истолкованием причин общественного зла: зло в его учении было результатом несправедливых поступков индивидов, отступившихся от законов чести и добродетели ради своих корыстных желаний. Толстой значительно увеличивает роль внешних обстоятельств по сравнению с Эмерсоном, но столь же твердо ставит вопрос об ответственности каждого человека за свои дела и поступки, о его моральном долге перед самим собой и другими людьми. Сознание есть достояние всякого разумного существа, и его активная работа должна препятствовать всему, что не согласуется с истиной. Позднее Толстой так сформулирует свою мысль: «Если нет свободной деятельности разума, уничтожающей в людях соблазны и тем освобождающей в них божественную сущность их жизни, — любовь, если весь человек есть произведение условий, его окружающих, и причин, ему предшествовавших, то нет ни добра, ни зла, ни нравственного, ни безнравственного, и незачем нам и думать, и говорить, и писать письма и статьи, а *надо жить, как набезжит*, как говорит пословица. Попал я в дурную наследственность и среду — буду злой; попал в хорошую — буду добрый. Я думаю, что это не так. Я думаю, что каждый человек обладает свободной, творческой, божественной силой» (Т. 68. С. 161).

В «Севастопольских рассказах» (1855) Толстой показывает, что высокие моральные действия, вдохновенные «свободной, творческой силой», могут совершать простые, обыкновенные люди — «и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством» (Т. 4. С. 7). Более того, автор подчеркивает, что мужественные поступки совершаются именно большинством защитников города, слагаясь в массовый героизм. Здесь Толстой развивает мысль о возможности социального определения добра и зла — категорий, которые в трансцендентализме выступали как универсальные и нерасчленимые. Утверждая принцип преобладания добра над злом, писатель возлагает свои надежды на реальную общественную силу. И силу эту он видит в простом народе, извечном хранителе высших моральных истин. Люди же, отделившиеся от народа и ему себя противопоставившие, более всего склонны к нравственному падению: «Да спросите по совести прапорщика Петрушова и поручика Антонова и т. д., всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтоб получить лишнюю звездочку или треть жалованья» (Т. 4. С. 53).

Толстой, как известно, в «Севастопольских рассказах» основывался на достоверных событиях, в которых он сам принимал участие во время обороны Севастополя; и если в процессе работы над «Романом русского помещика» автор отталкивался от идеала, то здесь метод восхождения к художественному образу от реалий, а не от понятия позволил писателю значительно обогатить и те понятия, сообразно которым он строил обобщение. В рассказе «Севастополь в мае» Толстой высказывает в этой связи чрезвычайно важную мысль о приоритете жизненной правды над идеей, даже если эта правда не укладывается в известные логические пределы: «Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны... Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его, и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда» (Т. 4. С. 59). Этот выбор стал незыблемым законом толстовского

творчества, и с этих позиций он вел принципиальный спор со своими предшественниками, отделяя созданные ими непреходящие духовно-культурные ценности от того, что безвозвратно ушло вместе с прошлым, и «поверяя то, что есть, тем, что было» (Т. 30. С. 429).

С этой точки зрения повесть «Казаки» (1852—1863) приобретает значение философско-эстетической демонстрации — в особенности если ее сопоставить с рассказом «Люцерн», вышедшим в свет несколькими годами раньше. В «Люцерне» (1857) автор не находит иной альтернативы людской несправедливости, кроме некоего всеобщего духа, возвышенного над реальностью. Такой способ утверждения добра предполагал романтическое членение внешнего целого на мыслимый и чувственно воспринимаемый миры. В «Казаках» же Толстой прерывает эту тенденцию: он вновь разделяет объект (внешний мир), но не на реальное и идеальное, а на природу и социум, причем именно последнему придает особое значение предмета познания и направляет на него деятельность субъекта (личности). Если учесть, что в трансцендентализме понятие социального, составляющего вместе с природой внешнее целое, но не тождественного ей, не было развито, а Толстой в период работы над повестью был уже знаком с сочинениями Эмерсона, то сопоставительный анализ в данном случае позволяет с известной определенностью выявить те элементы трансцендентальной эстетики, которые были неприемлемы для реалистической художественной системы и которые сам Толстой отверг как инородные.

В программном труде «Природа» Эмерсон писал: «... все, отделенное от нас, все, обозначаемое в Философии как „не-я“, иными словами, как природа, так и искусство, все прочие люди и собственное мое тело должны быть объединены под именем природы».¹⁴ Абсолютизация природного и подавление социального начала в человеческом бытии настолько сблизили трансцендентализм с философией Руссо, что идею соединения человека с природой как способ достижения гармонии Эмерсон включил в свою систему почти в первоизданном виде: «В лесах мы возвращаемся к разумности и к вере. Здесь я чувствую, что на мою долю никогда не выпадет ничего дурного — ни унижения, ни бедствия. . . которых не могла бы поправить природа».¹⁵ Безусловно, Толстой в свою эпоху не мог удовлетвориться таким решением. Не отвергая изначально, природного совершенства человека, он все же мыслит его как индивида, подчиненного общественным законам, которых одна лишь природа исправить не может. Поэтому главной проблемой для Толстого становится социальное развитие, его необходимость и направленность. Впоследствии, настаивая на значительности этого вопроса, писатель прямо противопоставит свою точку зрения концепции, выработанной во французском Просвещении: «Меня сравнивают с Руссо. Я много обязан Руссо и люблю его, но есть большая разница. Разница та, что Руссо отрицает всякую цивилизацию, я же отрицаю лже-христианскую. То, что называют цивилизацией, есть рост человечества. Рост необходим, нельзя про него говорить, хорошо ли это или дурно. Это есть, — в нем жизнь» (Т. 55. С. 145).

И уже в «Казаках» это различие обнаружилось довольно очевидно — задолго до того, как оно было подчеркнуто Толстым. Герой повести Оленин мечтал войти в грубый и естественный мир простых людей, чтобы обрести в нем ту первоизданную свободу, к которой устремлялось его существо и которая, как ему казалось, была невозможна в цивилизованном обществе. Однако соединение с «натуральной средой» не состоялось. И не только потому, что сам

¹⁴ Там же. С. 24.

¹⁵ Там же. С. 26.

герой навсегда остался чужим для казаков, но и потому, что разрушены были его идеальные представления о «естественной» жизни. Воровство, пьянство, бессмысленные убийства, совершаемые казаками, есть зло несомненное. И это позволяет предположить, что естественный человек, по Толстому, — это не первозданный продукт природы, а конечная цель общественного развития. И каждый человек должен пройти часть общего пути вместе со своими братьями и современниками, сколь бы ни был труден этот путь.

Таким образом, прогресс для Толстого есть необходимость, которую все люди должны не только принять, но и осознать. Но главным содержанием, которое писатель вкладывал в понятие роста или развития, было именно духовное развитие, достигаемое нравственным совершенствованием отдельных людей. Очевидно, закономерен тот факт, что повесть «Казачьи» была произведением, непосредственно предшествовавшим роману «Война и мир» (1863—1869, 1873), в котором разворачивается «этическая» концепция истории и предметом художественного познания становится нравственное содержание исторических событий. В романе во взглядах Толстого обнаруживаются моменты, свидетельствующие о принципиальном сходстве его исторической концепции с философией истории Эмерсона. Условием аналогий по-прежнему остается соответствие исходных предпосылок, заключающихся в принципе этизации жизненных явлений и процессов. В «Казачьих», соотнося прошлое с настоящим, Толстой сосредоточил основную мысль в сфере нравственных отношений, так что именно мораль стала мерилом ценности двух общественных форм жизни, сопоставленных через воспоминания и непосредственные восприятия главного героя. В «Войне и мире» моральный критерий истины принял форму законодательного принципа, которому писатель подчинил созданные им образы-события, образы-характеры и образы-обстоятельства. Нравственный закон в романе обнаруживается как внешняя необходимость, постепенно раскрывающая себя в исторических судьбах общества и течении жизни отдельных людей, и никто не может преступить эту необходимость без ущерба для окружающих и самого себя. Такое же толкование присутствует и у Эмерсона: «Это закон всех действий, который не может быть пока сформулирован, но который очень прост; который освещает жизнь каждого человека, и каждый человек знает о нем больше, чем вся наука; который, будь он назван Необходимостью, Духом или Возможностью, выступает как Закон такого порядка, что вся история является лишь его иллюстрацией; это закон, который восседает подобно рулевому у кормила и направляет ход революций, войн, переселений, торговли, устанавливает законодательную власть и который все-таки, при всей своей возвышенности, проявляется в самых глубинах человеческой жизни».¹⁶

Очевидно, возвышение морального фактора в обоих случаях было результатом того, что и Эмерсон и Толстой шли к пониманию общественной истории от отдельной личности, хотя русский писатель много отчетливей, чем Эмерсон, видел и показывал зависимость личности от социального бытия. В первой серии эссе американский философ писал: «История общества, история естествознания, история искусства и история литературы — все это должно объясняться историей одного человека, в противном случае все останется пустыми словами».¹⁷ Примерно так мыслил и Толстой: «Каждый исторический факт необходимо объяснять *человечески* и избегать рутинных исторических выражений» (Т. 46. С. 212). Безусловно, точное знание о социальном процессе,

¹⁶ The Early Lectures of Ralph Waldo Emerson. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1959. Vol. 1. P. 370.

¹⁷ Эмерсон Ралф. Эссе... С. 118.

его внутренних законах и движущих силах таким образом получить вряд ли возможно. Тем не менее писатель-реалист продвинулся на этом пути гораздо дальше, чем Эмерсон, потому что, неукоснительно следуя своему правилу, он никогда не подчинял жизненную правду идее, сколь бы эта идея ни казалась привлекательной. Реалистический метод, соединенный с высочайшим гуманизмом и мастерством, дал чрезвычайно точное и бесконечно впечатляющее изображение исторических событий и человеческих судеб в романе «Война и мир».

Ставя вопрос об истории и ее творцах, Толстой прочно связывает события прошлого с важнейшими проблемами современности. Одной из них была экспансия личности, или индивидуализм, возведенный в норму человеческого поведения в буржуазном обществе. Автор романа не только показывает неисчислимые бедствия и страдания, на которые индивидуализм обрекает массы людей, но и прослеживает историко-социальные корни этого явления. Образу Наполеона в этой связи придано значение типичного представителя толпы, обуреваемой жадной властью и наживы и готовой заплатить за них любой ценой, в том числе и человеческими жизнями. Эмерсон столь же решительно низверг идола «жадных буржуа» в своей знаменитой книге «Представители человечества». Он писал: «Бонапарт был кумиром заурядных людей, потому что в высшей степени обладал качествами и способностями заурядностей. . . Я называю Наполеона агентом или адвокатом среднего класса современного общества, толпы, которая наполняет рынки, магазины, конторы, фабрики, корабли в современном мире и жаждет разбогатеть» (Vol. 1. P. 478, 492). Наполеон для Эмерсона — не исторический герой, каким считали его многие современники, но лишь «индивид, занявший самое высокое положение среди самого культурного народа в эпоху самой высокой культуры и не имевший понятия о простой правде и чести» (Vol. 1. P. 493). Автор «Войны и мира», прочтя эссе Эмерсона уже после создания романа, разделил это мнение полностью, и в нем всего более важным для Толстого было социальное определение явления. Он записал в дневнике: «Читал Эмерсона Наполеона — представитель жадного буржуа-эгоиста — прекрасно» (Т. 49. С. 108). В своем романе он подверг столь же беспощадному суду и лидера французских буржуа, и всех, кто его поддерживал: «. . . никогда, до конца жизни своей, не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого. . . Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра и всего человеческого» (Т. 11. С. 257—258).

История падения Наполеона раскрыта Толстым в первую очередь как поражение злой воли индивида, движимой эгоизмом и противодействующей устремлениям человеческого большинства. Но ей придана и более широкая перспектива, выводящая мысль к вопросу о роли личности в истории. Автор «Войны и мира» решительно выступил против абсолютизации личности и культа героев, созданного английским писателем Т. Карлейлем и обретшего опасную популярность в Западной Европе и России. Толстой ясно осознавал реакционность этой тенденции в общественном мышлении и потому, при всем своем сочувствии к романтическому гуманизму Карлейля, отверг «почитание героев и героическое в истории» без колебаний, как, впрочем, и Эмерсон, чтивший Карлейля — своего друга и учителя. Толстой пишет в романе: «. . . есть законы, управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупываемые нами. Открытие этих законов возможно только тогда, когда мы вполне отрешимся от отыскиванья причин в воле одного человека. . .» (Т. 12. С. 66—67). Линия

Кутузова, альтернативная линии Наполеона, продолжает авторскую мысль в том плане, что «воля исторического героя не только не руководит действиями масс, но сама постоянно руководима» (Т. 12. С. 66). Мудрость русского полководца, как считал Толстой, состоит в знании того, что «решают участь сраженья не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти» (Т. 11. С. 245).

Познание «неуловимой силы, называемой духом», представляло особенно важную задачу для писателя. В пределах романтизма Эмерсон решал ее посредством трансцендентальных категорий: всеобщий «дух» слался из деятельности отдельных человеческих душ, каждая из которых была копией мировой «Сверхдуши», сообщалась с нею и так постигала конечное добро. У Толстого эти логические «этажи» часто вызывали раздражение. «Эмерсон сильный человек, но с дурью людей 40-х годов», — записал он однажды в дневнике (Т. 49. С. 94). Но в «Войне и мире» писатель, так же как и Эмерсон, этизирует всеобщность и возвышает ее над всем, что происходит на земле. Андрей Болконский постигает эту всеобщность под Аустерлицем, и ему «так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен ему казался сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял» (Т. 9. С. 358). Символизация объекта (через образ высокого неба) и прием одномерного раскрытия для героя его вселенского морального смысла (как справедливого и доброго) сближают здесь художественную мысль Толстого с трансцендентальной эстетикой Эмерсона. Но только на мгновение, потому что процесс познания моральной истины — именно познания, а не единокатного ее постижения — писатель разворачивает исключительно в сфере реальности. Духовная деятельность Андрея Болконского и Пьера Безухова описана как активное отражение в разуме тех конкретных отношений со средой, в которые герои ежедневно и ежечасно вступают в своей повседневной жизни.

Действия и поступки, приближающие человека к нравственному идеалу, а не одна лишь работа ума, были для Толстого важнейшими этапами жизненного пути. Эмерсон, напротив, направил все свое внимание на деятельность сознания, расширенную за счет подключения внутренних душевных сил; он считал, что истинное знание о добре, полученное в результате этой деятельности, само повлечет за собой изменения в «мире вещей». В поисках ответа на вопрос о субъективных факторах нравственного совершенствования американский философ разрабатывает свою знаменитую доктрину «доверия к себе». Он писал: «Отбрось в сторону все свое послушание и открой людям Божество. Смотри на него — и только на него; мода, обычай, авторитет, удовольствие, деньги — ничто для тебя и не заслоняют твой взор; живи преимуществами своего ума» (Vol. 9. P. 407). Толстой, как о том свидетельствуют дневниковые записи, принял эссе «Доверие к себе» с одобрением. Но еще более образу его мыслей отвечало эссе ученика Эмерсона Г. Торо «О гражданском неповиновении». И потому, возможно, оно стало одной из любимых книг Толстого, что в нем содержалось то, чего не было в отвлеченном учении Эмерсона, — утверждение права человека на *действие* и *поступок*, направленные против несправедливых общественных устоев, общепринятых, но не согласующихся с истиной норм. Но здесь следует отметить, что эта идея отвечала собственному убеждению Толстого, сложившемуся задолго до первого знакомства с сочинениями Торо. И это убеждение вполне отчетливо звучит в «Войне и мире» в словах, осуждающих пассивную жизненную позицию Николая Ростова: «Как в Тильзите Ростов

не позволил себе усумниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь, после короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его (он это чувствовал) непреодолимо влекла куда-то» (Т. 12. С. 25).

Проблема жизненной позиции, за которой для Толстого всегда стоял выбор нравственный, в романе «Анна Каренина» (1873—1877) приобретает острую социальную значимость.

Приветствуя в свое время роман «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, Эмерсон писал: «Самые серьезные вопросы начинают обсуждаться в романах. Разве не потому популярен роман „Джейн Эйр“, что в нем дан ответ на один из центральных вопросов? — Проблема, которая решалась там в отношении к неудачному браку, всегда будет рассматриваться в соответствии с конкретной политикой конкретной партии» (Vol. 3. P. 114). Очевидно, Эмерсон имел в виду ту теснейшую сопряженность личных и общественных судеб, которая проявляется во всех сферах жизни как объективный закон человеческого бытия и раскрытие которой составляет важнейший принцип реалистического искусства. В романе Толстого внутрисемейный конфликт, выдвинутый на первый план, тысячами нитей связывается с жизненными противоречиями, обнаружившимися в пореформенную эпоху в России во всех областях социальных отношений и проникающими в отношения частные, так что за проблемой разрушения семьи возникает глобальная проблема распада всего общества. Об «Анне Карениной» Ф. М. Достоевский писал: «У писателя — художника в высшей степени, беллетриста по преимуществу, я прочел три-четыре страницы настоящей „злобы дня“, — все, что есть важнейшего в наших русских текущих политических и социальных вопросах, и как бы собранное в одну точку».¹⁸

Решая вопрос о судьбе личности, Толстой исходил из условий социальной разобщенности, все увеличивающегося разрыва между богатой, знатной и трудящейся, но неимущей частью общества. Как несомненную истину утверждал писатель превосходство «трудовой, чистой и общей» жизни простого народа над «тягостной, праздною, искусственной и личной» жизнью (Т. 18. С. 290—291) привилегированных классов, ставящих своекорыстные интересы над необходимостью всеобщего блага и творящих свое бытие по законам вражды и борьбы за существование. С этой точки зрения предвестие перелома уже ощутимо в той решимости, с которой писатель судит о нравственной несостоятельности своего общества. Но в «Анне Карениной» он еще не пришел к тем радикальным выводам, о которых позднее напишет в «Исповеди». Линия Константина Левина разработана именно как история неустанных поисков выхода из порочного окружения в мир любви и добра. Закон добра раскрывается Левину в общении с крестьянами, знающими об этом законе больше, чем ученые, ибо знание его рождается в самых глубинах трудовой народной жизни: «Простоту, чистоту, законность этой жизни он ясно чувствовал и был убежден, что он найдет в ней то удовлетворение, успокоение и достоинство, отсутствие которых он так болезненно чувствовал» (Т. 18. С. 291). Но путь сближения с народом остался для Левина неисповедимым, единение не состоялось. Его реальная жизнь, как и прежде, протекает в окружении, в котором он родился, к которому принадлежал. И все-таки Толстой не отказывает своему герою в надежде: утешение приходит через субъективное переживание чувства причастности к великим законам добра, властвующим во вселенной. Глядя на ночное небо,

¹⁸ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1983. Т. 25. С. 51.

освещаемое грозowymi отсветами и как бы соединяющееся в этом свете с землей, Левин в мысли своей обретает наконец желанное успокоение: «Да, одно очевидное, несомненное проявление Божества — это законы добра, которые явлены миру откровением, и которые я чувствую в себе, и в признании которых я не то что соединяюсь, а волею-неволею соединен с другими людьми в одно общество. . .» (Т. 19. С. 398).

Как видно, в финале романа Толстой открывает путь идеального, чисто мыслимого преодоления «разорванности» земного бытия под знаком высшей и внеположенной моральной идеи. Такой способ завершения системы столь сходен с трансцендентальным методом Эмерсона, что даже характер образного его претворения в романе обнаруживает поразительное сходство с символикой эмерсоновских эссе. В «Кругах» Эмерсон писал: «Но вот является Бог и превращает изваяния в людей с пылающими сердцами, и от его огненного взора вспыхивают скрывавшие весь мир покровы, и тогда открывается нам значение всех вещей. . . Как безраздельна власть божественных мгновений, когда мы перестаем испытывать даже раскаяние. День за днем я обвиняю себя в праздности, в бесполезности своего существования, но лишь польются в меня божественные волны — и я перестаю думать о потерянном времени».¹⁹

Очевидно, Эмерсон понимал «неполноту» субъективного постижения единства, когда цель и оправдание собственной жизни обретаются в мысли и не имеют продолжения в реальности. Знал это и Толстой. Ему понадобилась «Исповедь», чтобы до конца сказать то, что осталось невыраженным в «Анне Карениной». Если в романе жизни Левина еще придается «несомненный смысл добра», который он сам «властен вложить в нее» (Т.19. С. 399), то в «Исповеди» Толстой выносит окончательный приговор всем, кто входил в сословие богатых и образованных: «. . . со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. . . Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом» (Т. 23. С. 40). Естественно, Толстой размышляет и об экономических причинах социального зла, точно определяя, что корни его в системе собственности: «Собственность в наше время есть и источник страданий людей, имеющих или лишенных ее, и укоров совести людей, злоупотребляющих ею, и опасность за столкновение между имеющими избыток ее и лишенными ее. И собственность есть в наше время то самое, на что направлена почти вся деятельность нашего современного общества, то, что руководит почти всей деятельностью нашего мира» (Т. 25. С. 397).

Значение экономических отношений для всей общественной жизни вполне осознавал и Эмерсон: «Докопавшись до самых основ философии собственности, мы откроем новые россыпи практической мудрости, которая в конечном итоге преобразит облик всего мира, позволит покончить с возведенным в систему обманом, что был признан на протяжении веков главным искусством государственного управления, очистит науку о государстве, докотившуюся до такого позора, что слово „государство“ стало означать обман, от всякой скверны. . . осветит глубину этики и пересмотрит все виды отношений между людьми».²⁰ Эмерсон «до самых основ философии собственности» не дошел, предоставив решение этой проблемы будущему и тем завершив свою систему. Он не отрекся от убеждения, что в несправедливо устроенном обществе равно

¹⁹ Эмерсон Ралф. Эссе. . . С. 228, 231.

²⁰ Цит. по: Паррингтон В. Л. Основные течения американской мысли. М., 1962. Т. 2. С. 459.

страдают все — как имущие, так и неимущие; и здесь его позиция явно сближается с позицией Канта, который полагал, что «мучения одинаково сильно увеличиваются у обеих сторон: у одной — вследствие чужого насилия, у другой — из-за внутренней неудовлетворенности».²¹

Не так мыслил Толстой. Наблюдая и переживая события конца XIX века в России, он уже не мог уравнивать народные мучения с беспокойным чувством «внутренней неудовлетворенности» класса собственников. И в созданном после перелома романе «Воскресение» (1889—1899) писатель в полной мере отразил действительный жизненный опыт этого класса и народного большинства. Рассказ о падении и возвышении героини ставит теперь проблему возрождения не только личности, но и целого народа — нищего, задавленного бременем непосильного труда и невзгод. Толстой пишет: «Народ вымирает, привык к своему вымиранию, среди него образовались приемы жизни, свойственные вымиранью, — умирание детей, сверхсиловая работа женщин, недостаток пищи для всех, особенно для стариков. И так понемногу приходил народ в это положение, что он сам не видит всего ужаса его и не жалуется на него» (Т. 32. С. 217).

Расширив показ страданий и бедствий до всенародных масштабов, Толстой в «Воскресении» выходит за пределы одной только критики и обличения существующих порядков — он вскрывает всеобщую несостоятельность частнособственнического строя, так что дальше уже невозможен никакой иной вывод, кроме вывода о необходимости коренных общественных перемен: «Главная причина народной нужды, сознаваемая и всегда выступающая самим народом, состояла в том, что у народа была отнята земля, с которой он мог кормиться» (Т. 32. С. 217—218). И потому, в отличие от Эмерсона, убежденного в том, что каждый человек, сколь бы низко он ни пал, может спастись, Толстой, выведя на сцену героиню из народа (Катюшу Маслову) и представителя землевладельческой аристократии (Нехлюдова), возлагает совсем неравные надежды на возрождение каждого из них. Этот момент достаточно отчетливо раскрывается с появлением «третьих» действующих лиц. Речь идет о революционерах, образы которых выписаны в романе не только достоверно, но и с достаточной долей сочувствия. Толстой не принял идеи революционного преобразования общества, но он убедительно показал, что появление и рост революционных настроений были вполне закономерны. Так, подчиняясь этой закономерности, сделал выбор Крыльцов; возможно, и выбор Катюши Масловой, пробудившейся к новой жизни и связавшей свою дальнейшую судьбу с революционерами, был запечатлен Толстым как предзнаменование судеб народа. Приговор же, вынесенный Нехлюдову, суров: писатель обрывает его путь в настоящем, подвергая сомнению его будущее. И это твердое решение вполне сообразовывалось с признанием, сделанным однажды Толстым: «Главное же, в чем я ошибся, то, что любовь делает свое дело и теперь в России с казнями, виселицами и пр.» (Т. 57. С. 200).

Но истолкование этого высказывания или финала романа «Воскресение» возможно лишь в том плане, что они до известной степени противостояли толстовской идее непротивления, но не подавляли ее вовсе. Иначе в концепции творческой эволюции оказались бы сокрытыми те противоположности, которые всегда присутствовали в мировоззрении Толстого и которые были отражением реальной борьбы в общественном сознании в эпоху первой русской революции. Действительно, «Отец Сергей», «Божеское и человеческое», «Иеромонах Илиодор» — произведения, написанные в эпоху революционного

²¹ Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 465.

подъема, — свидетельствуют об убежденности писателя в том, что «истинное социальное улучшение достигается только религиозно-нравственным совершенствованием отдельных личностей» и что «чем выше в религиозно-нравственном отношении будут люди, тем лучше будут те общественные формы, в которые они сложатся, тем меньше будет нравственного насилия и совершаемого им зла» (Т. 36. С. 156—157). Но и в религиозности своей Толстой был в первую очередь художником-гуманистом, ибо само понятие о боге, присутствующее в его эстетической системе, есть именно символическое выражение идеи единства мира, художественный эквивалент всеобщего добра, в котором писатель и полагал это единство. В этом смысле религия была столь же необходима Толстому, сколь Эмерсону был необходим условный трансцендентный мир, «помещенный» им за пределы четырехмерного континуума и содержащий в себе чистое добро. «О боге знать ничего нельзя, — сказал однажды Толстой, — он нужная нам гипотеза, или, вернее, единственное возможное условие нравственной разумной жизни. Как астроном для своих наблюдений должен отправляться от земли как от неподвижного центра, так и человек без идеи о боге не может разумно и нравственно жить».²²

Принцип этической целостности бытия, на основе которого Толстой осуществлял художественный синтез противоречий своей эпохи, распространился и на собственно теоретическую часть его эстетической системы. Отстаивая в споре с формалистами приоритет содержательной, идейно-нравственной стороны художественного творчества, Толстой неоднократно подчеркивал, что именно в содержании выявляется «главное значение искусства, значение объединения» (Т. 57. С. 132). В этой точке теории Толстого и Эмерсона пересекаются: ведя борьбу с «аристократами духа» — романтическими последователями кантианского формализма в Америке, — Эмерсон также раскрывает всеобщность искусства через понятие о нравственном идеале как универсальном содержании искусства и отрицает концепцию формы как единственного средоточия эстетических свойств. Далее обнаруживается существенное расхождение: основой идеала для Эмерсона была трансцендентальная категория добра, т. е. Добро, отнесенное в запредельный мир и там соединенное с Истиной и Красотой; у Толстого же никакого чистого, существующего вне реальности, добра не было и быть не могло. В трактате «Что такое искусство?» (1897—1898) писатель отвергает логические построения, сводящие в триединство некие отвлеченные Добро, Красоту и Истину, которые «не только не имеют никакого определенного смысла, но мешают тому, чтобы придать существующему искусству какой-нибудь определенный смысл. . .» (Т. 30. С. 78). Для Толстого эта искомая определенность в искусстве заключалась в исторически и социально конкретной идее всеобщего блага; и выражение этой идеи — не умопостигаемой в трансцендентном бытии Добра, а зародившейся и выношенной в сознании народном — он считал высшей задачей искусства. «В каждое данное историческое время и в каждом обществе людей, — писал Толстой, — существует высшее, до которого только дошли люди этого общества, понимание смысла жизни, определяющее высшее благо, к которому стремится это общество. Понимание это есть религиозное сознание известного времени и общества. Религиозное сознание это бывает всегда ясно выражено некоторыми передовыми людьми общества и более или менее живо чувствуемо всеми» (Т. 30. С. 152). Подлинное искусство, по Толстому, и является выражением высшего знания о высшем общественном благе, и оно противостоит, именно

²² Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959. С. 172—173.

в силу своей всеобщей значимости, декадентскому искусству, отражающему частные, эгоистические интересы привилегированных сословий.

По сути теория Толстого и учение Эмерсона были двумя различными, обусловленными своим временем формами обоснования демократических принципов искусства. Общим же для обеих теорий было утверждение этих принципов через раскрытие нравственного содержания эстетического идеала.

Относительное сходство систем Толстого и Эмерсона обнаруживается прежде всего в способе снятия противоречий. Как и Толстой, Эмерсон универсально отразил в своем этическом учении те насущные жизненные проблемы, которые были выдвинуты в период капитализма, и его система разделилась на две противостоящие части — мыслимое и реальное. Чтобы восстановить целостность, американский философ «надстраивает» эстетику, в которую переносит обнаруженные противоположности, но не для того, чтобы преодолеть их в теории и на том успокоиться, а для того, чтобы сосредоточить художественную мысль на поисках новых путей и решений. И не за собой Эмерсон оставил последнее слово, а за писателями, которые — он был уверен — должны глубже проникнуть в природу вещей. В сущности Эмерсон поставил эстетическую идею над трансцендентальной философией, так что внутри системы существовали предпосылки к тому, чтобы прогрессивное содержание освободилось от идеалистической формы его обоснования. С этой точки зрения движение мысли Толстого аналогично диалектике трансцендентального учения Эмерсона, хотя разворачивалось оно в новую эпоху и в новой по отношению к трансцендентализму системе — реалистической. Но, опираясь на этические понятия в изображении предметов и явлений действительности, Толстой неизмеримо расширял эти понятия за счет включения в создаваемые образы конкретных свойств и черт, объективно присущих запечатленному предмету. В результате художественный образ обретал самостоятельное бытие, относительно независимое от первоначально вложенного в него смысла, и раскрывался для других людей с течением времени — по мере того как увеличивалось знание о его жизненном содержании. Яркость и объемность образов, созданных Толстым, зависели не от одной лишь силы художественного таланта; прогрессивной, в высшей степени способной к развитию оказалась и их понятийная основа — бесконечная гуманистическая мысль. Так была достигнута та универсальность художественного изображения, которая сделала искусство Толстого близким и понятным многим народам мира и которую Эмерсон в своей теории определил как цель литературного творчества.

ОПТИНА ПУСТЫНЬ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Предлагаемая работа касается темы, пока остающейся в стороне от ведущих направлений историко-литературной науки. Тема эта — литература XIX века в контексте современной ей живой православной культуры. Весь духовный объем последней, ее историческая динамика, реальное значение в русской жизни прошлого столетия не рассматривались подробно в связи с литературным процессом. А сделать это необходимо хотя бы уже потому, что именно в точках соприкосновения обеих сфер мы находим исключительно глубокую постановку «вопроса о человеке».

Предваряя будущие обстоятельные исследования, мы обращаемся теперь к одному лишь, но характернейшему явлению православной культуры — к знаменитой Оптиной пустыни, о которой известно, что она привлекала пристальное внимание многих наших литераторов, а в деятельности иных сыграла весьма заметную роль.

Сейчас наша задача ограничивается тем, чтобы, во-первых, показать, что составляло истоки и содержание оптинской аскетики, а во-вторых, — обрисовать фактическую сторону отношений русских писателей с Оптиной пустынейю.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

1

Прежде чем говорить собственно о связях русской литературы с Оптиной пустынейю, надо сказать о том, что такое Оптина как явление нашей культуры и чем она могла привлекать к себе русских писателей.

Оптина пустынь завершает собой самый значительный период в истории русского подвижничества — с XIV по XIX век. Старцы Оптиной дали новую жизнь традициям восточнохристианской аскетики, слив их с духовным опытом русских подвижников — Феодосия Печерского, Сергия Радонежского, Никола Сорского, Паисия Величковского, Тихона Задонского, Серафима Саровского. Пора расцвета Оптиной — с 1830-х до 1890-х годов — отмечена органическим единством религиозно-философской мысли и нравственно-аскетической практики, что особенно было свойственно старцам Макарию, Амвросию и их окружению. Путь «внутреннего устройства», сама монашеская схима стали в Оптиной формой общественного служения, ибо отзывались на духовные запросы нации, утоляли тоску по христианскому идеалу, сильную и глубокую как в народной массе, так и в части интеллигенции.

Полное название монастыря — Козельская Введенская Оптина пустынь Калужской епархии. Некоторые источники (а основываясь на них, и Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона)¹ называют пустынь еще и Маркарьевой, ссылаясь на иноческое имя ее легендарного основателя. По местному,

¹ Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. СПб., 1897. П/т. 43. С. 50.

очень глухому преданию, некий разбойник Опта, раскаявшись, стал монахом, приняв имя Макария, и, вероятно, в XIV веке устроил небольшую пустынь близ г. Козельска на берегу Жиздры.

Автор наиболее полного и достоверного «Исторического описания Козельской Оптиной пустыни и Предтечева Скита»², не отвергая окончательно легенды об Опте, высказывает и иное соображение о происхождении названия знаменитой пустыни. Во-первых, он указывает на тот факт, что Оптинской называется еще одна — Троицкая Болховская пустынь в Орловской губернии (ее иногда смешивают с Козельской).³ Во-вторых, он напоминает, что до 1499 года многие монастыри устраивались на две половины, так что в одной обители жили иноки и инокини. Такие монастыри назывались общими (общим как раз именовался упомянутый Болховской монастырь до литовского его разорения). А общность, совокупность, соединенность чего-либо в одно целое обозначалась некогда словом *обт* (*опт*), от которого образовались слова «оптом», «оптовщик».⁴ Отсюда могло пойти и название Оптиной.

Долгое время монастырь оставался тихой, небогатой, немногочисленной обителью. Только в 1689 году было начато построение каменного собора во имя Введения во храм Пресв. Богородицы (от него пустынь получила название Введенской). Но с конца XVII века Оптина приходит во все большее запустение, разделяя судьбу множества русских монастырей, которым в ту эпоху была уготована участь или казарм, или богаделен. В 1724 году в Оптиной оставалось 12 «насельников»; вскоре она была упразднена.

Но уже тогда с нею был тесно связан, видимо, немалый круг православных мирян, среди которых были богатые и влиятельные люди. Один из них, стольник Андрей Петрович Шепелев, подал прошение о восстановлении пустыни, что и было разрешено Синодом в 1726 году.

Возрождение Оптиной начинается с конца XVIII века. Митрополит Московский Платон (Левшин), во времена Екатерины II стремившийся возобновить некоторые православные традиции, омертвевшие в эпоху «уставного благочестия» и в синодальный период, решил учредить в Оптиной монашеское пустыннообщежительство афонского типа. За образец он принял основанную еще учеником Сергия Радонежского Песношскую обитель. Из нее вышли, во главе с о. Авраамием, несколько монахов, ставших устроителями и иноками возрождавшейся Оптиной пустыни.

Благодаря назначенному императором Павлом Петровичем пособию и образованию самостоятельной Калужской епархии монастырь получил возможность строиться, принимать новых иноков. В 1821 году при нем был устроен Предтечевский Скит, в скором времени ставший средоточием оптинского старчества. В пору упадка религиозной жизни скиты оставались редкими очагами истинного подвижничества и углубленного богомыслия. Таковы рассеянные по России скиты в Рославльских лесах, в Саровской, Коневской, Белобережской пустынях.

В 1825 году настоятельство в Оптиной переходит к скитона начальнику

² Автор, скрывшийся за инициалами Е. В., — видимо, о. Ераст, «один из лучших Оптинских монахов», по мнению К. Леонтьева; в миру Ераст Кузмич Выдропский, дворянин, близкий знакомый Т. И. Филиппова. См.: Александров А. I. Памяти К. Н. Леонтьева; II. Письма К. Н. Леонтьева к Анатолию Александрову. Сергиев Посад, 1915. С. 52, 117.

³ Оптиная Болховская пустынь была названа вместо Козельской Оптиной в комментариях к «Степному королю Лиру» Тургенева (Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 28 т. М.; Л., 1965. Т. 10. С. 499). В следующем издании эта ошибка исправлена (Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1981. Т. 8. С. 493).

⁴ Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отд. имп. Академии наук. СПб., 1847. Т. III. С. 38.

о. Моисею — событие в истории пустыни весьма важное. С этих пор монастырь начинает приобретать значение главного преемника святоотеческого наследия и оплота «доисофлянского» православия.

О. Моисей (в миру Тимофей Иванович Путилов) — фигура характерная для оптинской традиции и по свойствам личности, и по типу религиозности, и по биографии, и, наконец, по духу и направлению настоятельской деятельности. Сам он не был «старцем» в точном смысле слова, но послушнический искус у старцев прошел и почву для оптинского старчества подготовил. Сильное внутреннее влечение к богомыслию и иноческому подвигу он испытал еще в молодости. Монахиня Ивановского монастыря Досифея (которую долго считали княжной Августой Таракановой, дочерью Елизаветы Петровны) утвердила его на этом пути и посоветовала пойти под духовное руководство двух иеромонахов Новоспасского монастыря — Александра и Филарета, верных последователей Паисия Величковского. Затем Путилов пробыл три года в Саровской пустыни, где подвизался знаменитый о. Серафим (опять-таки один из Паисиевых учеников), а после 10 лет пустынножил под руководством старца Афанасия в Рославльских лесах. Там он был пострижен в монашество и принял имя Моисея.

Тогда Моисей прошел основательную школу православной аскетики. Он практически постиг смысл и значение старческого «окормления» — духовного руководства старца в деле «внутреннего устройства». Тогда прочно усвоил основы нравственно-религиозного учения великих подвижников, год за годом неспешно переписывая святоотеческие книги, переведенные некогда Паисием Величковским и тщательно хранимые в Свенском монастыре, в Белобережской пустыни, в скиту у старца Афанасия.

Сам сделавшись настоятелем Оптиной, Моисей, подобно древним старцам, устраивал монастырь, «собирая братию и наружно, и внутренне», строго следуя в укладе монастырской жизни Коневскому уставу.⁵ Во многом сохранявший дух и букву афонского и старого русского подвижничества, этот устав узаконивал старчество, разрешая избирать в наставники братии «простого монаха, искусного в духовной жизни». Первым таким наставником оптинской братии, первым знаменитым старцем стал в 1829 году о. Леонид — по благословию преосвящ. Филарета Калужского и о. Моисея.

Старец Леонид (в миру Лев Данилович Наголкин) начал свой иноческий путь в Оптиной же еще в 1797 году, 29 лет от роду, до того, по должности приказчика, много поездив по России, повидав людей и приобретя немалый житейский опыт. Он прошел ту же школу подвижничества, что и Моисей, — школу Паисия Величковского: духовным руководителем Леонида был ближайший ученик Паисия схимонах Феодор, с которым Леонид почти не расставался в течение 20 лет. В последнем их прибежище, в скиту на Валааме, Леонид, оставаясь учеником Феодора, приобретал все больший духовный авторитет среди братии и известность среди мирян, потянувшихся на Валаам к необыкновенному праведнику и прозорливцу.

Здесь произошло первое столкновение возрождавшегося старчества с синодальной иерархией — с ревнителем Духовного Регламента валаамским настоятелем Иннокентием. Он не мог примириться с дерзким, беззаконным, как он считал, нововведением, усмотрев в старчестве покушение на его игуменскую власть. Братия действительно стала мало-помалу отходить от настоятеля, находя в старческом скиту совет, утешение и высокий пример иноческого слу-

⁵ Устав Коневского (Коневецкого) Рождественского монастыря, что на о. Коневец на Ладожском озере, основанного в конце XIV века иноком Арсением, подвизавшимся одно время на Афоне.

жения. Когда же приехавший на Валаам министр духовных дел кн. А. Н. Голицын почти все время пробыл в келье старцев и даже вызвал туда настоятеля, Иннокентий потерял терпение и пожаловался митрополиту на возмутителей порядка и благочестия. По исследовании дела велено было оставить старцев в покое, но покоя здесь быть уже не могло; Леонид и Феодор перешли в Александро-Свирский монастырь. После смерти Феодора и недолгого пребывания в Площанской пустыни (где произошла встреча с будущим его преемником Макарием) Леонид с учениками поселяется в Предтечевом Скиту Оптиной пустыни.

Из трех оптинских старцев о. Леонид знаменовал собой первую ступень восхождения подвижника к нравственно-религиозному идеалу. В нем открывалось зрелище духа, борющегося могучую плоть, в напряжении одолевающего плен телесной и мирской природы человека; это напряжение выражалось в нередком юродстве Леонида.

В старце Макарии будет явлен дух, поднявшийся — к иным испытаниям и искусам — над телесной природой, словно не без Промыслительной воли поврежденной от рождения (Макарий был косноязычен, почему не мог отправлять службу в храме, и имел неправильность черепа, приведшую к косоглазию).

Наконец, в Амвросии восторжествует дух, освободившийся вполне и почти воспаривший над плотью (старец и ходил, казалось, не касаясь земли, — таково впечатление знавших его).⁶

Леонид, как и Серафим Саровский, отличался мощным телосложением (в молодости мог поднимать он до 12 пудов), имел зычный голос; грива густых длинных волос придавала ему большое сходство со львом (не случайно, вероятно, получил он в схиме имя Льва). Чем более необузданной, слепой силы ощущал в своей плотской природе Леонид, тем жестче следовал он обетам смирения, отсечения воли, тем неистовей боролся с соблазнами, казнил потаканье им в себе, а потом и в других — тут-то и доходя до юродства. В конце концов он достигал полной власти над собою, обретал дух умиротворенный и просветленный; тогда действие его слова было особенно глубоко и целительно.

С приходом Леонида, с упрочением старчества в Оптиной, стали меняться устоявшиеся представления о путях спасения, монашеских добродетелях. Внешняя аскеза утрачивала господствующее значение, уступая место более тонкой аскезе внутренней. Подвиг телесный становился приготовлением к более тяжелому, но и более важному для христианина подвигу духовному.

Для «обрядового исповедничества» весьма характерна фигура своего рода аскета-«материалиста». Как бы в параллель торжеству «вещественности», владычеству плоти в миру, возводилось в идеал сугубое умерщвление плоти в аскезе. В монашестве этого направления возобладало «внешнее делание»: суровый пост, изнурительное бдение, вериги. Это требовало, конечно, сильной, но грубой воли, действующей чаще отдельно от глубокого истинного богомыслия. Такая воля, достигнув материальной победы над плотью, тем и удовлетворялась, на том и застывала, неприметно ввергая подвижника в грех самодовольства и превознесения над ближним. Внутреннее, нравственное «подражание Христу» оказывалось на втором плане; духовная личность при этом зачастую оставалась в запустении. (Подобный аскетизм в России воскресал — как моральный идеал, как практическое поведение — и в позднейшие времена, в XIX, в XX веке, нередко в среде демократической интеллигенции. Воскресал во вполне мирских формах, внешне порвав связи со своим религиозным образом, но по сути продолжая ту же традицию).

⁶ Историческое описание Козельской Оптиной пустыни. . . С. 119.

В Оптиной таким аскетом был схимонах Вассиан, прославившийся тем, что проводил всю четырехдесятницу в посте, питаясь только в два праздничных дня. Уверовав в свою исключительную праведность, он вознегодовал против старчества, духовного подвижничества и вместе с другими недовольными стал писать доносы епископу на Леонида и о. Моисея.

О внутренней, интимно-духовной жизни Леонида известно очень немного. Судя по всему, умозрительный взгляд на Писание и церковное Предание мало был ему свойствен. Его нравственно-религиозные устремления нашли полное выражение в аскетической практике, где он прямо и неотступно следовал евангельским заповедям и святоотеческим указаниям, как они были получены им из рук учеников Паисия Величковского, прежде всего от о. Феодора. Благодаря сильному и верно направленному религиозному чувству, природному уму Леонид достиг высоких степеней аскетического совершенства. Вероятно, доступна ему была и «умная молитва» — непрестанная Иисусова молитва, высшая для аскета форма интимного богопознания и богообщения. По крайней мере об этом можно догадываться по некоторым его беседам с учениками, когда он говорил о необходимости молиться «всем сердцем и всем помышлением своим, всем умом своим», указывал на глубоко скрытые в человеке источники молитвенного вдохновения, которые отверзаются «или постоянным углублением в себя, по учению отцов, или мгновенно Божиим сверлом».⁷

Иеромонах Иоанн (Кологривов) справедливо заметил: «Русская религиозная совесть никогда не удовлетворялась зрелищем личного спасения одной индивидуальной души, она всегда была озабочена общим спасением. Все души связаны между собой и ни одна не приходит к Богу без того, чтобы не увлечь за собою других... Здесь перед нами своего рода духовный коллективизм, имеющий, возможно, своим основанием древний, унаследованный от предков и уходящий в тьму веков коллективизм сельского „мира“».⁸

Это свойство русского подвижничества наглядно явлено в оптинских старцах, в о. Леониде первом. Собирая вокруг себя учеников, он создает духовную общину, подобную евангельской общине учеников Иисуса.⁹ Как всеведению Христа были открыты все глубины души его учеников, так для старца прозрачны ум и сердце его послушников благодаря «откровению помыслов» — добровольному раскрытию перед старцем всех, даже самых потаенных движений души. Сам достигший полной власти над собой, свободы от страстей, от суетных помыслов, старец выводит на тот же путь предавших ему свою волю учеников — каждого сообразно его состоянию и возможностям. Труд «внутреннего делания» совершается сообща, благо и истина достигаются совместно, «соворно».

К этому очагу подвижничества стекаются и миряне — не только за утешением, советом, наставлением, хотя целительное действие старца много значило для телесно и духовно страждущего человека. Само существование истинного праведника и пророка — кем и был старец — для православного сознания уже реальный залог чаемого спасения души, уже отрадное обетование, сколь бы далеко сам человек не отстоял сейчас от христианского идеала. Чисто русская, «народная в вере» черта, отмеченная Достоевским: убеждение, что среди погрязшего в грехе мира все-таки есть один или два на земле праведника,

⁷ *Поселянин Е.* Русские подвижники 19-го века. 2-е изд. СПб., 1901. С. 221.

⁸ *Иоанн [Кологривов]*, иеромонах. Очерки по истории русской святости. Брюссель, 1961. С. 11—12.

⁹ Эту параллель настойчиво проводил в наставлении иноку Симеон Новый Богослов. См.: Преподобного отца нашего Симеона Нового Богослова игумена обители св. Маманта двенадцать слов. М., 1869. Слово седьмое.

которые «где-нибудь там в пустыне египетской в секрете спасаются» и по вере и слову которых гора съедет в море.¹⁰

Из учеников Леонида в наибольшей духовной близости с ним был иеромонах Макарий. На него Леонид, незадолго до своей смерти в 1841 году, прямо указал как на своего преемника, что и сбылось: Макарий стал вторым оптинским старцем.

Макарий (в миру Михаил Николаевич Иванов) был родом из дворян Орловской губернии. Вероятно, не последнюю роль в судьбе его сыграл тот факт, что его прадед иночествовал в Карачевском Николаевском монастыре и прославился строгой подвижнической жизнью. Образование Михаил Николаевич получил в Карачевском училище и у домашнего учителя своих родственников; затем служил, занимался хозяйством в имении, но настоящее его призвание было иное. В 1810 году, поехав на богомолье в Богородицкую Площанскую пустынь, он более не возвращался, имение оставил братьям и избрал иноческий путь. Постриженный в 1815 году в мантию, он с 1817 года поселился в одной келье с учеником Паисия Величковского схимонахом Афанасием и провел под его руководством около 10 лет.

Пройдя все ступени послушания у старца, Макарий одновременно глубоко впитал этические и религиозно-философские идеи, заключенные в святоотеческих творениях, которые он изучал по составленному Паисием «Добротолюбию» и по многочисленным спискам переводов отдельных авторов. Мысль Макария приобрела особую пронизательность и тонкость, аскетическая практика изощерила волю, он знал человеческую природу — в себе и в других — и его возможности воздействия на нее были почти безграничны.

Слава о его праведничестве и прозорливости распространилась не только в простонародье; Макария знали и чтити многие из дворянства, особенно в Москве, в среднерусских губерниях,¹¹ а иные постоянно бывали у него и даже стали его духовными детьми. В той или иной мере были близки к Макарию некоторые деятели русской культуры — братья Киреевские, Гоголь, Хомяков, Шевырев, Аксаковы.

В скиту Оптиной пустыни Макарий поселился в 1834 году, продолжая начавшееся еще в Площанской обители послушничество у Леонида. Но последний смотрел на Макария иначе, чем на других учеников, сразу же различив за смиренным иноческим обликом большую искушенность в богомыслии и в аскетических подвигах. Их отношения были отношениями духовного братства: для монахов, для паствы они составляли как бы единый ум и единую волю в двух лицах, «так что когда не стало о. Леонида, осталась живую другая половина его — о. Макарий».¹² Не только дело старчества, но и духовная личность Леонида словно обрели в Макарии свое неумирающее продолжение.

Весь строгий порядок старческого окормления был Макарием сохранен и упрочен; бывшие гонения утихли. Хотя временами недоверие, враждебность со стороны ревнителей «обрядового благочестия» и суровой телесной аскезы давали себя знать. Но Макарий не смущался тем и твердо нес крест старчества ради «хриstopодражательной любви к ближнему».

¹⁰ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С., 120—121.

¹¹ Этот факт отразился, например, в тургеневской повести «Степной король Лир» (1869—1870), где героиня говорит Мартыну Петровичу Харлову, задумавшемуся о душе и о смертном часе: «... может быть, в Оптину пустынь отправишься, так как она по соседству? Там, говорят, такой святой проявился иннок... отцом Макарием его зовут, никто такого и не запомнит! Все грехи насковзь видит» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Соч.: В 12 т. Т. 8. С. 189).

¹² Поселянин Е. Указ. соч. С. 224.

Личность Макария, весь просветленный дух оптинского старчества своеобразно отразились в самом устройстве скита и скитской церкви, о чем особо заботился Макарий. Внутренность церкви вызвала у посетителей старца мысли о евангельской братской храмине, где Спаситель разделял с учениками свою вечерю и возвещал последние заветы. Здесь не было ничего сумрачного, темного, теснящего душу. Тот же колорит лежал на скиту и на всем, что возле него: обилие со вкусом подобранных цветов, разводимых Макарием, рядом приветливая зелень, лес.¹³

Видимо, задолго до Оптиной Макарий тяготел к «умной молитве». Наставление в ней он получил не у своего старца Афанасия (на том лежал запрет Паисия заниматься «умной молитвой»), а из творений св. Отцов и у иеродиакона Самуила в Глинской пустыни. По многочисленным письмам Макария можно понять, какой путь восхождения к «исусовой молитве» проделал он за годы подвижничества.

Первое и труднейшее на этом пути, о чем Макарий не устает напоминать духовным чадам, — это «сотворить брань со страстями своими». Замечательно, что борьба эта мыслится старцем не в глухом отшельничестве, а в миру. «Но где же ты увидишь страсти? — в удалении ли от людей? Но это невозможно. . .»,¹⁴ — убеждает он корреспондента, ссылаясь на Лествичника и Кассиана. Макарий вообще склонен (как впоследствии Зосима у Достоевского) выносить иноческий подвиг в мир. Не обязательно покидать при этом монастырские стены — и в том нет парадокса, если вспомнить истоки оптинской аскетики и византийских монахов-исихастов Савву Нового, Максима Кавсокаливита. Немошь наша исцеляется не уединенным отшельничеством, настаивает он, но деланием и претерпением досады креста¹⁵ — так своеобразно переводит Макарий на свой аскетический язык одно из наставлений Исаака Сирина. Место же в миру оставлять не следует, ибо, если в светских делах хранится совесть, их также можно назвать духовными подвигами.¹⁶

Идея подвижничества в миру настойчиво утверждалась и доводилась до практического повседневного исполнения, без снятия схимы, и Макарием, и затем, столь же последовательно — Амвросием. Эта черта, принадлежащая византийской и древнерусской традициям, одновременно принадлежит, считает Г. П. Федотов, к новым формам святости в России в XIX веке. Она обнаруживается в старчестве «как особом институте преемственности духовных даров и служения миру», она прямо порождает «духовную жизнь в миру, в смысле монашеского делания, соединяемость с мирянским бытом».¹⁷ Федотов правомерно видит в появлении таких форм святости возрождение христианской духовности в России. Мы же сверх того должны отметить, что мощно возродившиеся традиции православного подвижничества глубоко вошли в литературу второй половины XIX века, разнообразно преломляясь у Достоевского, Лескова, Л. Толстого, Некрасова. В «Братьях Карамазовых», в «русском иноке», явилось уже сложное сочетание черт восточнохристианской аскетики

¹³ См.: И. Л. Историческое описание Скита во имя Св. Иоанна Предтечи, находящегося при Козельской Введенской Оптиной пустыни. 2-е изд. СПб., 1862; Четвериков С. Описание жизни блаженной памяти Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия. Изд. Оптиной пустыни, 1912. С. 46—49.

¹⁴ Собрание писем блаженной памяти Оптинского старца иеросхимонаха Макария. Письма к монашествующим. М., 1862. С. 148.

¹⁵ Собрание писем блаженной памяти Оптинского старца иеросхимонаха Макария. Письма к мирским особам. 2-е изд. М., 1880. С. 217.

¹⁶ Там же. С. 44.

¹⁷ Федотов Г. П. Святые Древней Руси (X—XVII ст.). 3-е изд. Paris, 1985. С. 235—236.

IV—IX веков (на что указывал еще В. В. Розанов) с русским подвижничеством XVIII—XIX столетий, в том числе и с оптинским старчеством.¹⁸

Другой «столп» аскетике Макария — безусловное и, можно сказать, воинствующее смирение (оксюморон вполне здесь уместный).

Смирение — это глубокое сознание человеком собственного несовершенства перед лицом чрезвычайной высоты нравственно-религиозного идеала. Из этого сознания вытекает аскетический императив напряженнейшего труда над собою, над внутренним очищением и устройством. Сюда входит не только часто драматическая «брань со страстями», но и более утонченная, редко оканчивающаяся победой борьба с тайной гордыней восходящего к совершенству христианина.¹⁹ Крайний путь одоления этой гордыни — юродство; средний, «царский» путь — медленный, негромкий, но надежнейший — полное познание себя, неотступное «трезвление ума и сердца» и принятие «образа Христова».

Лишь в самом конце этого пути Макарий взошел к «художественному деланию умной Иисусовой молитвы».²⁰ Примечательно это несколько неожиданное здесь для мирского слуха определение высшего акта православной аскезы: «художественное делание». Оно не однажды возникает у Макария; но это не произвольный эпитет, а специфическое традиционное понятие аскетике, о чем подробнее скажем ниже.

В течение двадцати с лишним лет Макарий наставлял и утешал мирян, учеников, духовных чад, исповедовал братию, находя для каждого единственно необходимый ответ. «Измученный, усталый, едва переведавший дыхание, бессильный не только говорить, но и произнести внятно одно слово, возвращался старец домой со своего ежедневного подвига».²¹ Еще более, пожалуй, истощала его силы обильная переписка, но отказать в ответе он не мог никому.

Чем более принимал Макарий в себя людских судеб с их радостями, а чаще скорбями, грехами, сомнениями, чем больше мучили они его нравственно и физически, тем более, с годами, просветлялся его лик, тем явственней он «цвел духовной радостью». Так, на первый взгляд парадоксально, выражалось особое состояние духа, владевшее им последние 10—15 лет. Полнота знания о человеке, о жизни переходила в любовное созерцание бытийного целого, Божьего мира, конечным и единственным смыслом которого и была любовь. Та, о которой говорит Апостол Павел: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (I Кор. 13, 8). «Пребывая в любви» (по слову Иоанна), Макарий восходил на новозаветную ступень познания, стоящую над ветхозаветным иудейским скепсисом Екклезиаста²² и отменяющую, в качестве универсального, окончательного итога, выстраданный, горький вывод: «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (Еккл. 1, 18). Екклезиаст «остро нуждается не в мировой гармонии, но в мировом смысле»;²³ однако последнего он не находит. Новозаветная онтология как раз на этот смысл и указывает, смысл сколько

¹⁸ См.: Флоровский Г. Пути русского богословия. 2-е изд. Paris, 1981. С. 301.

¹⁹ Опасность этой гордыни остро ощутил и выразительно обрисовал вступивший на иноческий путь К. Н. Леонтьев. См.: Леонтьев К. Н. Отшельничество, монастырь и мир. Их сущность и взаимная связь. (Четыре письма с Афона). Сергиев Посад, 1913. С. 18.

²⁰ Собрание писем блаженной памяти Оптинского старца иеросхимонаха Макария. Письма к мирским особам. С. 591.

²¹ И [еромонах] Л [еонид]. Сказание о жизни и подвигах блаженной памяти старца Оптиной пустыни иеросхимонаха Макария. М., 1861. С. 125.

²² См.: Аверинцев С. С. Древнееврейская литература // История всемирной литературы. М., 1983. Т. 1. С. 296.

²³ Там же.

трансцендентный, столько и человеческий, в плане психологическом дающий мироощущению светлые, жизнерадостные краски.

Чрезвычайно важная сторона трудов Макария — издание святоотеческого наследия, в XVII—XVIII веках малодоступного в России. Лишь в 1793 году Синодом было разрешено издание «Добротолюбия», в полном же виде писания Св. Отцов или ходили в рукописях (немногочисленных и очень дорогих), или попадали в редких экземплярах из-за границы (официально ввоз этой литературы в Россию был запрещен указом 1787 года).

О. Макарий в сотрудничестве с И. В. Киреевским, его женой, а также с помощью образованных монахов-оптинцев — о. Амвросия, о. Леонида (Кавелина), о. Анатолия — и горячо сочувствовавших этому делу мирян — Т. И. Филиппова, С. П. Шевырева и др.²⁴ подготовил и издал, во-первых, житие и писания Паисия Величковского, а затем творения Варсанофия, Симеона Нового Богослова, Феодора Студита, Максима Исповедника, Исаака Сирина, Марка Подвижника, Иоанна Лествичника и других восточных аскетов.²⁵

Изданиям предшествовала основательная подготовительная работа, успеху которой много способствовали начитанность Макария в патристике, экзегетическая его проникновенность — «дар истолкования Слова Божьего», тонкое языковое и литературное чутье. Он сам занимался сличением списков, уточнением переводов Паисия, установлением единообразной аскетической терминологии, составлением разъяснений и примечаний к темным местам святоотеческих текстов.

Благодаря усилиям Макария и его помощников русский читатель впервые получил, вместе с Паисиевым «Добротолюбием», полную аскетическую библиотеку. Одно время к издательской деятельности оптинцев собирался присоединиться и еп. Феофан (затворник Вышенский), но тогда это не сбылось; впоследствии он сам продолжил начинание Оптиной в издании восточной аскетической литературы.

Каков был уровень этих изданий, можно судить, в частности, по отзывам такого знатока аскетике, а вместе литературного критика и строгого стилиста, как К. Н. Леонтьев. В оптинском переводе Лествичника, например, он нашел много «самых верных и глубоких психологических оттенков. . . Самая византийская риторика вступлений и заключений св. Иоанна передана так хорошо, что она в литературном даже смысле нравится и поражает».²⁶

В изданиях Оптиной, в эпистолярном и дидактическом творчестве старцев православное любомудрие той поры и духовная словесность по своей проблематике, по интересу к внутреннему человеку даже по иным стилевым чертам близко подходили к литературе 1850—1870-х годов.

Последний, самый знаменитый оптинский старец — это преемник о. Макария иеросхимонах Амвросий (Александр Михайлович Гренков).

Он родился в Тамбовской губернии в 1812 году в многодетной семье

²⁴ Отметим, что деятельное участие в подготовке одного издания (Преподобного Орсия, Аввы Тавенисиотского — «Учение об устройении монашеского жительства» (М., 1859)) принял известный историк, филолог и журналист М. А. Максимович (см.: Данилов В. М. А. Максимович и отец Макарий Оптинский // Русский архив. 1910. № 12).

²⁵ Об издательской деятельности Макария см.: Старцы отец Паисий Величковский и отец Макарий Оптинский и их литературно-аскетическая деятельность. М., 1909. Важнейшие из вышедших в пустыни изданий указаны в этом труде (с. 46—63), а также в «Историческом описании Козельской Оптиной пустыни. . .» (с. 88—90). Современный историк православия называет оптинское книгоиздательство «соборным делом русского народа, во главе которого стояли духовные старцы» (ЖМП. 1988. № 6. С. 69).

²⁶ Леонтьев К. Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни. 4-е изд. Тип. Казанской Амвросиевской пустыни, 1915. С. 46.

сельского дьячка. Смышленный, бойкий, веселого нрава, он выделялся своими способностями в Тамбовском духовном училище, в семинарии, легко прошел весь курс богословских наук, обнаружив особенную склонность к языкам (кроме церковно-славянского он неплохо знал греческий, еврейский, татарский, французский) и к литературе.

Незадолго до окончания семинарии Александр опасно заболел и дал обет, если останется жив, постричься в монахи. Натура его, однако, мало к тому располагала: он всегда любил веселый дружеский круг, до страсти увлекался музыкой, одно время даже собирался вступить в военную службу.

С этого момента началась мучительная для юноши внутренняя борьба. Данный им обет, какое-то смутное еще душевное влечение обращали его помыслы к иночеству. Мирские же привязанности и привычки не отпускали. Так продолжалось четыре года, пока он не побывал у Троекуровского затворника Илариона. Тот с первых же слов сказал Александру: «Иди в Оптину, ты там нужен». Осенью 1839 года Александр уехал в пустынь тайком, ничего не сказавши начальству Липецкого училища, где он преподавал последнее время. Уже позже в письме он объяснил свое решение и просил благословения.

Послушничал Александр Гренков при о. Леониде и о. Макарии; первые три года работал по кухне, а затем стал письмоводителем у Макария. Искушения не оставляли его и в монастыре; но он вкусил уже высших духовных даров, его воля уже знала высшие цели, и на подвижнической стезе он оставался тверд. В 1845 году его посвящают в иеромонахи; после кончины Макария в 1860 году Амвросий принимает на себя полный труд оптинского старчества.

Вся жизнь его сосредоточилась исключительно в духе, плоть же как бы сама собою обескровливалась без всякого нарочитого умерщвления ее. Старая болезнь, новые недуги доводят Амвросия в конце 40-х годов до крайней телесной немощи, так что монастырские должности становятся ему не по силам; он оказывается за штатом, на попечении обители. Но физические страдания облегчают «брань со страстями», скорее ведут к «внутреннему трезвению» — потому-то при самых тяжких приступах болезни он бывал «весел и покоен».

Амвросий несомненно обладал редкостным знанием человеческой природы, бытовых обстоятельств русской жизни — многолетнее общение с шедшими отовсюду в Оптину богомольцами давало ему изобильный для этого материал. Он приобрел поражающий всех дар угадывать состояние души и даже помыслы пришедшего к нему еще до того, как тот начнет свою исповедь. Амвросий действительно способен был многое прозревать в душе человека и прямо предсказывать в его судьбе. А вместе с тем мог дать и дельный совет в семейных делах, в устройстве имения.²⁷

Всякое страдание человеческое переживал он чрезвычайно остро. Однажды чуть не бегом вошел он в свою келью и сказал писарю: «Вот там пришла вдова с сиротами — мал мала меньше. Всех сирот человек пять, а есть нечего. Сама горько плачет и просит о помощи. А самый маленький ничего не говорит, а только смотрит мне в глаза, подняв ручки грабельками. О-о! да как же не дать-то ему!». И что было, старец раздавал просящим. Помощь его была

²⁷ Он нередко обнаруживал удивительную осведомленность в самых разных областях. Занявшемуся садоводством орловскому помещику он рассказал, как лучше устроить водопровод, при этом начинал Амвросий с обычных у него в таких случаях слов: «Люди говорят. . .», а затем оказалось, что он описывал новейшее изобретение по этой части. Неожиданным может показаться его пристальное внимание к текущей литературе и чуткость к поэзии, далекой как будто от его настроений. Тем не менее когда К. Леонтьев вознамерился в статье о Фете дать отрицательную оценку «Вечерних огней» и посоветовать поэту умолкнуть, Амвросий тут же от кого-то узнал об этом и запретил писать в таком тоне о Фете: «Пусть уж старика за любовь-то не понимает. Не надо» (Александров А. Указ. соч. С. 60).

многообразна, всегда кстати и с тактом; милосердие же свое он скрывал то шуткой, а то и «неблаговидными поступками», как деликатно выражается биограф, говоря о чертах юродства в поведении Амвросия. (Они сближают его с Леонидом, и это указывает на сходство, так сказать, «природного материала» их личностей). Старец следовал совету Исаака Сирина: изливай на всех милость свою и будь скрытан от всех.²⁸ Амвросий помогал словом и делом, наставлял, врачевал душу, излучая неиссякаемое человеколюбие, покорявшее даже тех, кто был предубежден против него (как, например, рассказывает о том В. В. Яшерев)²⁹ и даже восставал с «хульными помыслами». Вполне достоверных свидетельств о фактах этого рода есть немало.³⁰

И В. В. Розанов видит в Амвросии прежде всего ярко выраженный «святой тип», тип «лечащий и целебный». Приведя примеры благодеяний старца, он заключает: «Таковыми путями, каждого своим, старец Амвросий возводил мелких и ослабевших людей все в гору, все к лучшему — и, очевидно, сам цвел и жил этим возраставшим благополучием».³¹

Назначение старчества Розанов здесь склонен усматривать почти исключительно в психологически-бытовом выправлении ослабевших и бедствующих мирян: «Хрупкие воли, переменчивые желания, раз они попадали в руководство старца, выглаживались, выравнивались, получали одно стойкое направление».³² Под тем же углом зрения смотрит он на русскую «тихую обитель», в которой за века ее существования «выразилось бытовое творчество бессознательных исторических сил».³³

Жанр и задачи розановского очерка Оптиной позволяют тут и остановиться. Хотя более дотошному историку ясно, что подвижничество Амвросия в рамки «личного биографического явления» никак не укладывается и что в оптинском старчестве сказались далеко не одни «бессознательные исторические силы», а были хорошо различимые конкретные причины, вызвавшие его к жизни, и источники, его питавшие.

Чтобы вполне понять смысл и значение старчества, надо помнить, что вся нравственно-аскетическая деятельность оптинцев — это русское выражение древних, духовно неисчерпаемых традиций восточнохристианской аскетики и богословия, что эта деятельность — единственное современное приложение к делу святоотеческого учения о человеке.

Амвросий, конечно, принадлежит жизни земной, его хриstopодражательный подвиг обращен к благу ближнего; старец, как и Нил Сорский, мог бы воскликнуть: «Бываю безумен и юрод за братнюю пользу», имея в виду не одних иноков, но и мирян. Это несомненно. Но несомненно и то, что Амвросий духовно принадлежит к тому миру, высшей реальностью и идеальной мерой которого является богочеловеческая личность Христа. Амвросий тесно связан с этим миром, с его центром, непрестанной, напряженно творимой им «иисусовой молитвой». Он мыслит и действует всегда в системе этических и мистических

²⁸ Иже во Святых отца нашего Аввы Исаака Сириянина, подвижника и отшельника, слова подвижнические. М., 1854. Слово девятое.

²⁹ Русский паломник. 1896. № 34—36.

³⁰ См.: Историческое описание Козельской Оптиной пустыни. . . С. 119; Жизнеописание в Бозе почившего Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия: В 2 ч. М., 1900. Ч. II; Четвериков С., прот. Описание жизни блаженной памяти Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия в связи с историей Оптиной пустыни и ее старчества. Тип. Шамординской женской пустыни, 1912. В. В. Розанов также сообщает о нескольких известных ему из первых рук характерных эпизодах (Розанов В. Около церковных стен. СПб., 1906. Т. II. С. 97—106).

³¹ Розанов В. Указ. соч. С. 106.

³² Там же. С. 106—107.

³³ Там же. С. 126.

отношений этого мира и только из него обращается к человеку, стараясь (в чем состоит цель старческого руководства) ввести его в этот мир и дать ему в нем достойное место.

Истинная, хотя часто скрытая, причина несчастного положения человека — в его религиозной и нравственной *потерянности*, синонимом которой служит понятие греха в том значении, как его трактует П. А. Флоренский: «Грех — момент разлада, распада и развала духовной жизни. Душа *теряет* свое субстанциональное единство, *теряет* сознание своей творческой природы, *теряется* в хаотическом вихре своих же состояний, переставая быть субстанцией их. Я захлебывается в „потоке мысленном“ страстей».³⁴ «Тогда, — добавляет Флоренский, — действительно не „я делаю“, а „со мною делается“, не „я живу“, а „со мною происходит“».³⁵

В таком состоянии находит себя перед Амвросием одна из его духовных дочерей. С полной откровенностью, с большой психологической глубиной рассказывает она о своей исповеди перед старцем, когда душа ее «возвращалась к себе». «Началась страшная и до той поры непонятная и неведомая мне исповедь. Все забытое, недосказанное и непонятное мне говорил сам старец. Вся моя жизнь, моя душа были открыты перед ним, как открытая книга. Ему было все известнее, чем мне самой. По мере вины и обстоятельств он или оправдывал, или обвинял меня. Тут он даже сказал мне один грех, которому, мне казалось, я и не причастна была».³⁶

Старец выводит человека из состояния «потерянности», возбуждает в нем «зрячую волю», позволяющую преодолеть внутренний и внешний распад. Почему многие после исповеди и бесед со старцем испытывали чувство необыкновенного облегчения, хотя иногда не находили у него утешения или прямой помощи? Именно потому, что старец расчищал путь духу, извлекал человека (довольно бесцеремонно подчас) из всепоглощающего морального, умственного хаоса современной жизни. Старец вводил в упорядоченный и просветленный христоцентрический мир, где пребывал сам, где духовная личность обретала в себе тот же порядок, и свободу, и силу противостоять бытийному хаосу, а вместе с тем — и житейским невзгодам.

Таково одно из главнейших призваний старчества, лежащее уже в области интимно-духовного, мировоззренческого влияния. Понятно, что для живой, хотя и переживавшей кризис, православной культуры это призвание приобретало особое значение. Оно решало задачу восстановления цельности внутренне «потерявшейся», но не отпавшей от христианства личности, а тем самым задачу сохранения цельности самой этой культуры, так много значащей для России.

В старчество Амвросия Оптина получила наибольшую известность и духовный авторитет ее стоял как никогда высоко. Что это явление общерусского масштаба — было понятно давно тем, кто соприкасался с пустыней и ее стар-

³⁴ Флоренский П. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. М., 1914. С. 174. К этому определению греха Флоренский находит замечательную иллюстрацию, относящуюся к тому направлению в ренессансной культуре, которое можно назвать внехристианским гуманизмом. «Недаром, — пишет он, — загадочная и соблазнительная улыбка всех лиц Леонардо да Винчи, выражающая скептицизм, отпадение от Бога и самоупор человеческого „знаю“, есть на деле улыбка растерянности и потерянности: сами себя потеряли, и это особенно наглядно у „Джоконды“. В сущности это — улыбка греха, соблазна и прелести, улыбка блудная и растленная, ничего положительного не выражающая (в том-то и загадочность ее!), кроме какою-либо внутреннего смущения, какой-то внутренней смуты духа, но — и нераскаянности. — Да, во грехе душа ускользает от себя самое, *теряет себя*: недаром последнюю степень нравственного падения женщины язык характеризует как „*потерянность*“» (там же).

³⁵ Там же.

³⁶ Жизнеописание в Бозе почившего Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия. Ч. II. С. 30.

цами. Смысл же явления прояснялся постепенно и, можно сказать, неравномерно.

Прежде всего — и большинство — видело в ней цвет православного монашества, очаг теплого, хранительного, врачующего христианского человеколюбия. Ценность этой стороны оптинского подвижничества несомненна.

Затем уже меньшая часть (и скорее интуитивно, чем осознанно) предполагала некую особенную роль Оптиной в русской жизни. Ту роль, которая, вместе с другими прозрениями XIX века, станет содержанием философской рефлексии 900-х годов и которая позже, в 1919 году, будет сформулирована П. А. Флоренским в письме к Н. П. Киселеву. Оптина, писал Флоренский, «есть узел не проектируемый только, а живущий вот уже сотню лет, который на самом деле осуществил ту среду, где воспитывается духовная дисциплина, не моральная, не внешнеаскетическая, а именно духовная. . . Если проследить мысленно самые разнообразные течения русской жизни в области духа, то непосредственно или посредственно мы всегда приводимся к Оптиной как духовному фокусу, от соприкосновения с которым возжигается дух, хотя бы потом он раскрывался и в иных, чем собственно оптинское направление».³⁷

Такое значение Оптиной, а в связи с ним фигура Амвросия обуславливали необычайную притягательность пустыни для духовно встревоженных людей, в том числе и для видных деятелей на церковном, общественном и литературном поприщах.

Из их ряда очень близок к Амвросию был К. Н. Леонтьев, в течение 15 лет состоявший в сущности его мирским послушником, а незадолго до его (и своей) смерти принявший тайный постриг. Доверенным лицом, помощником и письмоводителем Амвросия стал перешедший в православие (под влиянием И. Киреевского) выпускник Московского университета, магистр греческой словесности К. К. Зедергольм (в монашестве Климент). Сохранял близкие отношения со старцем духовный сын Макария Т. И. Филиппов, известный славянофильский критик и публицист. К Амвросию приезжал Достоевский, о котором старец отозвался кратко и определенно: «Это кающийся». С писателем тогда же, в 1878 году, посетил Амвросия В. С. Соловьев, «профессор философии христианской», как сказано о нем в оптинских анналах.³⁸

Об отношении Амвросия к Соловьеву (скажем здесь, поскольку к этой теме больше не придется возвращаться) сохранились противоречивые свидетельства. По словам Е. Поселянина, старец после встречи с неодобрением заключил, что Соловьев «не верит в загробную жизнь».³⁹ О. Ераст (Выдропский) сообщает иное: «Нам лично о. Амвросий сказал (по поводу полемики К. Н. Леонтьева с Соловьевым о сочинениях Данилевского): „Спросите-ка Соловьева, как он думает о вечных мучениях?“. В этих словах старца исключается всякое сомнение относительно веры Соловьева в будущую жизнь».⁴⁰

Вероятно, последнее ближе к истине: Амвросий в 1878 году мог найти в Соловьеве веру в бессмертие души и в воскресение Христа, о чем так убедительно и вдохновенно писал философ Л. Н. Толстому в 1894 году.⁴¹ Не исключено, правда, и то, что дух противоречия, нередко в нем просыпавшийся, мог

³⁷ Флоренский П., свящ. Собр. соч. Paris, 1985. Т. 1. С. 366.

³⁸ ГБЛ. Ф. 214. № 369. 1878 г. Июня 25, 26 и 27 дня.

³⁹ Душеполезное чтение. 1892. № 1. С. 46.

⁴⁰ Историческое описание Козельской Оптиной пустыни. . . С. 125.

⁴¹ Соловьев В. С. Письма. СПб., 1911. Т. III. С. 39—40.

побудить Соловьева в разговоре на эту тему пуститься в неприемлемые для старца парадоксы.⁴²

Несколько раз встречался с Амвросием Л. Н. Толстой (вместе с ним в 1877 году ездил туда философ и критик Н. Н. Страхов). Последняя беседа Амвросия с писателем относится к 1890 году: она длилась около часа и буквально довела старца до изнеможения. Передавая Леонтьеву подробности встречи, Амвросий добавил, почти с грустью: «Горд очень».

После смерти Амвросия в 1891 году подобных ему — или Макарию, или Леониду — старцев Оптиная уже не знала. Старчество принимало все более вид обыкновенного подвижничества. Сказать, что тем оно и завершилось, было бы неверно. Вдруг иссякнуть, пропасть бесследно столь сильная, жизненно важная струя в духовном бытии нации, конечно, не может. Влиться же в другие культурные русла на рубеже веков она могла и даже должна была. Несомненно одно: как Зосима Достоевского, Оптиная не осталась без преемства, и как ушел из монастыря в мир Алеша, так ушли в мир другие «русские иноки», явные или тайные наследники оптинцев. Но кто они — это последнее оптинское преемство, — как отозвалось их подвижничество в дальнейших судьбах церкви, в русской жизни, в позднейшей культуре — это вопрос, еще нуждающийся в основательных разысканиях.

Таков вкратце внешний очерк истории Оптиной пустыни в пору ее расцвета.

2

Перейдем к тому, что составляло внутреннее, далеко не очевидное содержание нравственно-аскетической деятельности оптинцев.

Истоки ее восходят к русскому и византийскому средневековью. Среди тех, кто предопределил возрождение аскетики в XIX веке, дав ей при начале такую глубину и жизнестойкость, следует назвать прежде всего преп. Сергия Радонежского. При нем «Северная Фиваида» стала средоточием общеправославной и одновременно национальной духовности. Именно поэтому Сергей сыграл столь выдающуюся роль и в русской государственности.

Сергий в основном сохранил тот тип монашества, который сложился еще при Феодосии Печерском, сохранил студийский устав. Но он же ощутил всю важность для русского подвижничества завещанных Византией аскетических традиций. Среди них значительнейшее влияние имел исихазм, правда, претерпевший в русской аскетической практике некоторые изменения.

Исследователи отмечают «очень раннее появление на Руси Чина православия с пятнадцатью новыми пунктами, добавленными в XIV в., из которых шесть первых коротко формулируют все основные философско-богословские положения исихастов».⁴³ К тому же времени относится и переход некоторых монастырей от отшельничества к киновии — общежительному устройству, в чем Сергей был одним из главных инициаторов.⁴⁴ Исихастские идеи получают тем большее распространение, что в Россию проникает «многочисленная аске-

⁴² Соловьев заходил в них подчас довольно далеко и тогда производил впечатление глубоко двойственной внутри личности. См.: *Амфитеатров А.* Литературный альбом. СПб., 1904. С. 256—257; *Величко В. Л.* Владимир Соловьев: Жизнь и творения. 2-е изд. СПб., 1904. С. 144, 176—177.

⁴³ *Прохоров Г. М.* Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV в. // ТОДРЛ. 1968. Т. XXIII. С. 104.

⁴⁴ Там же. С. 106—107.

тико-созерцательная литература, занявшая с конца XIV в. едва ли не главное место в русской письменности».⁴⁵

С реорганизацией монастырской жизни, с упрочением связей с Афоном, с появлением на Руси и изучением творений Григория Синаита, Симеона Нового Богослова, Григория Паламы и др. углубляется, становится тоньше и вместе с тем напряженной внутренняя, интимно-духовная жизнь русского подвижника-аскета, культивируются мистико-созерцательные настроения. И в облике, и в духовной жизни самого Сергия заметны новые черты: его личность гораздо более открыта в мир других личностей, новые видения посещают его — эти светоносные видения Сергия вполне можно сопоставить с Фаворским светом исихастов.⁴⁶ Характерно для него и его последователей (Кирилл Белозерский, Дионисия Глушицкого, Иоасафа Каменского и дальше, вплоть до Нила, а затем Серафима Саровского, оптинцев), что углубление в себя не только не исключает, но прямо предполагает культ христианской любви, причем весь контекст богомыслия и деятельности этих подвижников «не оставляет сомнений в том, что эта любовь направлена не только к Богу, но и к человеку».⁴⁷

Из этого прямо проистекает призвание харитативного служения миру — важнейший мотив русского подвижничества от Сергия до Амвросия. Служение миру вообще хорошо согласовывалось с установкой тех же исихастов принимать деятельное участие в общественной и политической жизни, даже не выходя из монашеских келий.⁴⁸ Но в русском понимании иноческого служения господствующей стала именно харитативная окраска — глубоко пронизывающее и согревающее аскетико милосердно-любобное отношение к ближнему.

Кроме этой черты к важнейшим, утверждавшимся при Сергии и его учениках особенностям русского подвижничества надо отнести: а) подчинение внешней аскезы «внутреннему устройению»; б) в «духовном делании» строгую и вдумчивую ориентацию на святоотеческие авторитеты и афонскую практику; в) углубленное самопознание, ведущее к очищению, «трезвлению» ума и сердца; г) введение в обиход старческого «окормления»; д) применение «умной молитвы».

В деятельности Нила Сорского эти особенности получили последовательное развитие и стали слагаться в законченную систему аскетических принципов, нашедших у Нила — впервые на Руси — достаточно строгое и глубокое теоретическое обоснование. Нил опирался при этом на непосредственное изучение афонского аскетического опыта, а также на множество известных ему восточно-христианских источников.

Вслед за Иоанном Лествичником он утверждал в своей аскетике «средний путь», высоко ставя в деле «внутреннего устройства» меру, такт и придавая большое значение разуму. «Без мудрствования и доброе на злобу бывает, ради безвремения и безмерия» — вот убеждение Нила, которого он постоянно держался и в котором слышен завет ценимого им Антония Великого. Последний важнейшим даром аскета считал «дар рассуждения», ибо оно помогает «оставлять обоюдное безмерие, шествовать путем царским (средним) и не попускать, чтобы он был окрадаем, с одной стороны, безмерным воздержанием, а с другой был неизвлечен к нерадению и расслаблению. Ибо рассуждение есть некоторым образом око и светильник души» — так передает слова Антония авва Моисей.

Разум, чувство меры, чувство смыслового центра, можно сказать, позволяя Нилу в истолковании Откровения и христианского Предания, в аскетической практике не терять из виду главнейшую цель подвижничества — духовную лич-

⁴⁵ Там же. С. 107.

⁴⁶ Федотов Г. П. Указ. соч. С. 139.

⁴⁷ Там же. С. 153.

⁴⁸ См.: Прохоров Г. М. Указ. соч. С. 100.

ность человека. Ибо, по словам Симеона Нового Богослова (авторитетнейшего для православных аскетов писателя), «все настоящее тлеет и проходит, как сон, и в видимом нет ничего постоянного и твердого, солнце, звезды, небо и земля, все проходит, а человек один из всего остается».⁴⁹

Нил существенно смягчил, умерил экзотичность неохристианской мистики, ввел ее в русло, более отвечающее русскому нравственно-религиозному чувству.

Григорий Палама, полемизируя с Варлаамом⁵⁰ и отмежевываясь от месалианской ереси (допускавшей возможность видеть Бога телесными глазами), развивал представление о сущностном единстве и одновременно различии Бога и исходящих от него действий и «энергий». «Энергии», принадлежа непостижимой сущности Бога, одновременно отличны от нее своей катафатической «вмещаемостью» в тварный мир, своей обнаруживаемостью и доступностью человеку познанию. К этим «энергиям» и прибобщается творящий «иисусову молитву» и созерцает мир, осиянный светом Преображения.⁵¹

Но тут необходимо отчетливое и последовательное разграничение душевного и духовного — в том смысле, как об этом говорит Апостол Павел (I Кор. 2, 11—16; 15, 44—46). Без строгого различения того и другого мистическое самоуглубление чревато духовным повреждением. Для внутренне не готового к «умному деланию» аскета есть соблазн душевное принять за духовное, а следовательно — соблазн искать субъективного экзотического наслаждения, а не духовной радости истинного богообщения. Не руководимый опытным наставником аскет мог слишком легко уклониться на ложный путь чрезмерной экзальтации, мистико-визионерских состояний — вне зависимости от степени его нравственно-религиозного совершенства. Сама по себе «техника» «умной молитвы» от такой опасности еще не ограждала. Тем более что приемы молитвенного сосредоточения (связываемые с именем афонского монаха Никифора) просты и доступны: нужно, задерживая как можно дольше дыхание, повторять соразмерно ударам сердца слова молитвы («Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного»), при этом с силой упираться подбородком в грудь и сосредоточивать взгляд на середине живота.

Нил бесспорно признавал «умное делание» вершиной молитвенного творчества, не отвергая того, что в совершении «иисусовой молитвы» вместе с духом в известной мере участвует и тело. Но прочным основанием молитвы, считал Нил, должна быть долгая, строгая внутренняя аскеза, неустанный труд над внутренней личностью. В сам же момент молитвы особенно необходимо «зрети присно в глубину сердечную». Всякие «видения» в это время только разрушают духовную сосредоточенность, а потому Нил их решительно не допускает и называет «прельщениями».

Вообще вопрос об отношении Нила к исихазму (а это в значительной мере вопрос об отношении к последнему всей русской аскетике) довольно непросто.⁵² Во всяком случае авторитеты не сковывали его свободного, а иногда и критически настроенного «разумения». Нет никакого оттенка неохристианства в том, как он излагает и развивает, уже на русской почве, мистико-аскетическое учение исихастов.

⁴⁹ Преподобного отца нашего Симеона Нового Богослова игумена обители св. Маманта двенадцать слов. С. 185.

⁵⁰ Об этой полемике см.: Прохоров Г. М. Указ. соч. С. 87—93. Здесь же приведена греческая рукопись XIV века, где толкуется учение Паламы.

⁵¹ О природе Фаворского света Палама подробно говорит в двух посвященных этой теме беседах. См.: Григорий Палама. Беседы (омилии). Монреаль, 1974. Т. 2. С. 83—101.

⁵² Об «исихазме» Нила см.: Lilienfeld F. von. Nil Sorskij und seine Schriften: Die Krise der Tradition im Rußland Ivan III. Berlin, 1963. S. 133—157.

И еще одна примечательная черта. Неизменное чувство меры, стремление избегать крайностей нашли осязаемое выражение в уравновешенном, внутренне соразмерном стиле Нила, отличавшегося литературной одаренностью, свободно владевшего разными средствами словесной выразительности (в многочисленных посланиях ученикам, например).

Дух и строй русского подвижничества несут на себе, вплоть до XIX века, характерную печать личности Нила Сорского — первого «святого интеллигента» на Руси, по выражению Иоанна Кологривова. Благодаря ему святоотеческая мысль и исихастская аскетика, обогатившие обновлённое Сергием иночество, нашли в русском монастыре свое законное место и органические формы.

Важнейшие итоги деятельности Нила таковы:

1. Восточнохристианскую аскетическую доктрину он излагает как диалектическое учение о «внутреннем человеке». Нил связывает *действительность* телесно-душевной природы человека с его трансцендентными духовными *возможностями*. Рождающееся между этими полюсами движение и есть путь аскезы, который в каждой его фазе Нил рассматривает очень подробно. Его «Устав» — наставление по иноческой жизни и одновременно доведенная до тонких оттенков классификация всевозможных состояний ума и чувства аскета. Основа антропологии Нила — концепция внутренней собранности, цельности человека.

2. Аскеза у Нила на всех ступенях подотчетна разуму, мистическая же сторона ее получает прикровенный характер. У Нила нашел наиболее полное выражение тот тип русской святости, который отличается «светлой мерностью, отсутствием радикализма, крайних и резких отклонений от завещанного древностью христианского идеала».⁵³

3. Этому соответствовал утверждавшийся Нилом «средний путь». В монастырском укладе то был путь между кинovieй и анахоретством, привел он к возникновению и распространению скитов, сыгравших неоценимую роль в подвижничестве XVIII—XIX веков. В деле духовного просвещения и «окормления» это путь молитвы и кроткого убеждения, избегающий нетерпимости, полемики, анафемы, но и не допускающий уступок.

4. Харитативное служение братии и миру более обращается к личности, ищет осуществления в интимно-духовной сфере.

5. По своей философской концепции и по литературному оформлению аскетика Нила принадлежит уже к «новому стилю духовно-культурной жизни и художественного творчества»,⁵⁴ который, возникнув в XIV веке, простирался в своих умственных и литературных последствиях до века XIX.

Со второй половины XVI века тип аскетика, утвердившийся при Сергии и Ниле, оттесняется на периферию религиозной жизни. С победой осифлянского господствующим становится «уставное» или «обрядовое благочестие», с которым нередко соединяется упадок духовности не только среди мирян, но и в церковной среде. В монашестве внутренняя аскеза, «умное делание», вытесняемые наружной аскезой, часто прячутся в «худые ризы», принимают крайние формы юродства. При Грозном оказывается уже вполне возможным сочетание «обрядового благочестия» с изощренной жестокостью и моральным безудержем: не случайно ведь и опричнина замышлялась как монашеский орден.

По дальним обителям, в глухих скитах, конечно, теплится еще прежнее мистико-аскетическое направление; еще переписываются и хранятся переведенные с греческого рукописи, блюдутся заветы Сергия и Нила. Но в центре царит иной дух. Примечательно, что из учеников Иосифа вышло много иерархов, но

⁵³ Федотов Г. П. Указ. соч. С. 230.

⁵⁴ Прохоров Г. М. Указ. соч. С. 108.

ни одного святого. Глубоко прав Г. П. Федотов: «Основной путь московского благочестия прямо вел к старообрядчеству». ⁵⁵ Живая святость, считает историк, ушла. А «Петр разрушил лишь обветшалую оболочку св. Руси. Оттого его надругательство над этой старой Русью встретило ничтожное духовное сопротивление». ⁵⁶

В XVIII веке «внутренняя личность» далеко не составляет сердцевину религиозной жизни. С одной стороны захватываемая общественно-государственным строительством, а с другой формально опекаемая синодальной церковью, личность в ее интимно-духовном содержании часто оставалась в запустении. В этом состояло самое большое расхождение века с гуманистическим смыслом христианства вообще и православия в частности. Ведь каждое слово Нового Завета, слово Христа и Апостолов, слово Отцов церкви и святителей обращено исключительно к внутренней личности человека, взывает к ней, требует от нее живого интимного отклика на зов Бога. Православная аскетика на то и направлена, чтобы пробудить, воспитать в человеке христианскую личность, научить ее слышать этот зов и отвечать на него познанием себя, покаянием, очищением, отвечать словом молитвы и делом любви. В том же был смысл культивируемого исихастами «мистического индивидуализма». ⁵⁷

Подспудно нараставшей в XVIII веке реакцией было вначале стихийное, а позднее осознанное в церкви и светской культуре стремление восстановить «внутреннюю личность» в той полноте, в какой она выступает в христианском учении, в церковном Предании, вернуть ее в центр религиозной жизни. Это стремление сделалось очевидным уже в конце XVIII века и вскоре дало свои плоды, среди которых, правда, были и такие, как российское масонство, как лабзинско-голицынский мистицизм, как сближение с иезуитами. Но главное — была все-таки возделана почва для воскрешения христианской личности, посеяны семена новой религиозно-философской мысли, приготовлено поприще для новых аскетов-подвижников.

Громадная заслуга в этом неприметном, но неуклонном приготовлении принадлежит плееде умножившихся к началу XIX века, часто безымянных работников духовного просвещения, рассеянных по Руси, сопредельным монастырям, афонским келиям. Главой этого движения, этой тихой церковной реформы, проходившей под знаком своеобразного православного персонализма, был Паисий Величковский, «родимец полтавский», возглавлявший «ума Христова» в России, но учившийся и монашествовавший за ее пределами. Именно он острее многих ощутил и деятельно выразил потребность русского религиозного и нравственного сознания, восстановил тот тип богомыслия, аскетики, монастырского уклада, в котором первостепенная роль принадлежит духовной личности и решается задача «внутреннего устройства».

В 1740-е годы Паисий не находит в русских монастырях ни достойной иноческой школы, ни духовного наставника (после пострижения его восприемный отец исчез из обители бесследно). Побывав в Любицком, Николо-Медведовском монастырях, в Киево-Печерской лавре, он отправляется в Валахию и там встречается со старцами, наставившими его на пути внутренней аскезы. Но жаждавший в подвижничестве большего, Паисий покидает и Валахию и отправляется на Афон. Там он усердно разыскивает святоотеческие творения, с трудом добывается до смысла их в зачастую испорченных славянских переводах, наконец сам овладевает «еллино-греческим» языком (о грамматике которого сохрани-

⁵⁵ Федотов Г. П. Указ. соч. С. 189.

⁵⁶ Там же. С. 190.

⁵⁷ Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973. С. 101.

лись меткие паисиевы замечания), переводит восточных Отцов и аскетов заново. С многочисленными соподвижниками и учениками, из которых скоро составила особенная монашеская община, Паисий переводит те богословские и аскетические сочинения, из совокупности которых складывается полное, подробное учение о духовной личности и путях восхождения к христианскому идеалу. Большая часть этих переводов вошла в состав знаменитого «Добротолюбия», этой славянской аскетической энциклопедии, созданной на основе греческой «Филокалии». Другие ходили долгое время в рукописях, а после были изданы в Оптиной.

На Святой горе Паисий нашел немало опытных в деле окормления старцев, в их числе были выходцы и из России. Впитывая их опыт, углубляясь в святоотеческое учение, Паисий сам стал в сущности первым русским старцем. Понятно, почему иноки стремились общежительствовать с Паисием, почему очень скоро вокруг него сплотилась духовная община из 64 учеников. А когда в России были установлены монастырские штаты (резко ограничивавшие число монахов в обителях), паисиево братство стало стремительно разрастаться. Вскоре старец покинул Афон и принял настоятельство в валашских монастырях, где собралось несколько сот иноков. После смерти его, уже в царствование Александра I, многие ученики Паисия возвращаются в Россию, а с ними распространяются переведенные учителем книги и постепенно возрождается древнее установление старчества.

В обескровленное русское подвижничество Паисий влил животворную кровь святоотеческой мудрости и афонского опыта; но прежде она была пропущена через строгую аскетическую систему Нила Сорского, с чьим наследием Паисий был очень хорошо знаком. Сопоставление текстов того и другого показывает, что «Устав» Величковского в главных пунктах близок знаменитому «Уставу» Нила, что в сочинении об «умной молитве» Паисий опирается на те же, что и его предшественник, авторитеты и толкует их в том же духе.⁵⁸ Придавая столь же большое, как и Нил, значение «иисусовой молитве», Паисий столь же сдержан — дабы не ввести в соблазн — в советах по ее деланию. Кротостью и любовью к ближнему согреты все поучения и поступки старца, а когда возникает нужда, эти свойства обращаются в деятельное широкое милосердие. Так случилось во время русско-турецкой войны: толпы беженцев нашли в монастыре Паисия кров и пищу; келарю, повару, было велено приютить и накормить всех проходящих в обитель.

Одним словом, традиции русской святости, русского подвижничества, достигшие своей вершины в XIV—XV веках, в Паисии Величковском нашли выдающегося продолжателя. Он сам, его ученики стали той духовной силой, которая первой откликнулась на самую насущную потребность новой православной культуры в России и способствовала ее оживлению в начале XIX века.

Знамение перемен было подвижничество Серафима Саровского, который «распечатал синодальную печать, положенную на русскую святость, и один взошел на икону среди святителей, из числа новейших подвижников».⁵⁹ Он — живой пример самородной, из недр России вышедшей христианской личности. Аскетическая школа Паисия ставила целью раскрыть такую личность в человеке.

Но эта аскетика смотрит на личность уже не совсем так, как смотрел, скажем, Нил. Пятнадцатый век видел в человеке сложное, но еще достаточно

⁵⁸ Боровкова-Майкова М. Нил Сорский и Паисий Величковский // Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели. СПб., 1911. С. 27—33.

⁵⁹ Федотов Г. П. Указ. соч. С. 235.

абстрактное содержание, не искал еще духовной конкретности и точного выражения ее в понятии, в слове.⁶⁰ Сама диалектика душевного и духовного у Нила носит утонченно-сложный, но вместе и отвлеченно-аллегорический характер.

Для школы Паисия, для пробуждавшейся одновременно русской философской мысли⁶¹ уже понятна и близка духовная конкретность человека — та самая, что составляет содержание зрелого реалистического искусства.

Нравственно-аскетическая деятельность оптинцев как раз воплощала духовную конкретность русского человека XIX века. По наружному выражению эта деятельность часто сливалась с повседневным иноческим служением, с неярким колоритом монастырского и мирского быта России. По внутренней же сути она — неустанный труд ума и мощное творчество воли аскета, эмоционально многоцветная и сюжетно острая драма становления христианской личности в человеке. Эта деятельность как будто вполне эмпирична: неусыпное «смотрение» помыслов и совести, старческое окормление, дела любви и милосердия. А вместе с тем, восходя по «лестнице» святоотеческого любомудрия, она поднимается на значительнейшую метафизическую высоту.

Оптинская мысль и аскетическая практика глубоко *онтологичны*; таково вообще, по природе своей, русское философское мышление. Эту особенность его Бердяев удачно назвал «онтологическим реализмом», подразумевая следующее: «Примат принадлежит не идее, не познающему субъекту, а бытию. Бытие первоначально дано, оно дано вере, дано опыту целостного духа, и только потому возможно его познание».⁶²

Логично, что именно «целостный дух» составляет главный пункт оптинской гносеологии, что именно вокруг этой концепции складывается чрезвычайно важная для XIX века этико-философская проблематика.

В конкретном требовании к человеку обрести духовную цельность действительно заключен глубоко онтологический смысл: духовная цельность — не только предпосылка всеобъемлющего созерцания, она сама — выражение цельности бытия, внутреннего сплошного единства мира. Иначе говоря, мир настолько действительно целен, насколько целен человек. Здесь это надо понимать не фигурально, не фихтеански, а так, что, собирая себя внутренне, человек вносит цельность в свои идеальные и материальные отношения с миром, собирает его во все более полное единство — в масштабах общества, человечества,

⁶⁰ См.: Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 97.

⁶¹ О философской мысли в контексте православной культуры начала XIX века см.: Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 234—256. Следует отметить, что в устроениях русских писателей начала XIX века весьма ощутимо тяготение к синтезу далеко разошедшихся в XVI—XVIII веках собственно философского умозрения и религиозно-этической доктрины христианства. Ср. трактат К. Н. Батюшкова «Нечто о морали, основанной на философии и религии» (1815); В. И. [Измайлов В. В.]. Религия и философия // Вестник Европы. 1814. № 17. Близок к этим настроениям Грибоедов (см.: Лушников А. Историко-литературная почва первого славянофильства. Казань, 1913; Кюхельбекер В. К. Путешествие; Дневник; Статьи. Л., 1979. С. 380). Примечательна рядом с этим эклектика А. И. Галича: в абстрактно-механистическую его антропологию вдруг вкрапливаются «откровения» (отчасти позднешеллингианского происхождения) о находящейся в человеке «живой силе», которая «действует в сохранении и в ограждении нашего неделимого бытия» (Галич А. И. Картина человека, опыт наставительного чтения о предметах самопознания для всех образованных сословий. СПб., 1834. С. 241).

⁶² Бердяев Н. О характере русской религиозной мысли XIX века // Современные записки. Париж, 1930. Кн. XLII. С. 332. О том же говорили в начале XX века и другие философы. В. Эрн считал, что русская мысль «была всегда существенно конкретна, т. е. проникнута онтологизмом, естественно вытекающим из основного принципа *λογος*'а» (см.: Эрн В. Нечто о Логосе, русской философии и научности // Московский еженедельник. 1910. № 30. Стлб. 35). Именно онтологична уже та духовная конкретность человека, которую, как говорилось выше, мы находим у Паисия Величковского и его последователей.

истории, — причем не умозрительно, а реально (этот момент акцентирует и учение Н. Ф. Федорова). Или же от обратного: внутренне нецельный, не собравший в единство свои сущностные силы человек не способен придать бытию цельность, а значит, он выступает началом разрушительным в плане объективно-материальном и противостоящим творческой воле Бога в плане религиозно-философском.

Унаследовавшая византийские и русские традиции, оптинская аскетика имела под собой мощный богословский и философский фундамент. Он оставался у оптинцев неизменным, а между тем в нем заключаются идеи, имеющие огромное мировоззренческое значение для русской мысли и для литературы. Укажем важнейшие из них.

1. Оптинское богомыслие и аскетика исходят из основополагающей в православной онтологии концепции *мира как цельности*, причем связующим разрозненные части мира началом является *любовь*. Последняя, будучи онтологической категорией, понимается очень широко.

Она и «премирна»: «Бог есть любовь» (I Ин. 4, 8); «она есть Дух Святой, от Отца исходящий к Сыну, на Нем почивающий. . . Она делает свой ипостасный лик прозрачным для других и как бы скрывается сама в то время, когда проявляет наибольшую силу». ⁶³ Бог, говорит Василий Великий (в «Шестодневе») связал каким-то неразрывным союзом любви весь мир, так что разрозненные и удаленные его части кажутся соединенными посредством симпатии. Григорий Богослов указывает на божественное сияние мира (космоса), в котором Творческое Слово связало все узами любви и который поэтому есть «красота несравненная». Правда, в эту картину мира Григорий Богослов вносит и ноту философско-этической тревоги, подчеркивая, что мир стоит в мире с самим собой до тех пор, пока ни одно существо не восстанет против другого и не разорвет этих уз любви. Трагическая возможность разрушения мирового целого проистекает прежде всего из свободы человека выбирать зло или добро, разрушение или любовь.

Любовь осуществляется в выбравшем ее, через человека она делает мир цельным: человек собирается ею к самому себе и к Богу и «соединяет в себе раздранные части естества». ⁶⁴ Христианское предание и философия видят в любви вместе с онтологической конкретно гуманистическую ценность: «Если имею дар пророчества, — говорит Апостол Павел, — и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (I Кор. 13, 2—3).

Все оптинское подвижничество было воплощением *любви* в полноте онтологического, экзистенциального, нравственного содержания этого понятия.

2. В нравственно-аскетической деятельности оптинцев вопрос о *воле* и о *свободе* — в своей постановке, в практических решениях — вытекал из святоотеческого учения о личности и из развития его в традиции Нила и Паисия.

По своей природе, по положению в мире человек — часть изначально связанного любовью целого. Целое присутствует в человеке как его духовная интенциональность, влекущая пребывать в единстве с Богом. Но человеку дана способность осознать эту интенциональность. Из осознания ее (из «совокупления ума с духовным», по выражению Симеона Нового Богослова) возникает воля к пребыванию в целом бытия; эта воля уже есть выражение «собранности», духовной цельности человека.

⁶³ Булгаков С. Православие: Очерки учения Православной Церкви. Париж, Б. г. С. 29—30.

⁶⁴ Преподобного отца нашего Симеона Нового Богослова игумена обители св. Маманта двенадцать слов. С. 41.

Воля возникает только из свободного состояния духа, т. е. из такого состояния, когда дух соотносит себя не с узкими, временными своими формами, а со всем мирозданием, с полнотою бытия и в ней свободно самоопределяется. В этом смысле «свобода есть не право, а обязанность» — так понимала и понимает ее христианская мысль. «Не человек требует от Бога свободы, а Бог требует от человека свободы. Свобода есть бремя и тягота, которую нужно нести во имя высшего достоинства и богоподобия человека. Бог принимает только свободных духом, он не принимает рабского поклонения».⁶⁵

Первое и неперемное условие рождения христианской воли — «отсечение» воли собственной, освобождение от *своеволия*, т. е. от страстного желания разрозненных, отдельно взятых вещей мира. Освобождение от желания («похотения» — в этом старом термине соединены оба смысловых компонента: «хотения» и «похоти»), вызванного такой вещью, существом, от желания, которое подчиняет себе — а значит, этой вещи, существу — всю личность, делает ее несвободной. «Но ничто не должно обладать мною», — говорит Апостол (I Кор. 6, 12); не будьте рабами, ибо «вы куплены дорогою ценою» (I Кор. 7, 23).

Значение старчества в воспитании свободной христианской воли прекрасно понимали в Оптиной. Ведь воля самого старца свободна от желаний и помыслов его ученика, потому старец, беря волю последнего в свою, как бы разом выводит его из лабиринта «похотений», избавляет от ига чувственной и нравственной зависимости от преходящих вещей мира. Воля старца направлена к Христу; идущие за старцем — идут за Христом,⁶⁶ как подчеркивает у Симеон Новый Богослов. У старца и послушника как бы общая воля, общий дух — это прообраз братского, преодолевающего индивидуальную «закрытость» любовного соединения людей еще на земле во имя Христа.⁶⁷

Христианская воля, во власти которой находится «внутреннее устройство» духовной личности, ведет к «умному деланию», дает правильный порядок «иисусовой молитве» — этому *акту христианской любви*, акту любовного вхождения в целое бытия.

3. Но «умная (или иисусова) молитва» — и высший *акт познания*. Высший в том смысле, что это акт онтологический, что, познавательно входя в бытие на этом уровне, мы не одной мыслью (но и мыслью тоже), а всем существом приобщаемся к познаваемой реальности,⁶⁸ преодолевая таким образом бытийную отчужденность между субъектом и объектом. «Акт познания, — говорит Флоренский, — есть акт не только гносеологический, но и онтологический, не только идеальный, но реальный. . . реальное единение познающего и познаваемого».⁶⁹

Содержание «иисусовой молитвы» внешне просто и очевидно (это молитва мытаря).⁷⁰ Но внутренняя, смысловая организация ее такова, что в немногих словах создается цельный образ христоцентрического мира: вокруг имени Иису-

⁶⁵ Бердяев Н. Указ. соч. С. 322.

⁶⁶ Непонимание этой стороны старчества (и сущности христианской свободной воли) обнаружилось не только среди мирян, но и в церковной среде — настолько распространено отождествление свободы духа со свободой индивидуальных желаний. В начале 900-х годов на собрании петербургского «Христианского содружества учащейся молодежи» священники утверждали, что старчество, с его требованием безусловного послушания, противоречит христианскому идеалу нравственной свободы (Икскуль К. Старчество по учению Св. Отцов и аскетов. М., 1907. С. 25—26).

⁶⁷ Сам познавший «брань со страстями», труд и радость послушания у старца, К. Н. Леонтьев писал: «Знаешь ли ты, например, что за наслаждение отдать все свои познания, свою образованность, свое самолюбие, свою гордую раздражительность в распоряжение какому-нибудь простому, но опытному и честному старцу? — Знаешь ли, сколько *христианской воли* нужно, чтобы убить в себе *другую волю*, светскую волю?» (Леонтьев К. Н. Отшельничество, монастырь и мир. . . С. 19).

⁶⁸ См.: Зеньковский В. В. История русской философии. Париж, 1948. Т. 1. С. 227.

⁶⁹ Флоренский П. Столп и утверждение истины. . . С. 73.

⁷⁰ По одному преданию молитва эта была изречена ангелом преп. Пахомию.

са трепещет пронизанное и связанное воедино сыновней любовью бытие, к которому интимно приобщается и творящий эту молитву. Так воспринимает ее афонский монах в «Откровенных рассказах странника. . .», давая тонкое религиозно-философское и этическое толкование ее частям и отдельным словам.⁷¹

Как то подробно изображается в тех же «Откровенных рассказах. . .», творящий «иисусову молитву» собирает всего себя в одное целое, соединяя телесную, душевную природу с духовным началом вокруг того же центра — имени Иисуса. В «умном делании» участвуют одновременно физические силы, чувства, память, безотчетные движения души и ясное разумение, но все подчиненное одной цели и сконцентрированное в «уме» (в сознании, в светлой области его), который «освобождается тогда от своего непрестанного блуждания и остается во „внутренней клетке“, в богомыслии»,⁷² чтобы всецело обратиться к Христу, а затем — к себе, т. е. с Христом сойти «в самую глубину сердца», по наставлению восточных аскетов.

Сущность акта в том, что внешнее бытие, предстающее в момент напряжения духовных сил с наибольшей полнотой и отчетливостью, *вдруг* (вот где уместно это любимое слово Достоевского) «вмещается» в интимное бытие (а не только в сознании) личности; трансцендентное возвращается в экзистенциальное, бесконечное становится содержанием конечного.

В архиве Оптиной пустыни сохранилась любопытная рукописная книга Арсения Троепольского, искусного практика «иисусовой молитвы», подвизавшегося во второй половине века в той же Оптиной и в Глинской пустыни. Это одно из немногих искренних, психологически достоверных, художественно выразительных свидетельств о событии высокого христианского смысла — о совлечении с себя «ветхого человека» и облечении во Христа, о преобразении «тела душевного» в «тело духовное», о чем говорит Апостол Павел (I Кор. 2, 10—16; 15, 44—49). В сильных и ярких чертах Арсений рисует минуты, когда духовная личность и Бытие доверчиво открыты друг другу, когда уже не человек творит молитву, а молитва творит человека по образу и подобию Иисуса⁷³ и когда от того в самом сердце как бы клубится отрадная тяжесть.⁷⁴ Здесь запечатлено явление из той области, которую С. Н. Булгаков называет православным «мистическим реализмом»,⁷⁵ отличающимся от мистицизма католического духовной трезвостью, отсутствием чувственности и экзальтации.

Еще одно интересное свидетельство (в данном случае стороннее) о духовном

⁷¹ Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. 4-е изд. Paris, 1973. С. 216—217. Это произведение — один из замечательных анонимных памятников христианского просвещения и духовной словесности в России в XIX веке. Авторство ее приписывалось игумену Тихону, Феофану Затворнику и неоднократно Амвросию Оптинскому (под его именем книга значится в каталогах ГБЛ). Указание на Амвросия знаменательно и не лишено оснований: по основной нравственно-аскетической проблематике, по некоторым стилевым чертам книга прямо примыкает к писаниям старца. Кроме того, в одном из оптинских изданий ее (Из рассказов странника о благодатном действии молитвы Иисусовой. Сергиев Посад, 1911) в примечании (на с. 47), принадлежащем, видимо, еп. Никону, говорится о приведенной здесь же рукописи, полученной Амвросием из Доброго монастыря. Это отнюдь не литературный прием: отношения с этим монастырем действительно поддерживались оптинцами. Тем вероятнее участие Амвросия в написании всего труда. «Откровенные рассказы. . .» (название варьировалось) неоднократно издавались в России (в Москве и Казани) и за границей. Что любопытно — на этом произведении лежит печать жанровой близости со светской художественно-философской литературой, соприкасавшейся с европейским романтизмом. Из ближайших параллелей назовем «Русские ночи» В. Ф. Одоевского, особенно эпизоды пространных бесед философов-отшельников.

⁷² Булгаков С. Православие. . . С. 314.

⁷³ ГБЛ. Ф. 214. № 411. С. 147.

⁷⁴ Там же. С. 151.

⁷⁵ Булгаков С. Православие. . . С. 309.

события такого рода — «Повествование о действии сердечной молитвы старца-пустынника Василиска».⁷⁶

И у исихастов, и в оптинской аскетике гносеологическое значение «умной молитвы» заключалось в познании «логосов вещей», т. е. премирного их смысла, через что открывалось «целое миропонимание и мироощущение, неведомое мудрецам позитивного знания».⁷⁷ За «грубою корою вещества» творящий «умную молитву» прозревает «логосы тварей» и все необъятное органическое целое мира, связанное союзом любви.⁷⁸

В этом познавательном акте молитва представляет собой слово, наполненное глубоким бытийным (а не магическим) смыслом. Вместе с тем (прежде всего для православного мировосприятия с его настойчивой персоналистичностью) Слово есть Личность, со всей неисчерпаемой духовной конкретностью Личности и с заключенными в ней трансцендентными творческими потенциями. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1, 14) — одновременно удерживая всю свою онтологическую Божественную сущность: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1, 1).

Соответственно в плане духовно-практическом «мудрость Слова не может быть дана помимо личности. Она раскрывается через личность и в личности. Всякое усвоение Λογος'а связано поэтому с внутренней борьбой, с вольным подвигом, напряженность которого приводит в движение, и этим движением выявляет, самые глубокие и обычно скрытые стороны духа».⁷⁹

Личностное содержание слова предельно заостряется, находит полное, завершённое выражение в имени. «...Собственное имя, внутренний концентр прочих имен, — замечает Флоренский, — ...охватывает полный круг энергий личности. Тогда как всякое другое имя годно при известных обстоятельствах и в известных частных случаях, это — всегда применимо и всегда познавательно ценно».⁸⁰

Таким концентром «прочих имен» — прочих логосов — в «умной молитве» выступает собственное Имя Иисуса Христа. Заключенный в нем онтологический смысл, сгусток «энергий» тем значительнее, что ведь это — «собственное Имя Бога и человека» одновременно, оно «единое и для Божества и для человечества Христова и несет в себе силу боговоплощения».⁸¹

Насколько же глубоко открывается духовная сущность Бытия через *это* Имя сосредоточившемуся на нем аскетическому созерцанию! Не случайно на имени Иисуса всегда делалось главное ударение и отшельниками древней Фиваиды, и исихастами, и последователями Паисия, и оптинцами.

Имя Христа относится к пространству охватываемого в «исусовой молитве» Бытия так же, как собственное имя личности относится к пространству возникшего вокруг этой личности произведения (художественного). «Все пространство произведения служит проявлением духовной сущности, — говорит Флоренский, — и, следовательно, именуя ее, может быть толкуемо как ее имя; но

⁷⁶ ГБЛ. Ф. 214. № 409. Автор «Повествования» З. В. — Зосима Верховский (в миру дворянин Захарий Васильевич Верховский), ученик и биограф Василиска. На него указывают как на одного из возможных прототипов Зосимы в «Братьях Карамазовых» (см.: *Плетнев Р.* Сердцем мудрые. (О «старцах» у Достоевского) // *О Достоевском* / Сб. под ред. А. Л. Бема. Прага, 1933. С. 84—86; *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. 1976. Т. 15. С. 570).

⁷⁷ *Киприан*, архим., проф. Предисловие // *Откровенные рассказы странника духовному своему отцу*. С. 11.

⁷⁸ Там же.

⁷⁹ *Эрн В.* Указ. соч. Стлб. 37.

⁸⁰ *Флоренский П. А.* Имена // *Вопросы литературы*. 1988. № 1. С. 171. См. также: *Булгаков С. Н.* *Философия имени*. Париж, 1953.

⁸¹ *Булгаков С.* *Православие*. . . С. 313.

в собственнейшем смысле только имя предельно прилегает к сущности в качестве ее первообнаружения или первооявления, и потому оно преимущественно именуется сущность в полноте ее энергий».⁸²

Но и самое вселенную, замечает Григорий Палама, можно было бы назвать сочинением Самоипостасного Слова. В контексте этого «сочинения» имя его создателя и главного «персонажа» Христа приобретает уникальную гносеологическую ценность.

4. Христианская воля к целому бытия есть воля творческая — творящая внутреннюю личность и мир вокруг нее со «свободой духа, то есть по закону красоты», если использовать глубокое определение Шиллера.⁸³ Труд над духовной личностью, «внутреннее делание» православная аскетика именуется «духовным *художеством*»; Макарий Оптинский, как мы помним, называет «иисусову молитву» «художным оружием», а совершенствование в ней — «художественным деланием»,⁸⁴ следуя святоотеческой традиции, где термин «художественное делание» восходит к греческому *τεχνάω* и соответственно означает и буквально «технику» молитвы, и искусство ее, ведущее к достижению благодатной красоты.⁸⁵ По онтологическому смыслу этот термин оказывается глубоко родствен современным понятию художественного (именно в русском его применении к литературе, в отличие от терминологических синонимов *belles-lettres* и *fiction*).

Аскетическое «художественное делание» воплощает одну из важнейших интенций православного сознания, которую С. Н. Булгаков называет «видением *умной красоты*».⁸⁶

Мы слишком сжились с мыслью о безусловном примате этического в православной культуре; морально-практическая сторона последней постоянно нас в этой мысли утверждает. Будучи самой осязаемой, эта сторона подчас заслоняет источник, питающий православную мораль, — представление о высочайшей *красоте* того подвига, подражанием которому является повседневное служение добру. Ведь именно красота в конечном счете влечет православную душу к подвижничеству, к жертвенности, к делам милосердия. Красота получила особое значение для православного сознания: среди апофатических ценностей (т. е. принадлежащих сущности Бога, неотделимых от него и потому неопределяемых, узнаваемых лишь по «отблеску» их на тварном мире — таковы красота, добро, истина) она как бы сияет ярче двух других, влечет сильнее. О красоте именно в этом ее понимании было сказано Достоевским, что она «спасет мир». В том же логическом порядке стоит отношение писателя к основе основ христианской этики — к идее «быть властелином и хозяином даже себя самого, своего я, пожертвовать этим я, отдать его — всем. В этой идее есть нечто *неотразимо-прекрасное*, сладостное, неизбежное и даже необъяснимое».⁸⁷

Истина требует признать, что православию присущ «идеал не столько религиозно-этический, сколько религиозно-эстетический»,⁸⁸ для приближения к которому и необходимо «умное художество», творческое вдохновение.

К этому идеалу устремлена и оптинская аскетика. Отблеск апофатической красоты лежит на просветленных ликах двух прославленных ее старцев —

⁸² Флоренский П. А. Имена. С. 171.

⁸³ Шиллер Ф. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1950. Т. 6. С. 361.

⁸⁴ Собрание писем блаженной памяти Оптинского старца иеросхимонаха Макария. Письма к мирским особам. С. 590—591.

⁸⁵ Ср. смысл слова *τεχνάω* у Гомера и в строгой классике. См.: Лосев А. Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963. С. 228—230.

⁸⁶ Булгаков С. Православие. . . С. 323.

⁸⁷ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. 1980. Т. 20. С. 193.

⁸⁸ Булгаков С. Православие. . . С. 323.

Макария и Амвросия, от них она лучится в мирскую жизнь. Но все-таки для большинства эта красота скорее обетованная, чем явленная.

Религиозно-эстетический идеал осуществлялся в Оптиной в формах, далеко разошедшихся с путями европейского культурного творчества, где давняя, тонкая дифференциация и специализация в культуре привели к богатству и законченности форм. В отличие, например, от католического монастыря, Оптина как будто не выработала, не узаконила своих завершенных осязаемых форм — в европейском их понимании; сравнительно, скажем, с формами, с культурным стилем францисканцев, иезуитов. Такова, считает Г. П. Федотов, обратная сторона дара св. Кирилла и Мефодия, славянского евангелия — «отрыв от Греции, от классической культуры»,⁸⁹ т. е. от европейской культуры вообще. Вложив всю энергию православного подвижничества в волю к «внутреннему художеству», озабоченная сохранением в нем духовной цельности человека, Оптина не обнаружила в той же степени волю к внешней форме — волю к выражению и закреплению идеальных сущностей в материале, в плоти современной, текущей жизни.

Формы оптинской аскетики выглядели для многих слишком «вневременными», даже «внекультурными». «Среднеевропейскому вкусу» они представлялись неким смешением церковной рутины с элементами простонародной религиозности и морали.

Однако идейные и эстетические искания крупнейших русских художников послепушкинской поры за пределы этого «вкуса» выходили очень далеко. Что особенно замечательно: именно те писатели, чей индивидуальный культурный стиль (т. е. стиль мировосприятия, мышления, словесного творчества) более всего отклонялся от господствующих, «образцовых» культурных тенденций, от «прогрессивных веяний» и тяготел к архаичным (или недавно отжившим) пластам европейской культуры, к народно-почвенным пластам культуры русской, — те писатели оказались наиболее чутки к внутренней красоте, к духу оптинского подвижничества.

Чьи же культурные стили явно отклонялись от «среднеевропейских» тенденций? Известно — это стили Гоголя, Достоевского, Л. Толстого, И. Киреевского, Леонтьева. Трем первым в XIX веке нет европейских культурных параллелей. Последний же интересен и знаменит тем, что был крайне нетерпим в отношении ко всем порождениям «среднеевропейской» цивилизации, выступая у нас с позиций последовательного культурного консерватизма.

Вот они-то все и были так или иначе близки к Оптиной, присматривались и часто притягивались к ней — и не одни нравственно-религиозные их настроения тому причиной.

А между тем Тургенев, полнее, тоньше всех воплотивший в русской литературе именно «эталонные» общеевропейские культурные стили, отборнейшие их формы, ко всей нравственно-аскетической деятельности Оптиной оставался, кажется, довольно равнодушен, хотя знал о ней хорошо. Характерно и то, что чем ближе оказывался К. Леонтьев к Оптиной, тем дальше он отходил от «старинного друга» Тургенева и тем теснее привязывала его удивительная любовь-вражда к Льву Толстому и Достоевскому.

⁸⁹ Федотов Г. П. Указ. соч. С. 233.

РУССКАЯ И ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ. ВЗАИМОСВЯЗИ. КОНТАКТЫ)

Проблемам взаимосвязей русской и французской литератур XVIII—XX веков, культурным взаимоотношениям Франции и России в XIX веке, как и в более ранние столетия, тогдашним личным контактам крупных деятелей русской и французской литератур посвящена обширная научная литература. Из нее в первую очередь следует назвать вышедшие еще в довоенные годы три тома сборников «Литературное наследство» (Т. 29—30, 31—32 и 33—34), осуществленные под редакцией С. А. Макашина. В этом фундаментальном издании собран огромный, неоценимый материал, освещающий главнейшие вехи истории русско-французских культурных и литературных связей. Различным многообразным аспектам той же темы посвящены основополагающие работы академика М. П. Алексеева, Б. В. Томашевского, Б. Г. Реизова, Ф. Я. Приймы, Н. Я. Берковского, Э. Дюшена, М. Партюрье, А. Гранжара, профессора Мишеля Кадо, равно как серия превосходных статей П. Р. Заборова, помещенных в обширном цикле трудов, созданных в Пушкинском Доме АН СССР при участии и под руководством академика М. П. Алексеева группой его ближайших учеников и сотрудников.¹

Поэтому цель моей сегодняшней статьи не в том, чтобы кратко суммировать многочисленные, достаточно хорошо изученные факты из истории взаимосвязей литератур, равно как и истории личных контактов писателей обеих стран на протяжении прошлого века. Думается, что при нынешнем состоянии изучения вопроса, когда мы обладаем достаточно обширным числом книг и статей по истории русско-французских литературных связей, контактов и взаимовлияний в XIX веке, — даже если учесть неодинаковую их научную ценность и методологическую неоднородность, — если бы я поставил перед собой задачу подытожить уже сделанное на сегодняшний день в науке, то в лучшем случае получилась бы всего лишь сводка общеизвестного. Вот почему я поставил перед собой другую задачу. Она представляется мне более важной. Задача моя — в том, чтобы постараться показать, что взаимосвязи и контакты, исключительные по своему многообразию, культурно-историческому содержанию и по своему

¹ См.: Лит. наследство. 1937. Т. 29—30; 31—32. 1939. Т. 33—34; *Алексеев М. П.* 1) Русская культура и ~~европейский~~ мир. Л., 1985; 2) И. С. Тургенев — пропагандист русской литературы во Франции // Тр. / Отд. новой рус. лит. ин-та лит. М.; Л., 1948. Т. 1; *Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. Л., 1960; *Реизов Б. Г.* Из истории европейских литератур. Л., 1970; *Прийма Ф. Я.* Русская литература на Западе. Л., 1970; *Берковский Н. Я.* О мировом значении русской литературы. Л., 1977; *Дюшен Э.* Поэзия М. Ю. Лермонтова и ее отношение к русской и западноевропейской литературе. Казань, 1914 (ср.: *Dichesne E. M. J. Lermontov. Sa vie et ses oeuvres.* Paris, 1910); *Parturier M.* Une amitié littéraire, P. Merimeé et I. Tourguéniév. Paris, 1952; *Granjard H.* Ivan Tourguéniév, la comtesse Lambert et «Nid des seigneurs». Paris, 1960; *Mongault H.* Introduction / Merimeé P. Etudes de littérature russe. Paris, 1931. V. 1; *Cadot M.* La Russie dans la vie intellectuelle française (1839—1856). Paris, 1967. (С обширной библиографией); *Заборов П. Р.* 1) Ж. де Сталь и русская литература первой трети XIX века: Ранние романтические веяния. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1972; 2) Французская романтическая драма в России 1820—1830-х годов: Эпоха романтизма. Л., 1975; 3) Французская литературная критика в России: От романтизма к реализму. Л., 1978. (Мы приводим лишь выборочно некоторые основные работы из обширной литературы вопроса).

значению для развития культур и литератур наших обеих стран, были глубоко исторически закономерны. Ибо в основе их лежала глубокая и поразительная общность, отличающая многие определяющие черты духовно-нравственного содержания французской и русской литератур XIX века. Постараться в меру моих сил показать, в чем состоит эта общность, в научно аргументированной форме обосновать мысль, что глубокие и плодотворные взаимосвязи, взаимовлияния, контакты между нашими литературами никогда не были результатом более или менее случайного благоприятного стечения обстоятельств, но вытекали исторически закономерно из их глубокого внутреннего идейно-художественного сродства, близости и общественных запросов, задач, которые сама история поставила перед нашими народами, перед наиболее глубокими и блестящими представителями русской и французской художественной мысли XIX века, — вот в чем я вижу сегодня главную общую нашу задачу. И мне кажется, что, если мне удастся отчасти обосновать хотя бы предварительно названный свой тезис, статья моя будет полезна не только для изучения исторического прошлого, но и для укрепления сегодняшних культурных и литературных связей между СССР и Францией, — связей, которым русские и советские люди всегда придавали в прошлом и придают в наше время особое значение, так как связи эти имеют глубочайшую, уходящую в далекое прошлое историческую основу, а дальнейшее их сохранение и укрепление важно и для наших народов, и для всего человечества.

Хорошо известна мысль Достоевского о «всечеловечности» как одной из определяющих черт русской литературы XIX века. Ее особая, уникальная «открытость» жизни, идеалам и страданиям всего человечества породила у русских писателей чувства любви и глубокого интереса к литературам других европейских народов — больших и малых, — сделала навсегда их величайших представителей близкими и дорогими русской культуре. Как не раз справедливо отмечалось, мысль эта не принадлежит одному Достоевскому: ведь, развивая ее, он опирался в своей знаменитой пушкинской речи на поэзию, драматургию и прозу Пушкина, видя в них живое, наглядное подтверждение «всемирной отзывчивости» русской литературы. Мысли о живом, постоянном ощущении русскими писателями XIX века близости решавшихся ими художественных задач и задач других европейских литератур, существовании теснейших объективно-исторических общности и родства между литературами России и Запада высказывали до Достоевского не раз также Белинский и Герцен.

Каждый из народов мира имеет свои особые, неповторимые черты. Черты эти отражают глубокое своеобразие и неповторимость его культуры и литературы. Но вместе с тем своеобразие и неповторимость культуры каждого народа, — а без понимания их невозможно понять всего бесконечного богатства и многокрасочности мировой культуры и искусства, — не отменяет глубокого, органического родства между отдельными народами и их культурами, единство тех наиболее глубоких социально-исторических закономерностей, которые определяют пути развития человечества. Творческое усвоение каждой национальной культурой опыта другой — необходимое условие роста и углубления ее собственной самобытности и зрелости. Возникающие в процессе исторического развития взаимосвязи и контакты между культурами разных народов, их искусством и литературой необходимы поэтому и для общего подъема человеческой культуры в региональном и мировом масштабе, и для проверки и укрепления внутренних сил и потенций, присущих культуре каждого народа. Эти взаимосвязи и контакты стимулируют дальнейшее прогрессивное развитие также и тех обладающих высокой общечеловеческой ценностью неповторимых черт культуры каж-

дого народа, которые придают ей особое ее лицо, ее уникальный, исторически неповторимый характер.

При постоянном наличии системы широких и многообразных контактов и взаимосвязей между деятелями русской литературы XIX века и современными им деятелями английской, немецкой, итальянской, испанской и других литератур Запада, ни с одной из иноязычных западноевропейских литератур XIX века развитие русской литературы не было так тесно связано, как с развитием французской литературы. Но хотя самый факт этот, как я уже заметил, общеизвестен и современная наука обладает достаточно широким кругом сведений, относящихся ко взаимосвязям русской и французской литератур XIX века, к литературным и личным контактам между писателями наших двух стран в эту эпоху, различные ученые во Франции и СССР давали в прошлом и дают до сих пор далеко не одинаковые ответы на вопрос о социальных и культурно-исторических причинах, способствовавших постоянному развитию и углублению столь плодотворной связи и интенсивному обмену идей между Францией и Россией.

Начиная с XVII и до первой четверти XIX века французский язык приобрел в известной мере значение интернационального языка европейской аристократии, придворного великосветского дворянского общества. Не менее хорошо известно и то, что знание французского языка в XVIII и в XIX веке было широко распространено в России и что многие европейски образованные люди и в XVIII веке, и в пушкинскую эпоху предпочитали пользоваться для своей личной переписки не русским, а более разработанным к тому времени французским языком, рассматривая в качестве образца стиль французской эпистолярной прозы. Наконец, не только в этот, но и в позднейший период французский язык продолжал оставаться языком официальной дипломатической переписки. К тому же в Петербурге, Москве и других крупных городах России жило немало лиц французского происхождения, принадлежавших к разным сословиям и профессиям. В Петербурге XIX—начала XX века в течение многих лет существовал театр, дававший спектакли на французском языке, выходили французская газета «*Journal de St. Pétersburg*» и другие французскоязычные издания. И все же, при всем неоспоримом значении перечисленных (и других аналогичных) культурно-исторических фактов, из которых одни представляют существенный интерес для изучения вопроса о международных социально-политических, культурных и экономических связях России и Франции, а другие характеризуют роль французского языка и литературы как языка и литературы, сыгравших в XVIII и XIX веках роль важных культурных посредников на пути ознакомления определенных (более или менее широких в разные времена) слоев русского общества с культурными достижениями других передовых народов Европы, отнюдь не только в этом следует искать основную причину той глубокой и могучей симпатии, которая привлекала сердца великих русских писателей и других русских людей XIX века к творчеству выдающихся мастеров французской литературы XVII—XIX веков.

Думается, что главная из причин, побуждавших великих русских писателей (и вообще мыслящих людей России) с особой любовью обращаться к французской литературе, выделяя ее в этом отношении из других литератур мира, состояла в насыщенности французской литературы, как и литературы русской, в лучших их образцах высокой, благородной и требовательной критической, общественно-гуманистической, испытующей мыслью.

В XVI веке французская литература широко отразила жизнерадостный подъем народной жизни эпохи Возрождения, гуманистическую мечту тогдашних передовых умов Франции о светлом будущем человечества. В эпоху граждан-

ских войн, становления и развития абсолютизма она явилась тревожной, беспокойной совестью этой сложной, переходной эпохи, защитницей красоты и человечности в трагическом мире неразумия, зла и страдания. В XVIII веке литература Франции стала предвестницей грядущей революции. И именно все это в первую очередь определило глубину и силу ее воздействия на русское общество.

Начиная с эпохи Рабле и Монтеня, Расина и Паскаля, Лабрюйера и Ларошфуко, Мольера и Лафонтена французская литература была для французского общества мощной нравственно-воспитующей силой. Она стремилась поднять уровень духовного мира, уровень нравственного, социально-политического самосознания своих современников, приобщить их к решению основных вопросов человеческого бытия, воспитать в них чувство общности людей, мужество, стойкость, широкий интерес к реальному миру, взятому во всей сложной диалектике многообразия его проявлений. Отсюда и проистекали в первую очередь интерес и любовь русских людей к классической культуре, искусству и литературе Франции. Духовное здоровье, неистощимое жизнелюбие и здравый смысл Рабле, стремление Монтеня понять и охватить единым взором всю сложность исторического и повседневного бытия людей, высокая человечность Расина и мадам де Лафайет, острота и изящество мысли Ларошфуко, светлый и радостный юмор Мольера, его веселая народность и умение создавать незабываемые, яркие человеческие типы, тонкая наблюдательность и ироническая мудрость Лафонтена — вот те черты французской классической литературы, которые положили основу ее славы и популярности в России.

Французские просветители XVIII века, несмотря на очевидные для нас сегодня противоречия, свойственные просветительской мысли, углубили и подняли на новую высоту тот энциклопедизм, дух живой общительности, классической ясности, жизнелюбия, широкого интереса к социальной жизни и внутренней сложности человеческой души, который был свойствен уже французской литературе Возрождения и который продолжал упорно существовать в ней, несмотря на стремление французского государства эпохи абсолютизма подчинить литературную деятельность строгой системе регламентации и «хорошего тона». Отсюда проистекал и особый интерес, который вызвали в России Вольтер, Дидро, Руссо, а позднее французские социалистические писатели конца XVIII — начала XIX века.

Характерно, что Вольтера высоко ценил в России не только Пушкин, но и Герцен, что Достоевский учился искусству философского диалога у автора «Племянника Рамо», а Толстой в молодые годы пережил, по собственному признанию, глубочайшую любовь к гению Руссо, восхищение и преклонение перед его личностью. Факты эти — свидетельство того, что французская просветительская литература XVIII века продолжала во многом оставаться живой и современной не только для русских людей XVIII, но и XIX века.

В. И. Ленин отметил «жизненность» и «силу своего влияния на человечество» Великой французской революции XVIII века.² «... Все развитие всего цивилизованного человечества во всем XIX веке, — заметил Ленин в 1919 году, — все исходит от Великой французской революции, все ей обязано».³ «... Она сделала так много, что весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции. Он во всех концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские революционеры буржуазии, интересам

² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 25.

³ Там же. Т. 37. С. 447.

которой они служили, хотя они этого и не сознавали, прикрываясь словами о свободе, равенстве и братстве».⁴

Было бы ошибочным толковать эти слова Ленина слишком узко, рассматривая их как дань признательности русской культуры и культур других народов Европы XIX века одному лишь непосредственному воздействию социальных и политических идей, выдвинутых предшественниками революции — просветителями XVIII века и их последователями, от Дантона и Робеспьера до Бабефа, развивавшими наследие просветителей в условиях революционного подъема 1789—1793 годов или в эпоху диктатуры. Не случайно Ленин говорит о воздействии французской революции и ее идей на «все развитие» «всего человечества». Великая французская революция явилась, как отметил еще Карамзин в 1797 году, началом новой эры в истории Европы. Она открыла новую литературную страницу также в жизни самой Франции — под мощным воздействием революции, вызванного ею широкого круга вопросов во Франции складывалось мировоззрение и творчество не только писателей, воодушевленных демократическими идеями революции, защищавших эти идеи в своем творчестве. Люди, духовно далекие от революции, выступавшие с критикой ее идей и результатов, не могли в той или иной мере не отразить в своих произведениях той напряженности духовной жизни, которую породила эпоха 1789—1793-го и последующих годов.

Революция, наполеоновская империя, «битва народов», подъем национально-освободительного движения в Европе и во всем мире под влиянием воодушевляющего примера революции и в последующую наполеоновскую эпоху, либерально-демократическая оппозиция Священному Союзу, революции 1830-го и 1848 годов во Франции, первые массовые выступления французского пролетариата в 30-х годах и его роль в июньском восстании 1848 года, борьба орлеанистов, демократии и «партии порядка» во Франции, завершившаяся в 1850—1852 годах захватом власти Наполеоном III и созданием Второй империи, позор Седана и поражение Франции во франко-прусской войне, Парижская коммуна — таков тот бурный и беспокойный исторический фон, на котором совершалось развитие французской литературы в XIX веке. Без этого исторического фона трудно понять напряженность духовной жизни французского общества, всемирно-историческое значение художественных исканий и открытий французских писателей-классиков XIX века. И вполне понятно, что беззаветная смелость, широта и глубина их исканий не могли не импонировать писателям той страны, которая, так же как Франция в XVIII веке, вступила в XIX веке в полосу созревания и подготовки направленной против отечественного абсолютизма буржуазно-демократической, а позднее, в XX веке, социалистической революции.

Руссо в «Эмиле» хотел воспитать своего юного героя так, чтобы он вырос «ни судьей, ни солдатом, ни священником», но «прежде всего — человеком» («... ni magistrat, ni soldat, ni prêtre; il sera premièrement homme»).⁵ Полстолетия спустя, после Великой французской революции, герой Сенанкура Оберман писал: «Я не мог отказать быть человеком ради того, чтобы стать дельцом» («... je n'ai pu renoncer à être homme, pour être homme d'affaires»).⁶ И он добавлял: «Что это за народ, для которого человек ничего не значит!» («Quel peuple que celui chez qui l'homme n'est rien par lui-même!»).⁷ В лице Гюго и Ж. Санд,

⁴ Там же. Т. 38. С. 367.

⁵ *Rousseau J.-J. Emile, ou de l'éducation*. Paris, 1844. P. 11. Livre. 1. Ср.: *Руссо Ж.-Ж. Педагогич. соч.*: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 30.

⁶ Oberman. *Lettres publiées par M. . . Sénancour*. Paris, 1804. Т. 1. P. 14.

⁷ *Ibid.* P. 182. Ср.: *Сенанкур*. Оберман. М., 1969. С. 32, 101. (См. там же вступит. статью С. Великовского. С. 13).

Стендаля, Мериме, Бальзака французская литература XIX века продолжила в новых исторических условиях в разных направлениях развитие заложенной французскими гуманистами и просветителями традиции защиты веры в высокое достоинство человека, в право его на свободное, ничем не стесненное развертывание своих физических сил и нравственных, духовных возможностей, утверждение идеи торжества Правды, Добра и Красоты в личных и общественных отношениях между людьми, столь близких идейному пафосу русской литературы.

Но уже Оберман Сенанкура скорбно писал и о том, что современный ему общественный порядок «далек от вечной гармонии» («... l'ordre social actuel s'éloigne de l'harmonie éternelle») природы.⁸ Идея эта, получившая широкое и разностороннее отражение во французской романтической поэзии от Ламартина до поэтов «Парнаса», также была близка русской литературе со времен Тютчева и Лермонтова.

Для русского общества XIX века литература была всегда чем-то бóльшим, чем литература, чем *belles lettres*: она формировала общественное мировоззрение, была учебником жизни, школой нравственного воспитания личности. Но то же самое можно сказать и о лучших образцах французской литературы XIX века. Несмотря на пестроту и различие (а нередко и прямую противоположность) общественно-политических, философско-эстетических и моральных взглядов отдельных писателей, несходство их творческой индивидуальности, борьбу литературных школ и направлений, французскую литературу XIX века, как и русскую, никогда не переставали волновать общие вопросы философского и нравственного мировоззрения: проблемы взаимоотношения человека и мироздания, природы и общества, проблемы любви, дружбы, общественного поведения людей, семьи, брака, человеческой совести, темы социальной справедливости, борьбы богатства и нищеты, добра и зла, нравственной Красоты и Безобразия. И это относится не только к поэтам-романтикам и повествователям-реалистам XIX века, но и к Флоберу, к поэтам «Парнаса», к писателям школы Золя, к «проклятым поэтам» конца XIX века, — другими словами, не только к представителям политически и социально-тенденциозной, гражданской, «ангажированной» (как стало модным говорить сегодня) литературы, но и к тем, кто предпочитал из полемических соображений, продиктованных условиями тогдашней общественной и литературной борьбы, выступать под знаменем строгой научной объективности и беспристрастия или декларировал свою приверженность эстетической доктрине «чистого» искусства.

Черты типологической общности, свойственные русской и французской литературам, благодаря их гуманистическому характеру, обращенности к большим вопросам общественного и личного бытия, не мешали их постоянному живому развитию, сосуществованию в них в каждый исторический момент разных по своему руководящему настроению и творческому почерку художественных направлений и писательских индивидуальностей. Это создавало благоприятную почву для свободного, избирательного подхода каждого из русских писателей к творчеству своих французских предшественников и современников. Во второй половине века, когда, благодаря посредничеству Мериме, Тургенева и их продолжателей в литературе и критике, во Франции осознается все в большей мере мировое значение русской литературы, отношение французских писателей к русским сохраняет столь же свободный характер. Именно поэтому взаимодействие русской и французской литературы всегда было столь плодотворным. Оно способствовало обогащению, подъему каждой из них. Оно не вело к ослаблению оригинальности и самобытности той из наших двух великих литератур, которая

⁸ Oberman. *Lettres publiées par M. . . Sénancour*. P. 85. Ср.: *Сенанкур*. Оберман. С. 61.

на определенном этапе развития черпала силы у другой для нового подъема, исторически необходимого ей по причинам, коренившимся в конечном счете в собственных ее внутренних потребностях. Влияние гуманистической французской культуры на русскую, как и воздействие Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова, Горького на писателей Франции, было поэтому освободительным, стимулирующим культурным фактором в развитии обеих стран. Оно оставалось всегда чуждым тенденциям какого бы то ни было идеологического экспансионизма, претензий на утверждение своей культурной гегемонии в литературном развитии той страны, которая воспринимала творческие импульсы у другой.

В начале XIX века опередившая в XVII и XVIII веках в своем развитии русскую литературу французская играла для русской литературы важнейшую роль источника гражданских чувств и идей, стимулировала рождение в ней новых художественных веяний и направлений. В это время идеи французских энциклопедистов-просветителей и других революционных умов XVIII века продолжали питать передовую русскую общественную мысль. Традиция французской поэзии, прозы и драматургии XVII—XVIII веков с их культом предельной точности, чистоты и изящества слова способствует формированию стиля молодого Пушкина, а через посредство Вольтера он приобщается к наследию европейской вольнолюбивой антиклерикальной мысли, уходящей своими корнями в творчество гуманистов Возрождения. Элегическая поэзия А. Шенье помогает Пушкину выработать новый, гуманистический взгляд на античность. Книга Ж. де Сталь «О Германии» способствует расширению в начале 20-х годов его литературного кругозора, а «Жан Сбогар» Нодье и особенно «Адольф» Бенжамена Констана дают ему первые уроки построения будущего его романа в стихах со свойственной ему концентрацией действия вокруг фигуры «героя времени» с «охладелой» душой, сложным и противоречивым характером и общественной судьбой.

Бальзак в «Этюде о Бейле» охарактеризовал литературу XVIII века как «литературу идей» («la Littérature des Idées»). Ей он противопоставлял как антитезу романтическую «литературу образов» («la Littérature des Images»).⁹ Однако «литература образов», представленная именами Шатобриана, Ламартина, Гюго, также не удовлетворяла Бальзака: идеалом его был полный охват действительности — синтез «литературы идей» и «литературы образов». Сходные идеи мы встречаем в России первой трети XIX века — у Пушкина, Баратынского, Гоголя. Так же как Бальзак, они стремились выйти за пределы отвлеченной антитезы «идей» и «образов», создав такие образцы литературного творчества, где глубокое идейное, духовное содержание раскрывалось бы в конкретной, реальной, пластически чувственной форме, так что каждый элемент структуры, композиции, формы произведения был бы трепетно живым, выразительным, до краев наполненным реальной «живой жизнью».

Следует добавить, что и в русской и во французской литературе первой половины XIX века мы встречаем две несходных между собой стилистических струи. Часть литераторов стремится сохранить четкость, ясность и лаконизм литературы XVIII века, свойственную ей экономии литературно-стилистических средств и изящество выражения, испытывает нелюбовь к возвышенной риторике и эффектным, но слишком резким, режущим глаза контрастам света и тени, другая же — наоборот — тяготеет к известной бравурности и размашистости письма, к яркой метафорической образности. Отсюда симпатия Пушкина к более близким ему по стилистической манере Мериме и Стендалю и более сдержанное

⁹ Balzac H. de. Etude sur H. Beyle // Stendhal. La chartreuse de Parme. Paris, 1853. P. 9—10. Ср.: Бальзак об искусстве. М.; Л., 1941. С. 18—19.

отношение русского поэта к Гюго; отсюда же сближающее стиль Гоголя и Бальзака, несмотря на глубокий реалистический смысл их художественных обобщений, с романтической «литературой образов» тяготение к гиперболе и гротеску, характерное для творчества обоих проникновение в сокровенную суть своей современности скорее с помощью гениальной художественной интуиции, чем с помощью скрупулезного наблюдения, индукции, анализа фактов повседневной, обыденной жизни.

Революция 1830 года во Франции способствует новой широкой вспышке интереса передовой России не только к событиям революции и открытому ею новому этапу в развитии социальной борьбы, но и к ставшей широко известной в России уже в конце 20-х годов поэзии французского романтизма — поэзии Ламартина, Мюссе, Виньи, Гюго, к песням Беранже и гражданской, революционной лирике О. Барбье.

Несмотря на гнев, вызванный у русского правительства и Николая I июльской революцией, «Литературная газета» А. А. Дельвига помещает посвященное ей четверостишие К. Делавиня, и это ведет к закрытию органа пушкинского кружка поэтов. В качестве горячего поборника и пропагандиста идей либеральных французских романтиков и публицистов, исторических взглядов Гизо и Тьерри выступает Н. А. Полевой в своем журнале «Московский телеграф», также прекращенном в 1834 году. В «Кровавом бандуристе» молодой Гоголь следует по пути, проложенному Ж. Жанненом и другими представителями «неистовой словесности». Гораздо сдержаннее относится в 30-е годы к французской литературе Пушкин, делая исключение лишь для Сент-Бёва, Мюссе, Стендаля, Мериме. Непримирым гонителем «юной французской словесности» выступает «Библиотека для чтения» и ее редактор О. И. Сенковский, усматривающий в ней отражение охвативших Францию мятежных настроений. Напротив, пропагандистом романов Бальзака и революционной поэзии Барбье оказывается Н. И. Надеждин, С. П. Шевырев посещает Бальзака и восторженно описывает свой визит к знаменитому писателю.

И все же, как и во Франции 30-х годов, русская литература в 30-е годы переживает новую (после эпохи второй половины 10-х—начала 20-х годов) волну подъема романтической поэзии и прозы. И вместе с тем, подобно литературе Франции, русская литература 30-х годов в творчестве Пушкина, Лермонтова, Гоголя разными путями, через преодоление настроений романтичного индивидуализма, титанизма, «мировой скорби» движется к «поэзии мысли», широкому охвату современной действительности, взятой в сложном диалектическом переплетении поэзии и прозы жизни, в ее связях с прошлым и будущим.

В начале 1840-х годов страстные споры в России вызывает книга Кюстина (1841), содержащая резкую критику режима «фасадной империи» Николая I. Бальзак, Ж. Санд, Сен-Симон, учение сен-симонистов готовят мыслящую Россию к критическому осмыслению противоречий русской и западноевропейской жизни в десятилетие, предшествовавшее западноевропейским революциям 1848—1849 годов.

Одна из бросающихся в глаза черт французской литературы XIX века — ее неустанное стремление запечатлеть, художественно проанализировать и оценить постоянно изменяющийся от десятилетия к десятилетию, внутренне неспокойный образ «героя времени», находящегося не только в глубоком противоречии с окружающим его пореволюционным обществом, но и переживающего внутреннее смятение и беспокойство, порой стремящегося к лихорадочной деятельности, а еще чаще переживающего отчаяние или апатию. Это Рене Шатобриана, уже названный выше Оберман Сенанкура, Жан Сбогар Нодье, герой лирики Сент-Бёва — его поэтический двойник Жозеф Делорм; более

жизненный и полнокровный портрет (или поэтические вариации образа) того же «сына века» — молодого мыслящего представителя образованных классов, находящегося в разладе с самим собою и с окружающим обществом, порою стремящегося подчинить его своей эгоистической воле и терпящего поражение в этой борьбе, в других случаях чувствующего себя в нем одиноким и нравственно-бесприютным, а иногда и восстающего против мира в порыве мятежного богоборчества или социально одушевленного героического порыва — создали Б. Констан, А. де Виньи, Гюго, Ж. Санд, Стендаль, Бальзак, Флобер, а в поэзии второй половины XIX века Бодлер и Рембо. В русском романе XIX века — «Евгении Онегине» Пушкина, «Герое нашего времени» Лермонтова, романах Тургенева и Гончарова, Толстого и Достоевского, так же как в лирике Лермонтова и многих русских поэтов второй половины XIX века, — мы встречаемся с дальнейшим плодотворным развитием сходной традиции, имевшей столь большое значение для выработки структуры всего европейского романа и лирической поэзии нового времени.

Французская литература XIX века создала не только тип романа о «герое времени», «молодом человеке XIX века» (если пользоваться выражением М. Горького), его силе и слабости в каждую из сменявшихся на протяжении столетий эпох истории общества; в лице Бальзака, Ж. Санд, Эркмана-Шатриана она обратилась к народной, крестьянской жизни, стремясь то раскрыть лучшие, поэтические черты человека из народа, то обрисовать тяжелое положение крестьянской парцеллы в буржуазную эпоху. В цикле романов, посвященных женщине и ребенку, их положению в семье и обществе, литература Франции вступилась за слабых и обездоленных, подняла голос в защиту их человеческих прав, их нравственной свободы и счастья. Наконец, в величественных эпопеях «Человеческой комедии» и «Ругон-Маккаров» она постаралась всесторонне исследовать каждую из отдельных сфер жизни буржуазного общества XIX века, многообразие его сословных, профессиональных и культурно-исторических типов, стремясь при этом показать, как в отдельных событиях его повседневной жизни и индивидуальных судьбах людей во всякий раз различной, специфической форме проявляются всеобщие закономерности функционирования этого общества как единой — при всей своей сложности и разветвленности — цельной системы, ставшей жертвой «великой социальной болезни» (по выражению Бальзака). Все эти направления развития французской повествовательной прозы XIX века стимулировали искания русской литературы в сходных направлениях, как бы ни отличались при этом конкретные социальные условия русской жизни XIX века и жизни французской, а социальные, политические и нравственные основы «русского решения вопроса» (если воспользоваться термином Достоевского) от тех философских и социальных предпосылок, из которых исходили нередко их французские собратья.

Эпоха наиболее интенсивного интереса к французской литературе, ее живого воздействия на русскую мысль прошлого века — 40-е годы. «С представлением о Франции и Париже, — писал, вспоминая эти годы почти сорок лет спустя Щедрин, — для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известной мере даже определяло ее содержание. . . Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что „золотой век“ находится не позади, а впереди нас. . . Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное — все шло оттуда».¹⁰

¹⁰ Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1972. Т. 14. С. 111—112.

Влияние поэтов и историков эпохи Реставрации — Гизо и Тьерри, Ламартина и раннего Виньи — сменяется в России 40-х годов более мощным влиянием Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана, Жорж Санд. Под освободительным влиянием сен-симонизма складывается мировоззрение Герцена. Чтение французских журналов, знакомство с романами Ж. Санд, идеями П. Леру, Кабе, Консидерана, Прудона способствует выработке Белинским его революционно-демократического мировоззрения. В 1847—1848 годах Париж становится Меккой для Анненкова, Боткина, Герцена, Бакунина и других русских «людей сороковых годов». Герцен переживает здесь свою духовную драму, приведшую его к разочарованию в западном «мещанстве» и формированию доктрины «русского социализма», ставшего в своем дальнейшем развитии основой идеи русского народничества. Даже второстепенные русские писатели 40—50-х годов — такие, как Дружинин и Григорович, — испытывают в это время очевидное влияние французского романа и повести. В 1844 году Достоевский печатает свой перевод «Евгении Гранде» Бальзака. Еще раньше зарождается его интерес к Ж. Санд. «Отец Горио» Бальзака и весь мир «Человеческой комедии», «Последний день осужденного», «Собор Парижской богородицы» и «Отверженные» Гюго становятся вехами не только в истории французской литературы — с размышлениями над ними непосредственно связаны основные вехи творческого пути Достоевского, многие ключевые мотивы и образы его романов. В 1843 году журнал фурьеристов «*Démocratie pacifique*» печатает перевод «Героя нашего времени» Лермонтова. В следующее десятилетие во французскую литературную жизнь прочно входят Гоголь и Тургенев. Мериме, Сент-Бёв, французские друзья Тургенева — Ж. Санд, Флобер, Гонкуры, Мопассан, Золя открывают для себя постепенно сокровища русской литературы. Тургенев становится в их глазах в 50—70-х годах одним из «учителей» нового поколения французских писателей-реалистов. И в то же время усвоение и переосмысление идей Руссо и других французских писателей XVIII века способствует в 40—50-е годы формированию идей и художественных принципов молодого Толстого. Изучение «Исповеди» Руссо открывает для него путь к созданию автобиографической трилогии; без идеи «естественного состояния» Руссо невозможно представить «Казак» Толстого и «Идиота» Достоевского; без таких титанических замыслов современного «романа-эпопеи», как «Человеческая комедия» Бальзака и «Отверженные» Гюго, жанр этот не достиг бы вершинных его достижений — «Войны и мира», «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых». Наконец, вряд ли можно сегодня не видеть глубинной исторической связи между проблематикой двух шедевров «романа-трагедии» XIX века — «Госпожи Бовари» Флобера и «Анны Карениной» Льва Толстого, близости эстетической стихии бодлеровских «Цветов зла» и критики буржуазной городской культуры и ее болезненных порождений в художественном мире Достоевского.

Русскую и французскую литературы сближает и то, что на протяжении XIX века литературные жанры становятся в каждой из них все более разнообразными, гибкими, подвижными, динамичными. Известны слова Толстого (из его статьи «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“») о том, что в «новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести».¹¹ Толстой склонен был противопоставлять, когда он писал цитированные слова, «открытую для постоянных преобразований и трансформаций форму русского романа его более

¹¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Юбил. изд. М., 1955. Т. 16. С. 7.

замкнутой, канонической „европейской форме“.¹² Об «искусственной и неестественной форме» канонического романа писал также Н. С. Лесков, тяготивший к неканоническим формам сказа и романа-хроники.¹³ Но примечательно, что в конце XIX века, подводя итоги эволюции французского романа на протяжении столетия, Г. де Мопассан в статье «Роман» — предисловии к «Пьеру и Жану» (1887) — сформулировал сходную мысль: что роман в ходе своей истории непрерывно обновлялся и видоизменялся. Поэтому всякая попытка искусственной кодификации художественной манеры и стиля любого великого романиста (хотя бы это был сам Бальзак) была бы, по мнению Мопассана, губительной для французской, как и для всей мировой литературы.¹⁴

Мысль Мопассана была высказана через несколько лет после появления книги Э. М. де Вогюэ «Русский роман» (1883; 1886), автор которой поставил своей задачей не только дать характеристику своеобразия творчества отдельных крупнейших русских романистов (с произведениями которых литературная Франция уже успела познакомиться раньше), но и поставить более общий вопрос о значении русского романа как всемирно-исторического явления для французской и — шире — всей западноевропейской культуры конца XIX века. С этого времени русская литература становится для духовного мира Франции феноменом не менее важным, чем была французская литература для русских людей начала и середины XIX века. Ее художественные открытия раскрывают перед французской литературой новые социальные и нравственные горизонты, без которых не были бы возможны ее достижения в нашем, XX веке.

Тем не менее нельзя не отметить и того, что во второй половине, а особенно в конце XIX века отношение русских писателей к писателям Франции усложняется. В 1862 году Герцен, многократно встречавшийся с Гюго за границей и тесно связанный с ним как представителем европейской демократии, упрекает Жана Вальжана, Жавера и других героев «Отверженных» «в мелодраматизме и сочиненности». Достоевский в записных книжках и «Дневнике писателя» критикует Золя за слишком узкое понимание реализма. Точно так же Салтыков-Щедрин в «За рубежом» (1881), отдавая должное таланту Золя и оговариваясь, что в целом он находит его деятельность «весьма замечательною», противопоставляет его реализм более широкому и нравственно возвышенному реализму Пушкина, Гюго и Ж. Санд, в произведениях которой, по словам Щедрина, «подавляющий реализм идет об руку с самой горячею и страстною идеею».¹⁵ Напоминая, что романы Золя долгое время не принимались во Франции и что автор их был до выхода в свет «Западни» и «Нана» более известен в России, чем у себя на родине, Щедрин упрекает вождя французских писателей-натуралистов в том, что он в «Нана» сделал «уступку вкусам и направлению современного буржуа»,¹⁶ отказавшись от свойственной Ж. Санд, Бальзаку и Флоберу высокой одухотворенности, от художественно дистанцированного, нравственного отношения художника к изображаемой им картине вырождения и упадка общественных нравов во Франции эпохи Второй империи. Сходные упреки, хотя и выраженные мягче, содержатся в знаменитом предисловии Толстого к русскому переводу сборника произведений Мопассана (1894), написанном с огромной любовью и сочувствием к французскому писателю и

¹² Там же.

¹³ Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1957. Т. 5. С. 279.

¹⁴ *Maupassant G. de. Oeuvres complètes. Pierre et Jean. Paris, 1909. P. V—VIII. Ср.: Литературные манифесты французских реалистов. Л., 1935. С. 127—129.*

¹⁵ Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. Т. 14. С. 193.

¹⁶ Там же. С. 155.

в то же время с глубоким ощущением исторического трагизма человеческой и писательской судьбы Мопассана, обусловленной постоянной борьбой в нем нравственно требовательного, беспокойного отношения к жизни людей изображаемого общества с уступками торжествующей общественной безнравственности.¹⁷ Позднее в трактате «Что такое искусство?» (1897) Толстой критикует Бодлера, Верлена, Малларме, Вьеле-Гриффена, Бурже, Гюисманса, Реми де Гурмона и других французских поэтов и прозаиков «конца века», ставя им в вину отказ от ясного, простого и общедоступного художественного языка, уход в мир фантазии и субъективных ассоциаций, придающих их искусству эзотерический характер, делающих его не «всенародным», доступным широкому образованному читателю, но лишь избранным, художественной элите.¹⁸

Тем не менее Э. и Ж. Гонкуры, Мопассан, Доде, Г. Мало, Э. Род, П. Бурже, Гюисманс и многие другие писатели Франции получают широкую известность в России.

Мы не будем здесь вдаваться в оценку этой полемики. Достаточно напомнить, что перед литературами России и Франции стояли в конце XIX века разные исторические задачи. Россия приближалась к подъему народной революции. Литераторы же Франции, пережившей этот подъем в XVIII и первой половине XIX века, переживали эру влияния позитивизма или были охвачены чувством разочарования, переходившим порою то в мрачное отчаянье, то в стремление к отысканию новых, более утонченных средств выражения прекрасного в искусстве при одновременном господстве тенденции к обособлению его от остальных сфер общественного бытия в более широком смысле слова. При столь различных поворотах в общественном развитии России и Франции не удивительно, что художественные достижения даже таких великих поэтов Франции второй половины XIX века, как Ш. Бодлер и П. Верлен, были по достоинству оценены в России уже в XX веке — сначала П. Якубовичем, И. Анненским, Брюсовым, Сологубом и другими поэтами-символистами, а затем поэтами, критикой и литературной наукой советской эпохи.

Хотелось бы подчеркнуть, что взаимная симпатия и тяготение друг к другу русских и французских писателей XIX века, мирное сотрудничество и соревнование между ними происходило в эпоху, когда историческая обстановка, политический и общественный строй Франции и России были неодинаковы. Россия на протяжении XIX века продолжала оставаться царской монархией, в то время как Франция в XIX столетии прошла через период наполеоновской империи с ее завоевательными войнами, Реставрации, Июльской монархии, империи Наполеона III и, наконец, Третьей республики. Однако, при всех переменах в политических отношениях наших стран на протяжении XIX века, сознание общности интересов, сила взаимного уважения и симпатии, объединявшие русский и французский народ и способствовавшие содружеству французской и русской культуры, были неизменно сильнее, чем силы, разъединявшие их. Не смогла помешать распространению и популярности французской литературы в России и императорская цензура.

«Россия много взяла от великой культуры французского народа и тесно связана с ней. В то же время русский народ выработал свои самобытные культурные ценности мирового значения и щедро вернул свой долг Франции. Длительное и плодотворное общение русской и французской мысли на протяжении последних двух столетий образует одну из наиболее содержательных глав в истории международного культурного сотрудничества нового времени», —

¹⁷ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. 1951. Т. 30. С. 3—24.

¹⁸ Там же. С. 90—101, 145, 196—299.

справедливо писал в 1937 году С. А. Макашин в статье, открывающей первый из русско-французских томов «Литературного наследства».¹⁹

Могучее воздействие просветителей XVIII века, плеяды великих мастеров французской романтической и реалистической школы XIX века, интерес к поэзии Бодлера, Верлена, А. Рембо, С. Малларме и других французских поэтов-символистов, к творчеству Ж. Ренуара, А. Франса, Ш.-Л. Филиппа, А. Рене, М. Пруста, Ж. Ромена, Ж. Дюамеля, А. Барбюса, П. Валери, П. Клоделя, П. Монт-Орлана, Р. Мартен дю Гара, А. Жида, А. де Сент-Экзюпери, Ф. Мориака, Ж. Бернаноса, А. Мальро, Ж.-П. Сартра, А. Камю, Л. Арагона, Э. Триоле, П. Элюара, Ж. Ануя, Ж. Превера, М. Эмэ, а сегодня Э. Базена, Ф. Саган, Ж. Сименона и других французских писателей наших дней были важным творческим стимулом в развитии русской классической, а позднее современной советской литературы. Интерес и уважение к этим и многим другим французским писателям никогда не были простой данью литературной моде. Они были историческим следствием глубокого внутреннего родства и близости гуманистической основы двух наших литератур, их широкой открытости жизни и интересам всего человечества. Пусть же чувство этого органического родства продолжает расти и крепнуть сегодня на благо всего мира.

¹⁹ Лит. наследство. 1937. Т. 29—30. С. VII.

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В. Ф. ХОДАСЕВИЧ

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

На протяжении более чем трех десятилетий своей литературной деятельности В. Ф. Ходасевич постоянно выступал с историко-литературными статьями и критическими этюдами о современных ему писателях, очерками, рецензиями, литературными обзорами. Особенно активно Ходасевич трудился на этом поприще в 1920—1930-е годы: по различным эмигрантским изданиям рассеяно более трехсот его статей. В центре внимания Ходасевича-критика — русская символистская школа, с которой он был кровно связан своей писательской биографией, а также «золотой век» русской поэзии (Державин, Пушкин, поэты пушкинской эпохи), на традиции которого он последовательно ориентировался в собственном поэтическом творчестве.

Часть критических опытов Ходасевича собрана в его посмертной книге «Литературные статьи и воспоминания» (Нью-Йорк. Изд. им. Чехова. 1954), подготовленной к печати Н. Н. Берберовой. В настоящую подборку включено несколько статей из этой книги. Статья «Аблеуховы—Летаевы—Коробкины» впервые опубликована в парижском журнале «Современные записки» (1927, № 31), остальные статьи — в парижской газете «Возрождение»: «Слово о полку Игореве» — 1929, № 1339; «Дмитриев» — 1937, № 4103; «Щастливый Вяземский» — 1928, № 1269; «О символизме» — 1928, № 954.

Ред.

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Допушкинская книжная словесность почти выветрилась из памяти русского общества. Ни в критике, ни в литературной беседе о ней не услышишь. Она целиком сдана в ведение истории литературы — в сей архив, куда мы не любим заглядывать.

Причин такого забвения много, но сейчас их касаться не стоит. Скажем лишь то, что виноваты мы да наши учителя. На самой же старой литературе никакой вины нет. Не она достойна забвения: это у нас плохая память и не развито понимание. Мы сами себя лишаем очарований и радостей, то больших, то меньших, но всегда живых, не исторических только, но и художественно-действенных.

Я уже не говорю о таких эстетически прекрасных, но не с эстетической целью писанных вещах, как летописи, «Поучение» Владимира Мономаха или письма Грозного к Курбскому. Так называемая «ложноклассическая» литература нашего XVIII века, ежели хоть немножко уметь читать ее, сулит истинные, уж никак не ложные наслаждения. Как много в ней любопытного, поучительного и прекрасного с художественной, и вполне современной, точки зрения. Это поучительное и хорошее есть повсюду, даже в творениях самого Тредьяковского. Еще по правилам екатерининского Эрмитажа полагалось «за легкую вину выпить стакан холодной воды и прочесть из „Телемахиды“ страницу; а за важнейшую — выучить из оной шесть строк». А есть и в ней строки прекрасные.

Даже Тредьяковский осмелен вовсе уж не вполне справедливо. Но вовсе несомненно, что было бы отлично, если бы хоть молодые поэты наши полюбопытствовали заглянуть в силлабические стихи Кантемира: по крайности, узнали бы они, что такое истинный ритм. А Богданович! Его лирика слаба, поверхностна и слашава. Но «Душенька» превосходна. Она, разумеется, лучше своего французского образца. Подражая Лафонтену, Богданович далеко оставил его за собой. . . А Ломоносов! А Державин! Но тут уж творится нечто вовсе несообразное. Тут под могильной плитой «лжеклассицизма» заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая (а следовательно, более развитая), гордилась бы по сей день. Не надо скрывать, что и у Державина имеются слабые вещи, хотя бы его трагедии. Но из написанного Державиным должно составить сборник объемом в семьдесят-сто стихотворений, и эта книга спокойно, уверенно станет в одном ряду с Пушкиным, Лермонтовым, Боратынским, Тютчевым. Пушкин то восхищался Державиным, то порицал его. Восхищение подсказывалось пониманием, справедливостью и непосредственным чувством. Порицание — соображениями партийными и литературно-тактическими: что ни говори, а Пушкину нужно было немножко «столкнуть Державина с корабля современности».

Вот и сейчас: слушают «Князя Игоря», говорят о нем, пишут, а многие ли вспомнят «Сло-

во о полку Игореве», которому Бородин обязан своим вдохновением, а опера его — бытием?

О «Слове» писано много. Его разбирали филологически, исторически. Определялось его место в нашей словесности; изучался его язык, шли споры о личности его автора; в нем искали позднейших вставок и утраченных мест. Спору нет — работа необходимая и почетная. Но о художественной стороне «Слова» или не писалось ничего, или ограничивались общими местами да немотивированными похвалами. Ужаснее всего то, что к памятникам древней словесности у нас не хотят (или не умеют) подходить с современной художественной меркой. Оттого-то, в конце концов, они для нас и мертвы, оттого-то и оказываются они «только историей». Хуже истории: предметом классной учебы, поводом для расстановки единиц и пятерок. Принимаются меры к тому, чтобы древняя словесность российская успела россиянину с детства осточертеть. В ней наименее существенное изучается, наиболее важное (художественная, душевно-духовная сторона дела) — замалчивается, замазывается, скрывается.

Меж тем в этих памятниках ошутимо бьется живая художественная жизнь. Их эстетическая, непосредственно ощутимая прелесть и поучительность не преходят. И сейчас еще, пока язык «Слова» не сделался нам вполне непонятен, можно раскрыть этот «памятник», как мы раскрываем том современного романа, — и зачитать: может быть, с большим волнением, нежели мы читаем меркантильные творения нынешней торопливой музы.

Но наше понимание давно и в корне изуродовано. Замечательно, что сейчас же после того, как «Слово о полку Игореве» было найдено, — начались его *переделки*. Многие чутьем поняли его художественные достоинства. Но, как ни странно, этого чутья не хватило на то, чтобы оставить «Слово» в его первоначальном виде. «Слово» стали пытаться «исправить» или «улучшить». Уже Козлову пришла в голову еретическая мысль переложить «Слово» современными стихами. За ним на тот же ложный путь вступили Гербель, Мей, Майков и др. Ими, конечно, руководила любовь к «Слову» — но какая неправая, принципиально неправомерная и, так сказать, насильническая любовь! И какое наивное сознание собственного «превосходства» над безымянным автором «Слова»! Этот автор придал своему гениальному произведению ту форму, которую счел за благо. Содержание «Слова» неразрывно с его формой, как в каждом истинно художественном творении. Эту форму нельзя менять, не совершая поступка, в эстетическом смысле *варварского*. Но у нас поклонники «Слова» непременно хотели его исправить. Только потому, что «Слово» есть памятник (труп!), над ним творились эксперименты, которых никто бы не вздумал произвести над созданием новой литературы. Понимают, что нельзя перелагать «Войну и мир» в стихи, а «Евгения Онегина» пересказывать прозой. Относительно «Слова» эта простая истина как будто все еще не открыта.

Вернемся, однако, к самому памятнику.

Что говорит «Слово» современному художественному сознанию? Каким оно представляется *нашему* восприятию? Об этом можно бы сказать много. Однако же, по понятным причинам, ограничимся несколькими замечаниями, основными.

Две задачи, две цели наметил себе автор «Слова». Одна из них — вполне политическая. Тут дано изображение того состояния, в котором тогда (в XII веке) находилась Киевская Русь, раздробленная, разрозненная, живущая сепаратными интересами отдельных областей и не довольно сознающая необходимость объединения, хотя бы перед лицом общего врага. Пробудить национальное сознание, призвать враждующих и друг с другом борющихся князей к согласию, во имя единой русской земли, — такова была государственная задача автора.

Другая задача была более отвлеченного и философического характера. В лице князя Игоря нам показан герой, человек возвышенного душевного склада, в его действии, в его столкновении с обстоятельствами и роком. Игорь идет на половцев вопреки явным предостережениям самой природы и невзирая на численное превосходство половцев. Совершенно замечательно, что наперекор всему он сперва побеждает (единой силой своей воли), а затем падает под напором оправившегося врага. И опять его падение не окончательно: из половецкого плена он успевает бежать, растеряв армию, но не утратив воли. Сама природа, побежденная или убежденная его героизмом, теперь приветствует героя, как будто поверженного, но в сущности непобедимого.

Автор «Слова» ни на минуту не упускает из виду ни первой, ни второй задачи. «Человеческий» героизм Игоря все время прочно мотивируется его политической миссией. Но трактуя о политике, автор не забывает ни личной драмы Игоревой, ни Ярославниной женской доли, ни того столкновения с роком, которое представлено в виде вмешательства мифологических божеств и сил природы.

Эти две темы в «Слове» уравновешены с замечательным и порою в высшей степени смелым мастерством. Мне кажется между прочим, что именно для того, чтобы сохранить и подчеркнуть это равновесие, и прибегает автор к парадоксальным (на первый взгляд) хронологическим сдвигам внутри поэмы. Пообещав сначала быть более историком, нежели поэтом, автор не сдерживает своего обещания (быть может, данного лишь для приманки слушателя), ибо художественная достоверность для него столь же дорога, как и политическая. Он не хочет жертвовать ни историей для искусства, ни в той же степени требованиями искусства — для исторической ясности. Он иногда предпочитает быть исторически непоследовательным и логически темным — ради эстетической логики: знак настоящего, смелого и независимого художника.

Из пересечения тем, из двуединства задания рождается в «Слове» его истинная глубина:

стереоскопичность зрелища и созерцания, многопланность, выпуклость, иными словами — тот пронизательный реализм, без которого нет и не может быть истинного искусства.

Этот реализм становится до конца нагляден в отношении автора к изображаемому событию. Дело в том, что поход Игоря в военном смысле кончается катастрофой. В соответствии с этим почти все «Слово» подернуто мрачным, пепельным светом солнечного затмения, с описанием которого оно начинается. Но сквозь мрак, точно из-под тучи, пробиваются косвенные лучи солнца. Слезы плачущей Ярославны не искажают ее прекрасного лица. Обратное: в заключительных строках поэмы радостное возвращение Игоря из плена становится символом и залогом грядущей победы, которой суждено возникнуть из только что пережитого поражения; несчастье Игоря — залог счастья для всей Руси.

И автор не дает нам забыть, что этому счастью суждено возникнуть непременно из горя, чаша которого испита героем до дна.

Надо отдать справедливость: кто-то из исследователей сказал, что в «Слове о полку Игореве» радость и скорбь — «обнимаются». Это самое глубокое слово, которое обронено о поэме. Да, «Слово» именно и замечательно тем, что в нем дано глубокое созерцание жизни в ее утешительном и возвышающем трагизме. Поняв поэму в ее истинной глубине, мы уже, конечно, не сможем повторять о ней то, что принято говорить о ранних памятниках русской литературы. Ни наивности воззрений, ни примитивности художественных приемов тут нет и в помине. «Слово о полку Игореве» глубоко философически и сложно по художественному выполнению.

31 января 1929 г.

ДМИТРИЕВ

Иван Иванович Дмитриев родился в Симбирске 10 сентября 1760 года — за два года до малого до восточества на престол Екатерины Второй. Четырнадцатилетним мальчиком, в Москве, он упросил мать отпустить его со старшим братом на Болотную площадь, где должны были казнить Пугачева; мать взяла с него обещание не смотреть на самую казнь — и он почти сдержал свое слово: зажмурился в то мгновение, когда палач взмахнул топором. Семнадцати лет, будучи офицером Семеновского полка, он начал писать стихи, а в 1790 году явился представиться Державину и тотчас стал своим человеком в его доме. Спустя несколько месяцев он привел к Державину своего друга и земляка Николая Михайловича Карамзина, только что приехавшего из чужих краев. Прослужив в гвардии всю вторую половину царствования Екатерины, он вышел в отставку в год ее смерти. При Павле он был заподозрен в умысле на жизнь императора, затем оправдан и приближен ко двору. В конце 1799 года, побывав товарищем министра, а затем обер-прокурором сената, он опять вышел в отставку. В 1810 году, в эпоху Сперанского, Александр I оторвал его от московских литературных досугов. Он был министром юстиции в эпоху Отечественной войны и вышел в окончательную отставку в 1814 году, очутившись в некоторой оппозиции к аракатеевскому направлению. С этих пор он навсегда поселился в Москве, ухаживая за своим садом, почивая на служебных и литературных лаврах. К этому времени он был уже признан одним из сладкозвучнейших поэтов, значился сподвижником Карамзина, преобразователем русской поэзии, одним из основоположников сентиментализма и чуть ли не начинателем романтизма. Жуковский, Батюшков, Вяземский видели в нем учителя, арзамасцы его почитали почти наравне с Карамзиным. Не без отеческой строгости,

но все же одним из первых, он приветствовал первые шаги юного Пушкина, которого вся жизнь прошла у него на глазах. 3 (15-го) октября 1837 года он умер, пережив Пушкина на восемь месяцев. На днях исполнилось тому сто лет.

Его личная биография в общем была небогата событиями, но он жил сознательной жизнью при четырех императорах, в самую блистательную и драматическую эпоху русской истории, не издали наблюдая людей и события, а находясь в их центре. То же самое надо сказать о литературной стороне его жизни: он пережил золотой век русской поэзии и занял место в самом блестящем ее созвездии. С большим правом, чем Пушкин, он мог бы сказать: «Чему, чему свидетели мы были!».

Вяземский рассказывает, что Боратынский «как-то не ценил» ума Дмитриева и прибавляет тут же: «Трудно разгадать эту странность». В самом деле, все современники, включая Пушкина, отмечали в Дмитриеве именно острый ум. Об уме свидетельствуют его письма и в особенности составленная им автобиография «Взгляд на мою жизнь».

Итак, казалось бы, что даже вне вопроса о размерах его поэтического дарования, налицо имеются все условия для того, чтобы по крайней мере значителен был внутренний вес его поэзии, чтобы в ней были серьезно трактованы серьезные темы. Но вот раскрываем его стихотворные притчи — и что же?

Ошибка чижа

Чиж, в птичник залетя, прельстился им, как
раем.
Раздолье! Пьет и ест одно он с попугаем.

Но долго ль? Нет! Скворец там заклевал его — Опасно выходить из круга своего.

Репейник и фиалка

Между репейником и розовым кустом
Фиалочка себя от зависти скрывала.
Безвестною была, но горести не знала:
Тот счастлив, кто своим доволен уголкем.

Бесспорно, в эпоху Дмитриева, идилическую по сравнению с нашей, люди были простодушнее нынешних. Однако же эти «апологи», отнюдь не составляющие исключение, взятые наудачу из множества им подобных, сочиненных Дмитриевым, дышат такой невинностью, которой конечно в действительности не обладали ни его современники, ни он сам. Вполне очевидно, что, облекая прописные истины в форму, которой приторная наивность прямо соприкасалась с глупостью, Дмитриев вовсе не выражал подлинных житейских понятий и чувств — ни своих, ни читательских. Замечательно, что Пушкин, помогавший Языкову сочинять презлые пародии на эти апологи, обвинял Дмитриева не в недостатке ума, а совсем в другом: еще за три года до того он писал в черновом письме к Вяземскому: «ты покровительствуешь старому вралю». В беловике этой фразы нет. Вероятно, Пушкин почувствовал, что она звучит не только литературным, но и нравственным обвинением, которого Дмитриев как человек не заслуживал. Но литературный смысл этих слов как нельзя более пронизателен. Довольно едкий сатирик, приступая к элегиям, песням и апологам, вообще к чистой лирике, которую полагал своим главным делом, Дмитриев считал нужным притворяться стоиком более чувствительным, чем был на самом деле. Притворное чувство требовало притворной формы, форма давила на содержание, и в результате воображаемый поэт, от имени которого выступал наш министр юстиции, оказывался во столько же раз глупее его самого.

Нет никакой надобности думать, что почитатели Дмитриева (в том числе литературные соратники: Карамзин, В. Л. Пушкин и другие — вплоть до юного Вяземского) не замечали его слишком очевидного притворства. Но как Дмитриев писал от имени воображаемого поэта, поглупевшего от чувствительности, так они читали его и восхищались им от имени такого же воображаемого читателя. Пушкин не первый почувствовал ложь Дмитриева — он только первый сказал или хотел сказать вслух об этом, и не столько по своему художественному правдолюбию, сколько потому, что ему уже не было надобности эту ложь поддерживать. Но Карамзин и карамзинисты (к которым непременно хотел до конца жизни принадлежать Вяземский — по причинам особым, индивидуальным) ее поддерживали: опять же не потому, что были притворщики по природе (как не был и Дмитриев), а потому что ложь Дмитриева ими переживалась как некая условность, неотдели-

мая от ими созданного и взлелеянного русского сентиментализма. Самое же явление этого сентиментализма было расплатой за их действительный грех, не сознанный не только ими, но и всеми позднейшими поколениями. Заключался он в том, что проглядели Державина.

На долю русского классицизма выпала задача чисто формальная, почти организационная: привить европейские литературные формы к русскому стволу. Основоположники классицизма не столько творили свои оды, поэмы, трагедии, сколько на деле доказывали возможность их писания на русском языке (отчасти поэтому они и не очень сознавали разницу между оригинальным трудом и переводом). Если им иногда удавалось выразить важную мысль или передать истинное чувство, то, в сущности, это были счастливые случайности, как бы приятные добавления к полезному основному делу. К последней четверти XVIII столетия это основное дело было выполнено и, как всегда бывает в подобных случаях, пороки литературной школы, исполнившей свое предназначение, стали очевидны. Поняли, что классицизм педантичен, книжен, лишен живого идейного и эмоционального содержания.

Державин еще почти не осмелился посягнуть на формальный канон классицизма. Нередко он отдавал дань его условностям — особенно в своих плохих трагедиях, которые писал в старости, когда творческая энергия в нем иссякла. Но он первый дерзнул видеть мир по-своему и изображать его таким, каким видел, и первый, если не понял, то почувствовал, что поэзия должна отвечать реальным запросам человеческого духа. Не только в «Фелице» и «Жизни Званской», но и в оде на смерть Мещерского, и в «Боге», и в «Водопаде», и даже в своем руссофицированном анакреонтизме он объявился родоначальником русского реализма. С этим было связано и его обращение от книжного языка к народному.

Сознательным новатором он не был. Его слабые и немногочисленные теоретические суждения не соответствовали тому великому делу, которое он совершал по инстинкту художника. Карамзин и Дмитриев, преклоняясь перед его личным поэтическим даром, считали его всего лишь блистательным завершителем классицизма. Новаторами они чувствовали себя. Конечно, они таковыми и были, но если бы они проникли в сущность Державина, их новаторство приняло бы иное направление, они пошли бы по пути, начатому Державиным, — и русская словесность была бы избавлена от школы, которая отличалась от классицизма только новизной условности.

Верно сказано, что Дмитриев сделал для поэзии то, что Карамзин сделал для прозы. Но что же он сделал, даже если не считаться с разницей в личных способностях, которых у Карамзина было не в пример больше? Он хотел ввести в поэзию непосредственное чувство, которого ей отчасти и в самом деле не доставало. Но чувство реальное он подменил выдуманной чувствительностью, столь же (если

не более) поддельной, как «поэтическое парение» классиков. Как классики «бряцали» за несуществующих бардов, так Дмитриев «стонал» за «связих голубочков», от настоящих голубей отличавшихся несомненным знанием французской литературы. Ему удалось снизить тематику и слог классицизма, но к реализму и народности он приблизил их разве только на волосок. Его добродетельные пейзажи и чувствительные буржуа были неправдоподобнее классических героев и героинь. «Английская словесность начинает иметь влияние на русскую, — писал Пушкин Гнедичу в 1822 году. — Думаю, что оно будет полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной. Тогда и некоторые люди упадут, и посмотрим, где очутится Ив. Ив. Дмитриев — со своими *чувствами и мыслями*, взятыми у Флориана и Легуве». Его песни не лишены утилитарских ужимок под народность, но от народных так же далеки, как Херасков от Гомера. Его басни настолько же ниже крыловских, насколько его выдуманные персонажи отличаются от своих живых первообразов. В одах, где на чувствительности не выедешь, он оказывался слабым подражателем тех же классиков, и хотя позволял себе некоторые просодические вольности, но в то же время пускался в такой «высокий штиль», что сам Петров ему позавидовал бы. Лучшую из этих од, «Ермака», Пушкин назвал «такой дрянью, что мочи нет». И, к несчастью, был почти прав.

Точно так же, как Карамзин и Дмитриев, Пушкин недооценивал общее значение Державина. В поэзии автора «Фелицы» порой он видел даже еще меньше достоинств, чем видели они. В ранней юности он горел желанием участвовать в полемике, которую карамзинисты вели с «беседчиками» и косвенно — с самим Державиным. Однако гениальное предсказание Державина сбылось в таком глубоком смысле, какого и не предполагал сам предсказатель:

Еще в 1822 году Пушкин сочинил надпись к портрету князя Петра Андреевича Вяземского:

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род, с возвышенным
умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

А в одном черновом наброске того же времени он воскликнул:

Щастливый Вяземский! Завидую тебе!

После того Вяземский прожил еще пятьдесят шесть лет и до самого конца ему можно было завидовать: все «дары судьбы» при нем и оста-

Пушкин стал «новым Державиным» не только потому, что занял первое место на российском Парнасе, но и потому, что в своем творчестве оказался продолжателем не карамзинско-дмитриевской, барской сентиментальной традиции, но державинской, народной, реалистической.

Настоящее, образующее влияние карамзинизм оказал только на язык Пушкина, как и на весь русский литературный язык. Однако еще вопрос, все ли в этом влиянии было безусловно благотворительно и не был ли кое в чем прав старик Шишков, видевший в карамзинской реформе не развитие, а лишь офранцуживание русского языка. Упорядочив синтаксис и расширив словарь, Карамзин и Дмитриев несомненно придали русскому языку стройность, изящество, гибкость, каких в нем ранее не было. Но они же и оторвали его от народных корней, с которыми еще был так прочно связан косматый язык Державина. Самые неправильности державинского языка были народнее, почвеннее слишком отделанного, тепличного языка карамзинистов. Замечательно, что Пушкин, смеявшийся над «киргиз-кайсацким» слогом Державина, в то же время отчетливо сознавал пороки языка реформированного. Может быть не случайно, что всего через десять дней после того письма, в котором бранил Дмитриева, он писал тому же Вяземскому: «Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота ему более пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе».

Эту привычку он получил конечно от карамзинско-дмитриевской школы. Доведя язык, завещанный ему, до небывалого совершенства, он невольно содействовал углублению рва, вырытого карамзинистами между языком народа и языком дворянства, а затем и всего образованного русского общества.

29 октября 1937 г.

«ЩАСТЛИВЫЙ ВЯЗЕМСКИЙ»

Биография Вяземского — одна из немногих, слишком немногих, счастливых биографий в русской литературе.

Сын екатерининского и павловского вельможи, он родился в подмосковном имении Остафьево (10 июня 1792), получил прекрасное образование. Его ранние литературные опыты нашли приязнь и поддержку тут же, в родной семье: его поэтическим «пестуном» был ближайший приятель отца, И. И. Дмитриев. Эпоха благоприятствовала развитию таланта и воли к действию. И Россия и русская словесность находились в периоде созидательном. Молодой Вяземский участвовал в ополчении двенадцатого года, был под Бородиным и вернулся цел, хотя две лошади под ним были убиты.

Вслед за тем он стал таким же счастливым застрельщиком в схватках литературных. Русский лжеклассицизм кончался. Уже Державин давно перелос его тесные границы. Уже взорвалась первая мина, подложенная под классицизм сентиментализмом Карамзина. Впрочем сам Карамзин, кстати сказать женатый на сестре Вяземского, уже покидал поэтическое попрание: он трудился над «Историей государства Российского». Словом, перед новыми силами открывалось обширное поле. Жуковский и Батюшков пытались «обрести новые звуки». В неясной дали намечались смутные очертания грядущего романтизма. Уже в противовес чопорной шишковско-державинской «Беседе» возникла задорная революционная кучка арзамасцев. Вяземский тотчас стал ее душой. Жуковский и Батюшков к ней примкнули. Вступил даже милый и бесталанный Василий Львович Пушкин, хотя не очень годился — ни возрастом, ни писаниями. Это был «сочувствующий». Гораздо более подходил к «Арзамасу» юный племянник Василия Львовича. Но тот учился в Царскосельском лицее и не мог посещать собраний: под именем «Сверчка» он «из лицейского заточения подавал голос, как из-за печки».

Около 1815—16 года состоялось знакомство Вяземского с Пушкиным. Оно вскоре (и навсегда) перешло в теснейшую дружбу, а дружба была подкреплена прочным литературным союзом — тоже на всю жизнь. На долю Вяземского выпало великое счастье — быть одним из немногих, зато вернейших друзей Пушкина. И я бы решился сказать, что Вяземский был достойнее всех этой дружбы. Дельвиг был слишком вял и простодушен. Жуковский при всей любви к Пушкину старался «давить» на него, «направлять» его по тем, а не иным путям. Плетнев при всех достоинствах был человек неталантливый. Вяземский был гораздо умнее Плетнева и Дельвига — бескорыстней Жуковского.

Двадцатые годы — годы, в которые формировался Пушкин, были и для Вяземского важнейшей эпохой. Он стал не только одним из виднейших, образованнейших и проницательнейших наших критиков, но и главным борником того нового литературного движения, во главе которого стоял Пушкин и которое они с Пушкиным условились называть романтизмом. (Другое дело — был ли это действительно романтизм и что такое вообще романтизм). Они стали ближайшими союзниками в литературных боях и схватках. В «Сыне отечества» поместил Вяземский восторженную статью о «Кавказском пленнике». К первому изданию «Бахчисарайского фонтана» Вяземский написал вступительную статью в форме «Разговора между издателем и классиком с Выборгской стороны или Васильевского острова». Это был один из манифестов «Пушкинской плеяды». Впоследствии мы почти всегда видим Пушкина и Вяземского сражающимися под одними знаменами, бок о бок друг с другом. Пушкин привлек Вяземского в «Северные цветы»,

затем в «Литературную газету». Вяземский должен был быть ближайшим участником несостоявшейся газеты Пушкина, а потом — «Современника», пресеченного дантесовской пулей.

В их личных отношениях за двадцать с лишним лет не явилось ни тени досады, обиды или охлаждения. С тем вместе Вяземский умел быть другом, а не льстецом. Он не потворствовал Пушкину. Напротив, нередко ему перечил в самых острых вопросах, могущих вызвать бурное раздражение Пушкина. Так, в конце 1824 — в начале 1825 годов Вяземский старался сгладить резкую ссору Пушкина с отцом и убедить его не бесить правительства. Следы семейно-миротворческих попыток Вяземского находим и в более поздние годы: Вяземский всегда поддерживал хорошие отношения с родителями Пушкина и особенно с его сестрой, Ольгой Сергеевной, которой писал в стихах:

Я полюбил в тебе сначала брата,
Брат по сестре еще мне стал милей.

Имя Вяземского находим мы и в числе тех сравнительно немногих лиц, которые пытались устранить или ослабить неизбежное столкновение Пушкина с Дантесом. Наконец, после смерти Пушкина Вяземский и мертвому приятелю старался оказать услугу важнейшую: зная, как дорога была Пушкину честь его жены, Вяземский со всей силой своего авторитета старался обелить Наталью Николаевну.

Не привожу отрывков из стихов, обращенных Пушкиным к Вяземскому, как и из их переписки. И то, и другое слишком обширно и общеизвестно. Тут каждая строка говорит о любви и доверии. Жену Вяземского, кн. Веру Федоровну, Пушкин дарил такой же дружбой. Есть даже известие, впрочем весьма недостоверное, что будто бы на недолгое время, в Одессе, кн. Вера Федоровна была увлечена Пушкиным. Бывая у Вяземских, Пушкин играл с их маленьким сыном и писал стихи в его альбом.

Поэтическая деятельность Вяземского началась очень рано. В 1808 году он уже печатался. Он был всего на семь лет старше Пушкина, но это старшинство сказалось в его поэзии и отчасти сохранилось навсегда. Как ни боролся Вяземский за новую поэтическую школу, иные навыки старой еще над ним тяготели. Он еще успел отдать дань таким устарелым формам, как басни, притчи или аполлоги. Неверно, будто «сатирикодидактический тон» сделался навсегда основной чертой его поэзии, но отголоски этого тона в ней действительно сохранились. Несмотря на то что впоследствии Вяземский испытал решительное влияние Пушкина, в нем нельзя отчасти не видеть *предшественника* Пушкина, поэта *предпушкинской* поры. Это сближает его с Жуковским, Батюшковым и даже с Дмитриевым.

Как бы ни назвать путь, которым шел Пушкин, — этот путь привел его к реализму, т. е. прежде всего к конкретности переживания, а отсюда — к связанности, соподчиненности

поэтического произведения, к связи между формой и содержанием, к проверке воображения рассудком, к целесообразности и целеустремленности каждого образа и каждого слова, к стилистическому единству. Это еще не все, но это кажется главным, что было добыто Пушкиным и чего не было или было слишком недостаточно у его предшественников. Вяземский далеко ушел от них по пушкинскому пути. Но за Пушкиным он не угнался. Дело здесь не только в очевидном различии дарований. Тут еще важна эпоха. Семилетнее старшинство не прошло даром для Вяземского.

Вместе с тем за стихами его нельзя не признать достоинств. В них есть независимый ум, умение, часто и мастерство. А мастерство есть необходимое условие таланта и верный его показатель. («Я — поэт, но холодное мастерство мне чуждо», — эта формула не так давно изобретена бездарностями для самоутешения. Замечательно, что в эпоху расцвета русской поэзии таких плоскостей вовсе не говорили). Однако в его раздумьях порой было много истинного чувства. Вяземскому доводилось много ездить по России, и тема езды, дороги, просторов, снегов, затерянных станций стала не только исключительно частой, но и самой удачной в его поэзии. Довольно назвать такие стихотворения, как «Станция», «Памяти Орловского», «Первый снег», «Русский бог», чтобы воскресить в памяти образ Вяземского-поэта.

С другой стороны, Пушкин недаром сказал о нем: «Язвительный поэт, остряк замысловатый». Нельзя забывать блистательных подвигов Вяземского на поприще эпиграммы. Тут он, а не Пушкин, был истинным преобразователем. До Вяземского эпиграмма была растянута, скучна и беззуба. Она вращалась все вокруг одних и тех же тем: усыпительные поэты, незадачливые драматурги были ее излюбленными героями. Они выводились под условными именами Клеонов и Аристов, причем все Клеоны и Аристы были похожи друг на друга, как две капли воды и как посвященные им эпиграммы. Именно Вяземский научил эпиграмму быть конкретной, зубастой и метить не в бровь, а в глаз. Пушкин и Боратынский были его учениками, но, пожалуй, они не всегда достигали той безошибочной меткости, какая была присуща Вяземскому. Недаром ему принадлежит едва ли не самая убийственная из русских эпиграмм — на Булгарина:

Двойной присягою играя,
Поляк в двойную цель попал:
Он Польшу спас от негодя,
И русских братством запянал.

Он был блистательным остряком и ценителем острого слова, зачастую нескромного. В 1833—34 годах «с горя, что им не удалось устроить серьезный орган для пропагандирования своих мыслей», они с Пушкиным особенно предавались сочинению стихов, которые назывались у них «poesie maternelle».¹

¹ Непристойные стихи.

* * *

«Щастливый Вяземский!». . . Да, он во многих отношениях был счастливее Пушкина. И прежде всего в том, что при всей своей гордости, при всей независимости внутренней — Пушкин никогда не мог добиться той прочной и действительной независимости, которая Вяземскому давалась сама собой, благодаря его богатству и знатному роду.

По воззрениям он примыкал к либеральной части тогдашнего общества. Это было известно, и в молодые годы Вяземского мешало его служебной карьере. Он зато имел возможность, не гоняясь за карьерой, ждать, чтобы карьера сама пришла к нему. Впрочем его либерализм, можно сказать, ограничен был скептицизмом. Он был не весьма высокого мнения о гражданском сознании русского общества и народа. В 1825 году он писал Пушкину: «Ты сажал цветы, не сообразясь с климатом. . . Оппозиция — у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях: она может быть домашним рукоделом про себя и в честь своих пенатов. . . но промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа. Поверь, что о тебе помнят по твоим поэмам, но об опале твоей в год и двух раз не поговорят. . . Ты служишь чему-то, чего у нас нет. . .». Поэтому политические выступления Пушкина он называл донкихотством.

С 1831 года его служебные дела приняли счастливый оборот. Получив звание камергера, он вслед за тем назначен был вице-директором департамента внешней торговли, впоследствии был ординарным академиком по отделению русского языка и словесности, товарищем министра народного просвещения, членом государственного совета, обер-шенком высочайшего двора и состоящим при особе императрицы Марии Александровны. Последние годы своей жизни, уже в отставке, провел он преимущественно за границей, где и скончался в Баден-Бадене 10 (22) ноября 1878 года восьмидесяти шести лет от роду.

Кажется, только два огорчения испытал он в жизни: то были смерть его маленького сына Николеньки (в 1825 году) и смерть Пушкина. Кн. Вера Федоровна пережила его: она умерла только в 1886 году, когда ей было уже девяносто шесть лет.

Литературное наследие Вяземского очень велико. Кроме стихов и статей (из них выделяются статьи о Пушкине, Дмитриеве, Озерове, Козлове, Жуковском, Гоголе), оставил он между прочим ценнейшее исследование о жизни и творениях Фонвизина, труд, появившийся в 1848 году, но вдохновленный еще Пушкиным. К этому надо прибавить многочисленные политические статьи, записки и воспоминания. В родном Остафьеве, перешедшем впоследствии к Шереметевым, Вяземский сберег драгоценные реликвии Карамзина и Пушкина, а также огромный архив, который доньше еще не издан и не разобран полностью. Он имел все основания произнести слова, однажды им сказанные:

Я пережил многое и многих.

Нельзя отрицать, что в конце концов он пережил и время своего расцвета, и эпоху своего литературного влияния. Но до конца остался верен преданиям юности, крепко держал в руках свое литературно-партийное знамя. Однако ж судьба и тут была к нему милостива: он не знал старческого раздражения и досады. Сановная карьера, вовремя сменив карьеру литературную, новыми заботами и трудами заполнила его жизнь.

Да, он прожил долгую, полную и счастливую жизнь. Знал радости творчества, любви, богатства, дружбы, почестей. Но может — самое счастливое в истории его жизни то, что ему суждено было стать как бы частью «русской легенды». Ему посчастливилось войти не только в историю России, но и в ее миф, в то предание

о России, которое для нас отчасти быть может реальнее самой России. Все можно вырвать иль выжечь из нашей памяти, но Медного Всадника, но украинской ночи, но Тани Лариной мы не забудем. Не забудем и того, что когда «бедная Таня» очутилась в Москве, всем чужая и одинокая, —

У скучной тетки Таню встреть,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.

Он вошел в самое задушевное из русских преданий. В русской истории он является рука об руку с самым реальным и самым милым из ее призраков. Счастливый Вяземский!

22 ноября 1928 г.

О СИМВОЛИЗМЕ

Недавно мне довелось быть на лекции о поэзии Иннокентия Анненского. В первой части доклада лектор дал краткий обзор русского символизма. Я испытал неожиданное чувство. Все, сказанное лектором, было исторически верно, вполне добросовестно в смысле изложения литературных фактов. Многие в символизме лектору удалось наблюдать правильно, даже зорко. Словом — лектору все мои похвалы.

Но слушая, мне все чувствовалось: да, верно, правдиво, — но, кроме того, я знаю, что в действительности это происходило не так. Так, да не так.

Причина стала мне ясна сразу. Лектор знал символизм по книгам — я по воспоминаниям. Лектор изучил страну символизма, его пейзаж — я же успел еще вдохнуть его воздух, когда этот воздух еще не рассеялся и символизм еще не успел стать планетой без атмосферы. И вот, оказывается, — в той атмосфере лучи преломлялись как-то особенно, по-своему — и предметы являлись в иных очертаниях.

Историки литературы (в большинстве) считают, что литературное течение непостижимо без изучения эпохи, в которую оно создано, а отдельный автор — без знакомства с его биографией. Поэтому историк литературы ищет подсобных сведений у историка других культурных явлений, а также у историка политического, иногда у случайного мемуариста и т. д. Нередко по недостатку и неполноте источников он сам превращается в историка, чаще всего, разумеется, в кропотливого биографа. Собирая, сопоставляя, сличая воспоминания современников, документы, дневники, письма, порой путем сложнейших, даже мельчайших исследований (над которыми зубоскалит литературная обывательщина) — восстанавливает он даты, воскрешает подробности обстановки, быта, литературных течений и схваток, личных судеб, любовных историй и многого другого. Словом, всего того, что зовется «картиной эпохи».

Многое удается сделать. Изучаемый автор (или даже произведение) предстает в окружении. Возрастает для нас и *прелесть* произведения, ибо она всегда прямо пропорциональна объему *понимания*. Больше того: улучшается качество понимания. Вернее сказать: понимание обращается на предмет более обширный. Созерцая произведение, взятое «в себе», вне автора и эпохи, мы видим только творение. Зная автора и историю произведения, входим мы сверх того внутрь самого творческого процесса. Нам открывается не только творимое, но и творчество.

Освещенность эпох, людей и событий различна. Иное знаем мы лучше, иное же остается неясным, уносит с собой какую-то свою тайну, навсегда остается лунным пейзажем — без атмосферы. Вот слушая моего лектора я и увидел воочию, что если произведения любой эпохи нуждаются в реальном и биографическом комментарии, то писания символистов — в особенности. Конечно, сейчас мечтать об этом было бы преждевременно, хотя публикация некоторых материалов по истории символизма уже началась. Таковы воспоминания Белого о Блоке, извлечения из писем и дневников Брюсова, переписка Брюсова с Перцовым. Но все это — лишь ничтожнейшая часть того, что должно быть вскрыто, чтобы символизм был понят.

Символизм не только еще не изучен, но кажется и не «прочитан». В сущности, не установлено даже, что такое символизм: не выяснены ни его отличия от декадентства и модернизма, ни его соприкосновения с тем и другим, — а это вопрос важнейший, существеннейший. Не намечены его хронологические границы: когда начался? когда кончился? По-настоящему мы не знаем даже имен. Кто «вполне» символист? Кто «полу», кто «вовсе нет»? Судят разное, а к ясным решениям не приходят, прежде всего потому что признак классификации еще не найден.

Когда эта работа будет сделана, то, я думаю, символистов «чистой воды» окажется мало. Но людей, так или иначе вовлеченных в круг символизма, обнаружится больше. У символизма был *genius loci*¹, дыхание которого разливало широко. Тот, кто дышал этим воздухом символизма, навсегда уже чем-то отмечен, какими-то особыми признаками (дурными или хорошими, или дурными и хорошими — это вопрос особый). И «люди символизма» и его окрестностей умеют узнавать друг друга. В них что-то есть общее, и не в писаниях только, но также в личностях. Они могут и не любить друг друга, и враждовать, и не ценить высоко. . . Но это не связь людей одной эпохи. Они — свои, «поневоле братья», — перед лицом своих современников-чужаков. И с чужими такими, сколько бы не заключали они союзов, литературных, журнальных или каких угодно, — порода все-таки себя выдаст, связь рано или поздно окажется искусственной и либо ослабнет, либо порвется вовсе. Потому-то, с другой стороны, так легко и вступают они в разные союзы, что для них все «чужие» в последнем счете равны. Люди символизма «не скрещиваются». Тут — закон, биология культуры.

Нападать на символизм ныне довольно модно. Иные кавалерийские наскоки на него совершаются не без успеха. Эти нападки особенно легки именно потому, что в писаниях самих символистов символизм недооволощен. Это произошло не потому, чтоб на то не хватило сил или дарований, а потому, что в силу одной из глубочайших особенностей символизма он не мог и не хотел воплотиться в одни лишь словесные литературные формы.

В писаниях символистов заключена сложная и отчасти запутанная история целой жизненной полосы многих людей. Многие произведения (т. е. главы и эпизоды этой истории) могут быть поняты только из сопоставлений и сближений. Тут слишком многое сознательно строилось на переключке переживаний, мыслей, тем. У отдельных авторов многое, если не почти все, может быть понято только в связи с хронологией их, и не только их, творчества. И, наконец, едва ли не все наиболее значительное открывается не иначе, как в связи с внутренней и внешней биографией автора. Это не только потому, что символисты — лирики по преимуществу (даже в романе, в драме). Самое преобладание лиризма у символистов — есть следствие глубокой, первичной причины: теснейшей и неразрывной связи писаний с жизнью. Да, именно у этих, столько раз объявленных «головными», «неискренними», — связь жизни и творчества так сильна, так неразрывна, как, может быть, это было лишь у немногих раньше, ни у кого — после них.

¹ Гений места.

По основному и повелительному импульсу, который, на мой взгляд, и есть самый существенный признак для «классификации», — написанное всегда было или становилось для символиста реальным, жизненным событием. Написанное другими людьми того же круга влетает сюда же, как в обычную нашу жизнь влетают *поступки* и наших близких. Писатель не отделяется от человека. Потому-то символисты и были так запутаны в общую сеть личных и литературных любей и ненавистей. Не распутав этой сети, не поймешь связи. А сеть не распутаешь, пока, кроме книг, не прочтешь самих жизней.

Обратно: события жизненные в связи с неясностью, шаткостью линий, которыми для символиста очерчивалась «реальность», никогда не воспринимались и не переживались как *только* и просто жизненные: они тотчас становились частью внутреннего мира и частью творчества. Недаром доходило дело до того, что иные московские символисты хаживали друг к другу «пить чай по-особенному».

Что получалось? То, что часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в творчестве, а часть — недоовплощалась, утекала в жизнь, подобно тому как утекает электричество при недостаточной изоляции. Это и есть недоовлощенность символизма в творчестве символистов, та, о которой я говорил выше. Часть «творчества» ушла в жизнь, в ней растеклась, там и осталась. Чтобы восстановить целое, надо восстановить прошлое, т. е. изучить жизнь символистов. Всего не восстановят никогда, разумеется. Да и для того, чтобы понять то, что восстановится, — «надо быть самому немного в этом роде», как писал Блок в предисловии к своим пьесам. Следовательно символизм уже и не восстановим до конца, а главное, непостижим как явление только литературное. В пределе он не был «художественным течением», школой, а был жизненно-творческим методом, который тем полнее оказывался применен, чем жизнь и творчество были в том или ином случае теснее сплавлены.

Я бы решился еще сказать, что есть нечто таинственное в том, как для символиста писатель и человек суть окружные и многоугольные, одновременно и описанные и вписанные друг в друга. Впрочем — это уже не есть, а было. Символизм как эпоха кончен. Он стал преданием. Я застал еще ту пору, когда он кончал быть действительностью. Поскольку эта действительность творилась соединенными, порой враждующими, но и во вражде соединенными силами всех, попавших в «символическое измерение», — это был, кажется, подлинный случай *коллективного творчества*.

12 января 1928 г.

АБЛЕУХОВЫ—ЛЕТАЕВЫ-КОРОБКИНЫ

Новые книги Андрея Белого «Московский чудак» и «Москва под ударом» суть лишь две половины первого из двух томов, которые, как предупредил автор, должны составить единое целое: роман «Москва».

Итак, перед нами начало произведения, еще не законченного. Опубликованная половина романа во многих отношениях любопытна и сама по себе показательна. Все же окончательные суждения о нем пока еще преждевременны. Но кое-какие наблюдения над «Московским чудачком» и «Москвой под ударом» сделать уже возможно. Состав этих наблюдений уже не изменится независимо от того, будет ли он вообще закончен.

Последнюю оговорку надо пояснить. Уже не знаю, влияют ли тут причины, лежащие внутри творческой личности Белого, или тут просто какой-то «рок», тяготеющий над его книгами, — но только последние вещи Андрея Белого слишком часто не доходят до читателя в полном объеме: автор их либо не дописывает, либо недопечатывает. Так, из обширнейших замыслов Андрея Белого, порой долженствовавших иметь сложнейшее многотомное построение, имеем мы незаконченного «Котика Летаева», за которым последовало «Преступление Николая Летаева», задуманное автором как «первый том серии томов» и оборвавшееся в XIII книге «Современных записок», после того как было напечатано страниц 60; из двух томов «Офейры» в печати явился лишь первый; поэма «Первое свидание» — лишь первая часть недовершенной трилогии; «Воспоминания о Блоке», не успев закончиться, были преобразованы в многотомный мемуарный труд, далеко еще не законченный. Вот поэтому, хоть мне и кажется почему-то, что на сей раз «Москва» будет доведена до конца, все-таки окончательной уверенности у меня нет, и я решаю говорить о романе еще до того, как он появился целиком.

Впрочем, уже ранее меня о «Московском чудачке» и «Москве под ударом» высказывались. Книги изданы в Москве. Отзывов советской критики я совершенно не знаю, не уследил за ними, но, судя по тому, как в одной из своих статей роман Белого защищает Воронский, я заключаю, что эти отзывы были полны грубых нападок и пошлого издевательства. Не посчастливилось Белому и у критики зарубежной. Останавливаться на ней не входит в мою задачу; скажу только в виде отступления об одной частности, к самому роману почти даже не имеющей отношения.

«Московский чудак» открывается посвящением «памяти архангельского крестьянина Михаила Ломоносова». Это посвящение вызвало в эмиграции неприятные для Андрея Белого отклики: показалось оно признаком излишней преданности существующим в СССР порядкам. Мне хочется пояснить, что такая посяда на Белого в значительной степени основана на недоразумении. Не в качестве, конечно, крестья-

нина, совсем по другим причинам, но все же Ломоносов почитается патроном московской антропософской логи, — и посвящение романа памяти Ломоносова вполне естественный, не вынужденный никакими побочными давлениями, жест антропософа Андрея Белого. Если тут что «неприятно», то разве лишь насильственно притянутый крестьянский титул. Подобно Петру Великому, Ломоносов был одним из «первых русских интеллигентов». Ничего специфически крестьянского в его облике нет: «архангельский мужик» «стал разумен и велик: «по своей и божьей воле», а не потому, что он был мужик. Посвящать роман *крестьянину* Ломоносову так же странно, как странно было бы посвятить его камер-юнкеру Пушкину или поручику Лермонтову.

Еще более напрасным кажется мне заявление автора (в предисловии), будто в первом томе «Москвы» он «рисует беспомощность науки в буржуазном строе» и «схватку свободной по существу науки с капиталистическим строем». Напрасно также чудится Андрею Белому, будто им «показано разложение устоев дореволюционного быта и индивидуальных сознаний — в буржуазном, мелкобуржуазном и интеллигентском кругу». Конечно, не смею судить: может быть, все это и входило в намерения автора, но объективно в романе оно не выявилось.

Не будем возражать по существу; допустим, что Андрей Белый прав, и наука при буржуазном строе в самом деле беспомощна, а дореволюционный быт стремительно разлагался. Но ведь нельзя же упускать из виду, что все это, если происходило, то не вне времени и пространства, а в определенную эпоху и в определенном месте. Следовательно, показать этот процесс есть задача исторического романиста, и Андрей Белый сам это признает, говоря, что первый, ныне вышедший том «Москвы» есть роман исторический. В таком романе изображаемая обстановка, события, люди являются мотивировкой, живыми доказательствами тех общих положений, которые автор хочет внушить читателю. Эти общие положения убедительны лишь постольку, поскольку верна мотивировка, т. е. правдиво изображение людей и событий. Но как только обращаемся мы к роману Андрея Белого, будто бы и «рисующему», и даже «живописующему» эпоху, совсем еще свежую в нашей памяти, — нас тотчас поражает несхожесть «живописуемого» и «рисуемого» со всем тем, что видели мы собственными глазами.

Разумеется, о схожести и несхожести изображения с оригиналом всегда можно спорить: все зависит от зрения и зоркости. На возможной разнице наблюдений основывается известная спорность всякого исторического повествования. Но в романе Белого все представлено столь чудовишно, что самые понятия о схожести и несхожести тут неприложимы. Некоторые

герои беловского романа кажутся более или менее возможными, хотя сильно шаржированными. Таковы — семья профессора Коробкина, Задопьятов с женой, мадам Вулеву. Зато фон Мандро с его дочерью, карлик Кавалькас, Кавалевер и целые толпы каких-то проносящихся по роману уродливых призраков с чудовищными именами — суть существа не только не типичные для данной эпохи, но и вообще нигде и никогда не существовавшие, невозможные — порождения мощного, но глубоко произвольного воображения. Само собой разумеется, еще более фантастичны и химеричны взаимоотношения всех этих персонажей, меж них возникающие коллизии, а отсюда и вся фабула романа. События, рассказанные в «Московском чудеке» и в «Москве под ударом», так разительно неестественны и неправдоподобны, что уж, конечно, они не могли разыграться ни в дореволюционном, ни в послереволюционном, ни в русском, ни в каком ином, ни буржуазном, ни в небуржуазном *человеческом* обществе. Именно по своей *нечеловечности* они не могут ничего пояснить в человеческой истории, они не подтверждают и не опровергают ни разложения, ни образования никакого *быта*, потому что они просто никогда *не были*. Роман, развертывающийся в невероятной стране среди невероятных персонажей, есть фантастический, а не исторический. И как фантастика он не может претендовать ни на верное, ни даже на ошибочное истолкование какой бы то ни было эпохи, исторически существовавшей. Вот когда Андрей Белый сам говорит в том же предисловии, что «Московский чудак» и «Москва под ударом» «суть сатиры-шаржи и этим объясняется многое в структуре их», то это уже куда ближе к истине. Да и то слишком умеренно сказано. Не «сатиры-шаржи», а чудовищные и страшные карикатуры, чистейшие порождения фантазии, лишь отдаленно связанные с возможным материалом исторического романа. Какое-то чудовищное действие, разыгрываемое ужасными масками, полулюдьми, и не людьми вовсе, — вот истинное содержание романа, и оно наводит совсем на другие мысли и темы, нежели беспомощность науки в буржуазном строе, или какое-то «разложение мелкобуржуазного сознания». . . Т. е. разложение-то сознания тут, может быть, и происходит, только дело не в его «социальной принадлежности». Но к этому мы еще вернемся, а пока перейдем к наблюдениям над тем, что составляет подлинный, но сокрытый двигатель романа. Этот двигатель, ось, основная тема, далеко не впервые у Белого является нам в «Москве». Он — тот самый, что и в «Петербурге», и в «Котике Летаева», и в «Преступлении Николая Летаева». Все это — фрагментные вариации одной темы, единой в своей глубокой сущности фабулы. И разыгрываются они все теми же персонажами, слегка меняющими обличия. Скромная задача этой статьи — вкратце охарактеризовать этих персонажей и схематически начертить основной план их взаимоотношений; я хочу поделиться наблюдениями над темой, которая, говоря модным сло-

вом, «стабилизировалась» в последних и самых значительных вещах Андрея Белого.

* * *

Сенатор Аполлон Аполлонович Аблеухов, вокруг которого разыгрываются события, изображенные в «Петербурге», человек происхождения татарского: от Мирзы Або-Лай-Ухова. У профессора Летаева, отца Котика (впоследствии Николая), «профиль был скифский», «раскосые, злые татарские глазки». В «Первом свидании»¹ тот же Летаев представлен «широконосым и раскосым». У профессора Коробкина, «московского чудака», были «табачного цвета раскосые глазки; скулело оттуда лицо».

Невзрачная и даже отталкивающая наружность всех трех стариков (сенатора и двух профессоров) глубоко не соответствует их общественному положению и громадности их значения. Сенатор из своего кресла «возвышался, безумно парил над Россией, вызывая у недругов роковое сравнение (с нетопырем)». Не в административной, не в государственной, но в иной области, в математической, так же огромно, если не больше, значение профессора Летаева. К его слову прислушивается весь ученый мир. Профессора Коробкина знает вся Европа; из Японии ездят к нему на поклон величайшие математики. Как судьбы России и отчасти мира вершит в своем кабинете Аблеухов, так у себя в «кабинетиках» еще более важные тайны хранят профессор Летаев и профессор Коробкин. «Аполлон Аполлонович был как Зевс» («Петербург»). Такой же громовержец — Коробкин: открытие, им сделанное и записанное на клочке бумаги, таит в себе «ужасные последствия» для всего мира. О Летаеве сказано, что у него «гром — в бороде, под усами, во рту».

Постоянно погруженный в дела наивысшего порядка, в абстрактные думы сенатор Аблеухов отличается крайней рассеянностью: однажды, «думая, что достал карандашик, вытащил из жилета костяную щеточку для ногтей и ею же собирался сделать пометку»; в другой раз своему секретарю «он хотел сказать „знаете ли“, но вышло „знаешь ли. . . ты ли“». О его рассеянности ходили легенды. Такой же рассеянностью отличается и Летаев, в особенности по части одежды: «болтаются нитки, платок носовой вывисает, как хвостик, таит в себе «ужасные последствия» для всего мира. О Летаеве сказано, что у него «гром — в бороде, под усами, во рту».

¹ Кажется, не всеми замечено, что поэма писана тоже от лица Николая Летаева: «И мой отец, декан Летаев», — В. Х.

Все, что не касается предметов их абстрактного мышления, для Аблеухова, Летаева, Коробкина одинаково непонятно, чуждо. Аблеухов ради упрощения домашнего обихода «только раз вошел в мелочи жизни: проделал ревизию инвентаря; инвентарь был зарегистрирован в порядке, и установлена номенклатура всех полок и полочек; появились полочки под литерами: а, бе, це; а четыре стороны полочек приняли обозначение четырех сторон света. Уложивши очки свои, Аполлон Аполлонович отмечал у себя в реестре мелким, бисерным почерком: очки, полка бе и св., то есть север-восток». Так и углы в квартире профессора Летаева имеют наименования: северо-западный, юго-восточный. Зато «в кон веки попав на цветущее лоно природы, Аполлон Аполлонович видел: цветущее лоно природы; для нас это лоно тотчас распалось на признаки: на фиалки, на лютики, на гвоздики, сенатор отдельности возводил вновь к единству; сказали б, конечно:

— Вот лютик!

— Вот незабудка!..

А Аполлон Аполлонович говорил и просто, и кратко:

— Цветок... .

Меж нами будь сказано: Аполлон Аполлонович все цветы одинаково почему-то считал колокольчиками».

Так и профессору Коробкину названия самых простых цветов показывает дочь Надя:

«— Львиный зев... .

Он очки наставлял:

— Да-с, прекрасно, прекрасно.

Процвет луговой, сарафанчик: такой надуванчик:

— Вот кашка.

Очки наставлял он на кашку.

— Прекрасная-с.

— Знаете?

Травку показывала.

— Это что ж?

— Трава валерьянова.

Цветоуханно!»

Неудивительно, профессору-математику Летаеву весь мир представлялся в математических терминах. Вода для него: «аш два о: красота!», а «шампанское дрянь: неизящны структурные формулы сложных составов». Неудивительно, что разговоры математика Коробкина непрерывно сводятся к таким, например, суждениям о семейной жизни: «Мы — прямые углы: пара смежных равна двум прямым... . Да-с, угловатости в браке от неумения, черт подери, обрести дополненные свое до прямого угла!.. Вы мне найдите лишь косинус; вам станет ясно: отсутствует — да-с — рациональная ясность во взгляде на брак». Но более удивительно, что в точно таких же математических формулах видит и оценивает мир не математик, а государственный деятель Аблеухов: город ему представляется сочетанием «квадратов, параллелепипедов, кубов». Планомерность и симметрия успокаивают его нервы. «Более всего он любил прямолинейный проспект, этот

проспект напоминал ему о течении времени между двух жизненных точек». Собственная карета ему предстает «лакированным кубом»: «вдохновение овладевало душой сенатора, когда линию Невского разрезал лакированный куб: там виднелась домовая нумерация... . «Лишь любовь к государственной планиметрии облекала его в многогранность ответственного поста». Для Аблеухова «весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень».

Все трое — Коробкин, Летаев, Аблеухов — чужды «мелочей жизни». Но мелочи жизни, бременная природа им мстят и напоминают о себе в унизибельной форме: желудочными невзгодами. И все трое страдают геморроем. И в жизни всех троих немалое место занимает одно «ни с чем не сравнимое место», к которому Аблеухов «по коридору отшлепывает туфлями», со свечкой в руке. Это — один из лейтмотивов «Петербурга». Впрочем, там же сенатор обдумывает и важнейшие дела свои. И тот же лейтмотив в жизни профессора Летаева: «папе ничто не мешало вышестывать иксы и игреки, грохотом проходя мимо детской с зажженной свечкой и с томиком Софуса Ли по коридору в ту темную комнатку, где очень часто взрывались звуки спускаемой бурно воды, где я не был, откуда ко мне приносили посудинку, где очень часто просиживал папа с зажженной свечкой и с томиком Софуса Ли». И в другом месте: «вскочив от волненья, пробегом пройдет за стенкой, свечку зажжет и бежит мимо детской скорее в темную комнатку: там обсуждать непосредственно узанное».

Есть и другие общие странности у всех трех стариков. Так, любят они несуразные шуточки, каламбуры, выпаливаемые некстати, порой — со слугами.

«Аполлон Аполлонович... . пошучивал:

— Кто всех, Семеныч, почтеннее?

— Полагаю я, Аполлон Аполлонович, что почтеннее — действительный тайный.

Аполлон Аполлонович улыбнулся одними губами:

— Не так полагаете: трубочист... .

Камердинер уже знал окончание каламбура: об этом — молчок.

— Почему же, осмелюсь спросить?

— Перед действительным тайным, Семеныч, сторонятся... .

— Полагаю, что так... .

— Трубочист... . Перед ним посторонится и действительный тайный: запачкает трубочист.

— Вот оно как-с.

— Так-то вот. Только есть еще должность почтеннее.

И тут же прибавил:

— Ватерклетчика... .

— Пфф... .».

Или еще:

«— Ме-емме... . Семеныч, скажу-ка я... .

— Слушаюсь!

— Ведь жена-то халдея — я полагаю — кто будет?

— Халдейка-с.

— Нет — халда!
 — Хе-хе-хе-с. . .».
 Так и профессор Коробкин пристаёт к ба-
 рыню:
 «— Как вас звать, говоря рационально?
 — Лизашею.
 Набок склонила головку.
 — Лизашею?
 — Да.
 И — пьяниссимэ — глазки:
 — А смею спросить, почему не Сосашею?
 — Что?

Передернуло.

— Вы, полагаю я, лижете что-нибудь?

Вспыхнула.

— Я ничего не лижу.

И проснулось дичливое что-то в глазах.

— Вот и кошечка лижет, — там, сливки. . .

А Томочка-песик, такой жил у нас, — тот лизал
 у себя, в корне взять, под хвостом».

Все три старика любители сочинять стишки,
 которые под стать их каламбурам. Вот стишки
 Аблеухова к лакею:

Верно вы, Семеныч,
 Старая ватрушка,
 Рассудили это
 Лысою макушкой.

Вот экспромт Летаева к прислуге — Афросинье:

Прошу Афросинью
 Нам сделать ботвинью
 Без масла и мяса,
 Из лука и кваса.
 Поевши гороху,
 Пеките лепеху
 Из кислого теста,
 О вы, Клитемнестра!

А вот образчик многочисленных писаний
 Коробкина к горничной Аннушке:

И у меня была когда-то ванна,
 Сказала наша горничная Анна,
 Но, отдаваясь року злomu,
 Я ванну отдала городовому.

Таковы многочисленные общие черты трех
 главных персонажей Андрея Белого. И число
 этих черт, и число этих примеров можно было бы
 увеличить *во много раз*, что отчасти нам и при-
 дется сделать в дальнейшем. Пока же мы огра-
 ничились основными и не хотели загромождать
 статью слишком обильными цитатами. Можно
 сказать, что профессор Летаев и Коробкин
 вовсе тождественны, а сенатор Аблеухов до
 крайности с ними схож. Его отличия от обоих
 математиков — чисто внешние и подсказаны
 лишь отличием в общественном и служебном
 положении.

В предисловии к «Преступлению Николая
 Летаева» Андрей Белый, так сказать, заявляет
 отвод против предположения, будто в изобра-
 жении родителей Котика он пользовался штри-

хами, взятыми у своих родителей. Он мог бы
 обратить это заявление и назад, к ранее
 написанному «Петербургу», и повторить его
 ныне, в предисловии к «Москве». Сейчас мы
 увидим, что не только характер отца, но и все
 основные семейные ситуации у Аблеуховых,
 Летаевых и Коробкиных почти тождественны,
 за вычетом частностей, не играющих существ-
 венной роли в том сюжетном строении, которое
 Андрей Белый называет «конфигурацией челове-
 ческих отношений».

* * *

Были женаты все трое: Аполлон Аполлоно-
 вич Аблеухов, профессор Летаев, профессор
 Коробкин. И одинаково всем троем в этом деле
 не повезло. Три супруги трех главных героев
 кое в чем разнятся друг от друга, но разнятся
 в несущественном: в основном же, в том самом,
 что при различии могло бы изменить основную
 «конфигурацию», все три дамы сходятся между
 собой, пожалуй, не менее, чем сходятся их
 мужья.

Аблеухов, Летаев, Коробкин собой безоб-
 разны. Другое дело — их жены. В «Петербурге»
 мы застаем Анну Петровну уже не молодой —
 матерью взрослого сына. Но в молодости она
 была хороша, «рой поклонников» за ней уви-
 вался. Гораздо моложе «мамочка» маленького
 Котика Летаева, зато автор и не скупится
 на изображение ее прелести. Профессорша Ко-
 робкина, Василиса Сергеевна, занимает среднее
 положение: автор ее показывает нам в эпоху
увядания былой ее красоты.

Чем более мужья погружены в свои высшие
 интересы, тем низменнее интересы жен. Оболь-
 стительная «мамочка» Котика — дура и мод-
 ница. Высоких научных мыслей профессора она
 не ценит и напрямик говорит супругу:

«— Некоторые которые думают, что пости-
 гают науку, а в жизни остались болванами —
 да! . . . Иметь шишкою лоб и бить стены им вовсе
 не значит быть умником! . . .»

В соответствии с этим научная деятельность
 профессора рассматривается его супругой един-
 ственно в плоскости служебной карьеры —
 и ценится не высоко:

«— Иные вот пользуются очень доходной
 казенной квартирой, — да, академики! Если бы
 подлинно был у вас лоб, а не камень, давно бы
 мы жили не здесь. . . Чебышев — академик,
 а Янжула — прочат; за Янжула кто-то хлопочет.
 Из Питера. . . Страдалица я: предводительский
 бал на носу, а в чем выведу я? В кружевном?
 В переделанном? . . . Лепехина — шила, Лепе-
 хин — не мы! . . . У Лепехиных выезды! . . .»

На таком же уровне находится и супруга
 Коробкина со своей «браслеткой из блэ д'эмаль»
 и «высокой прической с получерепаховым греб-
 нем». «Василиса Сергеевна перечисляла собы-
 тия жизни (к последним словам нотабена:
профессорский быт Василисой Сергеевной ста-
 вился в центре бытов и вкусов Москвы):
 Доротея Ермиловна мужа, геолога, нудит
 на место директора, все из-за лишней тысячки,

* * *

а у самих — два имения; Вера же Львовна исследует свойства фибром с ординатором гинекологической клиники. . .» и т. д.

В результате несходства характеров и стремлений — «житейские грозы». В доме Летаевых протекали они чрезвычайно бурно, из-за малейшего повода, и иногда профессор Летаев «доходил до гвоздя»:

«Из разъятого рта выбегает кровавый язык своим загнутым кончиком; в воздух слетают очки; и дугой слетает платок носовой из кармана; „он“ бегаёт спинником, вертится, машет руками, и бьётся оранжево-ржавым гвоздем по железной кровати, по телу, по жести, — своей пятипалой рукой схвативши зажженную лампу, стоит, с этой лампой стараясь и лампу раздрызгать об пол, и закаркать стеклянником, взвевшим черно-красное пламя и копоть, чтобы просунуться в пламя, пропасть в клубах копоти».

«До гвоздя» Аблеухов не доходит. У Аблеухова в доме иные житейские формы: холодные, петербургские. Потому «в лакированном доме житейские грозы протекали бесшумно, тем не менее грозы житейские протекали здесь гибельно».

Василиса Сергеевна Коробкина тоже не столь резка, как «мамочка», потому, быть может, что она и постарше. Однако же с холодным презрением она замечает мужу:

«Вы — в абстрактах всегда».

И, как указано выше, из года в год дают себя чувствовать у Коробкиных «угловатости в браке».

«Абстракты» мужей давно опротивели настроенным очень «реально» женам. «Мамочка» Котика, правда, еще только подумывает о конкретных радостях «на стороне». Ее раздражает, что у них в доме «собирается мертвая плесень, плешивая плесень. . . Кого соблазнять?».

«Мамочка» еще молода; роман обрывается чуть ли не в начале. Может быть, отыскала бы и она хоть кого-нибудь для «соблазна». Вот Василиса Сергеевна уже «четверть века» тому назад сошлась с сослуживцем супруга, профессором Задопятовым, и связь продолжается, и Коробкин так противен своей жене, что через двадцать пять лет она еще пристает к Задопятову:

«Уедемте. . . Бежимте! . . .».

Анна Петровна Аблеухова и на самом деле сбегала от своего сенатора куда-то в Испанию: «покинула семейный очаг», «чтобы удовлетворить половое влечение с Манталлини, итальянским певцом».

Может быть, именно оттого, что так ясно дают себя чувствовать «угловатости в браке», оттого, что в своих домах Аблеухов, Летаев, Коробкин одинаково одиноки, все три старика с одинаковой неуклонностью (следствием их «нежизненности») ищут чего-то похожего на привязанность — где попало: то в фамильярничаньи со слугами, то в тихой привязанности к собакам — «песик» Летаева, «Томочка-песик» Коробкина, аблеуховский Томка — тезка коробкинского.

Три сына: у Аблеуховых — Николай, у Летаевых — тоже Николай, у Коробкиных — Дмитрий. В трех романах Белого эти сыновья значительно разнятся друг от друга возрастом: Котик Летаев — совсем ребенок, Митя Коробкин — гимназист, Николай Аполлонович Аблеухов — студент. Но, как увидим мы далее, возрастное различие не только не меняет их положения в «конфигурации» действующих лиц, но и не влияет на их основную роль во всех трех романах: эта роль остается всюду одна и та же. Несколько забегая вперед, скажем тут же, что при ближайшем рассмотрении Котик Летаев, Митя Коробкин и Николай Аблеухов оказываются тремя вариантами одного и того же лица, причем наиболее очевидное, но и наименее существенное различие этих вариантов — именно возрастное.

Внешностью все три сына — в отца. В маленьком Котике Летаеве некрасивость еще только намечается. Но уже «мамочка» злобно его попрекает:

«Беспощадной рукой оттолкнувши кудри — бывало посмотрит на лобик, а лобик — большой:

— Большелобый!

— В отца. . .

Как растрепаны мамини кудри; живот злопахает, грозит загибаемый пальчик, надуется под подбородком второй подбородок:

— О, нет!

— Не в меня!

— Весь в отца!».

Уже проявляется безобразность в Мите Коробкине: он постарше. Он — «согнувшийся юноша, в куртке чернявой, в таких же штанах, и лоб зароставший придал выраженью лица что-то глупое; чуть выглядывали под безобразным надбровьем глаза; все лицо — нездоровое, серое, с прожельто, в красных прыщах». У него лицо — «сжатый кулак с носом, кукишем, высунутым между пальцами». Он — «двоющий глазами, такой замазуля, в разъерзанной курточке, руки — висляги, весь в перьях; там он улыбался мозлявым лицом».

Отчетливое сходство с отцом у Николая Аполлоновича Аблеухова:

«Движения его были стремительны, как движения папаша; как Аполлон Аполлонович, отличался невзрачным росточком, беспокойными взглядами улыбающегося лица; когда погружался в серьезное созерцание, взгляд окаменевал; сухо, четко и холодно выступали линии совершенно белого лика, подобно иконописному».

Кажется, он хорош собой. Но — только кажется:

«— Красавец! — слышалось вокруг Николая Аполлоновича.

— Античная маска. . .

— Ах, бледность лица. . .

— Этот мраморный профиль. . .

Но если бы Николай Аполлонович рассмеялся бы, то сказали бы дамы:

— Уродище! . . .».

И, наконец, в довершение сходства с отцом и с монгольскими дедами-прадедами «на Николае Аполлоновиче стал появляться халат; завелись татарские туфельки; появилась ермолка. Так блестящий студент превратился в восточного человека».

Замечательно, что всех троих сыновей заставляем мы в момент эротического возбуждения. Оно еще ни в чем активно не проявляется, даже едва только намечается у маленького Котика Летаева: в первоначальном интересе к непонятым предметам:

«У каждого этот „предмет“; он у мамы; у папы — иной: тот самый, какой у мужчин: свой „предмет“ укрывают они, но раздеть их — предмет обнаружится. Знаю, у каждого „эдакое-такое“ растет, копошится отчетливым шорохом шопота, а объяснение спрятано в складках зажатого рта, под ресницами; внятно я слышал: Дуняша — гуляет с приказчиком; эту Дуняшу держать невозможно. . . Дуняша гуляет с приказчиком; это — не важно. Дуняша заходит с гуляний к приказчику: делают что-то, и это важнее. — Кухарка имеет „свое“: появление Петровича в кухне допущено; и что-то делают, что-то наделали; после являются — „Котики“; как это там происходит — не знаю, но — знаю — явился откуда-то очень крикливый Егорка, в прошедшем году; и отправился он в Воспитательный дом; и Дуняша сказала, что ей очень стыдно, когда Афросинья гуляет со своим „мужиком“; — да, так вот оно что — неприлично лежать с мужиком; и Дуняшу держать невозможно за то, что она, нагулявшись с приказчиком, ходит к приказчику — спать.

— Не мужик ли приказчик?

— Да как сказать, Котик, пожалуй, что да».

Митя Коробкин постарше. Вот как показано автором его первое появление на страницах «Московского чудака»:

«Фыки и брыки; и — да-с: голос горничной:

— Ну вас. . .

— Какая вы право же!

Дарьюшка вырвалась.

— Тоже мозгляк, а — за пазуху: барыне я вот пожалуюсь.

— Мед!

— Ну же вы!».

Подглядев эту сцену, профессор Коробкин «задумался, вспомнив, как кровь в нем кипела, когда он был молод, когда напряженье рассудочной жизни его подвергалось атакам бессмысленной и глупотелой истомы; тогда со стыдом убеждался и он, что с большим интересом выглядывает из-за функций Лагранжа на голую ногу; упрятывал глазки за функции он со стыдом: голоногая Фекла (прислуга, жила с богатырского вида мужчиной, устранившим кулачекви). Иван же Иванович отставил женский вопрос; ни о чем таком думать не смел; и страдал глупотелием в годы магистерской жизни своей — до явления Василисы Сергеевны».

Таким образом — и тут сын в отца. Но не одна горничная Дарья прельщает Митю: пожалуй, сильней влечет его Лизаша

фон Мандро, та самая, к которой отец его приставал, как мы видели, с сомнительными каламбурами. К Лизаше таскается Митенька. Ее он хватает, как Дарьюшку-горничную:

«Он за нее ухватился, она — отстранялась.

— Нет, тише. . . Вы, бог знает, пьяны. . .

Лицом подурнела: и — дернулась, видя, что Митя идет на нее: отступала к портьеру.

— Нельзя!

Он схватился рукою, рвался — не пускал.

— Ах, жалким вы жалкехонек, Митенька!

И унырнула за складки портьеры, оставивши ручку свою в его цепких ладонях; он к ручке припал головой, покрывая ее поцелуями; ручка рвалась за портьеру.

— Пустите же, — раздавался обиженный голосок, как звоночек, за складкой портьеры».

Николай Аполлонович Аблоухов влюблен в Софью Петровну Лихутину, «Ангела-Пэри». И как Дарьюшка и Лизаша увертываются от «пыхтящего краснорожего» Митеньки, как Лизаша говорит о нем «уродец», — так с отвращением отмахивается Софья Петровна от Николая Аполлоновича:

— Урод! Красный шут!

Конечно, Лизаша и Софья Петровна сами нарочно прельщают, как Митеньку, так и Николая Аполлоновича. Но, распалив, в последнюю минуту отталкивают с одинаковым презрением. И сколько мы не встречаем Митю Коробкина на страницах «Москвы» и Николая Аполлоновича на страницах «Петербурга» — это неудержимое вождение является постоянным их спутником, а вслед за тем и первейшим, главным, единственным двигателем их поступков. И поступки эти — суть *преступления*. Каковы формы этих преступлений и через средство чего к ним приходили наши герои от своей страдающей чувственности — все это мы сейчас увидим.

* * *

«Преступление Николая Летаева» не напечатано полностью. В сущности, напечатанная часть содержит еще только экспозицию: изображение летаевской семьи. Но по заглавию мы вправе заключить, что сюжетной осью романа должно было явиться какое-то *преступление*, совершаемое маленьким Котиком. О конкретных формах, в какие должно и могло вылиться преступление, гадать не будем — нам важно, что *совершить преступление* Котику предстояло. Впрочем кое-какие намеки на общий смысл преступления даны автором в предисловии, и мы тут узнаем, что само преступление по замыслу автора имеет, можно сказать, физиологическую основу. Андрей Белый говорит, что в романе изображено детство героя в том критическом пункте, где ребенок, становясь отроком, этим самым совершает первое преступление: грех первородный, наследственность проявляется в нем.

Эти несколько туманные слова служат, однако же, недурным пояснением к тем мыслям,

которые раньше, в «Петербурге», высказывал самому себе Николай Аполлонович Аблеухов. Обрати — раздумья Николая Аполлоновича отчасти уясняются нам из предисловия к «Преступлению Николая Летаева».

Николай Аполлонович вспоминает:

«Когда Коленку называли отцовским отродьем,² ему было стыдно; отродье открылось чрез наблюдения над за́машками домашних животных; и Коленка плакал; позор порождения перенес — на отца».

Тут уже нам начинает уясняться то чувство гадливости, которое у Николая Аполлоновича сочеталось с «родственным» чувством. Белый рассказывает, что когда Аблеуховы, отец и сын, «соприкасались друг с другом, то они являли подобие двух, повернутых друг на друга, отдушин; и пробегал неприятнейший сквознячок. Менее всего могла походить на любовь эта близость: ее Николай Аполлонович ощущал, как позорнейший физиологический акт; в ту минуту он мог отнестись к выделению родственности, как к выделению организма».

И, наконец, автор нам поясняет еще в «Петербурге», что разумеет он под наследственностью. Предаваясь некоей «мозговой игре», старик Аблеухов припоминает давно прошедшие времена. Эти воспоминания, уже от лица морализирующего автора, выражены следующим образом:

«И — вспомнилась девушка (тому назад — тридцать лет); рой поклонников; и сравнительно молодой человек, статский советник, вздыхатель».

И — первая ночь: выражение отвращения, прикрытое покорной улыбкой; в ту ночь Аполлон Аполлонович, статский советник, совершил гнусный, формой оправданный акт: изнасиловал девушку; насильничество продолжалось года; зачат был Николай Аполлонович между улыбками: похоти и покорности; удивительно ли что Николай Аполлонович стал сочетанием отвращения, перепуга и похоти? Надо было приняться за воспитание ужаса, новорожденного ими: очеловечивать ужас.

Они ж раздували. . .».

Тут уже мы имеем ясно обозначенное содержание наследственности: она сказалась в том, что «*Николай Аполлонович стал сочетанием отвращения, перепуга и похоти*». Это — его первейшие наследственные свойства: его «первородный грех».

«И он понял, что все, что ни есть, „отродье“; людей-то и нет; все они „порождения“; Аполлон Аполлонович — „порождение“, неприятная сумма из крови, из кожи. . . Души — не было.

Плоть — ненавидел; к чужой — вожделел. Так из детства вынашивал личинки чудовищ; когда же созрели они, то вылезли».

Это вылезание выношенных чудовищ и составляет сюжет «Петербурга». К тому моменту, когда чудовища вылезли окончательно, ненависть к плоти ясно оформилась в ненависть

к отцу; вожделение к чужой плоти обратилось в любовь к Софье Петровне. Любовь была неудачна — тем хуже для отца: Николай Аполлонович мстит ему за свое бесплодное вожделение, за тшетную похоть, на которую смотрит именно как на наследство. Он восстает на наследователя. В этом, и только в этом, заключается истинная мотивировка *преступления*, совершаемого Николаем Аблеуховым.

Действие романа происходит в 1905 году. Николай Аполлонович свел знакомство с революционерами и обещал им убить своего отца, для чего получил от них адскую машину с часовым механизмом («сардинницу ужасного содержания», как выражается автор). Фактически покушение в конце концов не удается, но это не существенно. Роман построен на переживаниях Николая Аполлоновича как потенциального отцеубийцы. «Наследственная» триада им владеет: похоть к Софье Петровне, отвращение к отцу и к себе, и перепуг от того, что должно произойти.

С того момента, как тайное желание убить отца (оно выражено в обещании, данном революционерам) переходит в необходимость убить действительно (получение адской машины), этот перепуг становится, пожалуй, даже преобладающей чертой в Николае Аполлоновиче, и я бы сказал — передается автору. Ведь несомненно, что принятое от революционеров поручение убить отца — только внешний толчок, только повод для действия Николая Аполлоновича. Не будь революции и революционеров, сын Аполлона Аполлоновича точно так же на него покусился бы. Но замечательно, что с первой до последней страницы романа Николай Аполлонович старается уверить себя, что он попался в ловушку. Он старательно валит инициативу преступления на других, на множество людей и внешних обстоятельств. И автор не устает помогать ему в этом. Николая Аполлоновича и его отца он изображает опутанными целой паутиной каких-то подстрекателей, подсмотривателей, наблюдателей, незнакомцев, провокаторов и т. д. Получается впечатление, будто все и всё, все действующие лица и все события, все явные и тайные пружины действия возникают и существуют только для того, чтобы толкнуть Николая Аполлоновича на преступление. Он оказывается жертвой бесчисленных «провокаций». А ведь на самом-то деле мы знаем, что и не будь ничего этого — он точно так же бы покусился на отца. Только раз намекает автор: «провокация была в *нем самом*». Да еще раз, в краткую минуту честности с собой, Николай Аполлонович признается, что данное партии обещание «да. . . есть следствие; гнало — вожделение». «К отцеубийству присоединилась ложь; и что главное — подлость».

Но это лишь раз проскальзывает в романе, и снова Николай Аполлонович принимается выдумывать всех и все, чтобы оправдать себя. И вот — все в романе, кроме семьи Аблеуховых, становится фантазмагорией. Город превращается в призрак; дома насадают на Николая Аполлоновича своими кариатидами, пугают леп-

² Так называла и Котика Летаева его мать. — В. Х.

ными грифонами на подъездах;³ улицы приобретают «одно несомненное свойство: превращаются в тени прохожих». Тени говорят шепотами, недомолвками, обрывками фраз, обрывками слов:

«— Знаете? — пронеслось где-то справа, погасло.

И вынырнуло:

— Собираются. . .

— Бросить. . .

Шушукало издали:

— В кого?

И вот темная пара сказала:

— Абл. . .

Прошла:

— В Аблеухова?!

Пара докончила где-то вдаль:

— Абл. . . ейка. . . меня кк. . . ислатою. . . попробуй! . . .».

Так говорят не только прохожие на улицах. Так объясняются видные персонажи романа. (Не привожу примеров, ибо пришлось бы написать, вероятно, все без исключения диалоги «Петербурга»).

Фантастичности персонажей соответствуют их имена: целым роем несутся какие-то Липпанченки, Оммау-Омергау, фон Сулицы, мадам Фарнуа. Капают капли: Пепп Пеппович Пепп, и Пепп Пеппович Пепп «материализируется». Бред Дудкина, Энфраншиш, оказывается вообще человеком наизнанку: выверни его имя, получится перс Шишнарфне.

Где-то кто-то сочиняет какие-то стишки, и стишки эти разлетаются по городу и влетают вместе со слухами, намеками, сплетнями — в события. Сам Николай Аполлонович превращается в легенду: в красное домино, появляющееся то на улицах, то в домах.⁴ Постепенно «мир и жизнь» превращаются в «пучину невнятных». В эту невнятицу врываются, лишь ее усугубляя, воспоминания старика Аблеухова об его близком друге — Вячеславе Константинovic Плеве. Все смешивается. Повествование превращается в «серию небывших событий» . . .

Но как же все-таки: бывших или не бывших? И то, и другое: действительность в «Петербурге» обросла невнятицей. В невнятице обозначились призраки, тени. Тени начали «быть-ствовать». Подглядывали, подсматривали, подталкивали, подсовывали «сардинницу ужасного содержания». Автор помог Николаю Аполлоновичу стать объектом преследования. Поскольку преследуем Николай Аполлонович *теньми* —

³ Срв. в «Преступлении Николая Летаева»: «я боюсь двух крылатых грифонов, поднявших две лапы над бойким подъездом» и т. д. — В. Х.

⁴ Срв. «Маскарад» в книге «Пепел»:

Только там, по гулким залам,
Там, где пусто и темно,
С окровавленным кинжалом
Пробежало домино.

В. Х.

он страдает манией преследования. Поскольку теней этих он сам вызывает, чтобы на них свалить в нем заключенную жажду отцеубийства, — он симулирует и лжеч:

«Благороден, строен, бледен,

Волоса — как лен,

Чувством щедр, а мыслью беден,

Н. Н. А. — кто он?

Он — подлец».

* * *

Митя Коробкин — совсем еще мальчик, гимназист. Он к тому же гораздо глупее от природы, чем Аблеухов. Но носитель все той же наследственности, он так же оторван от родителей, как Аблеухов. Не питая к отцу сознательной вражды, он все же совершает по отношению к нему *преступление*, которое в сюжете «Москвы» занимает то самое место, как в сюжете «Петербурга» — преступление Николая Аполлоновича.

Профессор Коробкин так же окружен врагами, как сенатор Аблеухов. Им открыта формула, позволяющая изготовить какие-то вещества неслыханной разрушительной силы. Листок бумаги, содержащий подготовительный набросок формулы, Коробкин спрятал в книгу. Митя ворует у отца книги, продает их букинисту, а от букиниста листок попадает к германским шпионам. Главный шпион фон Мандро велит сложнейшую, запутаннейшую интригу, чтобы выкрасть и окончательную формулу. Главная пружина этой интриги заключается в том, что Мандро старается использовать для своих целей Митю, влюбленного в его дочь Лизашу. Потому-то и ворует Митя книги, что ему нужны деньги на расходы, сопряженные с быванием у Мандро. Таким образом, Митя становится таким же орудием в руках отцовских врагов, как Николай Аполлонович. И то, и другое мотивируется любовью к женщине. Отсюда все дальнейшие события романа вплоть до того неправдоподобного момента, когда фон Мандро подвергает Коробкина пытке, чтобы вырвать у него тайну. Но доблестный Коробкин и под пыткой тайны не выдает. На этом и кончается «Москва под ударом». Когда Коробкина везут в больницу, на улицах раздаются крики: «Мобилизация!» Начинается война.

Уже из этого краткого пересказа видно, до какой степени события этого романа правдоподобны (с указания на их фантастичность я начал мою статью). У меня нет места подробно их анализировать. Укажу лишь на то, что роман протекает в еще более нереальной обстановке, чем «Петербург». Совершенно неправдоподобными оказываются и здесь все действующие лица, кроме семьи Коробкиных. Невозможен в действительной жизни и сам фон Мандро — совершеннейшее исчадие ада, действующее по таинственным велениям проживающего в Германии, чрезвычайно фантастического

профессора Доннера, который есть «гибель Европы». Невероятна Лизаша, которой даже возраст определить нельзя. Неправдоподобны ее отношения с отцом, ее изнасилование отцом, ее стремительная беременность, мотивированная в духе физиологических размышлений, достойных Котика Летаева. Ни на что не похоже превращение блистательного фон Мандро в помещика Мардонеяского (он же — дед Мордан). . . И многое еще в «Москве» невероятно — всего не перескажешь. Это — такая же «серия небывших событий», как «Петербург». «Как все диковато!» — восклицает сам Андрей Белый.

И опять — все те же подглядыватели, подсматриватели, подслушиватели, подстрекатели. Опять и Москва, как некогда Петербург, превращается в груды «кубариков». И опять — карета, «пересекающая пространство безвестности». И опять — странные лица, рожи, гримасы, вещи, меняющие очертания, грозящие кариатиды, «головки ослабленных фавнов», вырезанные на мебели.

Опять вместо разговоров — обрывки, обмолвки, лепеты, шепоты — «мешень из мыслей».

— Стой-ка ты. . .

— Руки загребисты. . .

— Не темесись. . .

— А не хочешь ли, барышня, тельного мыльца?

— Нет.

— Дай-ка додаток сперва. . .

— Так и дам. . .».

Или еще: разговор с прислугой:

«— Вы, в корне взять, Маша?

— А как же-с!

— Вы варите кашу нам?

— Кашу варю, ну?

— Он — Яша?

— Ну Яша, а что?

— Он — без каши?

Фырк, фырк!

— Ну, так вот-с!

И — прочел:

Прекрасная Даша, —

Без каши ваш Яша. . .

А каша-то — наша!

А варит-то — Маша!»

И снова — стишки, сочиняемые героями, присылаемые по почте, носящиеся по городу, сеющие сплетню и излюбленную «невястицу». И бесконечное множество каких-то фантомов, пронсящих по страницам романа, — фантомов шушукающихся, подглядывающих, предупреждающих, доносящих, творящих дикости. Бог весть куда и зачем пронсятся здесь уроды и маски с дикими именами и неправдоподобными ухватками: карлик Кавалькас, Кавалев, генерал Орел, Цецерко-Пукиерко, мадам Миндалянская, мадам Эвихкайтен, Айвазулина, Бабзе, Ветмашко, Глисторченко-Тырчин, Икашев, Капустин-Копанчик, Нахрай-Харкалев, Ослаббнев, Олябыш, Олессерер, Пларченко, Плачей-Пеперчик, Шлюпуй, Убавлягин, Уппло, Федерцерцер, доцент Лентельпель и т. д.

Я выписал лишь немногие имена, не все. И в хороводы призраков, увеличивая фантазмагорию, врываются имена исторические. Как и в «Преступлении Николая Летаева» появились Усовы, Ковалевский, Анучин, Веселовский, Янжул и прочие, а в «Петербурге» — Плеве, так в «Москве» перед нами пронсятся, не вмешиваясь в ход событий и на него не влияя — Брюсов, Поль Буайе, Петрункевич, Пуанкаре, Милюков, Анучин, Рачинский, Лопатин, Каллаш, Шенрок.⁵

Если «сбросить со счетов» все эти миражи, если вышелушить из хоровода *небывших* событий «Москвы» события подлинные, реальные, то получим: все призраки здесь возникли из самой микроскопической реальности: скверный мальчишка ворует у отца книги, движимый своим распаленным вожделем. Это и есть «преступление Дмитрия Коробкина», а все намотавшиеся на преступление бреды суть лишь его последствия. Вся эта дрянь, со всеми Мандро и со всеми интригами шпионов — только дрянная эманация Митиной души. «Утрачена ясность», — неоднократно жалуется профессор Коробкин. Да, утрачена: атмосфера романа замузнена с того момента, как Митя совершает свой небольшой проступок — прообраз великого преступления, которое он носит в душе. Этот Митя Коробкин такой же потенциальный отцеубийца, как Николай Аблеухов, страдает манией преследования: результатом его предательства. За ним гонятся тени, герои «Москвы» — Эриннии его потенциального отцеубийства.

Это все и есть настоящая тема беловских романов. Ни 1905 год («Петербург»), ни 1914 («Москва»), ни 1917 (в который, по-видимому, будут происходить дальнейшие события, нам еще не известной части романа) — тут ни при чем. Исторические даты и события связаны с темой внешне и механически. По существу — излюбленная тема Андрея Белого не нуждается ни в каком историческом или квазиисторическом обрамлении. Сам Андрей Белый в «Преступлении Николая Летаева» сумел же наметить свой замысел в обстановке, лишенной какой бы то ни было связи с войной или революцией. Тему о мании преследования разработывал он и в «Записках чудака», также по существу не связанных ни с какими потрясениями общественными. А еще ранее, давно уже, манией преследования переболел герой «Третьей симфонии», математик, приват-доцент Хандриков.⁶

Андрею Белому только кажется, будто в «Москве» изображает он какое-то столкновение «свободной по существу» науки с капиталистическим строем. Ни наука, ни капитализм на самом деле тут ни при чем, да и нет никакого прежде всего столкновения: есть «серия небыв-

⁵ Срв. исторические имена в «Первом свидании». — В. Х.

⁶ Любопытно сравнить любовные переживания Николая Аблеухова с переживаниями героя «Четвертой симфонии». — В. Х.

ших событий». И есть — дела совершенно «домашние»: отцеубийство, предательство и мания преследования. Различные варианты этих основных тем и показывает Андрей Белый в ряде романов-вариантов, почти не меняя своих основных персонажей.

Роль гнусных разлагателей, темной силы, губящей семью Коробкиных и покушающейся на жизнь главы дома, ныне приписана «капитализму» в лице Мандро. Не забудем, что точь-в-точь ту же роль в «Петербурге» исполняют революционеры, покушающиеся на сенатора Аблеухова. Если в «Москве» отцеубийца Митя работает на буржуазию, то ведь в «Петербурге» точно такую же работу выполнял «подлец» и отцеубийца Николай Аблеухов — по

заданиям революционеров. Наконец, та самая роль невинной жертвы, которую в «Москве» выполняет Коробкин, выполнялась в «Петербурге» сенатором Аблеуховым. Поэтому, если мы вместе с Андреем Белым признаем, что «Москва» — апофеоз «свободной науки» в лице старика Коробкина, то, будучи последовательны, мы должны будем признать «Петербург» — апофеозом царской бюрократии в лице сенатора Аблеухова, друга и единомышленника покойного Вячеслава Константиновича Плеве. Такова оказалась бы «социальная значимость» романов Белого, если бы мы вздумали с ней всерьез считаться. Но этого делать не следует, ибо, конечно, вовсе не социальные и не политические проблемы занимают Андрея Белого.

«Современные записки», № 31, 1927 г.

В. Ф. Ходасевич

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

«АНДРЕЙ БЕЛЫЙ»

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ А. В. ЛАВРОВА)

«Андрей Белый» — мемуарный очерк, входящий в книгу В. Ф. Ходасевича «Некрополь. Воспоминания» (Bruxelles, 1939). Большинство литературных портретов, воссоздаваемых писателем в этой книге, имеет прямое или косвенное касательство к истории русского символизма, которую автор осмысляет как бы в двух ракурсах — изнутри и со стороны одновременно.

Позиция Ходасевича по отношению к символизму неоднозначна: осознание собственной причастности к направлению и неформальной близости к людям, это направление представлявшим, сочеталось у него с беспристрастным, нелицеприятным, а порой и беспощадным, историческим и психологическим анализом, с умением соединить пристальность и отстраненность взгляда, позволяющими наиболее полно и отчетливо рассмотреть явление и связанные с ним судьбы. Эта особенность зримо сказывается в мемуарных очерках Ходасевича. При всем стремлении автора к достоверности, сухой и строгой объективности (с фактической точки зрения его воспоминания почти безупречны, встречаются лишь неточности в хронологии и мелких деталях), они в то же время несут на себе зримый отпечаток его личности, прони-

заны его собственным трагическим мироощущением. Андрей Белый для Ходасевича — один из наиболее ценных и любимых писателей-современников, однако при создании его литературного портрета мемуарист не считает возможным поступиться своим основным принципом — сообщать только правду и всю правду, иногда смущающую или даже шокирующую, но в конечном счете «нас возвышающую правду».

Ходасевич распознает в психологии и мироощущении Белого, в образно-сюжетных мотивах, повторяющихся в его творчестве, следы воздействия семейной драмы, остро переживавшейся писателем в детстве и отрочестве. Спорно стремление отыскать в этом «семейном» комплексе едва ли не исчерпывающее объяснение столь сложной, многосоставной и стихийной личности, какой был Андрей Белый, но бесспорно, что проблема, поставленная Ходасевичем тактично и проницательно, не является надуманной: она имеет под собой почву и в материале художественных произведений писателя, и в его автобиографических признаниях — в частности, в мемуарной книге Белого «На рубеже двух столетий» (1930).

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

В 1922 году, в Берлине, даря мне новое издание «Петербурга», Андрей Белый на нем надписал: «С чувством конкретной любви и связи сквозь всю жизнь».

Не всю жизнь, но девятнадцать лет судьба нас сталкивала на разных путях: идейных, литературных, житейских. Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал. Я уже не принадлежал к тому поколению, к которому принадлежал он, но я застал его поколение еще молодым и деятельным. Многие люди и обстоятельства, сыгравшие заметную роль в жизни Белого, оказались таковы же и по отношению ко мне.

По некоторым причинам я не могу сейчас рассказать о Белом все, что о нем знаю и думаю. Но и сокращенным рассказом хотел бы я не послужить любопытству сегодняшнего дня, а сохранить несколько истинных черт для истории литературы, которая уже занимается, а со временем еще пристальнее займется эпохой символизма вообще и Андреем Белым в частности. Это желание понуждает меня быть сугубо правдивым. Я долгом своим (не легким) считаю — исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может (быть) низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвышающему обману»¹ хочется противопоставить нас *возвышающую правду*: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания.

* * *

Меня еще и на свете не было, когда в Москве, на Пречистенском бульваре, с гувернанткой и песиком, стал являться необыкновенно хорошенький мальчик — Боря Бугаев, сын профессора математики, известного Европе учеными трудами, московским студентам — феноменальной рассеянностью и анекдотическими чудачествами, а первоклассникам-гимназистам — учебником арифметики, по которому я и сам учился впоследствии. Золотые кудри падали мальчику на плечи, а глаза у него были синие. Золотой палочкой по золотой дорожке катил он золотой обруч. Так вечно, «дитя играющее», катит золотой круг солнца. С образом солнца связан младенческий образ Белого.

Профессор Бугаев в ту пору говаривал: «Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать,

а умом в меня». За этими шутивными словами скрывалась нешуточная семейная драма. Профессор был не только чудак, но и сущий урод лицом. Однажды в концерте (уже в начале девятисотых годов) Н. Я. Брюсова, сестра поэта, толкнув локтем Андрея Белого, спросила его: «Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто эта обезьяна?» — «Это мой папа», отвечал Андрей Белый с тою любезнейшей, широчайшей улыбкой совершенного удовольствия, чуть не счастья, которою он любил отвечать на неприятные вопросы.²

Его мать была очень хороша собой. На каком-то чествовании Тургенева³ возле знаменитого писателя сочли нужным посадить первых московских красавиц: то были Екатерина Павловна Леткова, впоследствии Султанова, сотрудница «Русского Богатства», в которую долгие годы был безнадежно влюблен Боборыкин, и Александра Дмитриевна Бугаева. Они сидят рядом и на известной картине К. Е. Маковского «Боярская свадьба», где с Александры Дмитриевны писана сама молодая, а с Екатерины Павловны — одна из друзей.⁴ Отца Белого я никогда не видел, а мать застал уже пожилою, несколько полную женщиной со следами несомненной красоты и с повадками записной кокетки. Однажды, заехав с одною родственницей к портнихе, встретил я Александру Дмитриевну. Приподымая широкую тафтяную юбку концами пальчиков, она вертелась пред зеркалом, приговаривая: «А право же, я ведь еще хоть куда!» В 1912 г. я имел случай наблюдать, что сердце ее еще не чуждо волнений.

Физическому несходству супругов отвечало расхождение внутреннее. Ни умом, ни уровнем интересов друг другу они не подходили. Ситуация была самая обыкновенная: безобразный, неряшливый, погруженный в абстракции муж и красивая, кокетливая жена, обуреваемая самыми «земными» желаниями. Отсюда — столь же обыкновенный в таких случаях разлад, изо дня в день проявлявшийся в бурных ссорах по всякому поводу. Боря при них присутствовал.

Белый не раз откровенно говорил об автобиографичности «Котика Летаева». Однако, вчитываясь в позднюю прозу Белого, мы без труда открываем, что и в «Петербурге», и в «Котике Летаева», и в «Преступлении Николая Летаева», и в «Крещеном китайце», и в «Московском чуде», и в «Москве под ударом» завязкою служит один и тот же семейный конфликт. Все это — варианты драмы, некогда разыгранной в семействе Бугаевых. Не только конфигурация действующих лиц, но и самые образы отца, матери и сына повторяются до мельчайших подробностей. Изображение наименее схоже с действительностью в «Петербурге». Зато в последующих романах оно доходит почти до фотографической точности. Чем зрелее становился Белый, тем упорнее он возвра-

шался к этим воспоминаниям детства, тем более значения они приобретали в его глазах. Начиная с «Петербурга», все политические, философские и бытовые задания беловских романов отступают на задний план перед заданиями автобиографическими и в сущности служат лишь поводом для того, чтобы воскресить в памяти и переосознать впечатления, паразитившие в младенчестве.* Не только нервы, но и самое воображение Андрея Белого были раз навсегда поражены и — смею сказать — потрясены происходившими в доме Бугаевых «житейскими грозами», как он выражается. Эти грозы оказали глубочайшее влияние на характер Андрея Белого и на всю его жизнь.

В семейных бурях он очутился листиком или песчинкою: меж папой, уродом и громовержцем, окутанным облаком черной копоти от швыряемой об пол керосиновой лампы, — и мамочкой, легкомысленной и прелестной, навлекающей на себя гнев и гибель, как грешные жители Содома и Гоморры. Первичное чувство в нем было таково: папу он боялся и тайне ненавидел до очень сильных степеней ненависти: недаром потенциальные или действительные преступления против отца (вплоть до покушения на отцеубийство) составляют фабульную основу всех перечисленных романов. Мамочку он жалел и ею восторгался почти до чувственного восторга. Но чувства эти, сохраняя всю остроту, с годами осложнялись чувствами вовсе противоположными. Ненависть к отцу, смешиваясь с почтением к его уму, с благоговейным изумлением перед космическими пространствами и математическими абстракциями, которые вдруг раскрывались через отца, оборачивалась любовью. Влюбленность в мамочку уживалась с нелестным представлением об ее уме и с инстинктивным отвращением к ее отчетливой, пряной плотскости.

Каждое явление, попадая в семью Бугаевых, подвергалось противоположным оценкам со стороны отца и со стороны матери. Что принималось и одобрялось отцом, то отвергалось и осуждалось матерью — и наоборот. «Раздираемый», по собственному выражению, между родителями, Белый по всякому поводу переживал относительную правоту и неправоту каждого из них. Всякое явление оказывалось двусмысленно, раскрывалось двусторонне, двузначуще. Сперва это ставило в тупик и пугало. С годами вошло в привычку и стало модусом отношения к людям, к событиям, к идеям. Он полюбил совместимость несоместимого, трагизм и сложность внутренних противоречий, правду в неправде, может быть — добро в зле и зло в добре. Сперва он привык таить от отца любовь к матери (и ко всему «материнскому»), а от матери любовь к отцу (и ко всему «отцовскому») — и научился понимать, что в таком

притворстве нет внутренней лжи. Потом ту же двойственность отношения стал он переносить на других людей — и это создало ему славу двуличного человека. Буду вполне откровенен: нередко он и бывал двуличен, и извлекал из двуличия ту выгоду, которую оно иногда может дать. Но в основе, в самой природе его двуличия не было ни хитрости, ни оппортунизма. И то, и другое он искренно ненавидел. Но в людях, которых любил, он искал и, разумеется, находил основания их не любить. В тех, кого не любил или презирал, он не боялся почуть доброе и порою бывал обезоружен до нежности. Собираясь действовать примирительно — вдруг вскипал и разражался бешеными филиппиками; собираясь громить и обличать — внезапно оказывался согласен с противником. Случалось ему спохватываться, когда уже было поздно, когда дорогой ему человек становился врагом, а презираемый лез с объятиями. Порой он лгал близким и открывал душу первому встречному. Но и во лжи нередко высказывал он только то, что казалось ему «изнанкою правды», а в откровенностях помалкивал «о последнем».

В сущности, своему «раздиранью» между родителями он был обязан и будущим строем своих воззрений. Отец хотел сделать его своим учеником и преемником — мать боролась с этим намерением музыкой и поэзией: не потому, что любила музыку и поэзию, а потому, что уж очень ненавидела математику. Чем дальше, тем Белому становилось яснее, что все «позитивное», близкое отцу, близко и ему, но что искусство и философия требуют примирения с точными знаниями — «иначе и жить нельзя». К мистике, а затем к символизму он пришел трудным путем примирения позитивистических тенденций девятнадцатого века с философией Владимира Соловьева. Недаром прежде, чем поступить на филологический факультет, он окончил математический: Всего лучше об этом рассказано им самим.⁵ Я только хотел указать на ранние биографические истоки его позднейших воззрений и всей его литературной судьбы.

Я познакомился с ним в эпоху его романа с Ниной Петровской, точнее — в ту самую пору, когда совершался между ними разрыв.⁶

Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать. Однако, в этой области с особенной наглядностью проявлялась и его двойственность, о которой я только что говорил. Тактика у него всегда была одна и та же: он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключаясь всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью,

* Тождеству действующих лиц и их ситуации в романах Андрея Белого была мною посвящена статья «Аблеуховы—Летаевы—Коробкины». См «Современные Записки», 1927, кн. 31-я.

он приходил в бешенство. Обратно: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятнанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед «падением» ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, — но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили.

Нина Петровская пострадала за то, что стала его возлюбленной. Он с нею порвал в самой унижительной форме. Она сблизилась с Брюсовым, чтобы отомстить Белому — и в тайной надежде его вернуть, возбудив его ревность.

В начале 1906 года, когда начиналось «Золотое Руно»,⁷ однажды у меня были гости. Нина и Брюсов пришли задолго до всех. Брюсов попросил разрешения удалиться в мою спальню, чтобы закончить начатые стихи. Через несколько времени он вышел оттуда и попросил вина. Нина отнесла ему бутылку коньяку. Через час или больше, когда гости уже собрались, я заглянул в спальню и застал Нину с Брюсовым сидящими на полу и плачущими, бутылку допитой, а стихи конченными. Нина шепнула, чтобы за ужином я попросил Брюсова прочесть новые стихи. Ничего не подозревая (я тогда имел очень смутное понятие о том, что происходит между Ниной, Белым и Брюсовым), я так и сделал. Брюсов сказал, обращаясь к Белому:

— Борис Николаевич, я прочту подражание вам.

И прочел. У Белого было стихотворение «Предание», в котором историзаторно и эвфемистически изображалась история разрыва с Ниной.⁸ Этому «Преданию» Брюсов и подражал в своих стихах,⁹ сохранив форму и стиль Белого, но придав истории новое окончание и представив роль Белого в самом жалком виде. Белый слушал, смотря в тарелку. Когда Брюсов кончил читать, все были смущены и молчали. Наконец, глядя Белому прямо в лицо и скрестив по обычаю руки, Брюсов спросил своим самым гортанным и клекочущим голосом:

— Похоже на вас, Борис Николаевич?

Вопрос был двусмысленный: он относился разом и к стилю брюсовского стихотворения, и к поведению Белого. В крайнем смущении, притворяясь, что имеет в виду только поэтическую сторону вопроса и не догадывается о подоплеке, Белый ответил с широчайшей своей улыбкой:

— Ужасно похоже, Валерий Яковлевич!

И начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов резко прервал его:

— Тем хуже для вас!

Зная о моей дружбе с Ниной, Белый считал, что чтение было сознательно мною подстроено в соучастии с Брюсовым. Мы с Белым встречались, но он меня сторонился. Я уже знал, в чем дело, но не оправдывался: отчасти потому, что не знал, как начать разговор, отчасти из самолюбия. Только спустя два года без малого мы объяснились — при обстоятельствах столь же

странных, как все было странно в нашей тогдашней жизни.

* * *

В 1904 г. Белый познакомился с молодым поэтом, которому суждено было стать одним из драгоценнейших русских поэтов.¹⁰ Их личные и литературные судьбы оказались связаны навсегда. В своих воспоминаниях Белый изобразил историю этой связи в двух версиях, взаимно исключающих друг друга и одинаково неправдивых.¹¹ Будущему биографу обоих поэтов придется затратить немало труда на восстановление истины.

Поэт приехал в Москву с молодой женой, уже знакомой некоторым московским мистикам, друзьям Белого, и уже окруженной их восторженным поклонением, в котором придавленный эротизм бурлил под соблазнительным и отчасти лицемерным покровом мистического служения Прекрасной Даме. Белый тотчас поддался общему настроению, и жена нового друга стала предметом его пристального внимания. Этому вниманию мистики покровительствовали и раздували его. Потом не нужно было и раздувать — оно превратилось в любовь, которая, в сущности, и дала толчок к разрыву с Ниной Петровской.¹² Я не беру в точности изложить историю этой любви, протекавшую то в Москве, то в Петербурге, то в деревне, до крайности усложненную сложными характерами действующих лиц, своеобразным строем символистского быта и, наконец, многообразными событиями литературной, философской и даже общественной жизни, на фоне которых она протекала, с которыми порой тесно переплеталась и на которые в свою очередь влияла. Скажу суммарно: история этой любви сыграла важную роль в литературных отношениях той эпохи, в судьбе многих лиц, непосредственно в ней даже не замешанных и в конечном счете — во всей истории символизма. Многого в ней еще и теперь не ясно. Белый рассказывал мне ее неоднократно, но в его рассказах было вдоволь противоречий, недомолвок, вариантов, нервного воображения. Подчеркиваю, что его устные рассказы значительно рознились от печатной версии, изложенной в его воспоминаниях.

По соображении всех данных, история романа представляется мне в таком виде. Повидимому, братские чувства, первоначально предложенные Белым, были приняты дамою благосклонно. Когда же Белый, по обыкновению, от братских чувств перешел к чувствам иного оттенка, задача его весьма затруднилась. Быть может, она оказалась бы вовсе неразрешимой, если бы не его ослепительное обаяние, которому, кажется, нельзя было не поддаться. Но в тот самый момент, когда его любовные домогательства были близки к тому, чтобы увенчаться успехом, неизбывная двойственность Белого, как всегда, прорвалась наружу. Он имел безумие уверить себя самого, что его неверно и «дурно» поняли, — и то же самое объявил

даме, которая, вероятно, немало выстрадала пред тем, как ответить ему согласием.¹³ Следствие беловского отступления не трудно себе представить. Гнев и презрение овладели той, кого он любил. И она отплатила ему стократ обиднее и больнее, чем Нина Петровская, которой она была во столько же раз выносливее и тверже.¹⁴ Что же Белый? Можно сказать с уверенностью, что с этого-то момента он и полюбил по-настоящему, всем существом и по моему глубокому убеждению — навсегда. Потом еще были в его жизни и любви, и быстрые увлечения, но та любовь сохранилась сквозь все и поверх всего. Только ту женщину, одну ее, любил он в самом деле. С годами, как водится, боль притупилась, но долго она была жгучей. Белый страдал неслыханно, переходя от униженного смирения к бешенству и гордыне, — кричал, что отвергнуть его любовь есть кощунство. Порою страдание подымало его на очень большие высоты духа — порою падал он до того, что, теряясь ревностью, литературно мстил своему сопернику,¹⁵ действительному или воображаемому. Он провел несколько месяцев за границей — и вернулся с неутоленным страданием и «Кубком мятежей» — слабейшею из его симфоний, потому что она была писана в надрыве.¹⁶

* * *

В августе 1907 года из-за личных горестей¹⁷ поехал я в Петербург на несколько дней — и застрял надолго: не было сил вернуться в Москву. С литераторами я виделся мало и жил трудно. Ночами слонялся по ресторанам, игорным домам и просто по улицам, а днем спал. Вдруг приехала Нина Петровская, гонимая из Москвы неладом с Брюсовым и минутной, угарной любовью к одному молодому петербургскому беллетристу, которого «стилизированные» рассказы тогда были в моде.¹⁸ Брюсов за ней приезжал, пытался вернуть в Москву — она не сразу поехала. Изредка вместе коротали мы вечера — признаться, неврастенические. Она жила в той самой Английской гостинице, где впоследствии покончил с собой Есенин.

28 сентября того года Блок писал своей матери из Петербурга: «Мама, я долго не пишу и мало пишу от большого количества забот — крупных и мелких. Крупные касаются Любы,* Натальи Николаевны** и Бори. Боря придет ко мне скоро. Он мне все ближе и ужасно несчастен».¹⁹ Наконец, Белый приехал,²⁰ чтобы вновь быть отвергнутым. Встретились мы случайно. Однажды, после литературного сборища, на котором Бунин читал по рукописи новый рассказ заболелшего Куприна (это был «Изумруд»), я вышел на Невский. Возле Публичной Библиотеки пристала ко мне уличная женщина. Чтобы убить время, я предложил угостить ее

ужином. Мы зашли в ресторанчик. На вопрос, как ее зовут, она ответила странно:

— Меня все зовут *бедная Нина*. Так зовите и вы.

Разговор не клеился. Бедная Нина, щупленькая брюнетка с коротким носиком, устало делала глазки и говорила, что ужас как любит мужчин, а я подумывал, как будет скучно от нее отдываться. Вдруг вошел Белый, возбужденный и не совсем трезвый. Он подсел к нам, и за бутылкою коньяку мы забыли о нашей собеседнице. Разговорились о Москве. Белый, размяченный вином, признался мне в своих подозрениях о моей «провокации» в тот вечер, когда Брюсов читал у меня стихи. Мы объяснились, и прежний лед между нами был сломан. Ресторан между тем закрывали, и Белый меня повез в одно «совсем петербургское место», как он выразился. Мы приехали куда-то в конце Измайловского проспекта. То был низкосортный клуб. Необыкновенно почтенный мужчина с седыми баками, которого все звали полковником, нас встретил. Белый меня рекомендовал, и заплатив по трешнице, которая составляла верхней рекомендацию, мы вошли в залу. Приказчики и мелкие чиновники в пиджачках отплевывали кадрили с девицами, одежами (или раздетыми) цыганками и наядами. Потом присуждались премии за лучшие костюмы — вышел небольшой скандал, кого-то обидели, кто-то ругался. Мы спросили вина и просидели в «совсем петербургском месте» до рыжего петербургского рассвета. Расставаясь, условились пообедать в «Вене» с Ниной Петровской.

Обед вышел мрачный и молчаливый. Я сказал:

— Нина, в вашей тарелке, кажется, больше слез, чем супа.

Она подняла голову и ответила:

— Меня надо звать *бедная Нина*.

Мы с Белым переглянулись — о женщине с Невского Нина ничего не знала. В те времена такие совпадения для нас много значили.

Так и кончился тот обед — в тяжелом молчании. Через несколько дней, зайдя к Белому (он жил на Васильевском острове, почти у самого Николаевского моста), увидел я круглую шляпную картонку. В ней лежали атласное красное домино и черная маска. Я понял, что в этом наряде Белый являлся в «совсем петербургском месте». Потом домино и маска явились в его стихах, а еще позже стали одним из центральных образов «Петербургa».

Несколько дней спустя после нашего обеда Нина уехала в Москву, а в самом конце октября (если мне память не изменяет) тронулись и мы с Белым. На станциях онпил водку, а в Москве прожил дня два — и кинулся опять в Петербург. Не мог жить ни с *нею*, ни без *нее*.

* * *

Четыре года, протекавшие после того, мне помнятся благодарно: годами, смею сказать, нашей дружбы. Белый тогда был в кипении:

* Любовь Дмитриевна, жена Блока. В. Х.

** Артистка Н. Н. Волохова, которой посвящена «Снежная Маска». В. Х.

сердечном и творческом. Тогда дописывался им «Пепел», писались «Урна», «Серебряный Голубь», важнейшие статьи «Символизма». На это же время падают и самые резкие из его полемических статей, о тоне которых он потом жалел часто, о содержании — никогда. Тогда же он учинял и самые фантастические из публичных своих скандалов, — однажды на сцене Литературно-Художественного кружка пришлось опустить занавес, чтобы слова Белого не долетали до публики. Зато в наших встречах он оборачивался другой стороной. Приходил большею частью по утрам, и мы иногда проводили вместе весь день, то у меня, то гуляя: в сквере у Храма Христа Спасителя, в Ново-Девичьем монастыре; однажды ездили в Петровско-Разумовское, в грот, связанный с убийством студента Иванова.²¹ Белый умел быть и прост, и уютен: *gemütlich* — по любимому его слову. Разговоры его переходили в блистательные импровизации и всегда были как-то необыкновенно окрыляющими. Любил он и просто рассказывать: о семье Соловьевых, о пророческих зорях 1900 года, о профессорской Москве, которую с бешенством и комизмом изображал в лицах. Случалось — читал только что написанное и охотно выслушивал критические возражения, причем был в общем упрям. Лишь раз удалось мне уговорить его: выбросить первые полторы страницы «Серебряного Голубя». То был слепок с Гоголя, написанный, очевидно, лишь для того, чтобы разогнать перо.

Разговоры специально стихотворческие велись часто. Нас мучил вопрос: чем, кроме инструментовки, обусловлено разнозвучание одного и того же размера? Летом 1908 г., когда я жил под Москвой, он позвонил мне по телефону, крича со смехом:

— Если свободны, скорей приезжайте в город. Я сам приехал сегодня утром. Я сделал открытие! Ей-Богу, настоящее открытие, вроде Архимеда!

Я, конечно, поехал. Был душный вечер. Белый встретил меня загорелый и торжествующий, в русской рубашке с открытым воротом. На столе лежала гигантская кипа бумаги, разграфленной вертикальными столбиками. В столбиках были точки, причудливо связанные прямыми линиями. Белый хлопал по кипе тяжелой своей ладонью:

— Вот вам четырехстопный ямб. Весь тут, как на ладоши. Стихи одного метра разнятся ритмом. Ритм с метром не совпадает и определяется пропуском метрических ударений. «Мой дядя самых честных правил» — четыре ударения, а «И кланялся непринужденно» — два: ритмы разные, а метр все тот же, четырехстопный ямб.

Теперь все это стало азбукой. В тот день это было открытием, действительно простым и внезапным, как архимедово.²² Закону несовпадения метра и ритма должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого. Это открытие в дальнейшей разработке имеет несовершенства, о которых впоследствии было много писано. Тогда, на первых порах, разобраться в них

было труднее. Однако, у меня с Белым тотчас начались препирательства по конкретному поводу. Как раз в то время он готовил к печати «Пепел» и «Урну» — и вдруг принялся коренным образом перерабатывать многие стихотворения,²³ подгоняя их ритм к недавно открытым формулам. Разумеется, их ритмический узор, взятый в отвлечении, стал весьма замечателен. Но в целом стихи сплошь и рядом оказывались испорчены. Сколько ни спорил я с Белым — ничего не помогало. Стихи вошли в его сборники в новых редакциях, которые мне было больно слышать. Тогда-то и начал я настаивать на необходимости изучения ритмического содержания вести не иначе, как в связи с содержанием смысловым. Об этом шли у нас пререкания то с глазу на глаз, то в кружке ритмистов, который составил при издательстве «Мусарет».²⁴ Вне-смысловая ритмика мне казалась ложным и вредным делом. Кончилось тем, что я перестал ходить на собрания.²⁵

Белый в ту пору был в большой моде. Дамы и барышни его осаждали. Он с удовольствием кружил головы, но заставлял штудировать Канта — особ, которым совсем не того хотелось.

— Она мне цветочек, а я ей: сударыня, если вы так интересуетесь символизмом, то посидите-ка сперва над «Критикой чистого разума»!

Или:

— Ах, что за прелесть эта милейшая мадмуазель Штаневич! Я от нее в восторге!

— Борис Николаевич, да ведь она Станевич,²⁶ а не Штаневич!

— Да ну, в самом деле? А я ее все зову Штаневич. Как вы думаете, она не обиделась?

Неделю спустя опять: — Ах, мадмуазель Штаневич!

— Борис Николаевич! Станевич!

— Боже мой! Неужели? Какое несчастье! А у самого глаза веселье и лживые.

Иногда у него на двери появлялась записка: «Б. Н. Бугаев занят и просит не беспокоить».

— Это я от девиц, — объяснял он, но не всегда на сей счет был правдив. Мне жаловался: «Надоел Пастернак».²⁷ Полагаю, что Пастернаку — «Надоел Ходасевич».

Однажды — чуть ли не в ярости: — Нет, вы подумайте, вчера ночью, в метель, возвращаюсь домой, а Мариэтта Шагинян сидит у подъезда на тумбе, как дворник. Надоело мне это! — А сам в то же время писал ей длиннейшие философические письма,²⁸ из благодарности за которые бедная Мариэтта, конечно, готова была хоть замерзнуть.

В 1911 г. я поселился в деревне,²⁹ и мы стали реже видеться. Потом Белый женился, уехал в Африку,³⁰ ненадолго вернулся в Москву и уехал опять: в Швейцарию, к Рудольфу Штейнеру.³¹ Перед самой войной пришло от него письмо, бодрое, успокоенное, с рассказом о мускулах, которые он себе набил, работая резчиком по дереву при постройке Гетеанума. Я думал, что, наконец, он счастлив.

* * *

В тот вечер, когда в Москве получилось по телефону известие об убийстве Распутина,³² Гершензон повел меня к Н. А. Бердяеву.³³ Там обсуждались события. Там, после долгой разлуки, я впервые увидел Белого. Он был без жены, которую оставил в Дорнахе. С первого взгляда я понял, что ни о каком его успокоении нечего говорить. Физически огрубелый, с мозолистыми руками, он был в состоянии крайнего возбуждения. Говорил мало, но глаза, ставшие из синих бледно-голубыми, то бегали, то оставались в каком-то ужасе. Облысевшее темя с пучками полуседых волос казалось мне медным шаром, который заряжен миллионами вольт электричества. Потом он приходил ко мне — рассказывать о каких-то шпионах, провокаторах, темных личностях, преследовавших его и в Дорнахе, и во время переезда в Россию.³⁴ За ним подглядывали, его выслеживали, его хотели сгубить в прямом смысле и еще в каких-то смыслах иных.

Эта тема, в сущности граничащая с манией преследования, была ему всегда близка. По моему глубокому убеждению, возникла она еще в детстве, когда казалось ему, что какие-то темные силы хотят его погубить, толкая на преступление против отца. Чудовищ, которые были и подстрекателями, и Эринниями потенциального отцеубийства, Белый на самом деле носил в себе, но инстинкт самосохранения заставил его отыскивать их вовне, чтобы на них сваливать вину за свои самые темные помыслы, вождения, импульсы. Все автобиографические романы, о которых говорено выше, начиная с «Петербург» и кончая «Москвой под ударом», полны этими отвратительными уродами, отчасти вымышленными, отчасти фантастически пересозданными из действительности. Борьба с ними, т. е. с носимым в душе зародышем предательства и отцеубийства, делалась на всю жизнь основной, главной, центральной темой всех романов Белого, за исключением «Серебряного Голубя». Ни с революцией, ни с войной эта тема по существу не связана и ни в каком историческом обрамлении не нуждается. В «Котике Летаева», в «Преступлении Николая Летаева» и в «Крешеном китайце» Белый без него и обошелся. С событиями 1905 и 1914 годов связаны только «Петербург», «Московский чудак» и «Москва под ударом». Но для всякого, кто читал последние два романа,³⁵ совершенно очевидно, что в них эта связь грубейшим образом притянута за волосы. «Московского чудака» и «Москву под ударом» Белый писал в середине двадцатых годов, в советской России. И в тексте, и в предисловии он изо всех сил подчеркивал, будто главный герой обоих романов, математик Коробкин, олицетворяет «свободную по существу науку», против которой ведет страшную интригу капиталистический мир, избравший своим орудием Митю, коробкинского сына. В действительности до всей этой абсолютно неправдоподобной «концепции» Белому не было никакого дела. Его истинной целью было — дать очередной вариант своей

излюбленной темы о преступлении против отца. Темные силы, толкающие Митю на преступление, наряжены в маски капиталистических демонов единственно потому, что этого требовал «социальный заказ». Замечательно, что «Московский чудак» и «Москва под ударом» должны были, по заявлению Белого, составить лишь начало обширного цикла романов, который, однако, не был докончен,³⁶ так же, как цикл, посвященный истории Николая Летаева. Почему? Потому что в обоих случаях Белый охладевал к своему замыслу тотчас после того, как была написана единственно важная для него часть — о преступлении сына против отца.

Только в «Петербурге», самом раннем из романов этой «эдиповской» серии, тема революции 1905 года действительно занимала Белого. Однако, по его собственным словам, первая мысль связать личную тему с политической возникла и в «Петербурге» потому, что в политических событиях той эпохи прозвучал знакомый Белому с детства мотив подстрекательства, провокации. По своей неизменной склонности к чертежам он изображал структуру «Петербурга» в виде двух равных окружностей, из которых одна изображала личную, другая — политическую тему; вследствие очень незначительного, гораздо менее радиуса, расстояния между центрами, большая часть площади у этих окружностей оказывалась общей; она-то и представляла собою тему провокации, объединяющей обе стороны замысла и занимающей в нем центральное место.

«Петербург» был задуман как раз в те годы, когда провокационная деятельность департамента полиции была вскрыта и стала предметом общего негодования и отвращения. У Белого к этим чувствам примешивался и даже над ними доминировал ужас порядка вполне мистического. Полиция подстрекала преступника, сама же за ним следила и сама же его карала, то есть действовала совершенно так, как темные силы, на которые Белый сваливал свои отцеубийственные помыслы. Единство метода наводило его мысль, точнее сказать — его чувство, на единство источника. Политическая провокация получала в его глазах черты демонические в самом прямом смысле слова. За спиной полиции, от директора департамента до простого дворника, ему чудились инспираторы потустороннего происхождения. Обывательский страх перед городовым, внушенный ему еще в детстве, постепенно приобретал чудовищные размеры и очертания. Полиция всех родов, всех оттенков, всех стран повергала его в маниакальный ужас, в припадках которого он доходил до страшных, а иногда жалких выходов. Ненастной весенней ночью, в пустынном немецком городке Саарове, мы возвращались от Горького к себе в гостиницу. Я освещал дорогу карманным фонариком. Единственный сааровский ночной сторож, старый инвалид, замученный мраком, дождем и скукой, брел по дороге шагах в десяти от нас, — должно быть, привлеченный огнем, как ночная бабочка. Вдруг Белый его увидел:

— Кто это?
 — Ночной сторож.
 — Ага, значит — полиция? За нами следят?
 — Да нет же, Борис Николаевич, ему просто скучно ходить одному.

Белый ускорил шаги — сторож отстал. На нашу беду в гостинице, куда примчались мы чуть не рысью, пришлось долго звонить. Тем временем подошел сторож. Он стоял поодаль в своем резиновом плаще с острым куколом. Наконец, он сделал несколько шагов к нам и спросил, в чем дело. Вместо ответа Белый изо всех сил принялся дубасить в дверь своею дубинкой. Нам отперли. Белый стоял посреди передней, еле дыша и обливаясь потом.

* * *

Военный коммунизм пережил он, как и все мы, в лишениях и болезнях. Ютился в квартире знакомых,³⁷ топя печурку своими рукописями, голодая и стоя в очередях. Чтобы прокормить себя с матерью, уже больною и старою, мерил Москву из конца в конец, читал лекции в Пролеткульте и в разных еще местах, целыми днями просиживал в Румянцевском музее, где замерзали чернила, исполняя бессмысленный заказ Театрального отдела (что-то о театрах в эпоху французской революции),³⁸ исписывая вороха бумаги, которые, наконец, где-то и потерял. В то же время он вел занятия в Антропософском обществе, писал «Записки чудака», книгу по философии культуры, книгу о Льве Толстом³⁹ и другое.

С конца 1920 г. я жил в Петербурге.⁴⁰ Весной 1921 г. переселился туда и он,⁴¹ там писателям было выгоднее. Ему дали комнату в гостинице на улице Гоголя, почти против бывшего ресторана «Вена», где почти четырнадцать лет тому назад мы обедали с Ниной Петровской. Он сторонился от поэтического Петербурга, подолгу гостя в Царском Селе у Иванова-Разумника.⁴² Возобновились наши свидания и прогулки — теперь уже по петербургским набережным. В белые ночи, в неиззянимо прекрасном Петербурге тех дней, ходили мы на тихое поклонение Медному Всаднику. Однажды я вошел Белого к тому дому, где умер Пушкин.

Как-то раз вбежал он ко мне веселый и светлый, каким я давно уже его не видал. Принес поэму «Первое свидание» — лучшее из всего, что написано им в стихах. Я был первым слушателем поэмы — да простится мне это горделивое воспоминание. Да простится мне и другое: в те самые дни написал он и первую свою статью обо мне — для пятого выпуска «Записок Мечтателей».⁴³ То был последний выпуск, проредактированный еще Блоком, но вышедший уже после смерти Блока.

Он давно мечтал выехать за границу.⁴⁴ Говорил, что хочется отдохнуть, но были у него и другие причины, о которых он мне тогда не сообщал и о которых я только догадывался. Большевики не выпускали его. Он нервничал до того, что пришлось обратиться к врачу.

Он подумывал о побеге — из этого тоже ничего не вышло, да и не могло выйти: он сам всему Петербургу разболтал «по секрету», что собрался бежать. Его стали спрашивать: скоро ли вы бежите? Из этого он, разумеется, заключил, что чрезвычайка за ним следит, и разумеется — доходил до приступов дикого страха. Наконец, после смерти Блока и расстрела Гумилева, большевики смутились и дали ему заграничный паспорт.⁴⁵

* * *

Еще в начале 1919 года он получил уведомление о том, что отныне порываются личные узы меж ним и некоторыми дорогами ему обитателями Дорнаха.⁴⁶

Этого удара он ожидал, но ему хотелось все-таки объясниться, кое-что выяснить в отношениях. Потому-то и рвался за границу.

Вторая цель поездки, тоже связанная с Дорнахом, была важнее. Надо иметь в виду, что значение и вес антропософского движения Белый чудовищно преувеличивал. Ему казалось, что от антропософов вообще и от Рудольфа Штейнера в особенности что-то в мире зависит. Вот он и ехал сказать братьям-антропософам и их руководителям, «на плече которого некогда возлежал», о тяжких духовных родах, переживаемых Россией, о страданиях многомиллионного народа. Открыть им глаза на Россию почитал он своею миссией, а себя — послом от России к антропософии (так он выражался). Самая эта миссия, повторяю, может показаться делом нестоящим. Но Белый смотрел иначе, а нам важна психология Белого.

Что же случилось? По личному поводу с ним не только не захотели объясняться, но и выказали к нему презрение в форме публичной, вызывающей и оскорбительной нестерпимо. Что касается «посольства», дело обернулось еще хуже. Оказалось, что ни д-р Штейнер, ни его окружение просто не намерены заниматься такими переходящими и мелкими вещами, как Россия. Может быть, у Штейнера были и другие причины: он мог ожидать (и оказался бы в этом прав), что Белый отнюдь не ставит знака равенства между Россией и большевиками; меж тем, дело как раз шло к рапальскому договору...⁴⁷ Как бы то ни было, миссию Белого Дорнах решил игнорировать, и сам Штейнер явно уклонялся от свидания (чему, опять же, могли быть не только политические причины). Наконец, в каком-то собрании, в Берлине, Белый увидел Штейнера. Подлетел — и услышал подчеркнуто-обывательский вопрос, заданный отчески-снисходительным тоном:

— Na, wie geht's? *

Белый понял, что говорить не о чем, и ответил с презрительным бешенством:

— Schwierigkeiten mit dem Wohnungsamt! **

* Ну, как дела? (нем.).

** Затруднения с жилищным управлением! (нем.).

Может быть, с того дня он и запил.

Он жил в Цоссене, под Берлином, недалеко от кладбища, в доме какого-то гробовщика.* Мы встретились летом 1922 г., когда я приехал из России. Теперь он был совсем уже сед. Глаза еще более выцвели — стали почти что белыми.

С осени он переехал в город — и весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики. Ее видели, ей радовались, над ней насмехались слишком многие. Скажу о ней покороче. Выражалась она главным образом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских Dielen.** Не в том дело, что танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчею фокстротов вносил он свои «вариации» — искаженный ответ неизменного своеобразия, которое он проявлял во всем, за что бы ни брался. Танец в его исполнении превращался в чудовищную мимодраму, порой даже и непристойную. Он приглашал незнакомых дам. Те, которые были посмелее, шли, чтобы позабавиться и позабавить своих спутников. Другие отказывались — в Берлине это почти оскорбление. Третьим запрещали мужья, отцы. То был не просто танец пьяного человека: то было, конечно, символическое попрание лучшего в самом себе, кощунство над собой, дьявольская гримаса себе самому — чтобы через себя показать ее Дорнаху. Дорнах не выходил у него из головы. По всякому поводу он мыслию возвращался к Штейнеру. Однажды, едучи со мной в Untergrund'e*** и нечаянно поступая вполне по-прутковски: русские, окружающим непонятные слова шепча на ухо, а немецкие выкрикивая на весь вагон, он сказал мне:

— Хочется вот поехать в Дорнах, да крикнуть д-ру Штейнеру, как уличные мальчишки кричат: «Herr Doktor, Sie sind ein alter Affel!»****

Он словно старался падать все ниже. Как знать, может быть и надеялся: услышат, окликнут. . . Но Дорнах не снисходил со своих высот, а Белый жил, как на угольях. Свои страдания он «выкрикивал в форточку» — то в виде плохих стихов с редкими проблесками гениальности,⁴⁸ то в виде бесчисленных исповедей. Он исповедовался, выворачивая душу, кому попало, порой полужнакомым и вовсе незнакомым людям: соседям по табльдоту, ночным гулякам, смазливым пансионским горничным, иностранным журналистам. Полулюбился в некую Mariechen, болезненную, запуганную девушку, дочь содержателя маленькой пивной;⁴⁹ она смущалась чуть не до слез, когда Herr Professor, ломая ей пальцы своими лапищами, отпля-

сывал с нею неистовые танцы, а между танцами, осушая кружку за кружкой, рассказывал ей, то рыча, то шипя, то визжа, все одну и ту же запутанную историю, в которой она ничего не понимала. Замечательно, что и все эти люди, тоже ничего не понимавшие, заслушивались его, чуя, что пьяненький Herr Professor — не простой человек. Возвращаясь домой, раздевался он до гола и опять плясал, выплясывая свое несчастье. Это длилось месяцами. Хотелось иногда пожалеть, что у него такое неиссякаемое физическое здоровье: уж лучше бы заболел, свалился.

Его охраняли, за ним ухаживали: одни из любопытства, другие — с истинною любовью. Из таких людей, опекавших его самоотверженно и любовно, хочу я назвать двоих: С. Г. Каплуна (Сумского), его тогдашнего издателя,⁵⁰ и поэтессу Веру Лурье.⁵¹ К несчастью, он был упрямее и сильнее всех своих опекунов, вместе взятых.

Мы виделись почти каждый день, иногда с утра до глубокой ночи. Осенью появилась в Берлине Нина Петровская, сама полубезумная, нищая, старая, исхудалая, хромая. 8 ноября, как раз накануне того дня, когда исполнилось одиннадцать лет со дня ее отъезда из России,⁵² они у меня встретились, вместе ушли и вместе провели вечер. Оба жаловались потом. Даже безумства никакого не вышло. С ними случилось самое горькое из всего, что могло случиться: им было просто скучно друг с другом. То было последнее на земле свидание Ренаты с Огненным Ангелом.⁵³ Больше они не встречались.

С середины ноября я поселился в двух часах езды от Берлина. Белый приезжал на три, на четыре дня, иногда на целую неделю. Каким-то чудом работал — чудесна была его работоспособность. Случалось ему писать чуть не печатный лист в один день. Он привозил с собою рукописи, днем писал, вечерами читал нам написанное. То были воспоминания о Блоке, далеко перераставшие первоначальную тему и становившиеся воспоминаниями о символистской эпохе вообще. Мы вместе придумывали для них заглавие. Наконец, остановились на том, которое предложила Н. Н. Берберова: «Начало века».⁵⁴

Иногда его прорывало — он пил, после чего начинались сумбурные исповеди. Я ими почти не пользовался в данной статье, потому что в такие минуты Белый смешивал правду с воображением. Слушать его в этих случаях было так утомительно, что нередко я уже и не понимал, что он говорит, и лишь делал вид, будто слушаю. Впрочем, и он, по-видимому, не замечал собеседника. В сущности, это были монологи. Надо еще заметить, что, окончив рассказ, он иногда тотчас забывал об этом и принимался все рассказывать сызнова. Однажды ночью он пять раз повторил мне одну историю. После пятого повторения (каждое — минут по сорок) я ушел в свою комнату и упал в обморок. Пока меня приводили в чувство, Белый ломился в дверь: «Пустите же, я вам хочу рассказать. . .»⁵⁵

* О его жизни в Цоссене см. замечательные воспоминания Марины Цветаевой в «Современных Записках», 1934, кн. 55-я. В той же книге мною опубликованы три письма его.

** танцевальных залах (нем.).

*** подземке (нем.).

**** Господин доктор, Вы — старая обезьяна (нем.).

Впрочем, из всей совокупности его тогдашних истерик я понял одно: новая боль, тепе-решняя, пробудила старую, и старая оказалась больнее новой. Тогда-то мне и пришло в голову то, что впоследствии, по соображению многих обстоятельств, перешло в уверенность: все, что в сердечной жизни Белого происходило после 1906 года, было только его попыткой залечить ту, петербургскую рану.

К весне он стал все-таки устывать. С горькой улыбкой говорил: «Надо жениться, а то кто меня пьяного в постель уложит?». Из Москвы приезжала антропософка К. Н. Васильева,⁵⁶ звала с собою в Россию, к антропософской работе. Белый, прикрыв дверь от нее, шипел: «Хочет меня на себе женить». — Да ведь вы сами хотите жениться? — «Не на ней! — яростно хрипел он, — к черту! Тетка антропософская!».

Он еще не поехал, словно чашу свою хотел испить до конца. К осени 1923 года, кажется, он ее испил — и в самую последнюю минуту, за которой, может быть, началось бы уже сумасшествие, решил ехать. Прежде всего, разумеется, за уходом, чтобы было кому его пьяного «в постель уложить». Во-вторых — потому, что понял: в эмиграции у него нет и не будет аудитории, а в России она еще есть.⁵⁷ Ехал к антропософам, к тогдашней молодежи, которая его так любовно провожала два года тому назад, когда он уезжал за границу. Тогда, после одной лекции, ему кричали из публики: «Помните, что мы здесь вас любим!».

* * *

Нельзя отрицать, что перед отъездом он находился в состоянии неполной вменяемости. Однако, как часто бывает в подобных случаях, сквозь полубезумие пробивалась хитрость. Боясь, что близость с эмигрантами и полуэмигрантами (многие тогда находились на таком положении) может быть поставлена ему в вину, он стал рвать заграничные связи. Прогнал одну девушку, которой был многим обязан. Возводил совершенно бессмысленные поклепы на своего издателя. Вообще — искал ссор и умел их добиться. К несчастью, последняя произошла со мной. Расскажу о ней кратко, минуя некоторые любопытные, но слишком сложные подробности.

В связи с получением визы, ему приходилось неоднократно посещать берлинские советские учреждения, где он до такой степени ругал своих заграничных друзей, что даже коммунистам стало противно его слушать. Один из них, некто Г., сказал об этом М. О. Гершензону, который как раз в это время тоже возвращался в Россию после лечения и тоже выхлопывал себе визу. Гершензон, очень любивший Белого, был до крайности угнетен сообщением Г., которому, кстати сказать, нельзя было не верить, ибо он слово в слово повторял фразы, которые и нам приходилось слышать от Белого. Гершензон уехал значительно раньше Белого,⁵⁸ но перед своим отъездом не вытерпел — рас-

сказал мне все. Зная душевное состояние Бориса Николаевича, я решил стерпеть и смолчать, но в конце концов этого испытания не выдержал.

В ту пору русские писатели вообще разъезжались из Берлина. Одни собирались в Париж, другие (в том числе я) — в Италию. Недели за полторы до отъезда Белого решено было устроить общий прощальный ужин. За этим ужином одна дама, хорошо знавшая Белого,⁵⁹ неожиданно сказала: «Борис Николаевич, когда приедете в Москву, не ругайте нас слишком». В ответ на это Белый произнес целую речь, в которой заявил буквально, что будет в Москве нашим другом и заступником и готов за нас «пойти на распятие». Думаю, что в ту минуту он сам отчасти этому верил, но все-таки я не выдержал и ответил ему, что посылать его на распятие мы не в праве и такого «мандата» ему дать не можем. Белый вскипел и заявил, что отныне прекращает со мной все отношения, потому что, оказывается, «всю жизнь» я своим скепсисом отравляю его лучшие мгновения, пресекал благороднейшие поступки. Все это были, конечно, пустые слова. В действительности он вышел из себя потому, что угадал мои настоящие мысли. Понял, что я знаю, что «распинается» за нас он не будет. Напротив...⁶⁰

По существу он был неправ — даже слишком. Но и я виноват не меньше: я вздумал требовать от него ответственности за слова и поступки, когда он находился уже по ту сторону ответственности. Воистину, мой поступок был вызван очень большою любовью к нему: я не хотел обидеть его снисхождением. Но лучше мне было понять, что нужно только любить его — несмотря на все и поверх всего. Это я понял, когда уже было поздно.

О том, как он жил в советской России, мне известно немного. Он все-таки женился на К. Н. Васильевой, некоторое время вел антропософскую работу. Летом 1923 г., в Крыму, гостя у Максимилиана Волошина, помирился с Брюсовым.⁶¹ В советских изданиях его почти не печатали. Много времени он отдавал писанию автобиографии.

История этой работы своеобразна. Еще перед поездкой за границу он прочел в Петербурге лекцию — свои воспоминания о Блоке.⁶² Затем он эти воспоминания перерабатывал дважды, каждый раз значительно расширяя. Вторая из этих переработок, напечатанная в берлинском журнале «Эпопея», навела его на мысль превратить воспоминания о Блоке в воспоминания обо всей эпохе символизма. В Берлине он успел написать только первый том, рукопись которого осталась за границей и не была издана.⁶³ В России Белый принялся за четвертую редакцию своего труда. Он начал с более ранней эпохи, с рассказа о детских и юношеских годах. Этот том вышел под заглавием «На рубеже двух столетий». За ним, под заглавием «Начало века», последовал первый том мемуаров литературных. Тут произошел в Белом психологический сдвиг, для него характерный. Еще

в Берлине он жаловался на то, что работа, выраставшая из воспоминаний о Блоке, выходит слишком апологетической: Блок в ней прикрашен, «вычищен, как самовар». В Москве Белый решил исправить этот недостаток. Но в самое это время были опубликованы неприятные для него письма Блока⁶⁴ — и он сорвался: апологию Блока стал превращать в издевательство над его памятью.

Он успел, однако же, написать еще один том, «Между двух революций», появившийся только в конце 1937 г.,⁶⁵ т. е. почти через три года после его смерти. В этой книге, окончательно очернив Блока, он еще безжалостнее расправился чуть не со всеми прочими спутниками своей жизни. Возможно, что он отчасти исходил из того положения, что если Блок оказался представлен в таком дурном виде, то остальные подавно стоят того же. Но, зная хорошо Белого, я уверен, что тут действовала еще одна своеобразная причина.

Прикосновенность к религии, к мистике, к антропософии — все это, разумеется, ставилось ему в вину теми людьми, среди которых он теперь жил и от которых во всех смыслах зависел. В автобиографии все это надо было отчасти затушевать, отчасти представить в ином смысле. Уже в предыдущем томе Белый явно нащупывал такие идейные извороты, которые дали бы ему возможность представить весь свой духовный путь, как поиски революционного мирозерцания. Теперь, говоря об эпохе, лежавшей «между двух революций», он не только перед большевиками, но и перед самим собой (это и есть самое для него характерное) стал разыгрывать давнего, упорного, сознательного не только бунтовщика, но даже марксиста или почти марксиста, рьяного борца с «гидрой капитализма». Между тем, объективные и общеизвестные факты его личной и писательской биографии такой концепции не соответствовали. Любой большевик мог поставить ему на вид, что деятельным революционером он не был и что в этом-то и заключается его смертный грех перед пролетариатом. И вот, совершенно так, как в автобиографических романах он свою сокровенную вину перед отцом перекладывал на таинственных демонических подстрекателей, так и теперь всю свою жизнь он принялся изображать, как непрерывную борьбу с окружающими, которые будто бы соврашали его с революционного пути. Чем ближе был ему человек, тем необходимее было представить его тайным врагом, изменником, провокатором, наймитом и

агентом капитализма. Он пощадил лишь нескольких, ныне живущих в советской России. Будь они за границей — и им бы не сдобровать. И совершенно так же, как он демонизировал и окарικатуривал всех, кто окружал героя в его романах, теперь он окарικатурил и представил в совершенно дьявольском виде бывших своих друзей. Его замечательный дар сказался и тут: все вышло похоже на себя, но еще более — на персонажей «Петербурга» или «Москвы под ударом». Не сомневаюсь, что он работал с увлечением истинного художника — и сам какой-то одной стороной души верил в то, что выходит из-под пера. Однако, если бы большевики обладали большею художественной чуткостью, они могли бы ему сказать, что как его квази-исторические романы в действительности суть фантастические, ибо в них нереальные персонажи действуют в нереальной обстановке, так же фантастична и его автобиография. Больше того: они могли бы ему сказать, что он окончательно разоблачил самого себя, как неисправного мистика, ибо он не только сочинил, исказил, вывернул наизнанку факты вместе с персонажами, но и вообще всю свою жизнь представил не как реальную борьбу с наймитами капитализма, а как потустороннюю борьбу с демонами. Автобиография Белого есть такая же «серия небывших событий», как его автобиографические романы.*

Я совсем не хочу сказать, что он внутренне был чужд революции. Но, подобно Блоку и Есенину, он ее понимал не так, как большевики, и принимал ее — не в большевизме. Это, впрочем, особая, сложная и не мемуарная тема.

Умер он, как известно, 8 января 1934 г., от последствий солнечного удара.⁶⁶ Потому-то он и просил перед смертью, чтобы ему прочли его давнишние стихи:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.⁶⁷

Слушая в последний раз эти пророческие стихи, он, вероятно, так и не вспомнил, что некогда они были посвящены Нине Петровской.

Париж. 1934—1938.

* О воспоминаниях Белого см. также мои статьи в газ. «Возрождение» от 28 июня и 5 июля 1934 г. и от 27 мая 1938 г.

Примечания

¹ Из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830): «Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышающий обман».

² Этот эпизод (имевший место 8 декабря 1901 года в Московском Психологическом обществе на заседании, посвященном докладу Д. С. Мережковского «Русская культура и ре-

лигия») отразил в своих воспоминаниях и Белый: «В. Я. Брюсов... меня ведет к сестре своей, Надежде Яковлевне... рядом с нею я сел; она — шепчет мне:

— „Скажете, а кто этот свирепого вида профессор?“

— „Отец!“

— „Ах!“ — сконфуженно вспыхивает» (*Белый Андрей*. Начало века. М.; Л., 1933. С. 177).

³ Подразумеваются публичные чествования И. С. Тургенева, связанные с его пребыванием в Москве во второй половине февраля—начале марта 1879 г. См.: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1986. Т. 12. С. 672—678 (комментарии Н. Ф. Будановой).

⁴ Леткова-Султанова Екатерина Павловна (1856—1937) — писательница. Подразумевается картина К. Е. Маковского «Боярский свадебный пир XVII столетия» (1883). Сообщаемые сведения восходят к воспоминаниям Андрея Белого «На рубеже двух столетий» (изд. 2-е. М.; Л., 1931. С. 80).

⁵ Подразумевается мемуарная книга Белого «На рубеже двух столетий».

⁶ Разрыв с Ниной Ивановной Петровской (1884—1928), писательницей из круга московских символистов, Белый в позднейших записях относит к лету 1904 года. Ходасевич был на протяжении ряда лет дружен с Петровской, переписывался с ней (письма Петровской к Ходасевичу сохранились в его архиве: ЦГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 73). Подробно о Петровской и о ее отношениях с Белым и Брюсовым Ходасевич написал в мемуарном очерке «Конец Ренаты» (1928), открывающем «Некрополь».

⁷ «Золотое руно» — московский символистский журнал (издатель — Н. П. Рябушинский), вышедший в январе 1906 года.

⁸ Неточность: стихотворение «Преданье» (*Белый Андрей*. Золото в лазури. М., 1904. С. 154—159) написано в декабре 1903 года — еще до того, как «мистериальные» отношения Белого и Петровской перешли в «романические».

⁹ См.: *Брюсов Валерий*. Собр. соч.: В 7 т. М., 1974. Т. 3. С. 290—292. Стихотворение датировано: «1904 — ноябрь, 1905 — март, 1906 — январь»; впервые опубликовано в кн.: *Брюсов Валерий*. Незданные стихотворения. М., 1935. С. 116—119. В «Предании» Брюсова «мистериальной», «святой» любви пророка и сибиллы противопоставляется земная страсть («таинства лобзания», «горькие объятия») сибиллы и «верховного жреца». См.: Лит. наследство. 1976. Т. 85. С. 335—336.

¹⁰ Подразумевается А. А. Блок. Впервые Белый встретился с Блоком и Л. Д. Блок, его женой, 10 января 1904 года. Ходасевич писал свой очерк еще при жизни Л. Д. Блок и, видимо, поэтому не счел уместным называть ее и Блока по имени, затрагивая личную драму Белого.

¹¹ Имеются в виду кардинальные различия в интерпретации образа Блока, отличающиеся «Воспоминания о Блоке» Белого (Эпопея. М.; Берлин, 1922—1923. № 1—4) от его позднейших мемуарных книг «Начало века» (М.; Л., 1933) и «Между двух революций» (Л., 1934).

¹² Не исключено, что эти утверждения Ходасевича основаны на признаниях самого Белого, не раз исповедовавшегося перед ним в своих

переживаниях. Ср. запись Белого, характеризующую август 1904 года: «...разрыв санкционирован в августе же, когда я заявляю Н. И. Петровской, что я — *неумолим*; у нас происходит пренеприятная сцена объяснения; она прямо мне бросает, что я — влюблен в Л. Д. Блок; ее пронизательность удручает меня: я сам от себя стараюсь скрыть свое чувство» (*Белый Андрей*. Материал к биографии (1923) // ЦГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 48, об.).

¹³ Описываемые любовные объяснения Белого и Л. Д. Блок относятся к концу февраля — началу марта 1906 года. Предлагаемая Ходасевичем психологическая версия не во всем соответствует реальной истории отношений Белого и Л. Д. Блок, насколько ее можно восстановить по воспоминаниям Л. Д. Блок «И был и небылицы о Блоке и о себе», в которых описано начало несостоявшегося «романа» (см.: Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 173—175), и по ее письмам к Белому, отправленным в марте 1906 года (ГБЛ. Ф. 25. Карт. 9, Ед. хр. 18): из них можно заключить, что на настоятельные призывы Белого соединить с ним свою судьбу Л. Д. Блок отвечала то согласным, то отказом, то уклонялась от определенного решения.

¹⁴ Ср. признания Л. Д. Блок: «Отношение мое к Боре было бесчеловечно, в этом я должна сознаться. Я не жалела его ничуть, раз отшатнувшись... я не думала о том, что все же виновата перед Борей, что свое кокетство, свою эгоистическую игру я завела слишком далеко, что он-то продолжает любить, что я ответственна за это... Я думала только о том, как бы избавиться от этой уже ненужной мне любви, и без жалости, без всякой деликатности просто запрещала ему приезд в Петербург. Теперь я вижу, что сама доводила его до эксцессов; тогда я считала себя вправе так поступать, раз я-то уже свободна от влюбленности» (Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 176).

¹⁵ Подразумеваются прежде всего резкие нападки Белого в 1907—1908 годах в журнальных и газетных статьях на Г. И. Чулкова и его теорию «мистического анархизма». В начале 1907 года у Л. Д. Блок завязался «роман» с Чулковым. Ср. записи Белого, характеризующие январь 1907 года: «Первое известие, сражающее меня окончательно: Л. Д. в связи с Г. И. Ч<улковым>; в Петербурге господствует страшная профанация символизма. Нота мести за поправленную любовь и за профанацию — углубляется» (*Белый Андрей*. Материал к биографии. Л. 54, об.). Ходасевич был родственно близок с Чулковым: в 1910-е годы он был женат на его сестре Анне Ивановне.

¹⁶ В октябре-ноябре 1906 года Белый жил в Мюнхене, с декабря 1906 по февраль 1907 года — в Париже. «Четвертая симфония» Белого «Кубок метелей» (М., 1908) не была закончена за границей, она дописывалась в Москве и в подмосковном имении Петровском в мае-июне 1907 года.

¹⁷ Видимо, Ходасевич подразумевает осложнения отношений с первой женой, Мариной Эрастовной Рындиной (1887—1973), с которой он расстался 30 декабря 1907 года. См.: *Ходасевич Вл.* Собр. соч. (под ред. Дж. Мальмстада и Р. Хьюза). Апп Арбор, 1983. Т. 1. С. 277—278.

¹⁸ Подразуется прозаик Сергей Абрамович Ауслендер (1886—1943). В 1908 году Петровская вместе с Ауслендером ездила в Италию. Петровской посвящена новелла Ауслендера «Корабельщики, или Трогательная повесть о Феличе и Анжелике», написанная в сентябре-октябре 1907 года (*Ауслендер С.* Золотые яблоки. Рассказы. М., 1908. С. 167—189); отношения с ней отразились в романе Ауслендера «Последний спутник» (М., 1913), героиня которого, Юлия Михайловна Агатова, наделена чертами Петровской.

¹⁹ Ходасевич неточно цитирует письмо Блока по изданию: Письма Александра Блока к родным. Л., 1927. Т. 1. С. 172.

²⁰ Осенью 1907 года Белый приезжал в Петербург дважды: 8 октября (из Киева вместе с Блоком) до середины октября и с 1 по 18 ноября.

²¹ В Петровско-Разумовском 21 ноября 1869 года, в гроте в саду Петровской академии, был убит членами тайного общества «Народная расправа», возглавлявшегося С. Г. Нечаевым, студент академии И. И. Иванов; это событие отразилось в сюжете романа Ф. М. Достоевского «Бесы» (1871—1872). Белый неоднократно посещал это место. Совместная поездка с ним в Петровско-Разумовское в первой половине сентября 1908 года подробно описана в мемуарах Н. Валентинова «Два года с символистами» (Stanford, 1969. С. 174—180).

²² Описываемая встреча относится, видимо, к июлю 1908 года. В это время Белый изучал литературу по стиховедению и предпринимал собственные исследовательские опыты: «Читаю Тютчева и окончательно вырабатываю запись ритма» (*Белый Андрей.* Ракурс к дневнику. — ЦГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 44). К практическому анализу ритма четырехстопного ямба Белый приступил в феврале-марте 1909 года.

²³ Подразумеваются ранние редакции стихотворений Белого из его книг «Пепел» (1909) и «Урна» (1909), опубликованные в периодике и в альманахах в 1904—1908 годах.

²⁴ О работе Ритмического кружка, организованного при издательстве «Мусагет» в апреле 1910 года под руководством Белого, см.: *Гречишкин С. С., Лавров А. В.* О стиховедческом наследии Андрея Белого // Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам, XII. Тарту, 1981. С. 101—106.

²⁵ В сохранившихся протоколах заседаний Ритмического кружка (ЦГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 337), фиксирующей деятельность кружка с октября 1910 года, участие Ходасевича не зарегистрировано.

²⁶ Станевич Вера Оскаровна (1890—1967) — жена поэта Ю. П. Анисимова, впоследствии —

критик, переводчица. Участвовала в работе Ритмического кружка (исследование ритма 5-стопного ямба Брюсова, поэм Лермонтова). В архиве Белого сохранилось 38 писем Станевич к нему, в основном начала 1910-х годов. (ГБЛ. Ф. 25. Карт. 23. Ед. хр. 6).

²⁷ Б. Л. Пастернак был знаком с Белым с начала 1910-х годов, когда регулярно посещал заседания кружка «Молодой Мусагет». См.: *Пастернак Б.* Воздушные пути. Проза разных лет. М., 1982. С. 437—439; *Флейшман Л. Б.* Пастернак и А. Белый // *Russian literature triquarterly.* 1976. № 13. P. 545. Сам Белый в позднейших записях относит знакомство с Пастернаком к сентябрю 1910 года (*Белый Андрей.* Ракурс к дневнику. Л. 53).

²⁸ 10 писем Белого к ней (в основном за 1908—1909 годы) М. С. Шагинян (1888—1982) опубликовала в книге мемуаров, сопроводив их рассказом о «романе в письмах» с Белым (*Шагинян М.* Человек и время. История человеческого становления. М., 1982. С. 237—252).

²⁹ Зиму 1911—1912 года Ходасевич провел в имении Старое Гиреево (близ подмосковной станции Кусково).

³⁰ Неточность: начало совместной жизни Белого с А. А. Тургеновой и их заграничное путешествие (Сицилия—Тунис—Египет—Палестина) относятся к ноябрю 1910—апрелю 1911 года.

³¹ Неточность: Белый и А. Тургенева уехали из Москвы в марте 1912 года не в Швейцарию, а в Брюссель; решение связать свои судьбы с антропологией Рудольфа Штейнера (1861—1925) было ими принято позднее, после встречи с философом в Кельне 7 мая 1912 года; в Швейцарии Белый и А. Тургенева обосновались в феврале 1914 года.

³² Видимо, 18 декабря 1916 года, на следующий день после убийства. См. стихотворение Белого «Декабрь 1916 года», представляющее собой отклик на это событие (*Белый Андрей.* Звезда. Новые стихи. Пб., 1922. С. 32).

³³ Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — историк русской литературы и общественной мысли, философ, публицист. См. некрологическую статью Белого о нем («М. О. Гершензон» // *Россия.* 1925. № 5 (14). С. 243—258). Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — религиозный философ, публицист, критик. Ср. записи Белого («Жизнь без Аси»), характеризующие декабрь 1916—начало января 1917 года: «Дружба с Бердяевым»; «Убийство Распутина. Собрание у Бердяевых» (ГБЛ. Ф. 25. Карт. 31. Ед. хр. 1).

³⁴ Мотив слежки и преследования в ходе продолжительного путешествия из Швейцарии через Францию, Англию, Скандинавию в Россию, воплотившийся в полуфантастическом образе некоего «брюнета в котелке», отразился у Белого в его автобиографических «Записках чудака» (М.; Берлин, 1922. Т. 1—2).

³⁵ «Московский чудак» (М., 1926) и «Москва под ударом» (М., 1926) — не самостоятельные романы, а, соответственно, 1-я и 2-я части романа Белого «Москва».

³⁶ Продолжением «Москвы» является роман Белого «Маски» (М., 1932).

³⁷ С февраля 1918 до мая 1919 года Белый жил в Москве в квартире Сизовых (Садовая Кудринская, д. 6), с октября 1919 по февраль 1920 года — в квартире В. А. Жуковской в Большом Коношюковском пер. (д. 25, кв. 3), близ Кудринской пл. В письме к А. А. Тургенева от 11 ноября 1921 года Белый сообщал: «Я жил в это время вот как: — в небольшой комнате, окруженный Сизовыми. . . у меня в комнате, в углу, была свалена груда моих рукописей, которыми 5 месяцев подтапливали печку»; «. . . намучившись ледяной сизовской комнатой 1918—1919 года, я переехал к *тройным рамкам* одной квартиры, где жила моя знакомая писательница В. А. Жуковская (бывшая хлыстовка и «распутинка», а ныне нервная, капризная эфирманка, хотя — добрый человек). Она приютила меня вроде как из милости в комнате, имевшей лишь 2 шага в длину и 1 1/2 в ширину; комнату замазали, т. е. вентилиации в ней не было» (Воздушные пути. Альманах V. Нью-Йорк, 1967. С. 300—301, 305).

³⁸ Ср. автобиографическую запись Белого: «С сентября до марта 1919—1920 годов служу в „Отделе охраны памятников старины“; по поручению Отдела собираю материалы по истории революционных коллекций во Франции (эпохи Вел(икой) Рев(олюции)); прочитываю огромное количество специальных книг: по коллекциям; изучаю историю французской культуры и „Вел(икую) Фр(анцузскую) Революцию“ (Тэн, Жорес, Карлейль, Олар и др., газета «Moniteur» за 1792—1794 года: от доски до доски) и т. д. Собираю груду материала, который лежит неиспользованный; это кропотливое собиранье отнимает все время» (ЦГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 98).

³⁹ Ср. записи Белого о его работе в 1920 году: «Осенью пишу две книги „Кризис сознания“ (рукопись не напечатана), „Лев Толстой и культура“ (не напечатано)» (ЦГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 98). Эти работы сохранились в архиве Белого (ЦГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 64, 81).

⁴⁰ Ходасевич переехал из Москвы в Петроград 17 ноября 1920 г. по инициативе Горького.

⁴¹ Белый приехал в Петроград 31 марта 1921 года, остановился в гостинице «Спартак».

⁴² Иванов-Разумник (псевдоним Разумника Васильевича Иванова, 1878—1946) — критик, публицист, историк русской литературы и общественной мысли; ближайший друг Белого в пореволюционные годы. В квартире Иванова-Разумника в Детском Селе (б. Царское Село) Белый жил в основном с конца июня по август 1921 года.

⁴³ Имеется в виду статья Белого «Рембрантова правда в поэзии наших дней (О стихах В. Ходасевича)» (Записки мечтателей. Пб., 1922. № 5. С. 136—139). Вторая статья Белого о Ходасевиче — «Тяжелая лира и русская лирика» (Современные записки. Париж, 1923. Кн. XV. С. 371—388).

⁴⁴ Еще 4 января 1920 года Белый направил письмо М. Горькому с просьбой содейство-

вать в получении разрешения на выезд за границу: «. . . уже скоро 4 года как я разлучен с женой; и — полтора года, как не имею от нее никаких известий; жена осталась в Швейцарии, откуда я уехал в 916 году; последнее известие от нее взволновало меня: она была больна; с тех пор я о ней ничего не знаю. Тщетно я пытался навести справку о ней, или как-нибудь перебраться за границу — я отступал перед трудностями и даже не обращался к властям, зная, что нет возможности уехать. . . не говоря уже о том, что я совершенно изнурен трудностями нашей жизни, теряю работоспособность и т. д. — не говоря обо всем этом, я единственно одушевлен одной целью: найти жену, которая, может быть, больна, нуждается и т. д.» (цитируется по копии, снятой Р. Я. Пинес, — ЦГАЛИ. Ф. 391. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 43).

⁴⁵ Белый получил разрешение на выезд за границу в начале сентября 1921 года, выехал из Москвы в Берлин 20 октября.

⁴⁶ Подразумевается прежде всего А. А. Тургенева, а также, возможно, и ее сестра Н. А. Поццо.

⁴⁷ Договор между РСФСР и Германией, заключенный 16 апреля 1922 года в г. Рапалло (Италия), предусматривал восстановление дипломатических отношений между странами, отказ от взаимных претензий, урегулирование разногласий.

⁴⁸ Ср. ремарку под заглавием стихотворения «Маленький балаган на маленькой планете „Земля“»: «Выкрикивается в берлинскую форточку без перерыва» (Белый Андрей. После разлуки. Берлинский песенник. Пб.; Берлин, 1922. С. 65).

⁴⁹ К этой знакомой Белого обращено стихотворение Ходасевича «An Mariechen» («Зачем ты за пивною стойкой? . . .», 1923) (Ходасевич Вл. Собр. соч. Т. 1. С. 149—150, 361—362). Ср. воспоминания А. В. Бахраха «По памяти, по записям (Андрей Белый)»: «. . . трудно объяснить, чем питались его чувства к Марихен. Менее всего в их зарождении была повинна она сама — невзрачная, белотелая, каких в дюжине десять, берлинская девица на выданье, едва ли догадывающаяся о той роли, которой ее заочно наделял „герр профессор“, давший ей прочесть немецкий перевод своего романа и уверявший, что „Марихен оценила «Петербург» тоньше всех присяжных критиков“. . . Но зато она терпеливо сносила все хореографические упражнения „профессора“, его истерическую гимнастику, его потоки слов, которые она, конечно, не понимала, и которые должны были казаться ей безумными. . . „эпоха Марихен“ продолжалась в его жизни несколько добрых месяцев» (Континент. 1975. № 3. С. 304—305).

⁵⁰ Каплун (Сумский) Соломон Германович (Гитманович) (1891—1940) — заведующий издательством «Эпоха» в Берлине, издатель журнала «Беседа», выходившего в Берлине под редакцией М. Горького; активный деятель социал-демократической партии (меньшевик). См. о нем: Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин. 1921—1923. Paris,

1983. С. 172; Из переписки В. Ф. Ходасевича (1925—1938). Публ. Дж. Мальмстада. — Минувшее. Paris, 1987. Вып. 3. С. 268.

⁵¹ Лурье Вера Осиповна (род. в 1901 году) — поэтесса, участница поэтической студии Н. С. Гумилева «Звучащая раковина». Выехала за границу в 1921 году, постоянно общалась с Белым в Берлине в 1922—1923 годах (см. ее письмо к Белому в кн.: *Берберова Н. Курсив мой. Автобиография.* München, 1972. С. 190—191). Несколько ее берлинских стихотворений посвящено Белому («Б. Н. Б.») или навеяно его образом (см.: *Лурье Вера. Стихотворения.* Ed. by Thomas R. Beyer. Berlin, West. 1987. С. 69, 86, 87, 94, 104).

⁵² Н. И. Петровская уехала из Москвы в Италию в ноябре 1911 года, после этого в Россию не возвращалась (жила в Италии, Германии, в Варшаве, Париже).

⁵³ Герои романа В. Брюсова «Огненный Ангел» (1908). Петровская была прототипом Ренаты, Белый — графа Генриха (в воображении Ренаты — земное воплощение «огненного ангела» Мадизэля).

⁵⁴ Берберова Нина Николаевна (род. в 1901 году) — прозаик, поэтесса, критик; гражданская жена Ходасевича в 1922—1932 годах. Ср. ее свидетельство о чтении Белым мемуарных глав в начале января 1923 года:

«— Какое придумать название к этой части? — спокойно спрашивал Белый нас несколько дней подряд.

— „Начало века“, — как-то сказала я случайно, и так он и сделал» (*Берберова Н. Курсив мой.* С. 180). Воспоминания Белого «Начало века» («берлинская» редакция 1922—1923 годов) в полном объеме остались неизданными.

⁵⁵ Этот же эпизод передает Н. Н. Берберова: «В другой вечер он два раза рассказал Ходасевичу и мне, в мельчайших подробностях, всю драму своей любви к Л. Д. Блок и свою ссору с А. А. Блоком, и когда, без передышки, начал ее рассказывать в третий раз, я увидела, что Ходасевич скользит со стула на пол в глубоком обмороке. В ту же ночь Белый шумно ломился в дверь ко мне, чтобы что-то досказать, и Ходасевич, в холодном поту, шепотом умолял меня не открывать, не отвечать — он боялся, что опять начнется этот дикий, страшный, не имеющий в сущности ни смысла, ни конца рассказ» (*Берберова Н. Курсив мой.* С. 179).

⁵⁶ Васильева Клавдия Николаевна (с 1931 года — Бугаева; 1886—1970) — вторая жена Белого; приезжала в Берлин в январе-июле 1923 года.

⁵⁷ Об этом убеждении Белого свидетельствует его письмо к жене Р. Штейнера, М. Я. Штейнер-фон Сиверс, от 11 марта 1923 года, в котором писатель в очередной раз добивался свидания с Штейнером (оно состоялось в Штутгарте 30 марта 1923 года): «...при отъезде в Россию мне нужно было бы иметь несколько Ваших советов относительно культурной работы, с которой я неизбежно в России буду связан. . . я уже 15 месяцев в Германии и доселе не имел случая видеть Вас и Доктора

Штейнера; думаю, что необходимость Вас видеть и с Вами говорить для меня имеет не только субъективный смысл, но и объективный. . . Да, мне горько и нелегко; и много горечи я вынес за эти 15 месяцев; у меня было впечатление, что в итоге 5-летней работы в России я оказался просто (за) порогом О(б-щест)ва (не я ушел, а меня «ушли»)» (*The Andrej Belyj Society Newsletter.* 1987. № 6. P. 31—32; публикация В. Б. Федюшина).

⁵⁸ М. О. Гершензон приехал в Берлин 15 мая, уехал 10 августа 1923 года (*Берберова Н. Курсив мой.* С. 195, 186).

⁵⁹ А. В. Бахрах сообщает, что это была Вера Алексеевна Зайцева, жена писателя Б. К. Зайцева.

⁶⁰ Более подробно этот инцидент на прощальном обеде с Белым 8 сентября 1923 года описывает Н. Н. Берберова: «. . . Белый пришел в состоянии никогда мною не виданной ярости. . . он сидел ни на кого не глядя, а когда в конце обеда встал со стаканом в руке, то, с ненавистью обведя сидящих за столом (их было более двадцати) своими почти белыми глазами, заявил, что скажет речь. Это был тост как бы за самого себя. Образ Христа в эти минуты ожил в этом юродствующем гении: он требовал, чтобы пили за него потому, что он уезжает, чтобы быть распятым. За кого? За всех вас, господа, сидящих в этом русском ресторане на Гентинерштрассе, за Ходасевича, Муратова, Зайцева, Ремизова, Бердяева, Вышеславцева. . . Он едет в Россию, чтобы дать себя распять за всю русскую литературу, за которую он прольет свою кровь.

— Только не за меня! — сказал с места Ходасевич тихо, но отчетливо в этом месте его речи. — Я не хочу, чтобы вас, Борис Николаевич, распяли за меня. Я вам никак не могу дать такого поручения.

Белый поставил свой стакан на место и глядя перед собой невидящими глазами заявил, что Ходасевич всегда и всюду все поливает ядом своего скепсиса и что он, Белый, прерывает с ним отношения. Ходасевич побледнел. Все зашумели, превращая факт распятия в шутку, в метафору, в гиперболу, в образ застольного красноречия. Но Белый остановиться уже не мог. . .» (*Берберова Н. Курсив мой.* С. 186—187). А. В. Бахрах, описывая это же событие, добавляет: «По-видимому, какая-то „черная кошка“ уже до того пробежала между двумя поэтами, потому что и реакция Белого на довольно бестактное по форме выступление Ходасевича была неестественно остра. Он буквально обрушился на Ходасевича, заявляя, что навеки порывает с ним всякие отношения. Конечно, после этого инцидента проводы были сорваны, и участники их с тяжелым чувством разошлись по домам» (*Континент.* 1975. № 3. С. 318).

⁶¹ В Коктебеле в доме М. А. Волошина Белый гостил не в 1923 году, а с 1 июня по 12 сентября 1924 года. Отношения Белого с Брюсовым, также приехавшим в августе 1924 года в Коктебель, были прерваны в начале 1912 года (см.: *Лит. наследство.* 1976. Т. 85. С. 344—346).

⁶² С воспоминаниями о Блоке Белый выступал в начале октября 1921 года в Вольной философской ассоциации.

⁶³ «Берлинская» редакция мемуаров «Начало века» была написана Белым в конце декабря 1922—первой половине 1923 года в Берлине в объеме трех томов; первый том и начало второго тома пропали (текст был оставлен в Берлине для опубликования и, по всей вероятности, не сохранился; см.: *Бугаева К., Петровский А., <Пинес Д.>*. Литературное наследство Андрея Белого. — Лит. наследство. 1937. Т. 27-28. С. 614—615), авторизованная машинопись уцелевшей части второго и полная третьего тома хранится в архиве Андрея Белого (ЦГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 25—27; ГПБ. Ф. 60, ед. хр. 11—14).

⁶⁴ «Неприятными» для Белого оказались публикации не только писем Блока, но и его дневников, вышедших отдельным изданием

в 1928 году. По прочтении их Белый писал Иванову-Разумнику (16 апреля 1928 года): «Если бы Блок исчерпывался б показанной картиной... то я должен бы был вернуть свой билет: билет „вспоминателя“ Блока; должен бы был перечеркнуть свои „Воспоминания о Блоке“» (ЦГАЛИ. Ф. 1782. Оп. 1. Ед. хр. 19).

⁶⁵ Неточность: воспоминания Белого «Между двух революций» (Л., 1934), подписанные к печати 13 октября 1934 года, вышли в свет в апреле 1935 года.

⁶⁶ Начало предсмертной болезни Белого относится к его пребыванию в Коктебеле (Крым) — к середине июля 1933 года; тогда был поставлен врачебный диагноз: солнечное перегревание, сильный склероз.

⁶⁷ Цитата из стихотворения «Друзьям» (1907), опубликованного в книге Белого «Пепел» (СПб., 1909. С. 183—184) с посвящением Н. И. Петровской.

Н. И. Толстая

«ПОЛЮС» В. НАБОКОВА И «ПОСЛЕДНЯЯ ЭКСПЕДИЦИЯ СКОТТА»

Одноактная драма в стихах «Полюс» написана В. Набоковым в июле 1923 года. Через год, в августе 1924 года, она была напечатана в берлинской газете «Руль». Это одна из четырех (наряду с драмами «Смерть», «Дедушка», «Скитальцы») стихотворных драм, созданных Набоковым в начале 20-х годов. Вдохновил Набокова на написание драмы «Полюс» дневник Роберта Фалкона Скотта (1868—1912), отважного полярного исследователя, трагически погибшего вместе со своими спутниками в Антарктиде, на обратном пути с Южного полюса. На протяжении своего пребывания в Антарктике Скотт вел дневник. Последняя запись относится к 29 марта 1912 года, когда до ближайшего склада с продовольствием — «Одна тонна» — оставалось всего одиннадцать миль. Но пурга, неимоверный холод, отмороженные конечности — все это не позволило группе Скотта двигаться дальше. Через восемь месяцев, т. е. в ноябре 1912 года, их тела были найдены поисковой экспедицией. Скотт лежал, откинув верх спального мешка, на спине у него, под плечами, в сумке были три его записные книжки. Героев оставили на прежних местах, прикрыли палаткой и соорудили над ними грубый памятник из снега и льда — гурий. Дневники были доставлены на родину Скотта — в Англию — и переданы Британскому музею, а через год опубликованы. Там-то, спустя почти десять лет, их, хранившихся в витрине под стеклом, увидел приехавший в Лондон молодой Набоков, в те годы студент Кембриджского

университета.* Еще будучи в России, он мечтал отправиться в экспедицию в Центральную Азию после окончания университета. Но судьба распорядилась иначе: университет Набоков действительно окончил, но затем ему пришлось долгие годы жить в Берлине и зарабатывать себе на жизнь уроками английского и русского языков, тенниса и бокса. Интерес к личности Р. Скотта мог быть вызван у Набокова еще и тем, что в 1921 году в Кембридже был учрежден Институт полярных исследований имени Скотта (официальное открытие его состоялось в 1926 году).

Действие драмы «Полюс» разворачивается в день гибели последних участников экспедиции. Возможно, Набокова при написании драмы все же занимала не столько природа смерти, сколько то, каким образом человек ее встречает. Сюжет этой драмы не буквальное следование исторической действительности, хотя, как будет явствовать из дальнейшего, автор цитирует и дневники Скотта и прочие документы, относящиеся к его последней экспедиции. Это драма *по поводу* случившейся в 1912 году трагической гибели исследователей Антарктиды. И автор намеренно подчеркивает разницу между событиями в драме и реальными.

Начнем хотя бы с того, что Скотт у него назван капитаном Скэтом. Группа его состоит

* См.: *Field A. V. N. The Life and Art of Vladimir Nabokov.* New York, 1986. P. 82.

не из пяти человек, как это было на самом деле, а из четырех. К тому же, согласно драме, им осталось пройти двенадцать миль до залива, где стоит судно (в действительности — одиннадцать миль до продовольственного склада: таким образом, от бухты их отделяло около ста шестидесяти миль). И флаг норвежский на полюсе капитан Скэт, увидел 8 февраля, а не 16 января, как об этом пишет Р. Скотт в дневнике. Однако указание в драме на то, что «сорок четыре дня, как с полюса обратно идем мы», позволяет установить день, когда происходит ее действие — примерно 25 марта (год был високосный), т. е. незадолго до реальной даты — 29 марта.

Набоков наделяет своих персонажей чертами реальных участников похода на Южный полюс.

В образе Кингсли у Набокова просматриваются черты Генри Бауэрса, лейтенанта королевского флота, самого молодого (28 лет), еще не женатого участника группы Р. Скотта. «Бауэрс поражает, — писал Скотт 13 февраля 1911 года. — Я никогда не видел столь нечувствительного к холоду человека».¹ И далее, 5 мая: «Никогда еще так гармонично не соединялись между собой деятельный ум и неутомимое тело» (С. 261). Бауэрс «создан для жизни на вольном воздухе» (С. 262). Он принимает участие в регулярных футбольных матчах на льду — единственной игре на воздухе, возможной в условиях полярной ночи. Кингсли в драме Набокова так же молод, так же увлечен игрой в футбол. В предсмертном бреду перед Кингсли проходят картины футбольной игры, уступая место разговору с невестой Джесси. Капитан Скэт тоже дает Кингсли отличную характеристику: «Кингсли — молодец. Все будто играет — крепкий, легкий». Скэт искренно горюет о его смерти: «Мой бедный Эрик! Зачем я взял его с собой? Срежь нас он младший был...». Предсмертными словами Эрика Кингсли были: «А! Вот что значит смерть: стеклянный вход... вода... вода... все ясно...». Интересно, что Набоков вкладывает в уста столь симпатичного ему героя те же слова, которые произнесла перед смертью в 1913 году его родственница П. Н. Тарновская, сестра его бабушки: «Теперь понимаю: всё — вода».²

В Джонсоне Набокова можно узнать Лоуренса Отса, капитана 6-го Иннискиллингского драгунского полка, чьей обязанностью в экспедиции было смотреть за лошадьми. Джонсон,

как и Отс, вспоминает о матери перед смертью. В октябре 1911 года Р. Скотт писал: «Солдата (прозвище Отса, — Н. Т.) очень все любят — это старый пессимист, умеющий радоваться и шутить. Денно и ночью опекает лошадей...» (С. 433—434). В драме Флэминг так характеризует Джонсона: «Жизнь для него — смесь подвига и шутки, не знает он сомнений, и пряма душа его, как тень столба на ровном снегу».

Во время обратного похода с полюса Отс отморозил ноги, и Скотт отмечает 5 марта: «Ноги Отса в плачевном состоянии» (С. 585). (Ср. реплику Флэминга: «... ноги у него гниют»). Через два дня запись: «Сегодня утром нога у Отса в очень скверном состоянии; он поразительно мужественный человек. Мы все еще говорим о том, что будем делать сообща, когда вернемся домой» (С. 587). С этой записью Р. Скотта почти полностью совпадает текст капитана Скэта в драме: «Болеют ноги у Джонсона. Он очень бодр и ясен. Мы всё еще с ним говорим о том, что будем делать после, возвратившись».

Герберт Понтинг, фотограф экспедиции Скотта, писал: «Был поставлен вопрос о том, как должен поступить участник похода к полюсу, если силы оставят его и тем самым он превратится в бремя для остальных. Отс не колеблясь и в категорической форме выразил мнение, что такому человеку останется лишь один выход — пожертвовать собой».³ 16 или 17 марта Р. Скотт записывает: «Позавчера, за завтраком, бедный „Титус“ (прозвище Отса, — Н. Т.) Отс сказал, что не сможет идти дальше, и предложил нам оставить его в спальном мешке. Этого мы не смогли сделать и уговорили его пойти с нами после завтрака» (С. 591). Отс уходит в пургу со словами: «Я выйду и, возможно, задержусь на некоторое время» (С. 592). Он так больше и не вернулся.

У Джонсона в драме тоже поражены обе ноги, и он тоже выходит из палатки во время снежной бури, чтобы погибнуть, но не стать обузой для своих товарищей. «Я, может быть, пробуду довольно долго...» — говорит он перед уходом. Флэминг подтверждает, что Джонсон умер, зарывшись в снег.

Главный герой драмы — капитан Скэт — наиболее близок к своему прототипу: он уверен в правоте своего дела, так же упорен в достижении цели («...мы страдали, чтоб открыть одни губительные белые пустыни... И, знаешь, — все-таки так надо...»), так же щедр сердцем и отважен — Скэт отдает Флэмингу, собравшемуся дойти до бухты и привести товарищей, свои лыжи и компас, чтобы хоть один человек из их группы спасся (сам он понимает, что не дойдет). Есть в драме и указание на шотландское происхождение героя: «...душа тиха, — как воскресенье в шотландском городишке... бывают скучноваты медлительные воскресенья наши...».

¹ Scott's last expedition: In 2 vol. London, 1913. Vol. 1. P. 169. В первом томе «Последней экспедиции Скотта» опубликованы дневники и письма Р. Скотта, относящиеся к 1910—1912 годам. Во втором — отчеты других участников экспедиции. Впоследствии дневники и письма неоднократно переиздавались на английском языке и были переведены на языки других народов, в частности на русский. Цитаты даем в переводе, ссылки — в тексте.

² Набоков В. Другие берега. Нью-Йорк, 1954. С. 45.

³ Цит. по: Ладлем Г. Капитан Скотт. Л., 1972. С. 175.

Явственно видны прямые параллели с дневниками Скотта, когда герой Набокова, перелистывая свой дневник, читает: «... луна горит костром, Венера, как японский фонарик...». Дневниковая запись от 19 июля: «... луна была сильно искажена и окрашена в кроваво-красный цвет. Ее можно было принять за алую вспышку, за пламя дальнего костра, но никак не за луну. Вчера планета Венера приняла вид корабельного бортового фонаря или же японского фонарика...» (С. 356).

Участники экспедиции Р. Скотта часто занимают себя игрою в шахматы: «Наиболее популярной у нас игрою в часы вечернего отдыха являются шахматы; охотников поиграть обнаружилось так много, что на всех не хватает двух наших шахматных досок» (С. 351). У Скэта также есть упоминание об этой игре: «Жаль, — шахмат нег. Сыграли бы...».

Читая дневник, капитан Скэт упоминает собак, участвовавших в экспедиции: «... Цыган ослеп, а Рябчик исчез...». Цыган и Рябчик встречаются и у Р. Скотта наряду с кличками других собак.

Далее Скэт читает свою запись о полярном сиянии: «... по небу сегодня *Auriga borealis* раздышалась...». В дневниках Скотта не раз описывается это сияние, например: «... сегодня вечером мы видели великолепное зрелище — большого великолепия никогда не случилось наблюдать... Колышавшиеся завесы были особенно хороши...» (С. 283).

Затем Скэт останавливается на том, как они обнаружили на Южном полюсе норвежский флаг: «Нас опередили. Обидно мне за спутников моих» («Ужасное разочарование, и я очень огорчен за моих верных спутников», — записал Р. Скотт 16 января 1912 года. — С. 543). «... Последнее какао и порошок мясной...» — в драме; и запись 19 марта: «На ужин — холодный пеммикан, сухарь и полкружки какао» (С. 594).

Капитан Скэт вспоминает сына, оставленного на родине: «А в парке городском, там, в Лондоне, с какой-нибудь игрушкой, — весь солнечный, — и голые коленки...». Сын Р. Скотта, Питер, родился в 1909 году. Кетлин, жена Скотта, писала о нем мужу: «... смеющийся маленький Геракл, с рыжевато-коричневыми волосиками». ⁴ Отсюда, вероятно, и характеристика: «весь солнечный».

Обмороженный, изголодавшийся, умирающий Скэт, который уже не может вести дневник, все-таки находит силы, чтобы утешить единственного оставшегося в живых товарища — Флэминга, рассказывая ему сказку. Последние слова Скэта: «Я думаю, что Англия...», которыми заканчивается драма Набокова, перекликаются с заключительными строками «Послания к обществу» Р. Скотта: «... конечно же, конечно, такая великая и богатая страна, как наша, позаботится о том, чтобы наши близкие получили достаточное обеспече-

ние» (С. 607), и с последней фразой дневника (29 марта): «Ради бога, позаботьтесь о наших близких» (С. 595).

Таким образом, капитан Скэт в драме Набокова наиболее близок к своему прототипу — главе экспедиции на Южный полюс.

Ведение дневника буквально до последнего часа — едва ли не самый героический подвиг Р. Скотта. Дневники последнего путешествия Р. Скотта охватывают события полутора лет, начиная с отплытия экспедиции из Новой Зеландии и кончая роковым днем 29 марта 1912 года, когда умирающий Скотт сделал в дневнике последнюю запись. Некоторые записи дают представление о том, чего ему это стоило. В ноябре 1903 года, еще во время первого своего путешествия, он записал: «В течение ночи вести дневник невероятно трудно. Пишущему приходится укреплять фонарь с его мерцающим светом у самого журнала, а когда ветер сотрясает палатку, она наполняется дрожащими тенями. Когда он наклоняется над дневником, от его дыхания на бумаге образуется ледяная корка, на которой карандаш нередко скользит, и иногда, написав несколько строк и поднеся журнал к свету, он убеждается, что сделанную запись невозможно прочесть, так что каждое слово приходится тщательно воспроизводить вторично. Время от времени его ничем не прикрытые пальцы отказываются служить ему, и приходится растирать их, чтобы вернуть к жизни». ⁵ Вот приписка к одному из писем 29 марта 1912 года: «Извините за почерк, минус 40° мороза, а так уже более месяца» (С. 601).

Набоков вводит в свою драму Флэминга, чей образ стоит особняком, он не похож ни на одного подлинного участника экспедиции. Следует отметить, что группа, зимовавшая в Антарктиде в 1910—1911 годах, представляла собой очень прочное содружество людей, объединенных одной целью. Вот что пишет Р. Скотт в мае 1911 года об атмосфере, царящей среди членов экспедиции: «На меня глубокое впечатление произвело необычная и всеобщая сердечность отношений между нами... Мне нет нужды набрасывать завесу, что-либо скрывать. В этом доме нет натянутых отношений, и ничто так не удивляет, как проявляемый во всех случаях дух всеобщей дружбы» (С. 272—273).

Флэминг — жадный до всех радостей жизни человек, прошедший суровую школу: он был и юнгой, и водолазом, и гарпунером. «Жить хочется до бешенства, до боли — жить как-нибудь» — вот главная его цель, то что руководит всеми его поступками. Он вызывается добраться до бухты, где стоит их судно, и покидает своего капитана, но вскоре возвращается. Как выясняется из его слов, к возвращению его склонила участь Джонсона, на чье замерзшее тело он натолкнулся невдалеке от палатки Скэта. На вопрос капитана, отчего он вернулся, Флэминг отвечает: «Да я не мог

⁴ Там же. С. 145.

⁵ Там же. С. 80.

иначе. . . Он лежал так хорошо, — так смерть его была уютна. Я теперь останусь». Стало быть, даже этот человек, одержимый стремлением выжить во что бы то ни стало, спасовал перед смертью, покорился ей. Каждый из участников похода встречает смерть по-разному: Джонсон мужественно идет ей навстречу, Кингсли умирает в бреду, Флэминг страшится смерти, терпит нравственное поражение; он возвращается назад, чтобы умереть вместе со своим капитаном.

Эпиграф к драме: «. . . He was a very gallant gentleman.⁶ Из записной книжки капитана Скотта», по-видимому, был сочинен самим Набоковым на основании ряда характеристик, данных Р. Скоттом и относящихся к членам его экспедиции Отсу и Бауэрсу (Джонсон и Кингсли в драме).

В одной из последних записей, сделанных после того, как Отс вышел из палатки и более не вернулся, Скотт так говорит о нем: «Это была отважная душа. . . это был поступок доблестного человека и английского джентльмена» (С. 592). («He was a brave soul. . . it was the act of a brave man and an English gentleman»). А в прощальном письме матери Бауэрса Скотт пишет: «Я заканчиваю это путешествие в обществе двух доблестных и благородных джентльменов. Один из них — ваш сын» (С. 597). («I'm finishing it (our journey, — Н. Т.) in

⁶ Он был очень доблестным джентльменом (англ.).

company with two gallant, noble gentlemen. One of these is your son»).

В связи с эпиграфом любопытно прочесть свидетельство доктора Аткинсона, члена поисковой группы. В ноябре 1912 года, когда были найдены тела трех членов экспедиции, поисковая группа вблизи того места, где, как предполагалось, погиб Отс, построила памятник из снега и льда и водрузила крест с надписью: «Вблизи этого места умер очень доблестный джентльмен, капитан Иннискиллингского драгунского полка Л. Э. Дж. Отс» (Т. 2, С. 348). («Hereabouts died a very gallant gentleman, Captain L. E. G. Oates of Inniskilling Dragoons»).

Эпиграф, по-видимому, выполняет двойную функцию: во-первых, выражает согласие с оценкой мужественного поступка Отса (Джонсона в драме), пошедшего на верную смерть, с оценкой, данной Р. Скоттом, и, во-вторых, будучи неточной цитатой из дневников, характеризует отношение Набокова к самому Роберту Скотту (руководитель похода, конечно, не мог бы сказать о себе подобных слов).

Из сказанного ясно, что Набоков внимательно изучал материалы экспедиции Р. Скотта, особенно его дневники.

Драма «Полюс» свидетельствует о живом и глубоком интересе, проявленном В. Набоковым к судьбе и личности доблестного исследователя Антарктики. Это дань уважения к нему и его деяниям.

Текст печатается по газете «Руль» (1924, 14 и 16 авг).

В. В. Набоков

ПОЛЮС

ДРАМА В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

. . . He was a very gallant gentleman.

Из записной книжки капитана Скотта

Внутренность палатки. Четыре фигуры: Капитан Скэт, по прозвищу «Хозяин», и Флэминг полу-сидят. Кингсли и Джонсон спят, с головой закутавшись. У всех четверых ноги в меховых мешках.

Флэминг

Двенадцать миль всего, — а надо ждать. . .
Какая буря! . . . Рыщет, рвет. . . Все пишешь,
Хозяин?

Капитан Скэт (*перелистывая дневник*)

Надо же. . .

Сегодня сорок
четыре дня, как с полюса обратно
идем мы, и сегодня пятый день,
как эта буря держит нас в палатке
без пищи. . .

Джонсон (*спросонья*)

Ох. . .

Капитан Скэт

Проснулся? Как себя
ты чувствуешь?

Джонсон

Да ничего... Занятно...
Я словно на две части разделен:
одна — я сам — сильна, ясна; другая
— цинга — все хочет спать... Такая соня...

Капитан Скэт

Воды тебе не надо?

Джонсон

Нет, — спасибо...
И вот еще: мне как-то в детстве снилось,
— запомнилось — что ноги у меня, —
как посмотрел я, — превратились в ноги
слона.

(Смеется.)

Теперь мой сон сбылся, пожалуй.
А Кингсли — как?

Капитан Скэт

Плох, кажется... Он бредил,
теперь — затих.

Джонсон

Когда мы все вернемся, —
устроим мы такой, такой обед, —
с индейкою, — а главное, с речами,
речами...

Капитан Скэт

Знаем, — за индейку сам
сойдешь, когда напьешься хорошенько?
А, Джонсон?..

Спит уже...

Флэминг

Но ты подумай, —
двенадцать миль до берега, до бухты,
где ждет, склонив седые мачты набок,
корабль наш... между синих льдин? Так ясно
его я вижу!..

Капитан Скэт

Что же делать, Флэминг...
Не повезло нам. Вот и все...

Флэминг

И только
двенадцать миль!..
Хозяин, — я не знаю —
как думаешь — когда б утихла буря,
могли бы мы, таща больных на санках,
дойти?..

Капитан Скэт

Едва ли...

Флэминг

Так. А если б... Если б их не было?

Капитан Скэт

Оставим это... Мало ль, что можно допустить... Друг, посмотри-ка, который час.

Флэминг

Ты прав, Хозяин... Шесть минут второго...

Капитан Скэт

Что же, мы до ночи продержимся... Ты понимаешь, Флэминг, ведь ищут нас, пошли навстречу с моря, — и, может быть, наткнутся... А покамест давай-ка спать... Так будет легче...

Флэминг

Нет, — спать не хочу.

Капитан Скэт

Тогда... меня разбудишь — так — через час. Не то, могу скользнуть... скользнуть... ну, понимаешь...

Флэминг

Есть, Хозяин.

(Пауза.)

Все трое спят... Им хорошо... Кому же я объясню, что крепок я и жаден, что проглотить я мог бы не двенадцать, а сотни миль, — так жизнь во мне упорна. От голода, от ветра ледяного во мне все силы собрались в одну горячую тугую точку... Точка такая может все на свете...

(Пауза.)

Джонсон,
ты что? Помочь?

Джонсон

Я сам — не беспокойся... Я, Флэминг, выхожу...

Флэминг

Куда же ты?..

Джонсон

Так, — поглядеть хочу я, не видать ли чего-нибудь. Я, может быть, пробуду довольно долго...

Ф л э м и н г

Ты — смотри — в метели
не заблудись...

Ушел... Вот чудо: может
еще ходить, хоть ноги у него
гниют...

(Пауза.)

Какая буря! Вся палатка
дрожит от снегового гула...

К и н г с л и (бредит)

Джесси,
моя любовь, — как хорошо... Мы полюю
видали, я привез тебе пингвина.
Ты, Джесси, посмотри, какой он гла—
гла—гладенький... и ковыляет... Джесси,
ты жимолость...

(Смеется.)

Ф л э м и н г

Счастливец... Никого-то
нет у меня, о ком бы мог я бредить...
У капитана в Лондоне жена,
сын маленький. У Кингсли — вот — невеста,
почти вдова... У Джонсона — не знаю,
мать, кажется... Вот глупый, — вздумал тоже
пойти гулять. Смешной он, право, — Джонсон.
Жизнь для него — смесь подвига и шутки,
не знает он сомнений, и прямо
душа его, как тень столба на ровном
снегу... Счастливец... Я же трус, должно быть;
Меня влекла опасность, — но ведь так же
и женщин пропасти влекут. Неладно
я прожил жизнь... Юнгой был, водолазом;
метал гарпун в неслыханных морях.
О, эти годы плаваний, скитаний,
томлений!.. Мало жизнь мне подарила
ночей спокойных, дней благих... И все же...

К и н г с л и (бредит)

Поддай! Поддай! Так! Молодец! Скорее!
Бей! Не зевай! По голу!.. Отче наш,
иже еси...

(Бормочет.)

Ф л э м и н г

... и все же нестерпимо
жить хочется... Да — гнаться за мячом,
за женщиной, за солнцем, — или проще —
есть, много есть, — рвать, рвать сардинок жирных
из золотого масла, из жестянки...
Жить хочется до бешенства, до боли
— жить как-нибудь...

К а п и т а н С к э т

Что, что случилось? Кто там?
Что случилось?..

Ф л э м и н г

Ничего, Хозяин.
Спокойно все... Вот только Кингсли бредит...

Капитан Скэт

Ох...
мне снился сон какой-то, светлый, страшный.
Где Джонсон?

Флэминг

Вышел... Посмотреть хотел он,
не видно ли спасенья.

Капитан Скэт

Как давно?

Флэминг

Минут уж двадцать...

Капитан Скэт

Флэминг! — что ж ты, право,
не надо было выпускать его...
но впрочем...

Помоги мне встать, скорей,
скорей... Мы выйдем...

Флэминг

Я, Хозяин, думал...

Капитан Скэт

Нет, ты не виноват.

Ух, снегу сколько!

(Уходят вместе.)

(Пауза.)

Кингсли *(один, бредит)*

Ты не толкай — сам знаю — брось — не нужно
меня толкать...

(Приподнимается.)

Хозяин, Флэминг, Джонсон!

Хозяин!...

Никого... А! Понимаю,
втроем ушли. Им, верно, показалось,
что я уж мертв... Оставили меня,
пустились в путь...

Нет! Это шутка! Стойте,
вернитесь же... хочу я вам сказать...
хочу я вам... А! Вот что значит смерть:
стеклянный вход... вода... вода... все ясно...

(Пауза.)

(Возвращаются капитан и Флэминг.)

Капитан Скэт

Вот глупо — не могу ступить.

Спасибо...

Но все равно. Мы Джонсона едва ли
могли б найти... Ты понял, что он сделал?

Флэминг

Конечно... Ослабел, упал; бессильный,
звал, может быть... Все это очень страшно...

(Отходит в глубь палатки.)

Капитан Скэт (*про себя*)

Нет, — он не звал. Ему лишь показалось,
что он — больной — мешает остальным, —
и вот ушел. . . Так это было просто
и доблестно. . . Мешок мой словно камень —
не натянуть. . .

Флэминг

Хозяин! Плохо! Кингсли
скончался. . . Посмотри. . .

Капитан Скэт

Мой бедный Эрик!

Зачем я взял его с собой? Среди нас
он младший был. . . Как он заплакал, — помнишь —
когда на полюсе нашли мы флаг
норвежский. . . Тело можно тут оставить, —
не трогай. . .

(Пауза.)

Флэминг

Мы одни теперь, Хозяин. . .

Капитан Скэт

Но ненадолго, друг мой, ненадолго. . .

Флэминг

Пурга смолкает. . .

Капитан Скэт

Знаешь ли — я думал —
вот, например, — Колумб. . . Страдал он, верно, —
зато открыл чудеснейшие страны,
а мы страдали, чтоб открыть одни
губительные белые пустыни. . .
И, знаешь, — все-таки так надо. . .

Флэминг

Что же,

Хозяин, — не попробовать ли нам?
Двенадцать миль — и спасены. . .

Капитан Скэт

Нет, Флэминг,

встать не могу. . .

Флэминг

Есть санки. . .

Капитан Скэт

Не дотащишь —

тяжелый я. Здесь лучше мне. Здесь тихо.
Да и душа тиха, — как воскресенье
в шотландском городишке. . . Только ноги
чуть ноют, — и бывают скучноваты
медлительные воскресенья наши. . .
Жаль, — шахмат нет. Сыграли бы. . .

Флэминг

Да, жалко. . .

Капитан Скэт

Послушай, Флэминг, — ты один отправься...

Флэминг

Тебя оставить здесь? И ты так слаб...
Сам говоришь, что ночь едва ли можешь...

Капитан Скэт

Иди один. Я так хочу.

Флэминг

Но как же...

Капитан Скэт

Я дотяну, я дотяну... Успеешь
прислать за мной, когда достигнешь бухты.
Иди! Быть может, даже по дороге
ты наших встретишь. Я хочу, иди же...
Я требую...

Флэминг

Да, — я пойду, пожалуй...

Капитан Скэт

Иди... Что ты возьмешь с собою?

Флэминг

Санок

не нужно мне, — вот только эти лыжи
да палку...

Капитан Скэт

Нет, постой, — другую пару...
Мне кажется, запяточный ремень
на этой слаб...
Прощай... Дай руку... Если —
нет, — все равно...

Флэминг

Эх, компас мой разбит...

Капитан Скэт

Вот мой, бери...

Флэминг

Давай...
Что ж, я готов...

Итак, — прощай, Хозяин, я вернусь
с подмогой, завтра к вечеру, не позже...
Ты постарайся не уснуть...

Капитан Скэт

Прощай.

(Флэминг уходит.)

Да, — он дойдет... Двенадцать миль... к тому же
пурга стихает...

(Пауза.)

Помолиться надо. . .
 Дневник, — вот он, смиренный мой и верный
 молитвенник. . . Начну-ка с середины. . .

(Читает.)

«Пятнадцатое ноября; луна
 горит костром; Венера, как японский
 фонарик. . .

(Перелистывает.)

Кингсли — молодец. Все будто
 играет, — крепкий, легкий. . . Неладья
 с собачками: Цыган ослеп, а Рябчик
 исчез: в тюленью прорубь, вероятно,
 попал. . .

Сочельник: по небу сегодня
 Аугога bogealis раздышалась. . .

(Перелистывает.)

Февраль, восьмое: полюс. Флаг норвежский
 торчит над снегом. . . Нас опередили.
 Обидно мне за спутников моих.
 Обрато. . .

(Перелистывает.)

Восемнадцатое марта.
 Плутаем. Санки вязнут. Кингсли сдал.
 Двадцатое: последнее какао
 и порошок мясной. . . Болеют ноги
 у Джонсона. Он очень бодр и ясен.
 Мы всё еще с ним говорим о том,
 что будем делать после, возвратившись». —
 Ну что ж. . . Теперь прибавить остается —
 Эх, карандаш сломался. . .

Это лучший
 конец, пожалуй. . .

Господи, готов я.
 Вот жизнь моя, как компасная стрелка,
 потрепетав, на полюс указала,
 и этот полюс — Ты. . .

На беспредельных
 твоих снегах я лыжный след оставил.
 Всё. Это всё.

(Пауза.)

А в парке городском,
 там, в Лондоне, с какой-нибудь игрушкой, —
 весь солнечный, — и голые коленки. . .
 Потом ему расскажут. . .

(Пауза.)

Тихо всё.
 Мне мнится: Флэминг на громадной глади
 идет, идет. . . Передвигая лыжи
 так равномерно, — раз, два. . . Исчезает. . .
 А есть уже не хочется. . . Струится
 такая слабость, тишина по телу. . .

(Пауза.)

и, вероятно, это бред. . . Я слышу. . .
 я слышу. . . Неужели же возможно?
 Нашли, подходят, это наши, наши. . .
 Спокойно, капитан, спокойно. . . Нет же,
 не бред, не ветер. Ясно различаю
 скрип по снегу, движенье, снежный шаг.
 Спокойно. . . Надо встать мне. . . Встретить. . . Кто там?

Ф л э м и н г (входит)

Я, Флэминг...

К а п и т а н С к э т

А!.. Пурга уgomонилась,
не правда ли?

Ф л э м и н г

Да, прояснилось. Тихо.

(Садится.)

Шатер-то наш сплошь светится снаружи —
опорошен...

К а п и т а н С к э т

Есть ножик у тебя?
Мой карандаш сломался. Так. Спасибо.
Мне нужно записать, что ты вернулся.

Ф л э м и н г

Добавь: что Джонсон не вернулся.

К а п и т а н С к э т

Это
одно и то же...

(Пауза.)

Ф л э м и н г

Наш шатер легко
заметить, — так он светится... Да, — кстати —
про Джонсона: наткнулся я на тело
его. Ничком зарылся в снег, откинув
башлык...

К а п и т а н С к э т

Я, к сожаленью, замечаю,
что дольше не могу писать... Послушай,
скажи мне, — отчего ты воротился...

Ф л э м и н г

Да я не мог иначе... Он лежал
так хорошо, — так смерть его была
уютна. Я теперь останусь...

К а п и т а н С к э т

Флэминг,
ты помнишь ли, как в детстве мы читали
о приключениях, о Синдбаде, — помнишь?

Ф л э м и н г

Да, помню.

К а п и т а н С к э т

Люди сказки любят, — правда?
Вот мы с тобой — одни, в снегах, далеко...
Я думаю, что Англия...

З а н а в е с

ТЕКСТОЛОГИЯ И АТРИБУЦИЯ

Т. И. Краснобородько

«НЕТВОРЧЕСКИЕ» ТЕКСТЫ А. С. ПУШКИНА: ПРОБЛЕМЫ ИЗДАНИЯ

(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА РЕДАКЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ А. С. ПУШКИНА)

Самому Пушкину, кажется, суждено было определить один из основных принципов издания классиков — принцип полноты состава текстов. В статье «Вольтер» (внешним поводом к ее написанию послужила изданная в 1836 году в Париже переписка Вольтера с президентом де Броссом, которая касалась покупки земли, совершенной Вольтером) Пушкин утверждал: «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертывавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов».¹ По мнению Пушкина, из деловой переписки о покупке земли, сделок и купчих была составлена книга, одновременно важная и занимательная, открывающая Вольтера со стороны тогда еще малоизвестной, «несмотря на множество материалов, собранных для его истории». Слова, сказанные Пушкиным о Вольтере, справедливы и по отношению к нему самому: ведь «отрывки из расходной тетради», записки об отсрочке платежа, «смирненные цифры» и «незначащие слова» рядом с великими творениями мы видим и в пушкинском архиве. Сто лет спустя этим записям и документам тоже суждено было стать книгой Пушкина и о Пушкине. В 1935 году вышел в свет сборник «Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты». Как отмечалось в предисловии, цель предпринятого издания — соединение в одном месте всех текстов Пушкина, которые, не являясь «плодом его творчества», произведениями в строгом смысле этого слова, не включались в собрания сочинений. Такого рода материалы стали предметом собирания и изучения составителей книги — М. А. Цявловского, Л. Б. Модзалевского и Т. Г. Зенгер. Они просмотрели «страница за страницей» практически все рукописи Пушкина, и «в результате этой большой, кропотливой работы было собрано значительное количество текстов, часть которых не только никогда не включалась в собрания сочинений, но и

вообще не опубликовывалась»:² извлеченные из архивных дел документы официальные, денежные, служебные; разбросанные по рукописям разнообразные записи, подсчеты, пометы делового и биографического характера; надписи на книгах; подписи к рисункам; записи в альбомах; копии различных документов; фольклорные записи; планы изданий.

Прежде всего, по своему происхождению тексты были распределены составителями на две основные категории: сохранившиеся в личном архиве Пушкина и написанные «для себя» вошли в первый раздел издания; второй составили документы, которые еще при жизни Пушкина ушли в архивы учреждений и к частным лицам, т. е. «по природе своей предназначавшиеся для других, писания, так сказать, публичного характера».³ В каждом разделе выделялось 11 групп, расположенных «в порядке убывающей творческой значимости писаний». Не буду их перечислять: «Рукою Пушкина» давно является настольной книгой каждого пушкиниста. Отмечу только, что в это издание вошли и тексты творческого характера, по ряду причин не включенные тогда ни в одно из собраний сочинений. Они естественно перешли в тома творческих произведений, когда вскоре началась работа над полным академическим собранием. В подготовленных к 1941 году томах было помещено около 90 текстов из «Рукою Пушкина» (всего в книге их собрано 575). Так, например, в тома лирики вошли альбомные записи собственных стихотворений Пушкина, а также отдельные стихи и начала ненаписанных стихотворений («Кто хочешь, пой», «Пускай услышит об милых счастливых вестях», «Как узник, Байроном воспетый», «И я бы мог, как шут» и другие); неиспользованные эпитафии к «Арапу Петра Великого» и заметка о секте езидов (как приложение к «Путешествию в Арзрум») — в том художественной прозы; записи о 18 брюмера, список материалов к статье «Отрывок из литературных летописей», заметки при чтении «Путевых картин» Г. Гейне — в тома критики и публицистики; материалы записной книжки, которая велась во время поездки по местам Пугачев-

² Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты / Подг. к печати и комментировали М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. М.; Л., 1935. С. 9.

³ Там же.

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 75. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

ского восстания, и копии писем Петра I В. В. Долгорукову — в тома исторической прозы. Часть деловых и служебных документов (прошения об отпуске, доверенности разным лицам, обращения в Главное управление цензуры) были включены в тома переписки (отдел «Деловые бумаги»).

Кроме того, следует отметить, что составители книги «Рукою Пушкина», стремившиеся с максимальной полнотой представить основной фонд «нетворческих» текстов поэта, все же не могли охватить и прокомментировать все записи в пределах одного тома. Поэтому, «во избежание возможных недоразумений», они приложили перечень текстов, не вошедших в издание (кстати сказать, и этот перечень не покрывал всего написанного Пушкиным в подобном роде). Такая задача возлагалась на полное академическое собрание сочинений, начатое в 1937 году. По плану, заявленному в редакционном предисловии, XII том издания должен был состоять из автобиографической прозы, записок официального назначения, выписок и записей разного содержания, «поскольку выписки для Пушкина имели всегда значение подготовки материала для творческих работ. . . Таким образом из собрания не устранено ничего, что бы было записано собственной рукою Пушкина» (Т. I. С. VIII).

Как известно, в полном объеме этот том не вышел. Весь материал «Рукою Пушкина», как не имеющий первостепенного значения, был изъят, когда вынужденные жесткие сроки окончания издания потребовали сокращения ряда томов.⁴ К нашему счастью, в архиве М. А. и Т. Г. Цявловских, которые осуществляли общую редакцию XII — «многоострадального», по замечанию Татьяны Григорьевны, — тома, уцелела часть его машинописи. После смерти Т. Г. Цявловской эти материалы поступили в Рукописный отдел Пушкинского Дома (они вошли в фонд 373 — архив Редакции Академического собрания сочинений А. С. Пушкина), но по-прежнему оставались вне поля зрения исследователей.

Сохранились (с небольшими лакунами) корпус текстов «Рукою Пушкина» и комментарии к ним (неразвернутые, по типу текстологических справок в осуществленных томах, где указаны источник текста, первая публикация, собрание сочинений, в которое впервые введен текст, и «глухая», без обоснования, датировка). Несколько проектов оглавления XII тома: первоначальный, составленный М. А. Цявловским в 1938 году; переработанный им по замечаниям

редакторов и принятый в 1946 году; окончательный, отредактированный Т. Г. Цявловской в 1952—1953 годах, когда «нетворческие» тексты уже были вынесены за пределы издания как дополнение, — позволяют проследить не только творческую «биографию» тома, которая определялась выявлением новых текстов и документов, новыми научными данными (ведь работа длилась 15 лет!), но и его «внешнюю» судьбу, на которую нередко влияли соображения далеко не научные. Об этом свидетельствуют несколько разрозненных документов, вложенных Т. Г. Цявловской в папки для «истории тома»: черновики некоторых писем заведующему редакцией В. Д. Бонч-Бруевичу по поводу переработки тома и его ответы, протоколы отдельных заседаний редкомитета и записки в издательство.

Обращение к истории не состоявшегося в предыдущем издании тома необходимо и важно именно сейчас, когда началась подготовка нового академического собрания сочинений Пушкина и определяются общие принципы будущего издания.

По выявленным на сегодняшний день материалам историю борьбы редакционного комитета за осуществление тома «Рукою Пушкина» можно представить следующим образом.

Работа над томом началась в 1938 году. По постановлению редкомитета было решено разделить XII том на два отдела: автобиографическое (дневники, воспоминания, записки) и «Рукою Пушкина». Предполагалось также, что этот том выйдет в двух книгах. Для отдела «Рукою Пушкина» (значительно позже, на заключительном этапе работы, он получит другое название — «Литературные и биографические материалы») были уточнены принципы систематизации материала, а значит, принято иное, чем в сборнике 1935 года, деление на главы и иная их последовательность. Напомним, что в «Рукою Пушкина» все тексты разделялись на две категории (по происхождению и принадлежности) и 22 главы. Теперь же они были распределены на имеющие отношение к литературной деятельности — во-первых, составляющие материал для биографии Пушкина — во-вторых, и фрагменты, наброски, отрывки в виде отдельных слов — в-третьих. Окончательный план оглавления тома «Литературные и биографические материалы» выглядел так:

А. Записи и заметки, относящиеся к литературной деятельности.

I. Записи народных сказок и песен.

II. Перевод русских народных песен на французский язык.

III. Лингвистические и иные заметки.

IV. Изучение языков и опыты переводов.

V. Исправления в текстах других авторов.

VI. Эпиграфы к собраниям стихотворений.

VII. Выписки и копии.

VIII. Содержание сборников произведений Пушкина, планы изданий и списки произведений.

IX. Пометы при чтении книг.

Б. Записи и заметки биографического характера.

⁴ Драматичная история первого советского академического издания собрания сочинений Пушкина освещена в статьях С. М. Бонди «Об академическом издании сочинений Пушкина» (Вопросы литературы. 1963. № 2. С. 123—132) (с примечанием «От редакции» на с. 132—134) и Н. В. Измайлова «О принципах нового академического издания сочинений Пушкина» (Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1979. Т. 9. С. 5—16).

I. Показания по делам об элгии «Андрей Шень» и о «Гавриилиаде».

II. Записки и письма официального назначения.

III. Протоколы празднования лицейских годовщин.

IV. Мелкие записи биографического характера.

V. Записи в альбомах.

VI. Надписи на книгах и рукописях.

VII. Приходо-расходные записи.

VIII. Разного рода подсчеты.

IX. Деловые документы.

X. Служебные документы.

V. Отрывки».

В архиве академического издания Полного собрания сочинений А. С. Пушкина осталась картотека, в которой отражена последовательность работы над отдельными томами и движение их в издательстве вплоть до 1947 года. Как показывает карточка XII тома, неприятности с ним начались в 1946 году, когда издательство нашло неинтересными некоторые разделы, возвращало том на доработку несколько раз, вновь выражало недовольство и предъявляло редакторам необоснованные требования.

В конспективной хронике событий 1946 года Т. Г. Цявловская зафиксировала:

«24. V. 1946 — Издательство (И. А. Мартынов) — Бонч-Бруевичу — предложение о сокращении XII т(ома) на 50 % (копия Цявловскому).

27. V. <1946> — Протест пушкинистов против этого „предложения“.

4. VI. 1946 — Ответ В. Д. Бонч-Бруевича Мартынову.

12. XI. 1946 — Совещание у М. А. Цявловского „ввиду специфичности материала и некоторых возникших разногласий по этому (XII) тому“.

4. XII. 1946 — Заседание Редакции по Академическому изд(анию) Полн(ого) собр(ания) соч(инений) Пуш(кина). Обсуждение содержания XII т(ома) М. А. Цявловский говорит о громадном значении этого тома в целом, об огромной работе, проделанной для создания этого тома и установления категорий, групп, рубрик и т. д., о новом жанре в литературоведении. С необъяснимой легкостью издательство, обсудив содержание XII т(ома) вместе с П. И. Лебедевым-Полянским и А. М. Деборинным, решило сократить том наполовину, причем в 1939 г(оду) П. И. Лебедев-Полянский, зная содержание XII т(ома), чрезвычайно торопился с выходом его в свет. В независимости от предложения издательства о сокращ(ении) XII т(ома) представляется необход(имым) пересмотреть содерж(ание) XII т(ома) с т(очки) зр(ения) новой компоновки материала и некот(орых) накопившихся добавлений. Рабочая комиссия — С. М. Бонди и М. А. Цявловский — представляют матер(иал) к 10.XII.1946».

Приходилось пересматривать состав разделов и всего тома, сокращать, «сжимать» материал и, спасая том, принимать решения, которые стоили немалых усилий составителям.

Скажем, в разделе «Исправления в текстах других авторов» они вынуждены были дать только фрагменты с непосредственной правкой Пушкина; для копий чужих произведений — только разночтения к основным текстам; вместо полного текста деловых и служебных бумаг, подписанных Пушкиным (как это было в книге «Рукою Пушкина»), ограничиться фразами и словами, написанными поэтом собственноручно. Очевидно, что подобная компромиссная переработка материала ставила под вопрос существование самих разделов, лишила их смысла и значимости, в конце концов — должна была погубить их.

В июле 1947 года М. А. Цявловский, отправляя переработанный том В. Д. Бонч-Бруевичу, в сопроводительном письме, в частности, писал: «Наконец посылаю Вам — вновь, и на этот раз, я думаю, в последний раз, злосчастный XII том. Согласно Вашему совету все разделы тома имеют разъясняющие введения. Таким образом, теперь весь материал обоснован и разжеван даже для лиц, по первому взгляду не могущих понять, что представляют собою материалы, включенные в том. Из раздела „Копии и выписки“ исключены тексты произведений, входящие в собрания сочинений известных авторов (как Жуковский, Ломоносов, Державин, Батюшков, Мицкевич) и поэтому легко находимые заинтересующимся читателем. Необходимые для этого указания я найду в соответствующем примечании. Считаю все-таки нужным Вам сообщить, что в глубине души все это я считаю неправильным. Вызвавший наибольшие нарекания раздел помет Пушкина на полях книг теперь имеет совершенно иной вид. Он сокращен в несколько раз. В предисловии к примечаниям к этому отделу подробно указано, как подается материал этого раздела. Нужно сказать, что эта подача стоила Татьяне Григорьевне воистину адовой работы. Нечего, конечно, говорить, что прежняя подача, то есть воспроизведение полностью всех текстов, обративших на себя внимание Пушкина, неизмеримо лучше современной, скажем прямо, абракадабры, расшифровываемой лишь при наличии у читателя именно того издания книги, которую читал Пушкин. Таким образом, даже специалисты, и даже в Москве, сплошь и рядом, вероятно, не смогут узнать, что же заинтересовало Пушкина. Этот раздел представляется в рукописи Татьяны Григорьевны, так как мы не уверены, что издательство оплатит машинистку. После случая отказа издательства оплатить работу переводчиков по этому разделу, мы не рискуем испытывать бескорыстие еще и машинистки».⁵

Том лежал в издательстве без движения. А в 1949 году, как известно, было объявлено о завершении академического издания Полного собрания сочинений А. С. Пушкина в 16 томах и 21 книге. В Распоряжении Президиума АН СССР от 8 июля 1949 года подчеркивалась также необходимость подготовки к изданию

⁵ Черновик письма — рукой Т. Г. Цявловской.

не вошедших в собрание сочинений текстов и рисунков Пушкина; издательство АН СССР должно обеспечить выход этих томов в первой половине 1950 года. Предполагалось, что они будут в серийном оформлении, но вне общей нумерации.

Вскоре в журнале «Октябрь» появилась рецензия В. Бутусова,⁶ где редакторскому коллективу предъявлялись серьезные претензии в том, что оказалась невыполненной программа, заявленная в начале издания. С нескрываемой досадой автор рецензии (не знавший истинного положения дел и всех фактов борьбы с издательством) писал об отсутствии в собрании фольклорных записей, деловых и служебных документов.

Целая группа материалов из архива Академического издания связана именно с появлением статьи Бутусова и других отрицательных рецензий, а также с новыми попытками осуществить том «нетворческих» записей Пушкина. Одна из последних была предпринята в первой половине 1953 года. К этому времени в живых остались только три участника несостоявшегося XII тома: С. М. Бонди, Б. В. Томашевский, Т. Г. Цявловская.⁷ Отвечая на запрос В. Д. Бонч-Бруевича о состоянии тома «Литературные и биографические материалы», Т. Г. Цявловская писала 2 февраля 1953 года: «Том этот был сдан в Издательство Академии Наук еще пятнадцать лет тому назад — 31 марта 1938 г(ода), в совершенно готовом к изданию виде. Он имел и визу Главлита. Однако до сих пор он не пошел в производство, потому что Издательство возражает объему тома и принципам подготовки его к печати. Издательство считает ненужным печатать всех мелких записей, помет, подсчетов Пушкина, сопровождающих его черновики, а предлагает печатать лишь те, смысл которых — при всей их лаконичности — уже расшифрован исследователями. Издательство возражает также и против печатания текстов различных авторов, отмеченных Пушкиным на полях книг, тогда как редакция видит в них зерно будущих статей — в одних случаях написанных, в других оставшихся только в этих скупых сигналах. Эти принципиальные расхождения между редакцией и издательством, предлагавшим даже сократить том на 50 %, и являются основным препятствием для сдачи тома в производство. Желая преодолеть это препятствие, редакция шла навстречу предложению издательства и предварила каждый из двадцати двух разделов тома небольшими предисловиями, объясняющими значение данного раздела. Редакция сделала и большее. Раздел помет Пушкина на полях книг редакция дала в сокращен-

ном виде, что, конечно, абсурдно, так как этот сокращенный текст заставит будущего исследователя разыскивать эти редчайшие издания по библиотекам и делать выписки мест, обративших на себя особенное внимание Пушкина. Издательство тоже поняло неудовлетворительность такого рода сокращения и вновь вернуло том в редакцию с предложением переработать его для печати. Думаю, что по существу вопросов редакция изменить свою точку зрения не сможет. Очевидно, и Издательство сохранит свою тенденцию сокращения тома. По совещании с рецензентом тома С. М. Бонди, обращаюсь к Вам, глубокоуважаемый Владимир Дмитриевич, со следующим предложением: может быть, Вы нашли бы возможным образовать небольшую рабочую комиссию под своим председательством, которая еще раз пересмотрела бы позиции редакции тома с тем, чтобы предложить издательству свою окончательную точку зрения по вопросу об этом томе». Издательство на уступки не пошло, том «Литературные и биографические материалы» не удалось осуществить и в качестве приложения к Академическому изданию.

Таким образом, книга «Рукою Пушкина», вышедшая более 50 лет назад, продолжает оставаться единственным сводом пушкинских записей такого рода. Неполнота состава сборника, о которой уже говорилось, отчасти является причиной того, что многие материалы (это касается прежде всего помет и вычислений на рукописях) вовсе не учитываются исследователями пушкинского творчества и биографии. Поэтому во втором академическом собрании сочинений необходимо свято соблюсти принцип полноты издания и включить все, что было написано рукою Пушкина.

Для будущего издания в Пушкинском Доме составлена картотека, регистрирующая все записи Пушкина такого характера. В основном эта работа была проделана по рукописям, de visu; частично — по научному описанию, которое составили в 1937 году Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский для автографов, хранившихся в Пушкинском Доме. Корпус текстов, сравнительно с «Рукою Пушкина», существенно дополнен (это касается прежде всего подсчетов и записей отдельных цифр, отрывков, фрагментов); все материалы распределены по группам.

При систематизации собранного материала, безусловно, учитывались и план неосуществленного в предыдущем издании тома, и план книги «Рукою Пушкина».

Дадим сжатый обзор «нетворческих» записей Пушкина, подробнее останавливаясь на тех разделах, которые, с точки зрения эдиционной, разыскательской, комментаторской, представляются наиболее трудными и вызвали в прошлом самые серьезные нарекания издательских работников.

Начнем с записей, относящихся к собственно литературной деятельности Пушкина.

Прежде всего, следует назвать записи народных сказок, песен и перевод на французский язык одиннадцати русских народных песен.

⁶ Бутусов В. Академическое собрание сочинений А. С. Пушкина // Октябрь. 1950. № 3. С. 180—184.

⁷ Первоначально составителями тома были С. М. Бонди, Л. И. Жирков, Т. Г. Зенгер-Цявловская, Л. Б. Модзалевский, Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский (общая редакция), Д. П. Якубович, Я. И. Ясинский.

Впервые полный свод этих материалов был дан в книге «Рукою Пушкина». Он может быть незначительно расширен. Фольклорные записи, сохранившиеся в автографах Пушкина, дополняют народные стихи с метрическими схемами и начало украинской народной песни «Черная зорана» на письме Н. В. Гоголя Пушкину. По всей видимости, к группе народных песен, не сохранившихся в автографах Пушкина, а только в копиях, должна примыкать и солдатская песня (или народная сценка) «Чувствительная барыня идет в пол-пьяна».

Записи народных сказок ограничиваются во всех существующих изданиях семью сказками из третьей «масонской» тетради (ИРЛИ, ф. № 244, оп. 1, ед. хр. № 836). В Михайловском же появилась и так называемая программа «Сказки о царе Салтане», которую нужно рассматривать в одном ряду с известными сказочными сюжетами.

Тексты, составляющие обширный раздел «Выписки и копии», весьма разнообразны. Это копии стихотворений В. А. Жуковского, А. Мицкевича, К. Н. Батюшкова, П. А. Вяземского, Д. В. Давыдова, А. А. Дельвига, Ш. Мильвуа, А. Шенье, фрагменты из прозаических произведений русских и иностранных авторов, цитаты и записи стихов по памяти, выписки из разных книг, журналов и копии деловых документов. Часть выписок — это разного рода подготовительные материалы для художественных произведений и критических статей: например, копии описей имений — для «Истории села Горюхина»; выписки из французской прессы и сочинений Ф. Ренуара, Б. Констана, Вольтера — для работы над историей французской революции. Частично выписки-заготовки такого характера включены в раздел «Другие редакции и варианты» предыдущего издания. Разумеется, те материалы, которые мы, безусловно, можем приурочить к конкретному произведению и рассматривать как первый этап работы над ним, надо публиковать в соответствующем томе, так же как и в томах исторической прозы помещаются копии архивных документов и материалы, собранные Пушкиным для истории Петра I и Пугачева.

Копии стихотворных произведений других авторов, как правило, не несут в себе функции подготовительного материала для собственных пушкинских замыслов. Есть среди них сочинения, которые Пушкин намеревался опубликовать: с такой целью были сделаны копия стихотворения Г. Р. Державина «Приказ моему привратнику» (Пушкин хотел напечатать его в «Современнике»), списки не изданных тогда стихотворений М. В. Ломоносова и митрополита Димитрия Сеченова. Пушкинская запись стихотворения Батюшкова «Подражание Ариосту» является сейчас единственным источником текста, а копия стихотворения Д. Давыдова «Возьмите меч — он не достоин брани...» дает иную редакцию общеизвестного текста, и т. д. Это тот материал, который в самом узком, буквальном значении слова определяется как «рукою Пушкина» и только на этом основании —

как пушкинский автограф — должен быть введен в его собрание сочинений. Нам кажется целесообразным воспроизводить такие рукописи фототипически.

Известно, что Пушкин читал с пером в руках. Особый раздел составляют пометы на книгах и записи мыслей при чтении. Они распадаются на несколько групп: критические замечания на полях, записи для памяти и филологические заметки; отчеркивания, корректурные поправки, пометки для переплетчика.

В библиотеке поэта сохранилось около 50 книг с его пометами. Чаще всего это отчеркивания на полях и подчеркивание в тексте тех мест, которые заинтересовали Пушкина. Иногда он сопровождал отмеченные места значками «?», «!», «—», «X», «NB», словесными замечаниями. Все эти книги учтены в картотеке.

Иногда пушкинские пометы на полях книг и рукописей других авторов, как известно, разрастались до обширных критических замечаний. К сожалению, таких, по собственному определению Пушкина, «надстрочных критик» сохранилось очень мало — на II томе «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова (в копии Л. Н. Майкова), на полях статей П. А. Вяземского «О жизни и сочинениях Озерова» и М. П. Погодина «Об участии Годунова в убийстве царевича Димитрия». Это своего рода конспекты будущих статей, поэтому во всех существующих собраниях сочинений они включаются, как правило, в тома с критическим наследием Пушкина. В новом издании раздел пополняет пометы на рукописи книги П. А. Вяземского о Д. И. Фонвизине (автограф найден В. Э. Вацура и М. И. Гиллельсоном в ЦГИА в Ленинграде). Никогда прежде не включались в собрания сочинений Пушкина, но, по существу, аналогичны названным текстам замечания на «Слове о полку Игореве» в переводах А. Ф. Вельтмана и В. А. Жуковского и заметки при чтении II тома «Истории русского народа» Н. А. Полевого. Их место, конечно, в томах критической прозы.

Сюда же следует отнести небольшую группу рукописей разных авторов со следами редакторской правки Пушкина. Нам неизвестно, как работал с чужими рукописями Пушкин — редактор «Современника», так как не осталось никаких свидетельств об этом. Тем более важно собрать в одном месте все, что уцелело, — исправления в 14 стихотворениях Дельвига и его рецензии для «Литературной газеты», в стихотворении Вяземского, письме Н. Н. Раевского младшего и записках П. В. Нашокина.

Сохранилось также одиннадцать рукописей разных лиц с пометами Пушкина, не имеющими отношения к редакторской правке. Вероятно, их стоит выделить в самостоятельную группу.

Для трех последних рубрик, учитывая опыт предыдущего издания, нужно особенно тщательно продумать и обосновать методы, способы подачи текста, как чужого, так и собственно пушкинского.

Что же касается планов изданий и списков произведений, то, вероятно, стоит обсудить замысел наших предшественников, предлагав-

ших включить в этот раздел оглавления прижизненных сборников произведений Пушкина (их всего девять). Как показывают сохранившиеся в его архиве планы изданий, композиции пушкинских книг — порядок произведений, разделы и т. д. — результат особой творческой работы. Предоставляя П. А. Плетневу заботы по техническому оформлению сборника стихотворений 1826 года или возлагая на В. Ф. Одоевского и А. А. Краевского хозяйственные хлопоты по изданию второго тома «Современника», их содержанием и составом Пушкин занимался все же сам. Поэтому соседство в одном разделе замысла, плана, проекта издания и их реального воплощения в напечатанной книге только обогащает картину работы Пушкина над изданием своих сочинений. Отсутствие автографов, думается, не должно являться препятствием, тем более что цензурных рукописей пушкинских сборников, кроме третьей части «Стихотворений» 1832 года, не сохранилось вообще.

Некоторые тексты этого раздела так или иначе войдут в тома с творческими произведениями. Так, например, список стихотворений для издания 1826 года в письме Плетнева к Пушкину будет опубликован в переписке; в материалах и комментариях к «Повестям Белкина», естественно, будут учтены списки и план издания этого цикла. По всей видимости, ради полноты картины их следует обязательно повторить среди остальных списков и планов, снабдив соответствующими ссылками.

В обширном по своему составу и жанровому разнообразию отделе деловых бумаг и записей биографического характера заслуживают выделения в самостоятельные рубрики показания по делам об элгии «Андрей Шенье» и поэме «Гавриилада», лицейские протоколы, записки и письма официального назначения. Отсутствие последнего раздела в предыдущем академическом издании привело к тому, что записка «О народном воспитании» и программа журнала «Современник», поданная в цензурный комитет, оказались в томах критики, не являясь по своему существу критическими статьями. В этот же раздел должны войти записки о Мицкевиче и сотнике Сухорукове, представленные в III Отделение, а также составленные для Екатерины Шишковой и неустановленного лица черновики прошений.

В раздел служебных документов будут включены все сохранившиеся бумаги, написанные или подписанные Пушкиным в качестве чиновника Коллегии иностранных дел. Прошения об отпуске в прошлом издании входили в переписку; вероятно, теперь они могут быть напечатаны в одном ряду с другими бумагами о служебной деятельности Пушкина. В равной степени это касается доверенностей на имя разных лиц и прошений в казенные учреждения по разным поводам. Они также могут быть возвращены из томов переписки и присоединены к деловым документам, в составе которых расписки, контракты о найме квартир, брачный обыск, протоколы заседаний Российской академии, подписанные Пушкиным, объяснения по

суде в 20 000 рублей, денежные обязательства и т. п.

Самостоятельные группы образуют тринадцать заемных писем, которые красноречиво свидетельствуют о материальной нужде Пушкина на протяжении 1830-х годов, и приходо-расходные записи — колонки денежных подсчетов: долгов, карточных проигрышей, необходимых расходов на содержание дома и большой семьи. Все это очень важные биографические документы, характеризующие быт Пушкина.

Немалый научный интерес представляют владельческие пометы Пушкина на книгах, записи о времени и обстоятельствах их покупки и дарительные надписи, которые впервые были собраны вместе в сборнике «Рукою Пушкина». Кроме новонайденных в последнее время автографов их могут дополнить три дарственных посвящения на рукописях: И. И. Пушкину на автографе стихотворения «Козак», А. М. Горчакову — на автографе «Послания к Батюшкову» и В. И. Далю на «Сказке о рыбаке и рыбке».

Что же касается дарственной кн. Э. П. Мещерскому на «Борисе Годунове» (в свое время Литературный музей приобрел эту книгу у Н. О. Лернера), то ее следует подвергнуть текстологической экспертизе. Л. Б. Модзалевский, к примеру, решительно возражал против автографичности этой надписи. Через коллективную экспертизу пушкинистов-текстологов необходимо провести также записи на книгах «Постоялый двор» А. Степанова и «Айвенго» В. Скотта из собрания Раменских и подписи к ряду рисунков в Ушаковском альбоме, которые традиционно считаются пушкинскими (например, под портретом Л. С. Пушкина, записи цифр со значком «№», подписи к портрету Ек. Н. Ушаковой en face «Трудясь над образом»). Принадлежность их руке Пушкина подвергали сомнению Л. Б. Модзалевский, М. А. Цявловский, Д. П. Якубович.

Пушкин дарит книги — дарит рукописи — дарит и стихи, вписывая последние на память в альбомы своих знакомых. В книге «Рукою Пушкина» Л. Б. Модзалевский собрал 27 таких записей: 5 прозаических и 22 стихотворные. (За последние годы была обнаружена еще одна — автограф стихотворения «Полководец» в альбоме вел. кн. Елены Павловны). Основание для объединения в одной рубрике общеизвестных стихотворений составители «Рукою Пушкина» видели в новой функции, которую приобретало стихотворение в альбоме, и в особенностях (даты, пометы, приписки, посвящения и т. п.), сопровождавших альбомную запись. Однако в проект оглавления XII тома вошли только прозаические записи в альбомы А. М. Горчакова, Е. А. Энгельгардта, Е. Н. Ушаковой, А. Ваттемара и М. С. Щепкина. Л. Б. Модзалевский писал М. А. Цявловскому 13 февраля 1938 года: «Мне как-то жалко уничтожать этот отдел в XII томе. Эти записи имеют совершенно самостоятельное значение и носят специфическую функцию. Неужели только из-за того, что эти стихи найдут себе место в соответствующих томах лирики, их следует не повторять в XII

томе, в отделе альбомных записей. Ведь в большинстве случаев эти альбомные записи несут характерные особенности как по текстам, так и по лицам, в альбомы которых они написаны, сопровождаются всякого рода специальными приписками». Модзалевского поддержал Б. В. Томашевский: «Альбомные записи должны войти в XII том, так как их функция именно в том, что они написаны в альбом, а не в том, что они воспроизводят цитату (хотя бы и из самого Пушкина). Тем более, что стихи из „Каменного гостя“, вписанные в альбом, возможно, написаны прежде, чем задумана драма, и затем в ней использованы».

Если снова будет признано нецелесообразным повторять в разделе «Записи в альбомах» все стихотворения, то для записей, имеющих характерные особенности, конечно, нужно сделать исключение. К примеру, вписывая стихотворение «В степи мирской, печальной и безбрежной...» в альбом С. Н. Карамзиной, Пушкин прерывает последнюю строку и сопровождает ее припиской: «achevez le vers comme il vous plaira + // + le voilà».⁸ В томе лирики, в отделе «Другие редакции и варианты», эта приписка просто затеряется.

Или возьмем запись, сделанную в альбом А. Н. Вульф 2 октября 1835 года, в один из последних приездов Пушкина в Тригорское. Орывок из VI главы «Онегина»:

«Простите, сени!
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души»

продолжают английские стихи из Кольриджа:

«How seldom, friend, a good
great man obtain»
etc.

(«Как редко, друг, достойный великий
человек получает в награду
Почести или богатство, несмотря на все
свои достоинства и труды;

Это звучит, как сказка из страны духов,
Если кто-нибудь получает то, чего он

заслуживает.
Или кто-нибудь заслуживает того, что он
получил».⁹

Эта альбомная запись — свидетельство душевного состояния Пушкина и горьких размышлений о судьбе художника, о собственной судьбе михайловской осенью 1835 года. Она является исключительным биографическим документом и заслуживает отдельного места.

И, наконец, два самых обширных и самых сложных раздела: краткие записи делового характера, бесчисленные подсчеты и записи отдельных цифр — специфическая особенность

пушкинских черновых рукописей, столь же важная, как и его рисунки. Когда Пушкин писал об альбоме Онегина, он, конечно, имел в виду и свои рабочие тетради:

«Он был исписан, изрисован
Рукой Онегина кругом.
Меж непонятого маранья
Мелькали мысли, замеч(анья),
Портреты, числа, имена,
Да буквы, тайны письмена,
Отрывки, письма черновые,
И словом, искренний журнал,
В который душу изливал
Онег(ин) в дни свои младые,
Дневник мечтаний и проказ»

(Т. 6. С. 613—614)

Все эти пометы, наряду с творческими произведениями, отражают факты и события жизни Пушкина. Прихотливо и неожиданно сочетаясь с творческими автографами, они в большом количестве покрывают рукописи Пушкина: даты, имена, арифметические вычисления, перечни вещей и покупок; списки лиц, которым нужно написать письма, сделать визиты, послать книги; подсчеты стихов, адреса, анаграммы имен и фамилий. «Многие из этих записей, — писал М. А. Цявловский, — глубоко интимны и отмечают события и факты, изложение которых Пушкин не может и не хочет доверять даже своей черновой тетради. Интимный характер записей обуславливал типические для них аббревиатуры, раскрытие которых составляет своего рода спорт у пушкинников».¹⁰ Подобные обстоятельства определяют особенности публикации таких текстов и трудности при их комментировании.¹¹

Расшифрованные и осмысленные на сегодняшний день записи и подсчеты, как правило, тесно связаны с автографами тех произведений, на полях которых они появились, или близких по положению в тетради: например, подсчеты стихов в октавах «Домика в Коломне» или строфах «Евгения Онегина»; запись о получении письма от Е. К. Воронцовой на черновике письма Татьяны, анаграммы имени А. А. Олениной и записи о ней на полях автографов стихотворений, ей посвященных, и т. д. Такие пометы могут и должны воспроизводиться вместе с произведением, с которым тесно связаны. Но комментировать их надо, вероятно, в ряду аналогичных текстов. Как уже отмечалось, многие из пушкинских помет и вычислений до сих пор не опубликованы, смысл лишь небольшой части разгадан, наконец — они не были предметом специального научного исследования. А, ведь это своего рода жанр у Пушкина и, видимо, он имеет свои закономерности. Для того

¹⁰ Рукою Пушкина. С. 289.

¹¹ О пометах Пушкина на рукописях см. также статью Р. Ё. Терениной «Пометы Пушкина на рукописях» в кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1977. Л., 1980. С. 95—101.

⁸ «закончите стих, как вам заблагорассудится. Вот он». (фр.).

⁹ Рукою Пушкина. С. 664.

чтобы исследователи получили возможность осмыслить эти пометы, нужно дать, наконец, их полный свод. Поэтому важно продублировать и прокомментировать в этих разделах те пометы, которые войдут в материалы к творческим произведениям. Без них записи «темные» и неразгаданные могут превратиться в хаотическую сводку случайных, разрозненных отрывков; расшифрованные же пометы, приведенные только в вариантах, рискуют там затеряться, а здесь получают самостоятельное значение. В том, где будут собраны «нетворческие» записи Пушкина, не стоит бояться дублировать отдельные тексты из творческих томов: разные рубрики материалов «Рукою Пушкина» от этого только выиграют.

Основным принципом при публикации помет и вычислений должен быть принцип единства автографа: ведь для записей такого рода положение на листе рукописи имеет не формальное значение. Поэтому сложные автографы (особенно не поддающиеся точному осмыслению) лучше всего сопровождать фототипическим воспроизведением.

В рукописях Пушкина выявлены фрагменты (около 150) не сохранившихся полностью черновых набросков, в том числе на корешках вырванных из тетрадей листов, отдельные слова и неоконченные фразы, смысл и назначение которых для нас неясны, обрывки записей на книжных закладках, пробы пера и «мельчайшие

мелочи». Сейчас они не поддаются осмыслению, но их целесообразно, как это предлагали составители тома «Литературные и биографические материалы», выделить в самостоятельный отдел и назвать «Отрывки, фрагменты». В пояснительной записке к этому разделу, который издательство с самого начала отвергало категорически, М. А. Цявловский писал: «При всей своей „бессодержательности“ на первый взгляд эти отрывки для исследователей дают материал, который, как это происходило не раз в пушкиноведении, самым неожиданным образом проясняет остававшееся в течение долгого времени „белым пятном“ в творчестве или жизни Пушкина».

Действительно, то, что непонятно современным исследователям, лучше опубликовать, честно признавшись в этом, чем «скрыть» от читателя. Ведь мы не можем знать, в каком объеме следующие поколения ученых востребуют подобные «отрывки» — может быть, им дано будет счастье осмыслить их.

Введение такого отдела соответствует основному принципу академического издания — его полноты. «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства»: рядом с великими творениями «смирненные цифры, незначащие слова» должны получить свое место во втором академическом собрании сочинений Пушкина, которое должно стать действительно полным.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

С. А. Фомичев

БЕЛИНСКИЙ И ГОГОЛЬ В 1839 ГОДУ

Драматической истории взаимоотношений Белинского и Гоголя посвящено множество работ как дореволюционных, так и советских исследователей. Однако нельзя считать эту тему исчерпанной. В своем сообщении я коснусь лишь одного эпизода: личных и творческих контактов критика и писателя в 1839 году, т. е. в ту пору, когда Белинский работал над статьей о «Горе от ума», большая часть которой посвящена творчеству Гоголя.

Прежде всего об их непосредственных встречах в этом году. Они восстанавливаются довольно точно, хотя в ряде работ (в том числе и последних) на этот счет существует странное разноречие. Не отражены эти контакты исчерпывающе и в «Летописи жизни и творчества В. Г. Белинского».

Напомню, что Гоголь приехал из-за границы в Москву 26 сентября 1839 года, с 30 октября по 17 декабря находился в Петербурге, затем — снова в Москве вплоть до отъезда за границу 18 мая 1840 года. В конце октября 1839 года переселился из Москвы в Петербург и Белинский. Как выясняется, он встречался в ту пору с Гоголем неоднократно как в Москве, так и в Петербурге.

24—25 октября 1839 года Константин Аксаков писал своим братьям в Петербург: «Белинский, которого прошу вас встретить ласково, видел его (Гоголя, — С. Ф.) у нас два раза и прошедшую субботу (т. е. 21 октября, — С. Ф.). Какой день был это для нас! Гоголь у нас обедал и просидел до первого часу. Он был окружен людьми, его искренне любящими и понимающими его великий талант. Тут сидели: я, Дм. (М). Щепкин, М. С. (Щепкин), (И. И.) Панаев, Белинский; отесенка приходил тоже из гостиной, где играли в карты, Армфельд и Н. Ф. Павлов также».¹

22 ноября Белинский писал из Петербурга Боткину: «Гоголя видел два раза, во второй обедал с ним у Одоевского. Хандрит, да есть от чего, и все с иронической улыбкою спрашивает меня, как мне понравился Петербург».² Это свидетельство отчасти дополняется замечанием И. И. Панаева в его совместном с Белинским письме к К. Аксакову от 8 декабря: «Белинский здесь в сильном ходу. Краевский от него в восторге, кн. Одоев(ский) за ним ухаживает. . . Я вожу его всем показывать — и беру

со всех за это по полтиннику, чем и хочу составить себе состояние. . . Гоголя хотя и редко, но я видал. Один раз мы втроем (я, Белинский и он) обедали у князя» (XI, 423). Кажется, речь здесь идет не об одной из традиционных суббот В. Ф. Одоевского, на которых Белинский также встречался с Гоголем, как это выясняется из письма критика к К. Аксакову от 10 января 1840 года: «Поклонись от меня Гоголю и скажи ему, что я так люблю его, и как поэт и как человека, что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадою и отдыхом. В самом деле, мне даже не хотелось и говорить с ним, но его присутствие давало полноту моей душе, и в ту субботу, как я не увидел его у Одоевского, мне было душно среди этих лиц и пустынно среди множества» (XI, 435—436). Замечу, что субботы в период с 22 ноября по 17 декабря (отъезд Гоголя в Москву) падали на следующие числа: 25 ноября, 2, 9 и 16 декабря. Очевидно, в большинство из этих дней Белинский встречался у князя с Гоголем.

Следует особо подчеркнуть, что отношения критика с писателем в этот период отличались душевностью и прязнью — в противовес свидетельству Панаева: «Белинский не терпел никакой напыщенности и признавался, что ему всегда было тяжело в присутствии Гоголя».³ Очевидно, это признание относилось к более поздней поре, в 1839—1840 же годах Белинский вспоминает о Гоголе с неизменной горячей симпатией, о чем свидетельствуют его письма:

«Бога самого ради, уведомя меня тотчас же, какое произведет впечатление статья о „Горе от ума“ на Гоголя. Я что-то и почему-то не ожидаю хорошего, — но во всяком случае не церемонься: надо *все* знать» (К. Аксакову, 10 января, — XI, 434—435).

«Я очень рад за Кирюшу (Горбунова, — С. Ф.), что он так хорошо познакомился с Гоголем» (Боткину, 18—20 февраля, — XI, 453).

«Желал бы что-нибудь знать о Гоголе, да К. Аксаков не отвечает на мои письма. . . Вполне понимаю страдания Г(оголя) и сочувствую им. Понимаю и его Sehnsucht (страстную любовь. — С. Ф.) к Италии. Родная действительность ужасна. Будь у меня средства, я надолго бы раскланялся с нею. Это мой идеал счастья теперь. Кажется, что бы лучше, как имея деревню и семейство, уйти в сферу природы и семейного блаженства, но и там найдет тебя

¹ Лит. наследство. 1952. Т. 58. С. 570.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. XI. С. 420 (в дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте).

³ В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1948. С. 224.

предводитель, исправник, земский суд, русский поп, окончивший курс богословия, пьяный лакей, которого непременно надо бить по роже, чтоб он тебя не бил по роже. А там еще черт дернет подписаться на журналы — будешь видеть, как ерничают Сенковский и как... Полевой. Страшная и гадкая действительность!» (Боткину, около 22 февраля, — XI, 464).

«Гоголь доволен моею статьею о „Ревизоре“ — говорит — многое подмечено верно» (Боткину, 14—15 марта, — XI, 496).

«А кстати: ты познакомился с Гоголем — вот так поздравляю и даже завидую. Чертовски досадно, что он едет не через Питер и что я его не увижу — хоть бы из окна в улицу посмотреть на него» (Боткину, 24 апреля, — XI, 519).

Как видим, знакомство с Гоголем Белинский считает одним из немногих, зато дорогих подарков судьбы, хотя встречи их были едва ли не всегда во многолюдии, что почти исключало возможность откровенных, задушевных разговоров. Из позднейшего письма Белинского к Гоголю (от 20 апреля 1842 года) выясняется, что критику не удалось даже услышать авторских чтений «Мертвых душ», шесть глав которых были закончены к концу 1839 года («С нетерпением жду выхода Ваших „Мертвых душ“. Я не имею о них никакого понятия: мне не удалось слышать ни одного отрывка, чему я, впрочем, и очень рад: знакомые отрывки ослабляют впечатление целого», — XI, 108).

Тем не менее нельзя недооценивать значения этих встреч. В письме к К. Аксакову от 10 января 1840 года об этом прямо писал Белинский: «Впрочем, личное знакомство с поэтом лучше знакомит с его творениями или, по крайней мере, усугубляет наслаждение превозносить его» (XI, 435).

Опять подчеркну, что контакты критика с Гоголем совпали с его работой над статьей о «Горе от ума». Задуманная еще в июле 1839 года и тогда же обещанная Краевскому, статья эта была написана (во всяком случае дописана) уже в Петербурге, в ноябре. И вовсе не комедия Грибоедова стала главным ее предметом, а прежде всего творчество Гоголя, охарактеризованное здесь Белинским с наибольшей полнотой, гораздо подробнее, нежели в статье 1835 года «О русской повести и повестях г. Гоголя». По-видимому, общение с Гоголем и привело к тому, что центральная, обусловленная в письме к редактору «Отечественных записок» тема сместилась на периферию, в связи с чем собственно анализ грибоедовской комедии носит в статье отнюдь не самостоятельный характер, а нужен в качестве, так сказать, противовеса суждениям о перспективах движения современной русской литературы, основным ориентиром которой, по мнению критика, стало творчество Гоголя. Это привело к явной композиционной рыхлости статьи, о чем Белинский писал 18 февраля 1840 года Боткину: «С твоим мнением о статье о „Горе от ума“ я совершенно согласен: много хорошего в ней, но в целом — урод. Из нее можно сделать три хорошие статьи, но как одна — она уродлива» (XI, 451).

В самом деле, статья распадается на три примерно равные по объему части, вторая и третья из которых посвящены Гоголю и Грибоедову, в первой же — содержатся теоретические рассуждения о действительности как о подлинном объекте искусства. Острые этих рассуждений стягиваются к проблеме трагического и комического, обусловленных двумя сторонами реальной жизни: «*Действительность* есть положительное жизни; призрачность — ее отрицание. Но, будучи случайностью, призрачность делается необходимостью, как уклонение от нормальности вследствие свободы человеческого духа. Так здоровье необходимо условливает болезнь, свет — темноту» (III, 438—439).

В исследовательской литературе никогда не отмечалось, что вся первая (теоретическая) часть статьи пронизана также гоголевским началом. Критик здесь постоянно ориентируется на статью «Арабесок». Когда-то в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» он оговорился в примечании: «Я очень рад, что заглавие и содержание моей статьи избавляет меня от неприятной обязанности разбирать ученые статьи г. Гоголя, помещенные в „Арабесках“. Я не понимаю, как можно так необдуманно компрометировать свое литературное имя... Если подобные этюды — ученость, то избавь нас бог от такой учености! Мы и без того богаты ею. Отдавая полную справедливость прекрасному таланту г. Гоголя как поэта, мы, движимые чувством той же самой справедливости, того же самого беспристрастия, желаем, чтобы кто-нибудь разобрал подробнее его ученые статьи» (I, 307).

Можно представить, насколько это попутное пренебрежительное замечание задело Гоголя. «Арабески» он считал самой задушевной своей книгой. Недаром он послал два экземпляра ее Пушкину с просьбой на одном подробно высказать свои замечания и возражения. Однако, если художественный талант Гоголя, хотя и встретил зоилов, все же был по достоинству оценен, прежде всего Пушкиными и Белинским, то книга «Арабески» (за исключением трех повестей, помещенных в ней) осталась непризнанной. Замечу, что и до сих пор она не учитывается достаточным образом при рассмотрении творческой эволюции писателя. Знаменательно, что именно Белинский позже по достоинству оценил эстетические и общефилософские поиски писателя, как об этом свидетельствует письмо к Гоголю от 20 апреля 1842 года: «...думаю по случаю выхода „Мертвых душ“ написать несколько статей вообще о Ваших сочинениях. С особенною любовью хочется мне поговорить о милых мне „Арабесках“, тем более, что я виноват перед ними: во время оно с юношескою запальчивостию изрыгнул я хулу на Ваши в „Арабесках“ статьи ученого содержания, не понимая, что тем самым изрыгаю хулу на духа. Они были тогда для меня слишком просты, а потому и неприступно высоки; притом же на мутном дне самолюбия бессознательно шевелилось желание блеснуть и беспристрастием.

Вообще, мне страх как хочется написать о Ваших сочинениях» (XII, 108).

Это новое восприятие гоголевских «Арабесок» зародилось у критика, как выясняется, несколько ранее, в период работы над статьей о «Горе от ума». Следы внимательного чтения «ученых статей» обнаруживаются у Белинского постоянно: в характеристике античного искусства, в рассуждениях о скульптуре и музыке, в оценке значения средних веков, в восторженном отношении к готической архитектуре, в определении национальных черт запорожского казачества.

Конечно, Белинский не цитирует «Арабески» буквально, но постоянно обращается к ним, как это видно, например, из следующей переписки:

Гоголь: «Чувственная, прекрасная, она (скульптура, — С. Ф.) прежде всего посетила землю. Она — мгновенное явление. Она — оставшийся след того народа, который весь заключался в ней, со всем своим духом и жизнью... Белая, млечная, дышащая в прозрачном мраморе красотой, негой и сладострастием, она сохранила одну идею, одну мысль: красоту, гордую красоту человека»⁴.

Белинский: «Греческое творчество было освобождением человека из-под ига природы, прекрасным примирением духа и природы, доколе враждовавших между собою. И потому греческое искусство облагородило, просветлило и одухотворило все естественные склонности и стремления человека, которые доколе являлись в отвратительном безобразии своей животности... У греков родилось ваяние — с ними и умерло оно, потому что только у них совершенство человеческой фигуры могло иметь такое мировое значение» (III, 423—424).

Читая эту статью в «Отечественных записках», Гоголь с самого начала не мог не узнать своего, кровного не только в мыслях, но и в самом стиле ее. Ср.: «Дивный, очаровательно прекрасный, роскошно упонительный мир!» (III, 425); «А! романтизм!.. Просим покорно — вот сюда, поближе: нам надо рассмотреть вас хорошенько» (III, 423) — стилизация гоголевского: «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!». Или: «ибо-де драма представляет людей не такими, каковы они суть, а такими, каковы должны быть, следовательно, какими будут. „О, тонкая штука! Эх, куда метнул! какого тумана напустил! разбери кто хочет!..“» (III, 431) — прямая цитата из Гоголя.

Важно понять, почему Белинский стал «подражать» Гоголю. Вполне очевидно, что в 1839 году в период его напряженных идейных исканий критику стала понятна и особенно близка основная мысль гоголевских «Арабесок» об идее единства мира, искаженной, по мнению писателя, в современной действительности, которая обернулась обманом и призраком. И потому божественное, творческое начало в ней

подменено эгоистическим, корыстным, дьявольским: «О, не верьте этому Невскому проспекту Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется!.. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект» (III, 45—46).

С этим принципиально важным в общей концепции «Арабесок» пассажем напрямую соотносятся рассуждения критика о «призрачной действительности» как основном объекте творчества Гоголя и единстве в нем комического и трагического начал.

В статье о «Горе от ума» дана самая полная в критике Белинского характеристика гоголевского творчества, но в той же статье (особенно в первой ее, теоретической части) еще следует увидеть своеобразную, выраженную сокровенно и предзнаменную только для Гоголя попытку воздействия на него, своего рода призыв к нему раскрыть действительное, а не только призрачное начало жизни («Сущность жизни всякого народа есть великая действительность», — III, 441) и стать воистину великим русским писателем. Именно поэтому Белинский постоянно и обращается к гоголевским «Арабескам», где это положительное начало обнаруживается в «ученых статьях».

Эта сокровенная мысль статьи Белинского подтверждается эпистолярными (тоже не рассчитанными на широкую публику) оценками Гоголя. Так, 14 июня 1840 года он пишет К. Аксакову: «Теперь о Гоголе. Он великий художник, о том слова нет... Но он не русский поэт в том смысле, как Пушкин, который выразил и исчерпал собою всю глубину русской жизни и в раны которого мы можем влагать персты, чтобы чувствовать боль своих и врачевать ее. Пушкинская поэзия — наше искупление, а в созданиях Гоголя я вижу только „Тараса Бульбу“, которого можно равнять с „Бахчисарайским фонтаном“, „Цыганами“, „Борисом Годуновым“, „Сальери и Моцартом“, „Скупым рыцарем“, „Русалкой“, „Египетскими ночами“, „Каменным гостем“. В форме все художественные произведения равны, но содержание дает различную ценность: „Ричард II“, „Отелло“, „Гамлет“, „Макбет“, „Лир“, „Ромео и Юлия“ всегда будут выше „Венецианского купца“, а „Тарас Бульба“ выше всего остального, что напечатано из сочинений Гоголя» (XI, 534).

Было бы неверно истолковать эту оценку, ссылаясь на «примирение с действительностью» Белинского. Такое «примирение» в начале 1840 года им стремительно изживается — недаром в письме к К. Аксакову мы видим признание (недавно им еще отвергаемое) примата содержания над формой в художественных произведениях. Смысл требований к Гоголю в другом: в необходимости для него шире взглянуть на русскую жизнь, почувствовать не только ее «призрачность», но и глубокое субстанциональное начало.

«Радуюсь, — писал критик тому же адресату 10 января 1840 года, — твоей классификации — Гомер, Шекспир и Гоголь, но и див-

⁴ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 8. С. 9—10 (в дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте).

люсь ей. . . Вот мы и сошлись с тобою; только у меня на месте Гоголя стоит Пушкин, который всего поглотил меня и которого чем более узнаю, тем более не надеюсь узнать. Это Россия и *единственный* русский национальный поэт, полный представитель жизни своего народа. Да, велик Гоголь, поэт мировой: это для меня ясно, как $2 \times 2 = 4$; но. . . Пушкин. . . Впрочем, надо еще подождать» (XI, 435).

Можно предположить, что в те немногие минуты, которые предоставлялись для откровенных разговоров во время московских и петербургских встреч с Гоголем в конце 1839 года, Белинский как-то касался данной темы. Во всяком случае в письме к Боткину 10—11 декабря 1840 года критик с удовлетворением замечал: «Важно вот что: его (Гоголя, — С. Ф.) начинает занимать Россия, ее участь, он грустит о ней; ибо в последний раз он увидел, что в ней есть люди! А я — торжеству: субстанция общества взяла свое — космополит-поэт кончился и уступает свое место русскому поэту» (XI, 582).

Белинский лишь через год прочтет «Мертвые души» и убедится в правоте своего предвидения. Давно замечено, что начиная с главы седьмой (т. е. в главах, написанных после поездки на родину в 1839—1840 годах) в «Мертвых душах» мощно обозначилась «действительная» (по терминологии Белинского) сторона гоголевского пафоса, что и позволило писателю назвать свое произведение поэмой. Подспудно в гоголевских произведениях этот пафос всегда жил, но открыто проявился до того в полную силу в «Тарасе Бульбе» и в «ученых статьях» из «Арабесок». Видимо, в ряду существенных причин, способствующих полнейшему развитию гоголевского творчества, мы по праву должны учитывать личные контакты писателя с великим критиком в 1839 году, а также статью Белинского о «Горе от ума», ее интимный, рассчитанный только на Гоголя, особый смысл.

О. К. Супрунюк

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ К ПИСЬМАМ Н. В. ГОГОЛЯ

Среди адресатов Н. В. Гоголя постоянный интерес исследователей вызывает личность Герасима Ивановича Высоцкого, товарища Гоголя по Полтавскому уездному училищу, а затем по Нежинской гимназии высших наук кн. Безбородко.

Сохранившиеся три письма, написанные Н. В. Гоголем в 1827 году из Нежина в Петербург, где в это время находился на службе закончивший в 1826 году курс гимназии Г. И. Высоцкий, стали бесценным материалом для исследования нежинского периода биографии писателя. Полные любопытных подробностей о жизни гимназии, всего города, остроумных замечаний о сокурсниках, преподавателях, эти письма в сущности являются одним из первых литературных опытов Гоголя, во многом превосходившим жанровые и стилистические особенности его будущих сатирических произведений.

Своеобразие писем Гоголя к Высоцкому и отличие их от писем этого периода родным обуславливаются личностью адресата. Один из самых близких, задушевных друзей Гоголя по гимназии, Высоцкий пользовался в ней репутацией человека остроумного, ироничного, наблюдательного и слыл неистощимым выдумщиком и мастером рассказывать смешные истории. П. А. Кулиш, первый биограф Гоголя, записавший воспоминания об учебе в Нежинской гимназии многих однокашников Гоголя и Высоцкого, констатировал: «Все юмористические прозвища, под которыми Гоголь упоминает

в своих письмах о товарищах, принадлежат г. В(ысоцкому). Он имел сильное влияние на первоначальный характер гоголевых сочинений. Товарищи их обоих, перечитывая „Вечера на Хуторе“ и „Миргород“, на каждом шагу встречают слова, выражения и анекдоты, которыми г. В(ысоцкий) смешил их еще в гимназии».¹ Мечты юного Гоголя о будущей его деятельности, стремление служить Отечеству, с такой силой и искренностью отразившееся в письмах к родным и друзьям, а также зарождающееся критическое отношение к действительности, по мнению В. Шенрока,² тоже результат общения будущего писателя с Г. Высоцким.

Несмотря на то что личность Г. И. Высоцкого и письма Гоголя к нему привлекали внимание и дореволюционных и современных ученых, введенные в научный оборот сведения о нем скудны и противоречивы.

Было известно, что Г. И. Высоцкий был старше Гоголя. Сейчас мы можем точно установить возрастную разницу. Высоцкий родился 17 декабря 1804 года.³ Предполагалось, что учился он в Полтавском уездном училище

¹ Кулиш П. А. Опыт биографии Н. В. Гоголя. СПб., 1854. С. 19.

² Шенрок В. И. Ученнические годы Гоголя: Биографические заметки. М., 1887. С. 60, 64.

³ ЦГИА СССР. Ф. 1343. Оп. 18. Д. 4904. Л. 33. Родовое дело Высоцких дает сведения и о месте рождения Высоцкого — село Недры Переяславского уезда Полтавской губернии.

шесть лет, с 1813-го по 1819 год (по два года в каждом классе); отсюда делался вывод о схоластической системе образования, не позволявшей даже способным ученикам усвоить программу.⁴ Опубликованные в последнее время «Дела Полтавского уездного училища» свидетельствуют о том, что учился Высоцкий в Полтаве с 1 августа 1817-го по 30 июня 1819 года,⁵ т. е. прошел обычный курс обучения (в Полтавском уездном училище он составлял два года).

Вряд ли можно говорить о дружбе Гоголя и Высоцкого во время учебы в Полтавском училище в 1818—1819 годах: слишком ощутима возрастная разница — 9 и 14 лет. Даже в Нежинской гимназии, по воспоминаниям А. Данилевского, Г. Высоцкий был гораздо авторитетнее Гоголя.⁶ Высоцкий поступил в гимназию несколькими месяцами раньше Гоголя, в январе 1821 года. Однокашниками его были В. И. Любич-Романович, П. Г. Редкин, В. В. Тарновский, ставшие впоследствии известными общественными и культурными деятелями. Гоголь учился в младшем классе и в низшем отделении по языкам (в гимназии общеобразовательные предметы изучались в классах, а языки — в отделениях). Однако преподавание ряда предметов (таких, как рисование, музыка и танцы, фехтование) для всего потока воспитанников, без деления на классы, делало возможным общение между учениками разных возрастов. К тому же принадлежность Гоголя и Высоцкого к замкнутой среде пансиона при гимназии, а также общие занятия в «музеех» (так назывались рабочие комнаты для приготовления домашних заданий пансионерами) предполагали неизбежные контакты между ними. Думается, свойственные обоим мальчикам умение подмечать смешное, наблюдательность и острый ум сблизили их в старших классах гимназии, когда возрастная разница стала ощущаться меньше. О том, кем был для него Высоцкий в годы учебы в гимназии, Гоголь писал: «... бесценный друг... ни к кому сердце мое так не привязывалось, как к тебе. С первоначального нашего здесь пребывания, уже мы поняли друг друга, и глупости людские уже рано сроднили нас; вместе мы осмеивали их и вместе обдумывали план будущей нашей жизни. Половина наших дум сбылась: ты уж на месте, уже имеешь сладкую уверенность, что существование твое не ничтожно, что тебя заметят, оценят,

а я... зачем нам так хочется скоро видеть наше счастье?».⁷

Известно, что все письма Гоголя к Высоцкому относятся к 1827 году. Они были написаны в Нежине и отправлены в Петербург, где после окончания гимназии в 1826 году находился адресат. Аттестат Высоцкого, хранящийся в родовом деле архива департамента герольдии, предоставляет возможность восстановить место и время службы Высоцкого в Петербурге: он служил в департаменте разных податей и сборов с 7 февраля 1827 года по 19 марта 1828 года.⁸ Как свидетельствуют документы, Высоцкий возвратился из Петербурга на родину и поселился в своем родовом имении в селе Недры. Зная дату выезда Гоголя на службу в Петербург — 13 декабря 1828 года (Т. 10. С. 15), — мы можем теперь уверенно говорить о том, что мечта друзей о совместной службе в Петербурге не осуществилась.

Сведения о дальнейшей судьбе Г. Высоцкого противоречивы. В списке студентов, окончивших курс в Гимназии высших наук кн. Безбородко, составленном Н. В. Гербелем, приводятся данные о том, что он был на военной службе.⁹ В рапорте директора Нежинской гимназии Д. Ясновского от 11 марта 1830 года в Петербург о месте службы бывших воспитанников гимназии сообщается, что Г. И. Высоцкий служит в канцелярии маршала Перяславского.¹⁰ Однако документы, поданные Высоцким в 1850 году в департамент герольдии для подтверждения его дворянского звания, сведений о его военной службе не дают, равно как и о гражданской.¹¹ Можно предположить, что он жил помещиком у себя в имении. Это косвенно подтверждается еще и тем фактом, что в 1850 году он оставался чиновником 14 класса.¹²

О последних годах жизни Высоцкого узнаем из воспоминаний его соседей по имению, опубликованных П. В. Владимировым. Они свидетельствуют о том, что Г. И. Высоцкий жил в своем имении еще в 60—70-е годы. Среди соседей пользовался славой большого насмешника и остряка; иногда свои шутки излагал и в стихах; интересовался естественными науками. Умер в начале 1870-х годов.¹³

Данных о встречах и общении Н. В. Гоголя и Г. И. Высоцкого после 1827 года в нашем распоряжении нет. Известно лишь, что впоследствии Гоголь пытался получить какие-либо

⁴ См.: *Иофанов Д. Н. В. Гоголь: Детские и юношеские годы.* Киев, 1951. С. 121.

⁵ *Федотов В. В.* Новые материалы о пребывании Н. В. Гоголя в Полтавском училище // *Вестник МГУ.* 1988. № 3. Филология. С. 59—60. Эти сведения подтверждаются данными аттестата, выданного Г. И. Высоцкому Полтавским уездным училищем и хранящегося в Отделе госархива Черниговской области в г. Нежине (далее сокращенно: Отдел ГАЧО в Нежине) — Ф. 377. Оп. 1. Д. 70. Л. 96.

⁶ См.: *Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский* // *Вестник Европы.* 1890. Январь. С. 82.

⁷ *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1940. Т. 10. С. 80. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

⁸ ЦГИА СССР. Ф. 1343. Оп. 18. Д. 4904. Л. 32.

⁹ Гимназия высших наук и Лицей кн. Безбородко. СПб., 1881. С. СXXX.

¹⁰ ЦГИА СССР. Ф. 733. Оп. 69. Д. 59. Л. 34.

¹¹ Там же. Ф. 1343. Оп. 18. Д. 4904 (Родовое дело).

¹² Там же. Л. 72.

¹³ См.: *Владимиров П. В.* Из ученических лет Гоголя. Киев, 1890. С. 10.

сведения о Высоцком. Просьба сообщить что-нибудь о нем содержится в письмах Гоголя к В. В. Гарновскому¹⁴ от 2 октября 1833 года и от 7 августа 1834 года (Т. 10. С. 279, 336).

Предпринятый нами фронтальный просмотр архива Нежинской гимназии позволил выявить новые подробности об обстоятельствах и лицах, упоминаемых в письмах Н. В. Гоголя к Г. И. Высоцкому. Это представляет интерес и в связи со своеобразием творческой личности Гоголя, писавшего в «Авторской исповеди»: «Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных» (Т. 8. С. 446).

Одним из наиболее часто упоминаемых в этих письмах лиц является Михаил Александрович Риттер (1809—1830) — однокашник Гоголя, жертва его мистификаций и обладатель наибольшего количества прозвищ в гимназии. Принадлежность прозвищ Барончик, Доримончик, фон-Фонтик, Купидончик, Мишель Дюсенька, Хопчики, Девинье М. А. Риттеру была установлена В. Шенроком на основании воспоминаний А. Данилевского.¹⁵

Биографические сведения о Риттере скудны. Известно, что, будучи учеником 7 класса, он поместил в «Дамском журнале» стихотворное послание к И. П. Симоновскому (№ 19, 1826),¹⁶ очевидно, при содействии активного автора этого издания, учителя латинского языка в гимназии И. Г. Кулжинского. Гимназические стихи Риттера были собраны Гоголем и выпущены в виде рукописного журнала под названием «Парнасский навоз». После окончания курса учебы в 1829 году Риттер служил по министерству финансов.¹⁷

Одно из упоминаний Гоголя о Риттере в письме к Высоцкому от 19 марта 1827 года («барон фон-Фонтик, табачный таможенный пристав, иначе заводчик кунжутного масла, служивший только что перед этим всем драгунским юнкерам подрядчиком в торговле, пьяный подрался с Канчотихою, судились в земском суде» — Т. 10. С. 86) было в свое время прокомментировано Д. Иофановым. «Похождения» Риттера, описанные Гоголем в письмах к Высоцкому, пишет исследователь, «сильно преувеличены. В действительности же гимназист Риттер никого не избивал. Томительная пошлость нежинской жизни, на которую часто жалуется

Гоголь в своих письмах», вызвала у юноши стремление юмористически скрасить серые нежинские будни.¹⁸ Это утверждение, думается, могут опровергнуть следующие любопытные документы, относящиеся к октябрю 1824 года.

1. «Его Высокородию директору И. С. Орлау от надзирателя Августа Амана. Рапорт: Во время вчерашнего моего дежурства во 2 музее пансионер Риттер ударил так сильно пансионера Ивана Пашенку, что сей с ног свалился, за что я велел Риттеру не выходить с угла, что он было и исполнил, но, раздумавшись, вышел самоуправно с места. Я представлял, что он должен виноваться, но он не внимал наказу. За таковое со стороны его упрямство и неповиновение я нашел принужденным оставить его без ужина; но в столовой он опять не слушался и силою брал кушанья. Когда я ему опять запрещал ужинать, то ученики 6 класса Платон Лукашевич и Данилевский закричали, что я не имею права наказывать ученика 6 класса, из которых Платон Лукашевич при всех громкогласно говорил, будто Вы, ваше Высокородие, сие сами объявили ему; так как я не смог укротить сих учеников, то имею честь вашему Высокородию о сем донести».¹⁹

2. «Его Высокородию директору И. С. Орлау от надзирателя Августа Амана. Рапорт: Вчерашний день во время ужина пансионер Риттер шумел за столом и непристойно сидел; когда дежурный надзиратель Адольф Аман представлял ему, что такое поведение не годится, то он ему всячески грубил. Другой надзиратель Перюн, тут же находившийся, начал ему выговаривать, он и ему нагрубил. После ужина я пришел во 2 музей, чтобы наказать Риттера за его грубости и неповиновение, велел ему стать на колена, но он в том мне не послушался. Я принужден был употребить угрозы, которые нимало не действовали, ибо он был подстрекаем нижеследующими заговорщиками: обоими Лукашевичами, обоими Сушковыми, Щербаком, Горленком, Данилевским, Закревским, Николаем Прокоповичем и Миницим;²⁰ видя, они все

¹⁸ Иофанов Д. Указ. соч. С. 258.

¹⁹ Отдел ГАЧО в Нежине. Ф. 377. Оп. 1. Д. 188. Л. 71.

²⁰ Лукашевич Аполлон Акимович (1808—1867) учился в Нежинской гимназии в 1821—1826 годах. См. о нем: *Модзалевский В. Л.* Малороссийский родословник. Киев, 1912. Т. 3. С. 207. Сушков Иван Васильевич (1807—1873) учился в Нежинской гимназии в 1823—1826 годах. См. о нем: *Павловский И. Ф.* К истории полтавского дворянства. Полтава, 1906. Вып. 1. Приложения. С. XXIX. Сушков Петр Васильевич (1808—1873) учился в Нежинской гимназии в 1823—1826 годах. См. о нем: *Павловский И. Ф.* Указ. соч. С. XXI. Горленко Андрей Яковлевич (р. 1811) учился в гимназии с 1822-го по 1825 год. См. о нем: *Модзалевский В. Л.* Указ. соч. Киев, 1908. Т. 1. С. 323. Закревский Николай Васильевич (р. 1808) учился в гимназии с 1822-го по 1830 год. См. о нем: *Модзалевский В. Л.* Указ. соч. Киев, 1910. Т. 2. С. 117—118 (в этой работе ему ошибочно приписаны

¹⁴ Гарновский В. В. — однокашник Г. И. Высоцкого по Нежинской гимназии, выпускник 1826 года. В 1833—1834 годах служил учителем истории в Житомирской гимназии.

¹⁵ Письма Н. В. Гоголя: В 4 т. / Под ред. В. И. Шенрока. СПб., 1901. Т. 1. С. 56.

¹⁶ На публикацию указал Н. Гербель. См.: Лицей князя Безбородко. СПб., 1859. С. 201. И. П. Симоновский — гимназический товарищ автора. Криптоном адресата послания расшифрован В. П. Авенариусом в работе «Гоголь-студент» (СПб., 1898. С. 111).

¹⁷ Гимназия высших наук и Лицей кн. Безбородко. С. СXXXII.

упорствуют, я позвал двух служителей, сказывая ему, что возьмут его и поставят на колена, если сам не повинуюсь; но коль скоро люди вошли в зал, вышенаименованные бунтовщики бросились и вытолкали их, говоря: не позволим мы его брать! несмотря что я и дежурный присутствовал. О чем сим имею честь донести Вашему Высочородию, прося приказать, какие меры должно взять для отвращения худих следствий от сих мятежников».²¹

Хотя фамилия Гоголя не упоминается в этих документах, есть все основания полагать, что подобные инциденты были известны ему не понаслышке. Плохие оценки по поведению «за шутовство, упрямство, неповиновение»²² стояли в журналах конференций гимназии и возле его фамилии. Все упоминаемые в рапорте лица относятся к числу людей, составлявших ближайшее окружение Гоголя в Нежине. П. Лукашевич, И. Сушков и Данилевский были в октябре 1824 года однокашниками Гоголя и М. Риттера, учениками 6 класса; остальные — А. Лукашевич, П. Сушков, М. Щербак, А. Горленко, Н. Закревский, Н. Прокопович и А. Миницкий — учились в 4 классе. Некоторые из них остались друзьями Гоголя на протяжении всей его жизни. Выступающий в роли одного из главных «мятежников» в цитируемых документах М. А. Риттер после окончания курса гимназии в 1829 году уехал в Петербург, где поступил на службу в канцелярию правления Государственного земельного банка,²³ входил в «нежинское братство» в Петербурге — т. е. в кружок нежинцев, который группировался там вокруг Гоголя в конце 20-х — начале 30-х годов.²⁴ С Платоном Акимовичем Лукашевичем (1806—1887), ставшим впоследствии этнографом, издателем фольклора, филологом, писателем связывали общие литературные интересы. Он упоминается в письмах Гоголя вплоть до 1839 года. Александр Семенович Данилевский (1809—1888), которого Гоголь считал «роднее родного брата», был другом его детства и юности. Вместе они учились в Полтавском уездном училище, вместе после окончания Нежинской гимназии отправились на службу в Петербург, потом переписывались, поддерживали дружеские отношения до конца жизни писателя. В 1884 году Данилевский сообщил В. И. Шенроку, готовившему «Материалы к биографии Н. В. Гоголя», большое количество сведений о нежинском окружении Гоголя. Ставший поэтом, литерату-

труды другого Н. В. Закревского (1805—1871), археолога и этнографа). Миницкий Александр Осипович (р. 1808) учился в гимназии в 1820—1826 годах.

²¹ Отдел ГАЧО в Нежине. Ф. 377. Оп. 1. Д. 188. Л. 70.

²² Гимназия высших наук и Лицей кн. Безбородко. С. 48.

²³ Отдел ГАЧО в Нежине. Ф. 377. Оп. 1. Д. 22. Л. 102.

²⁴ См.: Гиллельсон М. И., Мануйлов В. А., Степанов А. Н. Гоголь в Петербурге. Л., 1961. С. 17.

ром, талантливым преподавателем, издателем произведений Н. В. Гоголя, Николай Яковлевич Прокопович (1810—1857) был вторым его ближайшим другом, помогавшим во все трудные периоды жизни. С Иваном Григорьевичем Пашенко (1810—1848), упоминавшимся в первом рапорте, служившим после окончания гимназии в министерстве юстиции, Гоголь и Прокопович жили на одной квартире в доме Иохима на Мещанской в Петербурге. Михаил Михайлович Щербак, названный во втором документе, был родственником Н. В. Гоголя.²⁵

Данные документы проливают свет и на атмосферу, которая царил в Нежинской гимназии в середине 20-х годов и в которой воспитывался Гоголь. Она была частью всеобщей атмосферы брожения, сопутствовавшей нарастанию общественного подъема в России. Реакцией властей было обвинение любого непокорного в «бунте» и «вольномудстве». За определениями «бунтовщики», «мятежники», употребленными надзирателем А. Аманом в его рапортах, не стояло никакого реального политического содержания — но показателен сам факт неповиновения целой группы воспитанников, демонстративный акт утверждения своей независимости. Повод для такой демонстрации не столь важен — она сама по себе создавала своего рода психологический субстрат, на котором формировалось чувство самосознания, вырастали свободолюбивые настроения. Таким образом, предпосылки для возникновения в 1827 году в Нежинской гимназии «дела о вольномудстве» накапливались исподволь. К этому времени в гимназии распространяются лирика Пушкина, Рыльева, «Горе от ума» Грибоедова, разучивается «Марсельеза». Упоминаемые в рапорте Амана Н. Прокопович и А. Данилевский распевают песню «О боже, коль ты еси, всех царей с грязью меси», вызвавшую, как известно, жестокие политические преследования.²⁶ В. Любич-Романович, Г. Высоцкий, И. Кобеляцкий и П. Баранов обвиняются в распространении слухов о том, что «у нас скоро будет перемена хуже, чем во Франции, и все полетит кверху дном».²⁷ Все это ныне известно после тщатель-

²⁵ М. М. Щербак (р. 1808) учился в гимназии с 1820-го по 1826 год. Сохранилось прошение отца Щербака, содержащее просьбу отпустить в июне 1821 года на вакантное время домой его сына, а также сына его родственника, коллежского асессора Яновского. См.: Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 315.

²⁶ Машинский С. Н. В. Гоголь и дело о вольномудстве. М., 1959. С. 155—191. См. также комментарий С. А. Рейсера в кн.: Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX века. Л., 1970. С. 827—828.

²⁷ В более полном варианте, чем в указ. соч. С. Машинского, документ опубликован в кн.: Байцура Т. Иван Семенович Орлай: Жизнь и деятельность. Словацкое педагог. изд-во в Братиславе; Отд. украинской литературы в Пряшове, 1977. С. 152.

ных разысканий С. И. Машинского и других исследователей, изучавших «дело о вольнодумстве» в Нежинской гимназии, относящиеся к 1827—1830 годам.

Нам важно сейчас расширить круг имеющихся сведений о нежинских знакомых Гоголя, упоминавшихся в его письмах к Г. И. Высоцкому. Так, И. Кобеляцкий, названный выше, фигурирует в письме к Г. Высоцкому от 26 июня 1827 года. В комментариях к этому письму мы находим о нем лишь отрывочные сведения. Из воспоминаний А. Данилевского, записанных В. Шенроком, было известно, что Кобеляцкий был его и Гоголя однокурсником, который перевелся в Царскосельский лицей. В статье Н. Лавровского о Гимназии высших наук в Нежине были приведены отметки его на одном из выпускных экзаменов.²⁸ В комментариях к академическому собранию сочинений Гоголя указано только: «Кобеляцкий Иван Николаевич — однокурсник Гоголя; гимназии не окончил» (Т. 10. С. 410). Между тем И. Н. Кобеляцкий (1806—после 1850) был в числе тех гоголевских однокурсников, чья биография обнаруживает точки соприкосновения не только с нежинской, но и с петербургской биографией Гоголя. В Нежине он был старожилом гимназического пансиона (поступил в ноябре 1820 года), одним из самых недисциплинированных воспитанников. Курс гимназии он действительно не окончил. В октябре 1826 года был уволен по прошению матери. В связи с этим в журнал конференции гимназии была внесена следующая запись: «Неоднократно был отмечаем инспектором и надзирателем пансиона в дурном поведении, за которое хотя был уже наказан, не подает надежды к исправлению. Уволить из гимназии».²⁹ Бумаги гимназии полны рапортов преподавателей и надзирателей, в которых отмечается «весьма дурная и нетерпимая ни в каком обществе нравственность». Отмечается, что «они в чем не хотят виноваться надзирателям, делает все по своей воле. . . даже во все вышеуказанные дурные качества других своих товарищей старается вовлечь, а кои на сие не склоняются, таковым грозит своими кулаками» (из рапорта надзирателя Капитона Павлова от 9 мая 1824 года).³⁰ В рапорте другого надзирателя, Адольфа Амана, директору гимназии от 3 октября 1824 года читаем: «На требование Вашего Высокоблагородия, отчего в 3-й спальне стекло разбито, имею честь донести, что воспитанник гимназии Иван Кобеляцкий, рассердясь на Николая Думитрашко, бросил в него сапогом, но вместо его попал в окошку и разбил стекла».³¹

Последний рапорт может дополнить еще один любопытный документ — о распределении в 1823 году воспитанников пансиона по спаль-

ням. В нем помещены списки пансионеров каждой из четырех спален гимназии и указаны ответственные надзиратели за каждой. Так, в третьей спальне под надзором Егора Зельднера находились: С. Коханович, И. Кобеляцкий, Н. Миллер, В. Любич-Романович, Н. Думитрашко, Н. Данченко, Н. Яновский, Н. Григоров, П. Матушинский, А. Миницкий, И. Халцинский, П. Бардовский, А. Пузыревский, П. Богаевский.³² Как видно из документа, по спальням пансионеры распределялись независимо от того, в каком классе и в каком отделении по языкам находились. Этот факт позволяет говорить о свободном общении пансионеров всех возрастов. Гоголь, находясь в 3-й спальне, очевидно, часто наблюдал «подвиги» Кобеляцкого. Упоминание о нем в письме к Высоцкому и попытка узнать что-нибудь о его местопребывании в 1827 году свидетельствуют о том, что судьба его была неразлична Гоголю. Небезынтересна дальнейшая биография Кобеляцкого. С 1827-го по 1831 год он служил канцеляристом в Царскосельском дворцовом правлении.³³ В 1833 году Гоголь упоминает его в письме к В. В. Тарновскому в числе нежинских «одноборщников», находившихся в то время в Петербурге. Таким образом, можно говорить о Кобеляцком как об одном из членов «нежинского братства» в Петербурге.³⁴

В письме от 19 марта 1827 года к Высоцкому находим упоминание еще об одном гимназическом товарище Гоголя — Николае Ивановиче Герарде: «Ты видел Герарда, сделай милость, напиши, где он теперь; он был когда-то из числа немногих друзей моих, не забыл ли он меня? так ли привязан, как прежде? и зачем он ко мне не напишет?» (Т. 10. С. 87). Судя по письму, Герард был одним из близких друзей Гоголя в младших классах гимназии. Фамилию его, с указанием даты поступления в гимназию (11 января 1821 года), находим в списках пансионеров этого учебного заведения, опубликованных И. А. Сребницким.³⁵ Архивные разыскания позволили восстановить основные вехи биографии этого товарища Гоголя.

Николай Иванович Герард (1808—1839) был из дворян Могилевской губернии. В Нежинской гимназии учился с января 1821-го по июнь 1823 года.³⁶ Очевидно, был одним из сильных учеников, так как в 1822 году был в 5 классе,

³² Там же. Д. 156. Л. 14.

³³ ЦГИА СССР. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 4224. Л. 15. (Прошение И. Н. Кобеляцкого в департамент герольдии о подтверждении его дворянского звания).

³⁴ Среди 25-ти «однокорытников» Гоголя по Нежину, составлявших «нежинскую колонию» в Петербурге, имя Кобеляцкого обычно не называлось. См.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 427; *Гиллельсон М. И., Мануйлов В. А., Степанов А. Н.* Указ. соч. С. 80.

³⁵ Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 316.

³⁶ Отдел ГАЧО в Нежине. Ф. 377. Оп. 1. Д. 57. Л. 19—20.

²⁸ См.: Письма Н. В. Гоголя: В 4 т. Т. 1. С. 76.

²⁹ ЦГИА УССР. Ф. 2162. Оп. 1. Д. 454. Л. 5.

³⁰ Отдел ГАЧО в Нежине. Ф. 377. Оп. 1. Д. 188. Л. 69.

³¹ Там же. Л. 59.

а по языкам в 3 отделении.³⁷ Однокашниками его были Г. Высоцкий, В. Любич-Романович, П. Редкин, В. Тарновский. Как свидетельствует послужной список Н. И. Герарда,³⁸ в марте 1825 года он был определен на службу в лейб-гвардии Егерский полк. В описании его боевых походов читаем: 5 апреля 1828 года выступил с полком из Петербурга и следовал до реки Дунай. После переправы через нее 10 сентября был в сражении против турок при крепости Варна. За храбрость был награжден орденом св. Анны 3-й степени с бантом. Находился при Варне до взятия крепости, откуда 9 февраля 1830 года возвратился в Петербург. За турецкую кампанию получил серебряную медаль на георгиевской ленте. В начавшуюся польскую войну с 27 декабря 1830 года вместе с полком следовал в Польшу. До 24 февраля 1831 года участвовал во многих боевых операциях, где проявил мужество и героизм. Был в сражении при взятии штурмом укреплений и города Варшавы. Получил чин поручика. За польскую кампанию был награжден орденом св. Владимира 4-й степени с бантом и медалью за штурм Варшавы. В феврале 1832 года Н. Герард уволился от службы и с тех пор жил в своем имении в с. Демьянках Гомельского уезда Могилевской губернии. Один из его сыновей, Владимир Николаевич Герард, стал известным правоведам и адвокатом.

Сведений о встречах Гоголя с Н. И. Герардом после выхода последнего из Нежинской гимназии не сохранилось.

В числе своих близких друзей Гоголь в том же письме к Высоцкому называет и некоего Власенко (Т. 10. С. 88). Фамилия эта никогда не комментировалась. В академическом собрании сочинений Гоголя указывается: «О Власенко сведений не сохранилось» (Т. 10. С. 408). Обращение к архивным источникам позволяет, однако, восстановить его биографию. Аполлон Павлович Власенко (1806—после 1878) происходил из дворян Борзнянского уезда Черниговской губернии. В Нежинской гимназии учился с февраля 1822-го по август 1830 года. В отличие от всех упоминавшихся ранее товарищей Гоголя Власенко был не пансионером, а вольноприходящим (т. е. во время учебы жил на квартире в городе).

Его фамилия отсутствует в списке выпускников гимназии, составленном Гербелем, хотя он окончил полный курс. Объясняется это тем, что фактически курс гимназии Власенко окончил в 1827 году, но болезнь помешала ему сдать выпускные экзамены и получить чин. С 1827-го по 1830 год занятий он не посещал, а в августе 1830 года экстерном сдал экзамены и получил право на чин 12 класса.³⁹ Во время учебы в гимназии Власенко был одним из самых блестящих ее учеников. В 1825 году на переводных экзаменах удостоен похвального листа и

книги,⁴⁰ а в 1826 году заслужил право вписать свое имя в только что учрежденную в гимназии «Книгу чести».⁴¹ Следует отметить, что кроме него в 1826 году в книге записаны всего два ученика: А. Божко и К. Базили.

После окончания гимназии А. Власенко служил непререваемым заседателем Борзнянского уездного суда, затем в уездном полицейском управлении. В середине 70-х годов избирался уездным предводителем дворянства. Жил в своем имении Мартыновка в том же уезде.⁴²

Еще одно лицо из нежинского окружения Гоголя появляется в письме к Высоцкому от 26 июня 1827 года в контексте, не поддающемся полному раскрытию: «У нас теперь у Нежине завелось сообщение с Одессою посредством парохода, или брички Ванькина. Этот пароход отправляется отсюда ежемесячно с огурцами и пикюлями и возвращается набитый маслинами, табаком и гальвою» (Т. 10. С. 99). Фамилия «Ванькин» впервые была прокомментирована Е. В. Фрейдель и Г. М. Фридлендером,⁴³ сообщившими, что Ванькин — это купец в Нежине. Дополнить это сообщение могут следующие сведения. С августа 1824-го по ноябрь 1826 года в гимназии учился Аполлон Иванович Ванькин (р. 1813).⁴⁴ Отец этого Ванькина был тульским купцом, проживавшим в Нежине. Курса Аполлон Ванькин не окончил в связи с переводом его в одесский Ришельевский лицей.⁴⁵ Можно предположить, что отец его, имевший возможность установить торговые контакты между Нежином и Одессой, организовал сообщение между этими городами, чем пользовались и служащие гимназии.

Помимо вопросов и сообщений о воспитанниках гимназии письма Гоголя к Высоцкому содержат целый ряд упоминаний о преподавателях и служащих. Чаще всего упоминается фамилия надзирателя Ивана Григорьевича Демирова-Мышковского; по-видимому, корреспондент и адресат были связаны с ним теснее, чем с другими. Было известно только, что И. Г. Мышковский служил в гимназии в 1825—1826 годах.⁴⁶ Теперь эти сведения можно дополнить. Он приехал в Нежин в сентябре 1824 года из Каменец-Подольского, где служил протоколистом в канцелярии Каменец-Подольского епископа, а также учителем латинского, немецкого и русского языков.⁴⁷ От должности

⁴⁰ Отдел ГАЧО в Нежине. Ф. 377. Оп. 1. Д. 81. Л. 66.

⁴¹ «Liber Honoris» в настоящее время утрачена. См. описание ее в кн.: Изв. Историко-филол. ин-та кн. Безбородко в Нежине. Нежин, 1900. Т. 18. С. 115—116.

⁴² ЦГИА СССР. Ф. 1343. Оп. 18. Д. 2955. Л. 14.

⁴³ Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1967. Т. 7. С. 434.

⁴⁴ ЦГИА УССР. Ф. 2162. Оп. 1. Д. 361. Л. 5.

⁴⁵ Отдел ГАЧО в Нежине. Ф. 377. Оп. 1. Д. 88. Л. 100.

⁴⁶ См.: Лицей князя Безбородко. С. 144.

⁴⁷ Отдел ГАЧО в Нежине. Ф. 377. Оп. 1. Д. 78. Л. 7.

³⁷ Там же. Д. 67. Л. 1—6.

³⁸ ЦГИА СССР. Ф. 1343. Оп. 19. Д. 1294. Л. 29—32.

³⁹ ЦГИА УССР. Ф. 2162. Оп. 3. Д. 3. Л. 64.

надзирателя в Нежинской гимназии был уволен в марте 1826 года по прошению в связи со слабостью здоровья.⁴⁸ Однако настоящую причину увольнения объясняют следующие строки письма: «Семенович Орлай, который теперь обретается в Одессе, подманил отсюда Демирова-Мышковского. . .» (Т. 10. С. 99). Действительно, перемещение в 1826 году директора гимназии И. С. Орлая в Одессу на должность директора Ришельевского лицея повлекло за собой выезд за ним в Одессу части воспитанников и служащих гимназии. Среди них были упоминавшийся выше Аполлон Ванькин и надзиратель Демиров-Мышковский.

Контекст, в котором Демиров-Мышковский упоминается в письмах Гоголя к Высоцкому, дает основания предположить, что он был экзотической фигурой: «Демиров-Мышковский здравствует, духом бодр (знает подкреплять его), всегда дежурит у нас и всегда иллюминирован красными огнями, за которую однако же иллюминацию открывают ему обширный путь из гимназии во все закоулки многолюдного мира» (Т. 10. С. 86). Секрет его популярности среди гимназистов раскрывают воспоминания В. В. Толбина о П. Г. Редкине, однокашнике Г. И. Высоцкого, ставшем впоследствии известным педагогом, юристом, профессором Московского и Петербургского университетов. Во время учебы в гимназии П. Г. Редкин снимал комнату в квартире Демирова-Мышковского, надзору которого он, как вольноприходящий ученик, был поручен. В этой комнате в свободное от занятий время сосредоточивался центр культурной жизни воспитанников гимназии. Здесь Редкин «вместе с другими тремя товарищами — Базили, Кукольниковом и Тарновским — предприняли огромный труд: возможно полное сокращение всеобщей истории, изданной обществом английских ученых и состоящей из нескольких десятков кварталов. Труд этот, хотя и не был окончен, много способствовал не только основательному изучению русского и французского языков, но и развитию исторического смысла, а главное, приучал к ученым занятиям».⁴⁹ Здесь же «постоянно собирался кружок товарищей-журналистов, издателей рукописных журналов и альманахов, для чтения и критической оценки заключавшихся в них статей. В этих ученических изданиях впервые началось литературное поприще впоследствии известных наших писателей: Гоголя, Кукольника, Базили и других, составивших себе имя в литературе».⁵⁰ Нетрудно догадаться, что «надзор» со стороны Демирова-Мышковского (страдавшего к тому же запоями) был минимальным, и это вполне устраивало его юных подопечных.

Вторым центром сосредоточения культурной жизни гимназистов, который, как вспоминал Н. Кукольник,⁵¹ играл важную роль в их жизни,

была больница. По свидетельству А. Данилевского, записанному В. Шенроком, упоминавшийся в одном из писем Гоголя к Высоцкому Евлампий, по кличке Гусь (Т. 10. С. 103), был фельдшером, служившим при гимназической больнице.⁵² С именем Евлампия у Гоголя и Высоцкого было связано много общих воспоминаний. Тот же А. Данилевский вспоминал, что больница в гимназии была «своего рода клубом», где завсегдаем был друг Гоголя Высоцкий, находившийся там почти постоянно из-за болезни глаз.⁵³ Любил этот «клуб» и Гоголь и часто придумывал причины, чтобы оставаться там подольше. Так, в воспоминаниях Кукольника находим любопытный эпизод об имитации Гоголем сумасшествия, в результате которой он был помещен в больницу и провел там немало времени под присмотром директора И. С. Орлая, врача Карла Фибинга и Евлампия.⁵⁴ Объясняя популярность больницы среди воспитанников гимназии, Кукольник говорил, что кроме прелести уединенного уголка, где можно было скрыться от назойливой опеки надзирателей, больница представляла еще и «все удобства для экскурсий. . . подсунил Евлампию мадам Радклиф со всеми ужасами разных аббатств и ступай себе куда хочешь».⁵⁵

Архивы позволяют установить несколько фактов биографии Евлампия. Евлампий Поляков с 1822 года состоял при больнице Нежинской гимназии цирюльником, затем фельдшером.⁵⁶ Он был крепостным человеком пансионера Николая Григорова.⁵⁷ Нужно отметить, что многие пансионеры приезжали в гимназию со своими крепостными, которые вместе с присмотром за своими юными хозяевами несли какую-нибудь службу в гимназии. Так, крепостной слуга Гоголя из Васильевки Семен Стокоза,⁵⁸ которого называли Симон, был в гимназии поваром. О взаимоотношениях Гоголя и Симона свидетельствует письмо к родителям от 14 августа 1821 года: «Не забудьте также доброго моего Симона которой так старается обо мне что не

⁵² Шенрок В. И. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение инициалов и других сокращений в изданиях Кулиша. 2-е изд. М., 1888. С. 16.

⁵³ Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский. С. 82.

⁵⁴ Гимназия высших наук и Лицей кн. Безбородко. С. 199.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ ЦГИА УССР. Ф. 2162. Оп. 1. Д. 276. Л. 249.

⁵⁷ Отдел ГАЧО в Нежине. Ф. 377. Оп. 1. Д. 98. Л. 86.

⁵⁸ В комментариях к полному собранию сочинений Гоголя указано, что «Симон был неотлучно при Гоголе в гимназии в 1821—1826 гг.; последнее упоминание о Симоне в письмах Гоголя встречаем в 1826 г.» (Т. 10. С. 389). Однако архивные данные свидетельствуют о том, что Семен Стокоза служил в гимназии до 25 июля 1828 года, т. е. до выхода Гоголя из гимназии (Отдел ГАЧО в Нежине. Ф. 377. Оп. 1. Д. 183. Л. 4).

⁴⁸ ЦГИА УССР. Ф. 2162. Оп. 1. Д. 493. Л. 1.

⁴⁹ Гимназия высших наук и Лицей кн. Безбородко. С. 443.

⁵⁰ Там же.

⁵¹ Там же. С. 199.

прошло ни одной ночи чтобы он не увещевал меня не плакать об вас Дражайшие родители, и часто просиживал по целой ночи над мною уже его просил чтоб он пошел спать но никак не мог его принудить» (Т. 10. С. 35).

Евлампий Поляков был почти ровесником своих подопечных (родился около 1805 года). То обстоятельство, что он был крепостным человеком Николая Григорова, однокашника и близкого приятеля Н. В. Гоголя, с которым они вместе играли в гимназических спектаклях,⁵⁹ позволяет предположить в Евлампии опекуна и помощника Гоголя, Григорова и Высоцкого не только в больнице, но и в повседневных гимназических занятиях и увлечениях. И не в гимназической ли больнице Гоголь и Высоцкий обдумывали планы будущей их жизни, делились мечтами, сочиняли сатиру «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», вели длинные дружеские беседы, которых после отъезда Высоцкого в Петербург так не хватало Гоголю и продолжением которых стали его обширные послания другу? За блестящими юмористическими пассажами, в которых все наполнено намеками и метафорическими описаниями, понятными только им двоим, скрываются портреты реальных людей, события, происходившие в реальной жизни: «...и по сему поводу пароход совершил седьмую экспедицию для взятия в пассажиры Мышковского, а на место его в гувернеры высадил директорскую ключницу, ростом в сажен с половиною, которая привела было в трепет всю челядь гимназии высших наук к. Безбородко, пока один Бодяня не доказал, что русский солдат чорта не боится, и в славном сражении при Шурше оборотил передние ее челюсти на затылок» (Т. 10. С. 99). Имя ключницы, появившейся в штате гимназии в 1827 году и приведшей в такое замешательство «челядь гимназии», восстанавливается по «Книге учета выдачи денежных средств преподавателям и служащим гимназии».⁶⁰ Это Марта Крейлинг. Что же каса-

ется имени Бодяня, дважды упоминавшегося в письмах Гоголя к Высоцкому, то это скорее всего прозвище, и принадлежит оно сторожу гимназии Кириллу Колбасе, 1767 года рождения. Он, единственный из сторожей гимназии, был отставным солдатом, вольнонаемным.⁶¹ Кроме него постоянными сторожами в гимназии служили Иван Белодедов и Осип Хрушев, оба 1775 года рождения.⁶² Возможно, одному из них принадлежит прозвище Мигалыч,⁶³ упоминаемое в первом письме Гоголя к Высоцкому.

В этом же ряду следует упомянуть еще буфетчика Марко, как пишет Гоголь, «прежнего фаворита» Высоцкого, который кланяется ему вместе «с своею красною женою» (Т. 10. С. 103). Документы свидетельствуют, что буфетчиком в гимназии в то время служил «очень способный к сему роду службы» Марко Поздняков;⁶⁴ жена же его, Феодосья Позднякова, была гимназической кастеляншей.⁶⁵

Этим исчерпываются архивные данные, непосредственно относящиеся к комментируемому письму. Естественно, они не могут дать ответ на все вопросы, возникающие у биографа. Однако и то, что может быть извлечено из ведомственных архивов, как представляется, обогащает скудную фактическую базу ранней биографии Гоголя и вместе с тем дает более широкую возможность изучения тех материалов, которые не привлекали еще к себе достаточного внимания исследователей.

⁶¹ Там же. Д. 98. Л. 86.

⁶² Там же. См. также: Там же. Д. 175. Л. 29.

⁶³ Представляется бесосновательным возведение этимологии прозвища Мигалыч к слову Магарыч (см.: Николаев Д. Сатира Гоголя. М., 1984. С. 46). Кажется более вероятной связь его с названием одного из предместий Нежина — Мигалевки (возможно, сторож был из этого предместья).

⁶⁴ ЦГИА УССР. Ф. 2162. Оп. 1. Д. 435.

Л. 62.

⁶⁵ Отдел ГАЧО в Нежине. Ф. 377. Оп. 1. Д. 9. Л. 21.

НОВОНАЙДЕННОЕ ЛИБРЕТТО А. А. ФЕТА «ДНЕПРОВСКИЕ РУСАЛКИ»

(ПУБЛИКАЦИЯ М. Д. ЭЛЬЗОНА)

Публикуемое либретто обнаружено мною в отделе рукописей Центрального государственного театрального музея им. А. А. Бахрушина. Оно находится в особом собрании произведений этого жанра.¹ В отдельную единицу хранения выделена достаточно объемная режиссерская разработка «Замечания на счет постановки на сцену драматического музыкального сочине-

ния».² Либретто с подзаголовком «Слова Фета» написано рукой переписчика, равно как и «Замечания» к нему, и, судя по внешним признакам, относится к середине прошлого века, скорее, к концу его первой половины.

Казалось бы, то, что либретто записано не рукой автора и при фамилии отсутствуют инициалы, может дать основание усомниться в

¹ ЦГТМ им. А. А. Бахрушина. Ф. 572. № 146153.

² Там же. № 146152.

авторстве А. А. Фета. Однако больше оснований думать, что публикуемый текст — раннее достаточно крупное произведение начинающего поэта. Прежде всего, из биографии А. А. Фета известен опыт в драматургическом роде — водевиль для бенефиса М. С. Щепкина (декабрь 1840 года).³ Известно также, что в местном, елисаветградском обществе, куда был вхож корнет А. А. Фет, устраивались любительские спектакли (в частности, в 1847 году), в которых А. А. Фет мог принимать участие в качестве драматурга.⁴

Следует учитывать и такие обстоятельства, как редкость фамилии, как то, что либретто относится ко времени, когда слава А. А. Фета была не столь велика, чтобы мистифицировать читателя.

Сказанное позволяет прийти к выводу, что публикуемое либретто является достоверным произведением А. А. Фета начального периода его творчества. Авторство режиссерских «Замечаний» для данной публикации не представляется существенным.

ЛИБРЕТТО
музыкального драматического сочинения

Днепровские русалки

Слова Фета

музыкальное драматическое сочинение

Пение наяд на воде

Спешите! К нам, подруга, на голос приветный,
Сквозь зелень осоки, не бойся, вперед!
Земля ваша счастьем скудна, безответна,
А полное счастье в зыбях лишь живет.

Девы

Сестра, дорогая, не слушай ундин,
Вся нега подводная — призрак один.
На лоне спокойном таинственных вод
Волна нас охватит и вглубь унесет.

Волна кипит,
Из волн манит
Напев!
Но кто пойдет
За ним, умрет
Из дев!

Хор

Чего страшиться?
Пускай река клокочет,
Мы далеко от бед!
Чего страшиться?
Здесь сердце счастья хочет!
Здесь греет солнца свет!

Дуэт

На солнце в утреннем дыханье,
В отрадном трав благоуханье
Минуты счастья лови.
Когда леса полны напевом,
О, как отраднo юным девам,
Как сердцу хочется любви.

Под тайный шепот сладострастья,
Полна живительного счастья,
Душа готова мир обнять,
И без тревоги, без усилья
Ее несут младые крылья,
Лелеет жизни благодать.

Хор

Нам божий мир на радость дан,
А если где и ждет преграда,
На небе страждущих награда —
Душевных исцеленье ран!

Но чу! Во мгле лесов я слышу хор ловцов!
Они толпой сюда спешат,
Как их рогов гремит раскат!

Хор охотников

Го, го, го, го! спешите, ловец!
Пора, пора, пора!
В лесу охотник молодец
Тара, тара, тара!

Разудалая голова —
Царем в лесу живешь,
Ему все в мире трын-трава
Вперед, друзья, вперед!

Го, го! го, го! Спешите, ловец,
В лесу охотник молодец
Тара, тара, тара.

Один из охотников

Смотрите! В приюте прохлады лесной
Я вижу красавиц пленительный рой.

Охотники

О радость, о радость!
Трубите отбой и охоте конец,
Такая находка — добычи венец!

³ См.: Блок Г. П. Летопись жизни А. А. Фета / Публикация Б. Я. Бухштаба // А. А. Фет: Традиции и проблемы изучения. Курск, 1985. С. 144.

⁴ Там же. С. 149.

Д е в и ц ы

Русалок мы встретили здесь над рекой,
Нас пеньем и взором манили оне,
Они издевались над грустной землей,
Нам полное счастье суля в глубине!
Хотели в пучину сманить за собой,
Но быстро мы в чаще сокрылись лесной.

О х о т н и к и

Их радость обманчива, счастье лениво,
Их муки волна прикрывает ревниво.

Д е в и ц ы

Скажите, кто знает русалок семью?

О д и н и з о х о т н и к о в

Послушайте страшную повесть мою.

Вот там, где Днепр глубокий
О дикий берег бьет
И темный бор сосновый
Того гляди зальет,

Как будто бы враждую
С упрямою скалой,
Под нею, слышно, омут
Сам вырыл водяной.

Там замок красовался,
В нем мирно жизнь цвела,
И в замке том Людмила
С подружками жила.

Она цвела красую,
Полна волшебных нег,
Была как пред зарею
В ночи упавший снег.

Две звездочки горели
Из-под ресниц густых,
Румянец свежей розы
На губках молодых.

Как сумрак ночи кудри
Волною до плеча,
И вся как полдень мая
Нежна и горяча.

Рыбак, пастух и воин,
Не в силах превозмочь
Желанья, шли в тот замок
Вкушать блаженства ночь.

Но только звезд последних
Бледнел золотой венец,
В волнах Днепра качался
И к югу плыл мертвец.

Х о р

О, что за демон! в красе неземной
На век обреченный погибели злой,
Кто чувство святое любви осквернит,
Навеки проклятье того поразит.

О д и н и з о х о т н и к о в

Однажды юный витязь
Весь в белом на коне
В тот замок поздней ночью
Явился при луне.

Но кто тот витязь белый,
Откуда прискакал?
И что случилось в замке?
Никто о том не знал.

С зарею все исчезло
На склоне сонных гор,
И где белел там замок —
Один синее бор.

И где стоял тот замок,
У той скалы крутой,
Днепра сильнее ропот
И волн страшней прибой.

Людмила очутилась
С подружками в реке,
Царит, как прежде в замке
Царица, в тростнике.

И много жертв сманили
В пучину за собой
Днепровские русалки
С царицей молодой.

Д е в и ц ы

Послушай, как чудесен
Мотив волшебных песен.

Х о р

Пойте, славьте счастье ваше,
Мы ушли, пропал весь страх,
К вам уж глухо сердце наше,
Счастье ждет нас в небесах.

НЕКРАСОВ И ВОЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ «СОВРЕМЕННОКА»

Воссоздание истории взаимоотношений Некрасова с сотрудниками его журналов потребует огромных усилий большого коллектива исследователей. На сегодняшний же день достаточно глубоко изучены лишь отношения Некрасова с ближайшими к нему литераторами — Тургеневым, Белинским, Чернышевским, Добролюбовым, Салтыковым-Щедриним — и некоторыми (очень немногими) писателями «второго ряда».

Вопрос о связях Некрасова с *военными* писателями заслуживает особого внимания как один из аспектов другой малоработанной проблемы: «Война и народ в творчестве писателей „Современника“».

В этой статье речь пойдет о трех очень разных по масштабу и характеру дарования писателях, чьи отношения с «Современником» исследованы еще не в полной мере, а в одном случае и вообще не затрагивались некрасоведами. Начнем именно с этого, еще не привлекавшего внимания специалистов, эпизода истории некрасовского «Современника», который и хронологически предшествует двум, рассматриваемым далее.

Михаил Алексеевич Ливенцов (1825—1896), профессиональный и потомственный военный, служил в первой половине 1850-х годов в Грузинском гренадерском полку на Кавказе. Заслуги Ливенцова на литературной ниве значительно скромнее его военных заслуг (он дослужился до чина генерал-лейтенанта): в периодике 1850—1860-х годов рассеяно несколько его повестей, очерков, военных мемуаров, давно и справедливо забытых историками литературы. Несколько больший интерес представляют лишь воспоминания Ливенцова об А. В. Дружинине, написанные в ответ на воспоминания А. В. Старчевского.

Дружинин был тем влиятельным литератором, с помощью которого Ливенцов вошел в русскую журналистику. «В 1851 году, — вспоминал Ливенцов, — на курсе минеральных вод в Пятигорске случайно познакомился я и скоро сошелся с А. В. Дружининым. Все лето провели мы неразлучно. Александр Васильевич уговорил меня попытать силы на литературном поприще, обещаясь принять на себя все хлопоты по помещению в журналах моих статей и по заключению условий с редакциями. Расставаясь, он взял с меня слово к концу года прислать повесть, и непременно из местных кавказских или грузинских нравов. До декабря я отправил к Александру Васильевичу обещанное мое первое рукоделие...»¹

Дружинин, как известно, был в эту пору одним из активнейших сотрудников «Современ-

ника», регулярно помещавшим в журнале не только свои «Письма иногороднего подписчика», но и художественные произведения. Однако в 1851—1852 годах «иногородний подписчик» и редакция «Современника» несколько охладели друг к другу.² Продолжая помещать в некрасовском журнале беллетристические произведения,³ Дружинин в апреле 1851 года перенес печатание своих «Писем» в «Библиотеку для чтения». О. И. Сенковский и А. В. Старчевский предложили ему взять на себя любой из отделов журнала; Дружинин обязался поставлять для «Библиотеки» «Письма иногороднего подписчика» и печатать в ней свои повести и рассказы. «Мы рассчитывали, — вспоминал впоследствии Старчевский, — что с переходом к нам из „Современника“ Дружинина при его содействии перейдут в „Библиотеку для чтения“ и другие сотрудники, но обманулись в расчете; Дружинин завербовал к нам одного Д. В. Григоровича, который дал нам единственную повесть „Сви-стункин“, чем дело и кончилось... Дружинин живо принялся писать для „Библиотеки для чтения“ „Письма иногороднего подписчика“, но они не производили уже того эффекта, как в то время, когда помещались в „Современнике“...»⁴

История взаимоотношений Ливенцова с петербургскими журналами прослеживается по неопубликованной и хранящейся в рукописном отделе Пушкинского Дома его переписке с Дружининым.⁵ Первую повесть Ливенцова «Грузинская идиллия», присланную автором в конце 1851 года, Дружинин предполагал напечатать в журнале Некрасова, однако был вынужден отправить ее в «Библиотеку для чтения», ибо в «Современнике», как сообщал Дружинин автору 18 января 1852 года, «места уже заняты впродоль месяца на два».⁶ По-видимому, Некрасов, ознакомившись с первым опытом Ливенцова, отказался печатать «Грузинскую идиллию»; не

² См. об этом: Мельгунов Б. В. Редакционные предисловия и примечания в журналах Некрасова // Некрасовский сборник. Л., 1980. Вып. 7. С. 95—96.

³ В декабрьском номере «Современника» за 1851 год напечатан рассказ Дружинина «Певница», в 1852 году — рассказ «История одной картины» (№ 11).

⁴ Старчевский А. Александр Васильевич Дружинин: (Из воспоминаний старого журналиста) // Наблюдатель. 1885. № 4. С. 123.

⁵ Шестнадцать писем М. А. Ливенцова к Дружинину опубликованы в кн.: Летописи: Письма к А. В. Дружинину: 1850—1863. М., 1948. Кн. 9. Из них лишь одно (от 7 ноября 1854 года) относится к интересующему нас периоду.

⁶ ИРЛИ. 9727. Л. 4.

¹ Ливенцов М. А. Александр Васильевич Дружинин // Русская старина. 1887. № 6. С. 757.

исключено также, что сам Дружинин, видевший слабость этого произведения, не решился предлагать ее Некрасову. «Посылаю Вам повесть, присланную с Кавказа, — писал он Старчевскому. — Она полна недостатков и отличных частности, — до того, что я не знаю: хороша ли она или плоха. Могу просить Вас только об одном — просмотрите ее скорее, чтобы дать должный ответ автору».⁷

Второго апреля 1852 года, известная Ливенцова о принятии повести «Библиотека для чтения», Дружинин писал: «Если захотите что печатать в „Современнике“, то адресуйте на имя Николая Алексеевича Некрасова и дайте ему знать запискою, что Вы тот самый автор, о котором я ему говорил так часто».⁸ Первая повесть Ливенцова была напечатана в 5 и 6-м номерах «Библиотеки для чтения» за 1852 год под названием «Михако и Нина. Грузинская идиллия». Вскоре Ливенцов прислал Дружинину свое новое произведение с обещанием выслать в ближайшее время третью повесть под названием «Есаул». В феврале следующего года Дружинин писал автору: «... я съездив к Некрасову и передаю Вам следующее: ему нравится Ваша повесть о даме, похищенной горцами, и он ее напечатает, чуть только очистится место в журнале (я думаю, к маю месяцу). Цену он Вам предлагает 30 р. с листа, с уплатой тотчас же по напечатании и с просьбой доставить Вашего „Есаула“ для осени. Он извиняется перед Вами в долгом молчании по случаю хлопот и нездоровья и хотел к Вам сам писать, — но я, зная, что с его ленивым характером это протянется долго, сам вызвался передать эти условия».⁹

Однако повесть «Есаул» вначале попала к Старчевскому, который обещал автору напечатать ее в сентябре—октябре 1853 года.¹⁰

Обеспокоенный судьбой своей второй повести, Ливенцов писал Дружинину: «От Некрасова я не имею никаких известий. „Записки дамы“ не появляются в печати, и я не знаю, что это значит. Каприз ли редактора, цензура или что-то другое».¹¹

В июне 1853 года русские войска, отвечая на усиление активности французского флота в Черном море, заняли Молдавию и Валахию, начав таким образом Восточную (Крымскую) войну. В цитированном выше письме Ливенцов сообщал Дружинину о предстоящем походе. «Намерение мое, — писал он, — есть стряпанье фельетонов о нашем походе с описанием стран... жителей, их обычаев и проч. Фельетоны эти я хочу помещать в „Современнике“, и ежели Вы, паче чаяния, в Петербурге, то скажите Некрасову о моем намерении. Пускай мне напишет или как-нибудь уведомит».¹²

Вопрос о судьбе «Дамы...» писатель повторял в письме к Дружинину от 22 сентября 1853 года.¹³ «„Похождения дамы“, — писал Дружинин 16 октября, — были назначены в майскую книжку „Современника“. Я сам видел распределение статей. Но Некрасов захворал и внезапно уехал в деревню, сдавши дела Панаеву, который бродил как мокрая муха, не зная журнального дела... Вероятно, явились какие-нибудь новые авторы с просьбами и рекомендациями, и очередь была нарушена. В воскресенье увижу Некрасова, уже воротившегося в город, и потребую, чтоб он, сотворив невежливость, сам написал к Вам и дал нужное объяснение».¹⁴

Ни «Современник», ни «Библиотека для чтения» не печатали новых произведений Ливенцова, хранившихся в их редакционных портфелях, автор забрасывал Дружинина письмами, умоляя сообщить истинные причины задержки. 15 января 1854 года Дружинин писал Ливенцову: «„Есаул“ я отнял у Старчевского... Повесть эту я передаю в „Современник“, а записки кавказской дамы о плене у горцев отдал Краевскому для „Отечественных записок“. Некрасов Вам писал уже о причинах, почему эта вещь не может быть пушена в свет в настоящем виде. Сама рассказчица изображена очень сатирически, и есть подробности, неудобные к печати... Напишите же мне, желаете ли Вы сами поправить вещи по отметкам или позволяете приладить их к печати здесь в Петербурге. Я же устрою так, чтоб это время не прошло. „Есаул“ станут читать в „Современнике“, а „Даму“ — в „Отечественных записках“...».¹⁵

Впоследствии, однако, выяснилось, что Дружинин не забирал «Записки дамы» у Некрасова и не передавал их Краевскому. 2 февраля 1854 года Старчевский написал Ливенцову об отказе печатать «Есаула», произведение, по его оценке, слабое. Дружинин передал повесть Краевскому, который, ознакомившись с нею, написал автору, что эта вещь нецензурна.

Тем временем к Старчевскому поступила новая повесть Ливенцова «Гонение на Федосеича», которая также была отклонена. В письме от 27 февраля 1854 года огорченный автор просил Дружинина забрать ее и хранить у себя.¹⁶ Сетую на эти неудачи, автор спрашивал в письме к Дружинину от 7 ноября 1854 года: «Что делается с „Дамой, бывшей в плену“, Вы ничего не пишете. Значит, она окончательно вторично в плену у цензуры или обрakovана редакцией?».¹⁷

В письмах Ливенцова этой поры немало сведений о боевых операциях на территории Турции (Александрополь, Карс и т. д.) и наблюдений над бытом местных жителей. В одном из писем к Дружинину Ливенцов просил передать Старчевскому, что он отказывается сотрудничать в

⁷ Наблюдатель. 1885. № 5. С. 227.

⁸ ИРЛИ. 9727. Л. 7.

⁹ Там же. Л. 13.

¹⁰ Там же. 9724. Л. 2. (Письмо М. А. Ливенцова к А. В. Дружинину от 12 июля 1853 года).

¹¹ Там же.

¹² Там же. Л. 1.

¹³ Там же. Л. 4.

¹⁴ Там же. 9727. Л. 15, об.

¹⁵ Там же. Л. 17, об.

¹⁶ Там же. 9724. Л. 13.

¹⁷ Летописи... Кн. 9. С. 296, 171.

«Библиотеке для чтения». Дружинин, забрав «Гонение на Федосеича» из редакции «Библиотеки для чтения», передал и эту повесть в «Современник».

Отношения Ливенцова с редакцией «Библиотеки для чтения» окончательно испортились. Старчевский не только задерживал публикацию новых произведений писателя, но и, нарушая договоренность, отказался уплатить гонорар за «Грузинскую идиллию». «Старчевскому я сказал¹⁸ очень холодно, — писал Дружинин Ливенцову 20 октября 1854 года, — что Вы отправили Ваш новый труд к Некрасову». В постскриптуме этого же письма Дружинин добавил: «Сейчас я видел Некрасова. Он читает Вашу вещь, хвалит ее и дал мне слово не мешкать с ответом».¹⁹

Однако и это новое произведение Ливенцова было, по-видимому, отклонено Некрасовым. В начале 1855 года писатель добился разрешения на краткосрочный отпуск и сам приехал в Петербург. Редакторы журналов встречали его чрезвычайно любезно, но о делах говорили уклончиво и неопределенно. «Некрасов все уверял меня, — писал Ливенцов Дружинину после поездки, — что со вниманием читает „Записки дамы“, а оказалось, что он даже не знает, куда девалась тетрадь, и исчезновение ее приписывал чему-то сверхъестественному». Следующее за этим сообщением признание автора проливает некоторый свет на причины, по которым Некрасов отклонял произведения Ливенцова. «Я сам виноват, — писал автор, — что послушал Старчевского, который уверял меня, что потребно описание одних приторно-нравственных приключений и лиц...».²⁰

В 1856 году «Библиотека для чтения» перешла в руки Дружинина. В его переписке с Ливенцовым 1856—1857 годов неоднократно упоминаются «Записки дамы» (эта повесть, как видно, так и не была возвращена из редакции «Современника») и «Письма закавказского корреспондента», которые готовились Ливенцовым для «Библиотеки». Однако в этом журнале произведения Ливенцова более не печатались.

Таким образом, называя М. А. Ливенцова «военным корреспондентом» «Современника», мы обязаны заключать это определение в кавычки, так как ни одно из предложенных им произведений не было напечатано в некрасов-

ском журнале. Главной причиной этого был, судя по вышеприведенной переписке и свидетельствам Старчевского, невысокий художественный уровень повестей, а также различные творческие и идейные установки Ливенцова и сотрудников «Современника».

Кроме того, известно, что в рассматриваемый период цензура не допускала в литературно-художественных журналах публикаций очевидцев или непосредственных участников войны. Зато не было недостатка в авторских и коллективных сборниках стихотворений и публицистических статей официально-патриотического содержания, совершенно не отражавших истинного положения на фронте. Вполне вероятно, что Некрасов пытался опубликовать какой-либо материал Ливенцова, который был в конечном счете запрещен цензурой. Однако наши попытки найти упоминание имени Ливенцова в делах Цензурного комитета оказались безуспешными.

«. . . Во время Крымской войны публике было не до журналов, — вспоминал Старчевский, — с другой же стороны, неумелые цензора, избранные тогда с борку да с сосенки, не имели тогда университетского образования, не знали, как ориентироваться, давили без надобности и пользы русскую литературу и этим вредили правительству, которое было тут ни в чем не повинно. Ежедневные газеты читались нарасхват и имели громадный для того времени успех, сообщающая положение под Севастополем, а толстые журналы хирели...».²¹ Сходное замечание (по характеристике обстановки, а не по оценке позиции правительства и цензуры) имеется и в письме Некрасова к Л. Н. Толстому от 2 ноября 1854 года: «Война действовала у нас на все, даже и на литературу, и нужно употребить большие усилия, чтобы поддержать существование журналов в это тяжелое время».²²

Как известно, отдел «Известия военные и политические» был разрешен «Современнику» и некоторым другим журналам только в июне 1855 года.²³ Приоритет в публикации материалов о Крымской войне принадлежит «Морскому сборнику», который в конце 1854 года напечатал два очерка об осаде Севастополя.²⁴ Однако именно некрасовскому «Современнику» суждено было сделать военную тему как в гражданском, так и в художественном плане одной из ведущих в русской литературно-общественной жизни середины 1850-х годов. Огромную роль в разработке военной темы «Современником» сыграл Л. Н. Толстой.

²¹ Наблюдатель. 1885. № 5. С. 229.

²² Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1952. Т. 10. С. 212.

²³ Евгенийев-Максимов В. Цензурная практика в годы Крымской войны // Голос минувшего. 1917. № 11—12. С. 252.

²⁴ Частный рассказ о бомбардировке Севастополя союзными флотами 30 октября и подробности действия французского флота // Морской сборник. 1854. № 11. С. 349—356; Жандр А. П. Некоторые подробности о смерти вице-адмирала Корнилова // Морской сборник. 1854. № 12. С. 410—443.

¹⁸ «Ливенцов писал мне с Кавказа, — сообщал Дружинин Старчевскому, — прося о том, чтобы его имя было исключено из числа сотрудников „Библиотеки для чтения“. Не желая Вас огорчать еще более, удерживаю у себя его письмо, которое он просил показать Вам. Верьте мне, что это человек с истинным талантом, а имя его будет очень громко года через два. Я боюсь, чтобы он сильно не повредил Вам на Кавказе между читателями: там его очень любят и ценят. Р. С. Новая повесть Ливенцова скоро будет в „Современнике“» (Наблюдатель. 1885. № 5. С. 227). Укажем, кстати, что Ливенцов в эту пору активно сотрудничал в газете «Кавказ».

¹⁹ ИРЛИ. 9727. Л. 25, об.

²⁰ Там же. 9724. Л. 20.

В редакционном предисловии²⁵ к первому севастопольскому рассказу Толстого говорилось: «Автор обещает ежемесячно присылать нам картины севастопольской жизни вроде прилагаемой. Редакция „Современника“ считает себя счастливою, что может доставить своим читателям статьи, исполненные такого высокого современного интереса и притом написанные тем писателем, который возбудил к себе такое живейшее сочувствие и любопытство во всей читающей русской публике своими рассказами „Детство“, „Отрочество“, „Набег“, „Записки маркера“». ²⁶ В письме к Толстому от 31 мая 1855 года И. И. Панаев писал о «Севастополе в декабре»: «Статья эта с жадностью прочлась здесь всеми, от нее все в восторге, и между прочим Плетнев, который отдельный ее оттиск имел счастье представить государю императору на сих днях». ²⁷ Очерк был переведен на французский язык и перепечатан в газете русского правительства «Le Nord», издававшейся в Брюсселе (1855, № 7, 7 июля). ²⁸ Это обстоятельство, очевидно, способствовало ускорению высочайшего разрешения печатать военные известия в «Современнике» и других журналах.

Вместе со своим очерком «Севастополь в декабре» Толстой послал Некрасову и статью А. Д. Столыпина «Ночная вылазка в Севастополе». Адъютант начальника артиллерии Крымской армии Аркадий Дмитриевич Столыпин был участником многих смелых боевых операций и получил за оборону Севастополя золотое оружие. Рассказ Столыпина, предназначавшийся редакцией журнала для июньского номера, был задержан председателем Цензурного комитета М. Н. Мусиным-Пушкиным как содержащий неподобающие описания военных операций ²⁹ и одобрен только для следующего номера журнала. Он сопровождался редакционным примечанием, подчеркивавшим принадлежность этого материала к толстовской серии корреспонденций: «Сообщением этой статьи мы обязаны г. Л. Н. Т.». ³⁰

В письме Некрасову от 30 апреля 1855 года Толстой сообщал о готовящихся других материалах своих сослуживцев, назвав имена возможных «лучших двух сотрудников» ³¹ «крымского» отдела в «Современнике» — Александра Александровича Бакунина (1821—1908), брата революционера, и Н. Я. Ростовцева. Они к тому времени еще не успели окончить своих статей.

После этого наступил продолжительный перерыв. В письме к Панаеву от 14 июня 1855 года Толстой извинялся за задержку материалов

его необязательных севастопольских друзей. Вскоре он прислал свой второй очерк о Севастополе. В письме к Панаеву от 8 августа 1855 года Толстой был вынужден признать, что поступил опрометчиво, поручаясь за «ленивого» Ростовцева. ³² Материалы этих «корреспондентов» так и не появились в «Современнике».

«Севастопольские рассказы» Толстого были началом целого потока произведений о военном быте, где фигура русского солдата становилась предметом самого пристального художественного интереса. А. В. Дружинин, чуткий ко всему новому в литературной жизни, настоятельно рекомендовал своему приятелю М. А. Ливенцову также воспользоваться своими преимуществами боевого офицера. «Относительно Вашего совета заняться составлением бивачных сцен, — отвечал Ливенцов из лагеря под Карсом в августе 1855 года, — скажу, что, во-первых, мне некогда... а во-вторых, мне вовсе не хочется спекулировать на эффектности статьи о современных событиях, выдвигаясь единственно на интересе, в них заключающемся... Впрочем, я уже думал об этом роде сочинений, и у меня кое-что начато, только совершенно не в том духе, как „Севастополь в декабре“ — эта вещь мне даже не нравится, и от автора „Детства“ я ожидал больше. Вот еще доказательство, что успех таких вещей не зависит столько от художественности рассказа, сколько от современного интереса событий». ³³ Несколько военных «физиологических очерков» Ливенцова впоследствии были помещены в дружининском «Веке». ³⁴

Главное достоинство передовой «военной» литературы периода Крымской войны состоит, по-видимому, в том, что она безошибочно нашла своего героя и дала высокие образцы его художественного воплощения. Некрасовский «Современник» — главный, если не единственный орган этой литературы — декларативно провозгласил в объявлении о подписке на 1856 год о своем преимущественном интересе к жизни «того сословия, к которому приковано ныне внимание всей России и из среды которого война постоянно выдвигает столько замечательных личностей». ³⁵

Война выявила не только замечательных патриотов, героев, но и талантливых рассказчиков из солдатской среды, чьи произведения стали находить себе место на страницах толстых журналов. И некрасовский «Современник» был первым изданием, открывшим выход в литературу многим одаренным солдатам. 17 сентября 1855 года Некрасов писал Тургеневу об одном из таких авторов как о счастливой находке для «Современника»: «...на днях приходит ко мне незнакомый юноша — из Одессы — с тетрадкой солдатских рассказов, которые он записал со слов солдат раненых, беспрестанно привозимых

²⁵ Его автором был И. И. Панаев, заменивший Некрасова в редакции «Современника». Некрасов в это время был в Москве.

²⁶ Современник. 1855. № 6. Отд. I. С. 333.

²⁷ Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. М., 1978. Т. I. С. 122.

²⁸ Там же. С. 123.

²⁹ Там же. С. 122.

³⁰ Современник. 1855. № 7. Отд. I. С. 5.

³¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1935. Т. 59. С. 309—310.

³² Там же. С. 328.

³³ ИРЛИ. 9724. Л. 32.

³⁴ Например, «Денщик», «Иван Кузьмич» (Век. 1861. № 6. С. 205—210; № 7. С. 240—242).

³⁵ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1953. Т. 12. С. 181—182.

в Одессу. В числе этих рассказов один оказался удивительный. Юноша-то бездарен. . . но солдат (Таторский по фамилии), рассказавший ему о своем восьмимесячном плену у французов (после Альмы), должно быть, человек с большим талантом — наблюдательность, юмор, меткость — и бездна *русского*. Я в восторге».³⁶

История взаимоотношений Некрасова с одесским военным корреспондентом «Современника» Н. П. Сокальским изучена пока недостаточно, хотя таким исследователям, как В. Е. Евгеньев-Максимов, А. М. Гаркави, В. Э. Боград, она несомненно была давно известна. На выставке в Пушкинском Доме, посвященной 100-летию со дня рождения поэта, экспонировалось и дело из фонда Санктпетербургского Цензурного комитета под интригующим названием: «О претензии Н. Сокальского за присвоение г. Некрасовым его сочинения „Сказания русского человека о важнейших событиях настоящей войны“ и о рассмотрении этой статьи».³⁷ Материалы этого дела не были опубликованы и даже не использовались комментаторами четырех писем Н. П. Сокальского к Некрасову, помещенных во втором некрасовском томе «Литературного наследства». Попытаемся осветить эту историю, используя все известные нам материалы.

Юноша, принесший Некрасову тетрадку с записями солдатских рассказов (впоследствии известный критик, композитор и исследователь народной песни), Петр Петрович Сокальский (1830—1887), был братом собирателя солдатских рассказов Николая Петровича Сокальского (1831—1871), сотрудника газеты «Одесский вестник». Н. П. Сокальский прислал брату, жившему в Петербурге, книгу солдатских рассказов о Крымской войне для проведения ее через Цензурный комитет, после чего сборник надо было отдать одесскому издателю, с которым составитель заключил договор. Вместо этого П. П. Сокальский принес рукопись Некрасову, который (это видно из цитированного выше письма Некрасова к Тургеневу) принял его за составителя. На этот раз реакция редактора «Современника» была мгновенной: первые рассказы из полученной в середине сентября рукописи уже 30 сентября были проведены через цензуру в составе октябрьского номера журнала.

К первой части публикации — рассказу рядового Московского пехотного полка Павла Таторского «Восемь месяцев в плену у французов» — Некрасов написал предисловие, в котором, в частности, сообщал: «Предлагаемый рассказ взят в редакцию „Современника“ из приобретенного ею рукописного сборника сол-

датских рассказов, составленного под редакцией Н. Сокальского. С этими рассказами мы будем постоянно знакомить наших читателей и, по мере чтения, публика, конечно, сама оценит заслугу собирателя. . .».³⁸

Узнав от брата о передаче рукописи Некрасову, Н. П. Сокальский 4 октября 1855 года отправил редактору «Современника» письмо с просьбой приостановить печатание рукописи и вернуть ее через адъюнкта Санктпетербургского университета Михаила Ивановича Сухомлинова. Взамен этих, уже запрошенных издателем рассказов Сокальский предлагал Некрасову другую свою тетрадь из 19 новых рассказов, «составленных более тщательным образом и никому еще не запрошенных».³⁹

Одновременно (и об этом Некрасов в том же письме ставился в известность) Сокальский обратился в Санктпетербургский Цензурный комитет с прошением, в котором излагалась суть конфликта и просьба «приостановить разрешение господину Некрасову выпуска этой рукописи в свет». Жалоба ставила редактора «Современника», уже обязавшегося перед читателями продолжать публикацию рассказов из сборника Сокальского, в очень трудное положение. Очередная серия рассказов сборника уже была набрана для ноябрьской книжки журнала (она была разрешена цензурой 31 октября), огорчать подписчиков в конце года необязательно было опасно. А главное — эти материалы как нельзя более соответствовали направлению и духу «Современника». Рассказ Таторского Некрасов уже успел отметить в своих «Заметках о журналах за 1855 год», завершив восторженный отзыв о нем восклицанием: «Даровита русская земля!».⁴⁰

Уже 6 сентября Некрасов отправил Н. П. Сокальскому ответное письмо, в котором просил его «как можно скорее» прислать второй том рассказов и быть одесским корреспондентом «Современника». О содержании этого, ныне, по-видимому, утраченного письма Некрасова (его письма к Сокальскому в литературе неизвестны) мы узнаем из второго письма Сокальского от 16 октября, опубликованного в «Литературном наследстве». В этом письме собиратель сообщал о том, что второй том солдатских рассказов будет передан только после того, как Некрасов возвратит первую тетрадь. Предложение Некрасова быть корреспондентом «Современника» и периодически доставлять известия о текущих новостях в Одессе было принято с удовлетворением.⁴¹

Однако второй том рассказов задерживался, и Некрасов решил дать в ноябрьской книжке «Современника» очередную серию рассказов из первой тетради. В письме к Сокальскому от 27 октября Некрасов, судя по ответу одесского

³⁶ Там же. Т. 10. С. 250. Подобный же отзыв о рассказе Таторского см. в письме Некрасова к В. П. Боткину, относящемся к этому же времени (см.: Записки Отдела рукописей Государственной публичной библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1971. Вып. 32. С. 204).

³⁷ *Беляев М.* Выставка в честь столетия со дня рождения Н. А. Некрасова в залах Пушкинского Дома. Пб., 1921. С. 14.

³⁸ Современник. 1855. № 10. Отд. I. С. 161.

³⁹ Лит. наследство. 1949. Т. 51—52. С. 499—500.

⁴⁰ *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем. М., 1951. Т. 9. С. 322.

⁴¹ Лит. наследство. Т. 51—52. С. 502.

корреспондента от 9 ноября, торопил его с высылкой второй тетради и выражал опасение, что обращение Сокальского в Цензурный комитет обойдется журналу слишком дорого. Некрасов просил дать «скорый и определенный ответ». В своем ответном письме Сокальский повторял прежние условия и требовал не печатать в ноябрьской книжке журнала рассказы из первой тетради.⁴²

На прошении Сокальского от 4 октября 1855 года в Цензурном комитете была наложена следующая резолюция: «...объявить г. Сокальскому, что упоминаемая им книга в Цензурный комитет представлена не была, что содержание претензии его объявлено редактору „Современника“ Некрасову и что Цензурный комитет в разбирательство подобных претензий не входит на основании положений». Здесь же находим следующую помету: «Как прошение сие, так и резолюцию его превосходительства г. председателя Санктпетербургского Цензурного комитета — читал. 5-го ноября 1855 г. Ник. Некрасов».⁴³

Официальный ответ Цензурного комитета Сокальскому был передан через одесского военного губернатора в специальном отношении к нему от 10 ноября 1855 года.⁴⁴

К этому времени успел выйти ноябрьский номер «Современника». Некрасов возвратил брату Николаю Сокальского первую тетрадь рассказов, однако, так как большая ее часть оказалась опубликованной «Современником», составителю пришлось расторгнуть договор с одесским издателем.

14 ноября магистр химии Петр Сокальский по поручению брата подал прошение в Санктпетербургский Цензурный комитет о разрешении к печати рукописи первой книги солдатских рассказов, составленной Николаем Сокальским. 24 декабря 1855 года разрешение было получено.⁴⁵ А несколько ранее, 17 ноября, Сокальский просил Некрасова вновь принять первую тетрадь для публикации рассказов, оставшихся ненапечатанными. Автор обязался, при условии, что рукопись будет напечатана полностью, и далее присылать новые рассказы, а также «письма о новостях одесской жизни», первое из которых к этому времени уже было отправлено.⁴⁶

«Меня крайне удивляет то обстоятельство, — писал Сокальский Некрасову 11 декабря 1855 года, — что, как пишет брат, Вы до сих пор не получили письма, в котором я изложил в довольно подробной картине настоящие и будущие виды Одессы. Это был первый опыт моей корреспонденции, которую я предполагал сделать постоянною... Желая сколько-нибудь заглазить ошибку свою или недоразумение, как хотите, я отправил к брату, как обещал, в

двадцатых числах ноября два передовых рассказа, записанные мною в августе, имея в виду при первой возможности окончить все необходимое для отправления в Петербург и остальные десять...».

«Мне крайне будет жаль и досадно, — писал Сокальский в конце того же письма, — если, надеясь на Ваше снисхождение, я останусь не вполне еще оправданный в Вашем мнении и если тень прошлого неприятного дела еще не рассеялась. Я старался все сделать, что мог и на что хватало у меня средств, остальное представляю вполне Вашей снисходительности. Конечно, более всего я бы желал, чтобы прошлое было совершенно забыто и чтобы рассказы мои по-прежнему являлись регулярно на страницах Вашего журнала».⁴⁷

Некрасов продолжил публикацию солдатских рассказов Сокальского с начала 1856 года и печатал их в 1—4 и 6-м номерах «Современника».

Известно, что предыдущие публикации этих рассказов вызвали недовольство правительства.⁴⁸ Во избежание новых цензурных затруднений Некрасов доставил в Цензурный комитет цитировавшееся выше последнее письмо Сокальского, содержание которого свидетельствовало о том, что конфликт автора с редактором «Современника» исчерпан и Сокальский желает продолжения публикаций солдатских рассказов. Это письмо было подшито к упомянутому делу «О претензии Н. Сокальского...» и потому осталось неизвестным публикаторам четырех писем Сокальского, сохранившихся в архиве Некрасова.

В «Современнике» были напечатаны все рассказы первой тетради и рассказ «Секрет»⁴⁹ из второй тетради, которому составитель придавал особое значение.

Тотчас же по окончании печатания в «Современнике» сборник Сокальского в том же составе и в той же последовательности рассказов, в какой они печатались в журнале, был выпущен отдельной книжкой.⁵⁰ Некрасов, фактически отредактировавший эту книгу, по-видимому, принял какое-то участие и в ее издании. Экземпляр сборника «Современные рассказы из военной жизни русских солдат» был в личной библиотеке редактора «Современника».⁵¹

Таким образом, на страницах популярнейшего литературно-художественного журнала впервые в истории русской литературы выступила целая плеяда талантливых рассказчиков из народа — рядовые Таторский, Щербаков,

⁴⁷ ЦГИА СССР (Ленинград). Ф. 772. Оп. 2. 1855. Ед. хр. 105. Л. 7.

⁴⁸ Голос минувшего. 1917. № 11—12. С. 252—253.

⁴⁹ Современник. 1856. № 6. Отд. I. С. 267—280.

⁵⁰ Современные рассказы из военной жизни русских солдат, составленные под редакцией Н. Сокальского. СПб., 1856. (Ценз. разр. от 12 января 1856 года).

⁵¹ Лит. наследство. 1949. Т. 53—54. С. 414.

⁴² Там же. С. 504.

⁴³ ЦГИА СССР (Ленинград). Ф. 772. Оп. 2. 1855. Ед. хр. 105. Л. 1.

⁴⁴ Там же. Л. 2.

⁴⁵ Там же. Л. 3—5.

⁴⁶ Лит. наследство. Т. 51—52. С. 506.

Козлов, Иванов, Поветкин, Гончаров, Полянский, матросы Галищенко и Майстренко, капитан Саварский, медик Кузнецов, прапорщик Пурович, капитан Яковлев. Публикация этих рассказов вызвала огромный интерес читателей и критиков. Так, С. Дудышкин заговорил в «Отечественных записках» о новом направлении в русской литературе во главе с Толстым — автором «Севастопольских рассказов», который «сумел поставить себя на настоящую точку зрения и создал разговор простого солдата таким, каков он на самом деле». Критик справедливо указал на прямую связь между произведениями Толстого и солдатскими рассказами, опубликованными в «Современнике». Приведя большую цитату из рассказа рядового Иванова, напечатанного под заглавием «Дело под Журже 25 июня 1854 г.»,⁵² критик восклицал: «Удивительный рассказ! Если б его встретили в повести какого-нибудь автора, мы не нашли бы слов для похвалы писателю, а между тем вся эта простая повесть записана со слов солдата! Не забудьте, что солдат рассказывает про свой действительно военный подвиг, и посмотрите, как этот рассказ прост, естественен и дышит всяким отсутствием напыщенности».⁵³

⁵² Современник. 1855. № 11. Отд. I. С. 5—24.

⁵³ Отечественные записки. 1855. № 12. Отд. IV. С. 91—92.

Видимо, напечатанное в «Современнике» было лучшим из собранного Сокальским — продолжения публикаций не последовало. Ободренный отзывом «Отечественных записок», Сокальский предложил свои рассказы Краевскому, и один из них был напечатан в этом журнале еще до окончания публикаций в «Современнике».⁵⁴ Переданные в «Отечественные записки» через брата «Очерки Одессы в 1855 г.» и статья «Плен Евпатории» так и остались ненапечатанными.⁵⁵

Анализ взаимоотношений Некрасова-редактора с «военными» писателями первой половины 1850-х годов позволяет, как представляется, уточнить и проиллюстрировать существенные моменты в эволюции «Современника» — печатного органа передовой русской литературы. Наиболее важный из них — естественный, исторически обусловленный переход «Современника» на позиции революционной демократии, подготовивший почву для возникновения и расцвета разночинной литературы 1860-х годов. Крымская война и «военная» литература этого периода несомненно оказали значительное влияние и на творчество самого Некрасова, но эта проблема требует специального рассмотрения.

⁵⁴ Сокальский Н. П. Журавлев. Рассказ солдата // Отечественные записки. 1856. № 4. Отд. I. С. 383—404.

⁵⁵ ГПБ. Ф. 391. Ед. хр. 715.

И. Г. Ямпольский

«ЛЮЦЕРН» Л. ТОЛСТОГО В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННОКА

В сентябрьском номере «Современника» за 1857 год был напечатан рассказ Л. Н. Толстого «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн». Критика обошла его своим вниманием. Так, в обзоре «Русская литература» газеты «С. Петербургские ведомости» (1857, 28 сент.) читаем: «... упоминаем об этом рассказе единственно потому, что он подписан именем графа Толстого, а по содержанию и отделке он не заслуживал бы этого... Какое дело публике до нервных и других болезней, могущих случиться с литераторами?» Несколько подробнее писал о «Люцерне» «Сын отечества» (1857, 27 окт.). Признавая «благородную, гуманную цель рассказа», критик останавливался на его «внешних недостатках». «Прежде всего, — писал он, — мы желали бы спросить автора, к чему он навязал такие теплые страницы такому пустому трактирному герою, как этот Нехлюдов, застрелившийся после проигрыша в бильярд? (см. «Записки маркера»). Почему он не рассказал просто, от своего имени, эту простую, но полную смысла сцену, эти верные размышления? Есть еще в рассказе гр. Толстого один недостаток, общий со

всеми писателями, которые вставляют в свои повести описания природы: это очень красивые, но слишком вычурные фразы и сравнения, в которых однако же очень мало смысла, если рассмотреть их поближе». Наконец, автор статьи возражает против чрезмерно отрицательной оценки темы: «Это мнение уж слишком односторонне. В толпе есть и хорошие увлечения и благородные порывы».

Весьма сдержанно, даже скорее отрицательно отнеслись к «Люцерну» и литераторы круга самого «Современника». 16 октября 1857 года И. И. Панаев писал В. П. Боткину: «Видно, что это писал благородный и талантливый, но очень молодой человек, из ничтожного факта выводящий бог знает что — и громящий беспощадно все, что человечество вырабатывало веками, потом и кровью... Горячо, но смешно; к тому же из рассказа этого немного выглядывает русский барченок... Нет, философствовать ему еще рано — надо пожить и поучиться».¹

¹ Тургенев и круг «Современника». М.; Л., 1930. С. 428.

П. В. Анненков — Тургеневу, 16 ноября 1857 года: «Повесть его, ребячески восторженная, мне не понравилась. Она походит на булавочку, головке которой даны размеры воздушного шара в 3 сажени диаметра»² Тургенев — Л. Н. Толстому, 25 ноября 1857 года: «...идите своей дорогой и пишете, — только, разумеется, не Люцернскую морально-политическую проповедь»³. Наконец, и сам Толстой признавался в письме к Некрасову от 11 октября 1857 года: «...какова мерзость и плоская мерзость вышла моя статья в печати и при перечтении. Я совершенно надул себя ею, да и вас кажется»⁴.

На этом фоне особое внимание привлекает неизвестный пространный отзыв М. Ф. Штакенштейндер в ее письме к находившемуся тогда за границей Я. П. Полонскому.⁵ Значительная его часть является пересказом «Люцерна», но весь он проникнут близким Толстому моральным пафосом.

С. Петербург $\frac{10}{22}$ сентября 1857 года

Явились сентябрьские журналы. В «Современнике» имена Л. Н. Толстого и Некрасова увлекли меня, и я, не кончив журналов августовских, принялся за сентябрьский «Современник». Стихотворение Некрасова⁶ так хорошо, что не могу не списать его для вас. Из пьесы Толстого о Люцерне сделаю выписки. Благородный человек должен быть этот гр. Толстой и горячая душа. Понятно, что мы с ним хорошо сошлись. Я начинаю его уважать не только за его произведения, но и за его характер. Его *maledetto*⁷ на богатых англичан и равенство швейцарское замечательно. Дело вот в чем: бедный гитарист и поет и играет долгое время перед отелем Швейцергоф в Люцерне. Его слушало блестящее общество англичан и толпа лакеев и всякого народа. Когда он кончил, то поднес шапку, чтобы собрать с слушателей подачку. Никто не дал ему ни копейки. Богачи разошлись, а толпа провожала его хохотом и насмешками за то, что ему ничего не дали. Между тем он пел так хорошо, что всех привел в восторг. Толстой дал ему несколько сантимов, когда бедняк в горе уходил, Толстой его догнал и привел обратно в отель, велел подать шампанское и, усевшись сначала в кухне с ним, где слуга начал делать им обоим дерзости, пошел потом в залу, подсел к какому-то лорду и леди, которые так были скандализированы присутствием за одним столом с ними оборванного музыканта,

что убежали из зала вон. Может быть, он вам все это рассказывал, если заезжал в Баден на возвратном пути из Швейцарии. — Выпишу однако, к какому рассуждению привел его этот случай. Курсивом напечатаны следующие слова: «Седьмого июля 1857 года, в Люцерне перед отелем Швейцергоф, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех: дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего и многие смеялись над ним». Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях. Отчего этот бесчеловечный факт, невозможный ни в широкой деревне немецкой, французской или итальянской, возможен здесь, где цивилизация, свобода и равенство доведены до высшей степени, где собираются путешествующие самые цивилизованные люди самых цивилизованных наций. Это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации. — Отчего эти развитые, гуманные люди, способные в общем на всякое честное гуманное дело, не имеют человеческого сердечного чувства на личное доброе дело? Неужели нет этого чувства и место его заняли тщеславие, честолюбие и корысть, руководящие этих людей в их палатах и обществах? Неужели распространение разумной себялюбивой ассоциации людей, которую называют цивилизацией, уничтожает и противоречит потребности инстинктивной и любовной ассоциации? И неужели это то равенство, за которое пролилось столько невинной крови и столько совершенно преступлений? Неужели народы, как дети, могут быть счастливы одним звуком слова равенство?

Равенство перед законом? Да разве вся жизнь людей происходит в сфере закона? Только одна тысячная доля ее подлечит закону, остальная часть происходит вне его, в сфере правил и воззрений общества. И неужели это свободно, что люди называют положительно (?) свободное государство то, в котором есть хоть один гражданин, которого сажают в тюрьму за то, что он никому не верит, никому не мешает, делает одно, что может, для того, чтобы не умереть с голода? *

Несчастное, жалкое создание, человек с своей потребностью положительных решений, брошенный в этот вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла, фактов, соображений и противоречий.

Цивилизация — благо; варварство — зло; свобода — благо; неволя — зло. Вот это-то воображаемое знание уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре. И кто определит

* Бедняк сидел в тюрьме. Законы позволяют сажать в тюрьмы, если правительству вздумается недозволить, например, петь песни на улице.

² Тр. / ГБЛ. М., 1934. Вып. 3. С. 72.

³ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 1961. Т. 3. С. 170.

⁴ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Юбил. изд. М., 1949. Т. 60. С. 225.

⁵ ИРЛИ. Ф. 241. № 2613. Л. 33—36.

⁶ «Тишина» («Все рожь кругом, как степь живая...»), — И. Я.

⁷ проклятый (*ит.*) — здесь в значении «проклятие».

самом деле это не так. Кружок продолжал существовать. К нему примкнули и энергично включились в просветительскую работу Д. Л. Мордовцев (в 1854 году Пасхалова вышла за него замуж и взяла фамилию мужа), В. Г. Варенцов. Поражение России в Восточной войне, нарастающие революционной ситуации активизировали просветительскую деятельность саратовской интеллигенции. Основной ее размах пришелся на вторую половину 50-х—начало 60-х годов.

Прогрессивные начинания участников саратовского кружка способствовали созданию общественного лица города и губернии. С начала 50-х годов члены кружка включились в массовое фольклорно-этнографическое движение, развернувшееся в провинции. Костомаров, Пасхалова, Варенцов первыми начали заниматься фольклором Саратовской губернии.³

Костомаров и Мордовцев на материалах местных архивов исследовали и популяризировали историю народных освободительных движений. Костомаров работал над архивными материалами о разинском восстании. В «Саратовских губернских ведомостях» с 4 апреля по 2 мая 1853 года публиковался первый вариант его известной исторической монографии «Стенька Разин и удалые молодцы 17 века». Мордовцев, под руководством Костомарова, занимался Пугачевским бунтом и понизовой вольницей 18 века. Его первые публикации на эту тему также появились сначала в «Саратовских ведомостях» (в 28 и 29 номерах газеты за 1858 год была напечатана заметка «О разбойниках в Саратовской губернии прошлого столетия»). Изучением кризисных эпизодов русской истории занимался и Белов.⁴

Участники саратовского кружка вели статистические исследования современного им состояния губернии. В местной газете публиковались материалы о торговле, строительстве железной дороги, образовании, «нравственная статистика», описания уездных городов и т. д. Эти работы были замечены Географическим обществом. По его заданию Д. Л. Мордовцев, действительный член общества с 1857 года, «приводит в порядок местные статистические материалы для представления в Статистический Комитет Министерства Внутренних Дел», а

также занимается «исследованием законов движения народонаселения по городу Саратову за десятилетие — 1846-1856 годы».⁵

В 1856 году Мордовцев стал редактором «Саратовских ведомостей». Газета преобразилась: содержание ее неофициальной части отражало все направления деятельности саратовского кружка. Стараниями Костомарова и Мордовцева были выпущены «Памятные книжки Саратовской губернии» за 1858, 1859, 1860 годы, первый местный литературный сборник,⁶ временные издания.⁷

Деятельность участников кружка не ограничивалась местными рамками и выступлениями в печати. 30 января 1859 года из Саратова в Петербург был отправлен сочувственный адрес московскому либеральному цензору Н. Ф. Крузе в связи с его репрессивным удалением от должности. Под адресом поставили подписи Е. Белов, А. Клаус, М. Карлин, Д. Мордовцев, А. Пасхалова, П. Ровинский, С. Стефани, С. Макашин.⁸

4 июня 1859 года в Саратове по инициативе Стефани и врача Топениуса было основано общество врачей «Саратовская Медицинская Беседа». В задачи общества входили: сбор «материалов и сведений для медицинской топографии и статистики Саратовской губернии», описание «способов, которые употребляет простонародье для лечения разных болезней», а также описание «предрасудков и поверий относительно болезней, лекарств и т. д.».⁹

Публикации в местной печати и архивные материалы раскрывают еще одну сторону деятельности саратовского кружка.

В 9-м номере «Саратовских губернских ведомостей» от 28 февраля 1859 года появилось сообщение, перепечатанное в «Русском дневнике» (№ 62 от 20 марта 1859 года): «В Саратове, в некоторых семействах, собираются добровольные жертвования в пользу студентской библиотеки историко-филологического факультета Казанского университета. В короткое время уже собрано до 50 р (рублей) с (еребром). Лица, принимающие участие в этом добром деле, намерены дать домашний спектакль в пользу этого предприятия, и можно надеяться, что усердие жертвователей даст возможность бедным студентам приобрести в короткое время лучшие исторические и филологические сочинения, которые должны быть общим и всегдашним достоянием настоящих и будущих воспитанни-

³ Былины и песни, записанные в Саратове А. Н. Пасхаловой // Известия Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности. 1854. Т. 3. С. 318—328; Русские народные песни, собранные в Саратовской губернии А. Н. Мордовцевой и Н. И. Костомаровым // Летописи русской литературы и древностей. М., 1862. Т. 4. С. 3—111; Сборник русских духовных стихов / Составил В. Варенцов. СПб., 1860. 251 с.

⁴ Среди исторических работ Белова особенно выделяются статьи, напечатанные в «Журнале Министерства Народного Просвещения»: «О смерти царевича Дмитрия» (1873), «Об историческом значении русского боярства до конца 17 века» (1886), «Московские смуты конца 17 века» (1887).

⁵ Отчет Императорского Русского Географического общества за 1857 год. СПб., 1858. С. 96.

⁶ Малорусский литературный сборник. Изд. Д. Мордовцев. Саратов, 1859.

⁷ Мордовцев Д. Л. Соображения относительно соединения Саратовского края с югом России. Саратов, 1857.

⁸ Порох И. В. Вместе и в одном направлении // Саратовские друзья Чернышевского. Саратов, 1985. С. 48—49.

⁹ Современная медицина. 1861. № 20 (18 мая). С. 463—467.

ков университета». В заметке не названы фамилии, но нет сомнения, что это те же члены саратовского кружка.

Заинтересованное отношение к судьбам города, губернии, страны объединяло всех его участников. Определяя основное направление «Саратовских губернских ведомостей» в 1859 году, Мордовцев писал: «...статьи предпочтительно будут избираться те, которые содержанием своим сколько-нибудь уяснят современное положение края, для которого преимущественно предназначается издание, его экономический быт, историю, этнографию племен, его населяющих, и все местные особенности... в газете дано будет место и тем статьям, содержание которых не ограничится тесным кругом одной местности, но может иметь общий интерес».¹⁰ Инициатива сбора средств в пользу студентов Казанского университета, скорее всего, исходила именно от них.

Через два месяца после упоминания о сборах пожертвований в «Русском дневнике» появилась сатирическая заметка частного корреспондента из Саратова, подтверждающая это предположение.¹¹

В ней сообщалось о том, что 17 апреля в Саратове состоялся благотворительный любительский спектакль и раскрывались некоторые обстоятельства его организации. Автором заметки, очевидно, была А. Н. Мордовцева, подписавшаяся инициалами «А. М.». Она выступила здесь как патриот провинции, «заклятый провинциал». При этом ее позиция представляется внутренне противоречивой.

С одной стороны, она не хочет уподобляться большинству провинциальных корреспондентов, которые наводнили печать однообразными обличительными публикациями, описывающими «все бедность да бедность да несовершенство человеческой природы». Мордовцева перечисляет набившие оскомину темы выступлений в газетах и полемически противопоставляет им свое намеренно лаконичное сообщение о состоявшемся благотворительном спектакле. Иными словами, бесплодному многословию газетных обличений автор статьи противопоставляет сообщение о конкретном деле во имя общей пользы: «...в этом первом письме моем к вам вы не встретите ни возмутительных рассказов об откупках и их поборниках, ни вечно повторяемых, хотя высоких и громких, но тем не менее тошных фраз об обедах и тому подобных удовольствиях, разнообразящих не одну провинциальную, а всякую жизнь, ею же живут человеки; не встретите также ни выражения моего благородного негодования на полицейских и канцелярских служителей, ни мыслей „по поводу разных животрепещущих вопросов, возникших в последнее время“, ни даже характеристических черт местности, мною обитаемой. А хочу я вам сказать, что в Саратове, 17 апреля, в зале благородного собрания, был спектакль любите-

лей, спектакль незамысловатый, ничем замечательный, даже, если угодно, совершенно плохой, но не в этом дело. А дело в том, что если бы другие города взяли на этот раз пример с Саратова и также устроили хотя плохой такой же спектакль или концерт, то заслужили бы великое спасибо, помоги исполниться цели, которая одним саратовским спектаклем достигнута быть не может». Мордовцева призывает другие города поддержать саратовцев и провести такие же благотворительные мероприятия, сменить слова на дела.

С другой стороны, автор заметки не может удержаться от слов «традиционного» обличения в адрес саратовского общества и, в частности, откупщиков. С горечью пишет она о том, что идея помощи казанским студентам «не встретила здесь слишком горячего сочувствия; не скрою, что многими она не совсем была и понята. Стыдно сказать, а грех утаить, что некоторые *почтенные* граждане из откупщиков, восхваляя свои добродетели, явно и немножко слишком резко, даже не очень лестно для дамы, предлагавшей билеты на этот спектакль, выражали свое негодование на то, что в Саратове осмелились подумать о Казани, чудом (?) городе, забывшая, что родной-то принадлежит к казанскому учебному округу, а университеты — всей России...».

Факт организации спектакля, преследующего частную цель — помочь студентам учредить факультетскую библиотеку — приобретает для нее общегосударственное значение. Свое участие в организации спектакля Мордовцева (из заметки видно, что она распространяла билеты) воспринимает как служение делу просвещения. Смирившись с мыслью о том, что эта высокая цель осознана лишь некоторыми из саратовцев, автор заметки негодует на бездействие интеллигенции в других городах: «цель эта не встретила сочувствия *нигде*... Ибо если бы кто-нибудь обратил внимание на несколько строк „Саратовских Губернских Ведомостей“, перепечатанных и в „С.-Петербургских“¹² и в „Русском Дневнике“, если б слова эти когонибудь задели за сердце, то, наверное, не в одном Саратове устроилась бы подписка, спектакль, концерт или что-либо в пользу учреждения студенческой библиотеки при филологическом факультете Казанского университета». Именно к прогрессивно настроенной интеллигенции губернских городов обращены заключительные слова статьи: «Имея уши слышать да слышит!».

Деньги, вырученные от сборов и спектакля, были отосланы в Казанский университет. Об этом говорится в благодарственном письме, которое в начале июня получил Мордовцев от профессора университета В. И. Григоровича.¹³ Письмо это вместе с официальным

¹² В «С.-Петербургских ведомостях» объявление о саратовском спектакле мною не обнаружено.

¹³ Письмо В. И. Григоровича к Д. Л. Мордовцеву от 5 июня 1859 года // ГБЛ. № 3. Ед. хр. 75.

¹⁰ Саратовские губернские ведомости. 1859. № 1 (3 января).

¹¹ Русский дневник. 1859. № 107 (23 мая).

сообщением о состоявшемся спектакле Мордовцев опубликовал сначала в «Саратовских ведомостях»,¹⁴ а затем в «Русском дневнике».¹⁵ Профессор горячо благодарил саратовское общество за помощь, отмечал особое участие в сборе средств Мордовцевой, переславшей деньги на его имя: «В прошлом мае месяце я имел честь получить через посредство особы, соревнующей этому прекрасному делу, триста шестьдесят пять (365) руб. серебром, которые немедленно переданы были на хранение в Канцелярию Господина Попечителя Казанского Учебного Округа. Ныне после предварительных совещаний о сообразном назначении этих денег, гг. Студенты Историко-Филологического Факультета, руководимые советами Профессоров, положили, составляя отдельную филологическую библиотеку, обращать эту сумму на приобретение лучших сочинений по Истории, Лингвистике и Литературе, полезность которых доказывала бы постоянно важность пожертвования». Профессор заканчивает письмо просьбой «довести до сведения почтенных жертвователей, что о назначении присланной суммы будет по требованию сообщено Студентами Историко-Филологического факультета».

В архиве ГБЛ сохранился ответ Мордовцевой Григоровичу.¹⁶ В своем письме она выражает намерение продолжать начатое дело и просит Григоровича быть посредником между студентами и обществом: «Не откажите и впредь в благородном участии Вашем в этом деле и позвольте мне — Вам же передавать все до него касающееся, в случае если мне поможет бог еще раз принести какую-нибудь маленькую услугу историко-филологическому факультету». И сообщает, что, находя собранную сумму «недостаточной для того, чтобы ею можно было ограничиться», обратилась с просьбой о помощи к Кокореву, который намеревался напечатать в «Русском вестнике» ее письмо. Кроме этого, Мордовцева указывает Григоровичу на свою заметку, напечатанную в «Русском дневнике». Раскрывая причины, побудившие ее написать в газету, и цель своей публикации, Мордовцева пишет: «...видя, что идея их (студентов, — Е. А.) остается доселе известною только небольшому кружку лиц и полагая, что при общеизвестности она могла бы найти сочувствие и не в одном этом кружке, я просила Павла Ивановича Мельникова напечатать в его издании небольшое письмо, из которого можно видеть, что для успеха дела необходимо содействие целого общества. Г. Мельников напечатал это письмо в 107-м номере Русского Дневника и если Вы возьмете труд прочитать его, то увидите, что такой благодарности, какую выражаете Вы, — мы, саратовцы, — не стоим... Сказать

правду-истину, немного видела я сочувствия собственно к *делу г. г. студентов*; но я нашла довольно участия к *моей* затее и этим участием я обязана только одному, так называемому аристократическому кружку нашего города».

Письмо полностью подтверждает позицию Мордовцевой, выраженную в заметке, позицию человека, поднявшегося над узким кругом забот о собственном благополучии и страстно ищущего общественно-полезного труда: «Дай бог, чтобы и последние попытки мои имели какой-нибудь полезный результат и помогли увеличиться средствам библиотеки историко-филологического факультета. Я буду совершенно счастлива, когда полезное учреждение это получит прочное основание и будет постепенно расширяться. Это самое горячее желание моего сердца, моя любимая *idea fix*, осуществление которой вознаградит меня за всю бесплодность и пустоту моей бездеятельной, бесплодной жизни. Дай же Господь сбыться всему, что может служить на пользу молодым деятелям науки, на радость тем, кто сочувствует делу просвещения!».

Из письма видно, что переписка Мордовцевых с В. И. Григоровичем началась задолго до истории с пожертвованиями, а вопрос о сборе средств обсуждался и ранее: «Покуда сообщаю Вам, что дав себе слово, как еще и прежде я сказала Вам, оставить это дело только тогда, когда все попытки и надежды мои содействовать ему окажутся тщетными, я, находя собранную мною сумму недостаточною для того, чтобы ею можно было ограничиться, решила еще на одну попытку...».

Трудно точно сказать, кто сообщил саратовцам о том, что студенты собираются создать библиотеку. Мордовцева могла узнать об этом от сына, Виктора Пасхалова, который до июля 1859 года был студентом Казанского университета.¹⁷ Возможно, что мысль о сборе средств была подсказана Григоровичем (ведь именно ему Мордовцева отсылает деньги). О желании студентов мог сообщить и Варенцов, который с 1857 по 1859 год исполнял должность адъюнкта кафедры русской словесности Казанского университета.¹⁸ Просьбу студентов о помощи мог передать и П. А. Ровинский, который в январе 1859 года был в Саратове, о чем свиде-

¹⁷ Бушканец Е. Г. Ученики Н. Г. Чернышевского по гимназии в освободительном движении 2 половины 1850-х—начала 1860-х годов. Казань, 1963. С. 20.

¹⁸ 14 октября 1856 года после родов умерла жена Варенцова. Он тяжело перенес ее смерть. Не в состоянии оставаться в городе, где все напоминало о жене, Варенцов переводится сначала на должность инспектора дворянского института в Нижний Новгород (16 марта 1857 года), а затем Григорович приглашает его на кафедру в университет, где Варенцов приступает к работе с 21 ноября 1857 года. См.: Бобров Е. А. В. Г. Варенцов // Русская старина. 1903. № 12. С. 515—522.

¹⁴ Саратовские губернские ведомости. 1859. № 25 (20 июня).

¹⁵ Русский дневник. 1859. № 141 (5 июля).

¹⁶ Письмо А. Н. Мордовцевой к В. И. Григоровичу от 10 июня 1859 года // ГБЛ. Ф. 86. № 6. Ед. хр. 79.

¹² Русская литература № 1, 1989 г.

тельствует его подпись под адресом, направленным Крузе.¹⁹

Обещание Григоровича сообщить саратовскому обществу об использовании пожертвованной было выполнено: в 51-м номере «Саратовских ведомостей» от 19 декабря 1859 года временно замешавший Мордовцева М. А. Лакотке поместил письмо студента историко-филологического факультета А. Христофорова, в котором дан подробный отчет о распределении присланной саратовцами суммы. Христофоров пишет, что именно благодаря пожертвованию саратовского общества смогла осуществиться давняя мечта студентов об учреждении факультетской библиотеки, для исполнения которой факультет, при малочисленности студентов, не имел средств.

Получив деньги, студенты сразу же приступили к делу. Большое содействие в организации библиотеки оказали профессора. Они «не ограничились одними советами»: «особенное участие в деле устройства библиотеки приняли Н. А. Попов, который приобрел нам на сумму 200 р (ублей) сер (ебром) книг, относящихся к отделам русской и общей истории, В. И. Григорович, И. Н. Булич и В. Г. Варенцов, пожертвовавшие большое число сочинений в пользу нашей библиотеки. Были также многочисленные вклады со стороны студентов и некоторых частных лиц».

Замечательно, что Христофоров среди тех, кто особенно помог в организации библиотеки, называет Григоровича и Варенцова. Это еще раз подтверждает тесные связи саратовцев с Казанью, единство их взглядов и настроений. Многие участники саратовского кружка были учениками Григоровича (Белов, Варенцов, Мордовцев). Ровинский называл Григоровича

«единственной личностью из Казанского профессора, к которой я никогда не перестану питать глубокого уважения».²⁰

В письме указана дата открытия библиотеки — 12 ноября 1859 года. Как известно, с 1858 года частные факультетские библиотеки становятся полулегальными кружками.²¹ Читатели письма, безусловно, понимали, что библиотека историко-филологического факультета считает целью своей деятельности нечто большее, чем только улучшение образования. Христофоров сообщает, что с общего согласия студенты составили между собой подписку и на вырученную сумму решили выписывать такие журналы, как «Современник», «Отечественные записки», газету «Московские ведомости».

В письме много внимания уделяется вопросу об отношениях между студентами и обществом. Автор выступает против неверного представления об университете, как казенной школе, «вызванной на свет распоряжениями правительства» и предоставленной «одним его стараниям и попечениям», так как подобное понимание университета обращает его «к из носителя образования в какой-то неосмысленный механизм, приготавливающий каждый год известное количество чиновников, во всем ограниченном смысле этого слова».

По глубокому убеждению Христофорова, только «усиленная потребность истинного образования откроет глаза обществу, уничтожив наше взаимное недоверие, на то, что у нас с ним одни цели, стремления и надежды и что следовательно общи должны быть и усилия к их достижению». Очевидным было, что библиотека главной задачей своей деятельности считала именно «усиление истинного образования в обществе». Под «истинным образованием» понималось, конечно же, революционное образование.

Эти легко раскрываемые иносказания ясно говорят о том, что основным направлением деятельности студентов была революционная пропаганда среди населения. Христофоров в одном из сохранившихся архивных документов прямо говорит о том; что главной целью кружка было «распространение революционных идей в обществе и, более всего, возбуждение восстания в народе».²²

¹⁹ П. А. Ровинский, друг Мордовцева по гимназии, с 1848 по 1853 год учился в Казанском университете. По окончании курса он был оставлен на кафедре русской словесности в качестве адъюнкта. 6 октября 1856 года Ровинский внезапно отчисляется от должности и покидает университет без объяснения причин. Вакантное место было предложено Варенцову. Толчком к уходу Ровинского из университета послужило его знакомство с идеями Чернышевского и с ним лично. К 1862 году Ровинский становится видным деятелем «Земли и Воли», представляет организацию в Казани. В. К. Петухов в диссертационном исследовании о жизни и творчестве Ровинского пишет: «Жизнь Ровинского с 1857—1860 гг. . . почти неизвестна. Имеются отрывочные сведения о пребывании его в различных местах страны: конец 1856—начало 1857 гг. он проводит в Поволжье, декабрь 1859 — в Казани, часто наезжает в Петербург. . .» (Петухов В. К. П. А. Ровинский (1831—1916) и русско-сербские литературные и фольклорные связи. Л., 1975. С. 29). К списку перечисленных мест пребывания Ровинского можно добавить Саратов — в январе 1859 года.

²⁰ Петухов В. К. Указ. соч. С. 24.

²¹ Вульфсон Г. Н. Из истории разночинно-демократического движения в Поволжье и на Урале. Казань, 1963. С. 22.

²² А. Х. Христофоров становится одним из наиболее деятельных членов революционного кружка студентов, на основе которого в конце 1860 года возникло Казанское отделение «Земли и Воли». В феврале 1861 года его исключают из университета, а в октябре — высылают в Саратов. Здесь он возглавляет Саратовское отделение тайной революционной организации, ведет в городе революционную пропаганду, создает рабочие ассоциации. Данные о Христо-

В заключении письма выражена надежда на то, что нравственная связь между Казанским университетом и саратовским обществом со временем «будет только теснее и крепче, и успешное развитие науки в университете и усиление истинного образования в обществе будут ее необходимыми и благодетельными результатами».

Приведенные материалы раскрывают ранее неизвестную сторону деятельности саратовской интеллигенции во второй половине 50-х годов и указывают на связь участников саратовского кружка с центром революционного движения Поволжья — Казанским университетом.

Кроме того, появляется возможность внести некоторые поправки в оценку мировоззрения Мордовцевой. В немногочисленных исследованиях о ее жизни и творчестве можно встретить мнение о том, что взгляды Мордовцевой в 50-е годы были реакционными. Так, например, О. В. Алексеева в статье «Исторические песни в публикациях Н. И. Костомарова и А. Н. Мордовцевой»²³ доказывает это, опираясь на ее письмо к И. С. Аксакову (примерно 1860—1861 годы), в котором собирательница обрушивается на демократические журналы. Алексеева приходит к выводу о том, «что одна лишь любовь к народным песням не предполагает наличия передового мировоззрения, и собиране произведений народного творчества и публикация их не определяет прогрессивности общественных позиций собирателя» (с. 331). Л. В. Домановский, в целом поддерживая точку зрения Алексеевой, вносит поправку: в 1852—1854 годах Мордовцева занималась собирательской работой не вопреки своим взгля-

дам, а благодаря благотворному, хотя и кратковременному влиянию на нее Чернышевского, которое постепенно выветрилось.²⁴

Активное участие Мордовцевой в организации спектакля и сборов пожертвований, ее публикация в «Русском дневнике» и письмо к Григоровичу показывают, что в 1859 году взглядам ее были свойственны прогрессивно-демократические устремления. Здесь сказалось не только влияние Чернышевского, но, прежде всего, требования времени, своеобразие исторического момента. Экономические и социальные перемены, начавшиеся в стране после Крымской войны, назревание революционной ситуации привели к тому, что, по точной характеристике Н. В. Шелгунова, «все, что было в России интеллигентного, с крайних верхов и до крайних низов, начало думать, как оно еще никогда прежде не думало. Думать заставил Севастополь, и он же пробудил во всех критическую мысль, ставшую всеобщим достоянием... Все стали думать и думать в одном направлении, в направлении свободы, в направлении разработки лучших условий жизни для всех и для каждого».²⁵

Рост общественного сознания, заставивший обратиться к изучению народной жизни, критическому осмыслению русской истории и современности, объединил лучших представителей всех классов и прослоек в борьбе против самодержавия. Период совместной борьбы был недолгим. В 1859 году в стране сложилась революционная ситуация. Размах революционного движения привел к размежеванию людей с различными политическими ориентациями. Произошли изменения во взглядах Мордовцевой и других членов саратовского кружка.

форове взяты из цитируемой выше книги Г. Н. Вульфсона (с. 30—38, 65, 99—100).

Показательно, что одним из участников созданных Христофоровым рабочих ассоциаций был С. Ф. Стефани (*Порох И. В.* Указ. соч. С. 49).

²³ Русский фольклор: Материалы и исследования. М.; Л., 1961. Т. 6. С. 329—343.

²⁴ Домановский Л. В. Собрание песен Саратовской губернии А. Н. Пасхаловой // Русский фольклор: Материалы и исследования. М.; Л., 1962. Т. 7. С. 346—353.

²⁵ Шелгунов Н. В. Из прошлого и настоящего // Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Саратов, 1958. Т. 1. С. 203.

Л. Г. Чуднова

ОТРЕДАКТИРОВАННЫЙ ЛЕСКОВ

(ИСТОРИЯ ПУБЛИКАЦИЙ ОДНОГО ПИСЬМА)

В 1900 году журналист А. И. Фаресов опубликовал статью «Материалы для характеристики Николая Семеновича Лескова»,¹ в которой впервые были использованы некоторые эпистолярные документы, касающиеся биографии писателя. Среди них оказалось и письмо Лескова к неизвестному адресату от 23 июля

1893 года. Оно приводилось автором статьи для доказательства мысли о солидарности взглядов Лескова и Л. Н. Толстого в 90-е годы.

Фаресов не комментировал публикацию писем. И вопрос о полноте текста упомянутого письма также оставался неясным. В его передаче письмо от 23 июля 1893 года выглядело так: «Читал одну из книг Л. Н-ча. Он желает, чтобы я написал ему „впечатление“, но я этого сделать не способен и не буду. Приятель мой

¹ Живописное обозрение. 1900. № 4. С. 30—58.

что-то было начертал, но я его отговорил, ибо почитаю это за несвоевременное и бесполезное. Притом я думаю, что все это, что нам приходит на ум, уже бывало не раз в несравненно более совершенном и сильном уме Л. Н-ча. Я весь на стороне автора и никакими деталями не смущаюсь. Это делано на тех, „иже хочет совершен быть“, а не на „простую челядь“, которая хочет „небесная улучить, не погубляя земного жития сладости“. А из этого „запроса“, конечно, могут и должны быть уступки, что и намечено с указанием любимой моей мысли, что отступающий от истинного пути не должен, однако, себя оправдывать, а должен „сам быть не на своей стороне“. Разгром и распластание всего внешнего, подменившего сущность жизни, произведены с страшною силою и яркостью молнии, раздирающей ночное небо. Порою мы кончали страницу и сидели как пораженные громом. Чтец читал мужественно, но не раз очень бледнел. До 8-й главы это все так было, как сначала, но с 8-й тон повышается, и 9-я, 11-я и 12-я силы необычайной и удивительной. Экземпляр у меня будет, и я Вам дам его прочесть, хотя, собственно, я не понимаю, зачем Вы хотите это читать. Для Вас там есть место очень неприятное, и весь дух сочинения совсем Вам противный и даже „укоризненный“. Человек, остающийся в общении с „инфатю“, гораздо легче может читать все, что написал об „инфаме“ Вольтер, чем читать это как „молоткованого слова“. Остается одно из двух: или подать руку автору и отвернуться от „инфамы“, или идти назад и просить защиты от этого автора, которому не было и нет равного по силе и решительности. Из этой дилеммы выскочить невозможно, если только нет охоты *себя дурачить*. Зачем этим интересоваться, если вывод ни на что не нужен. Это одно беспокойство и расслабление себя в том самом, на чем надо всего крепче себя основать, чтобы „не принести безумия Богу своему“.²

Спустя четыре года в книге «Против течений» Фаресов публикует данное письмо без изменений, поясняя, однако, что оно написано к «одной даровитой писательнице» в связи с чтением сочинения Л. Н. Толстого.³ Последнее подтвердилось и письмом Лескова к самому Фаресову от 22 июля 1893 года, опубликованным в книге: «Я только что окончил чтение нового сочинения Л. Н. Т. по рукописи, назначенной для английского перевода. Это труд 4-х лет, очень большой, около 700 стр., и очень могучий».⁴

Поскольку к тому времени Толстой завершил и подготовил к изданию за границей единственное сочинение такого объема — «Царство божие внутри вас», очевидно, что в письмах речь шла о нем.

Вопрос об адресате и предмете суждений, изложенных в письме Лескова от 23 июля 1893 года, казалось, навсегда был уточнен

писательницей Л. И. Веселитской (псевдоним «В. Микулич»), сблизившейся с Лесковым в последние годы его жизни. В 1925 году она опубликовала свои воспоминания о Лескове и несколько его писем, в том числе и вышеозначенное, рассказав, чем оно было вызвано.⁵

Из ее сообщения следовало: 8—9 июля 1893 года у Лескова, жившего летом в Мерре-кюле, близ Усть-Нарвы, собрались его друзья: литераторы А. М. Хирьяков, Л. Я. Гуревич, М. О. Меньшиков, Л. И. Веселитская. Последняя прибыла с подругой, фамилию которой она не назвала. Лесков пригласил их на чтение рукописи произведения Толстого «Царство божие внутри вас», которую доставил в Мерре-кюль Хирьяков. Приходил на чтения и проживавший рядом на даче священник Г. С. Петров. Читали вслух несколько дней подряд. 14 июля Веселитская и ее спутница уехали в Петербург, не дослушав до конца трактат Толстого. По завершении чтения рукописи у Лескова возникло желание поделиться с Веселитской впечатлением от всего прочитанного.

Публикуя это письмо, Веселитская подает его как бы целиком, начиная с даты и заканчивая подписью писателя. Приведем ее публикацию полностью, чтобы сравнить с текстом, представленным Фаресовым.

24-е письмо от 2 августа 1893 г.⁶

По отъезде Вашем получил большое письмо Льва Николаевича. Он желает, чтобы я написал ему о наших впечатлениях. Но я это сделать не способен и писать не буду. Напишет ему Меньшиков, который собаку съел на эти дела.

Модестыч (Хирьяков) что-то было начертал, но я его отговорил, почитаю это за несвоевременное и бесполезное. Притом думаю, что все это, что приходит нам в голову, уже не раз бывало в несравненно более сильном и совершенном уме Льва Николаевича.

Я весь на стороне автора и никакими деталями не смущаюсь. Это делано на тех, иже хочет совершен быть, а не на простую чадь, которая хочет и небесное получить, не погубляя земного жития сладость. Разрушение и распластание очезримой фальши церковного учения, подменившего учение Христа, произведены со страшною силою и яркостью молнии, раздирающей ночное небо. Печатный экземпляр для Вас у меня будет; хотя, собственно, не понимаю, зачем Вы хотите читать это? Для вас там есть места очень неприятные, и весь дух сочинения вам противный и даже укоризненный. Человек, остающийся в общении с церковью, легче может читать все, что написал о ней Вольтер, чем читать это как молотом кованое слово. Остается одно из двух: или подать автору руку и отвернуться от церкви, или идти и рыдать у старого

² Там же. С. 55—56.

³ Фаресов А. И. Против течений. СПб., 1904. С. 115—117.

⁴ Там же. С. 117.

⁵ Микулич В. Письма Н. С. Лескова // Литературная мысль. Л., 1925. Т. 3. С. 262—301.

⁶ При публикации Веселитская ошиблась в датировке письма.

алтаря и просить у него, чтоб он защитил и себя и людей от этого разрушителя, которому не было равного по силе и решительности. Н. Л.⁷

Через четыре года в книге «Встречи с писателями» Веселитская повторно дала тот же текст указанного письма.⁸

При сличении публикации Фаресова и Веселитской оказывается, что Веселитская дает более сокращенный текст, хотя и не обозначает пропуски и сокращения обычным в этих случаях многоточием. Но самое главное: даже в одних и тех же частях письма нет полного текстуального совпадения. За исключением отдельных фраз, разночтения наблюдаются почти в каждом предложении.

Возникает вопрос: возможно, сохранились два варианта письма, т. е. черновик и окончательный текст? Но адресату не мог быть послан черновик, Фаресов же в свою очередь нигде не сообщает, что он располагает черновиком. И имея таковой, вряд ли можно было, из соображений этических, печатать его без согласия Веселитской и соответствующего пояснения. Вероятно, Веселитская, располагавшая оригиналом, дала возможность Фаресову ознакомиться с ним и разрешила опубликовать. В этом случае, однако, напрашивается вывод о том, что кто-то из них искажил письмо Лескова из тех или иных побуждений.

Принципиальное значение имеют разночтения в той части письма, которая содержит эмоциональные суждения Лескова относительно «разрушительной» толстовской критики официальной церкви, ее фальши и лицемерия. У Фаресова это текст, начинающийся словами «Разгром и распластание всего внешнего, подменившего сущность жизни. . .» и завершающийся: «. . . не было и нет равного по силе и решительности»; у Веселитской — от слов «Разрушение и распластание очезримой фальши церковного учения, подменившего. . .», заканчивая словами, близкими тем, что у Фаресова: «. . . не было равного по силе и решительности».

Ввиду того что в данном случае с наибольшей отчетливостью выражено восхищение Лескова беспощадной силой Толстого-обличителя и выявляются критические позиции самого автора письма, этот текст не раз привлекал к себе внимание лесковедов. Но так как подлинник оставался неизвестным, приходилось обращаться к публикациям Фаресова и Веселитской.⁹ Каждый цитировал по своему усмотрению тот или другой источник, не указывая на имею-

щиеся в них разночтения и не подвергая сомнению их достоверность.¹⁰

Двойное цитирование наблюдается до сих пор. Между тем оно стало явным анахронизмом, далее нетерпимым, так как подлинный текст письма сохранился, и это дает возможность установить истину. Автограф Лескова хранится в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.¹¹ Приводим его полностью.

23 июля 93 г. Мерекюль, 94.

Боголюбезным и всечестным женам-легконосицам¹² Лидии и Наталии благодать и мир от Бога и Отца нашего и всесовершенен дар светлого разума в слове Господа нашего и учителя Иисуса Христа. Привет Вам и благодарения сердца нашего за посещение нашего недостойнства, осиянного на краткий час жизни чистотою Вашего посещения, за что и кланяемся, припадая ко стопам смирения ног Ваших. По разлуке же с Вами мы были печальны, а отроковица Варвара плакала,¹³ испуская слезы во весь путь от Нарвы до Меркуля. (Так предположено писать по обрусению: «Меркуль»). Ныне же мы от плача своего престали, но сердцами пребываем Вам верны и разумеем Вас так, аки бы Вы и впрямь были сестры по сердцу смиренню нашему; да и почему бы не быть сему так взаправду?

По отъезде Вашем получилось на другой день большое письмо Л(ьва) Н(иколаевича).¹⁴ Он желает, чтобы я написал ему «впечатление», но я этого сделать не способен и не буду. Будет ему писать Меньшиков,¹⁵ к(ото)рый «собаку съел» на эти дела. Модестыч¹⁶ что-то было начертал, но я его отговорил, ибо почитаю это за несвоевременное и бесполезное. Притом я

¹⁰ См., например: *Гроссман Л. Н. С. Лесков: Жизнь — творчество — поэтика*. М., 1945. С. 113; *Розанова С. Комментарии // Л. Н. Толстой: Переписка с русскими писателями: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 276; Чуднова Л. Г. Лесков в Петербурге*. Л., 1975. С. 216; *Семенов В. Николай Лесков — время и книги*. М., 1981. С. 215—216; *Туниманов В., Сухачев Н. Комментарии // Лесков Андрей. Жизнь Николая Лескова: В 2 т. М. П., 1984. Т. 2. С. 519.*

¹¹ ГПБ. Ф. 1000. № 746. Л. 1—2.

¹² Начало письма дается в шутовливой стилизованной манере. «Женами-легконосицами и окнеполазицами» Лесков в шутку называл Веселитскую и ее подругу за то, что они по утрам, когда все еще спали и двери гостиницы были закрыты, вылезали через окно и шли гулять. См.: *Литературная мысль*. Т. 3. С. 283.

¹³ Варя Долина — воспитанница Н. С. Лескова.

¹⁴ Льва Николаевича Толстого.

¹⁵ Меньшиков Михаил Осипович — публицист, литературный критик, сотрудник «Недели». Его статьи Лесков высоко ценил.

¹⁶ Александр Модестович Хирьяков — писатель, публицист, сотрудник газеты «Русская жизнь».

⁷ *Микулич В.* Письма Н. С. Лескова. С. 285.

⁸ *Микулич В.* Встречи с писателями. Л., 1929. С. 189.

⁹ Письмо не было опубликовано и в собрании сочинений Лескова в 11-ти томах (М.: ГИХЛ, 1956—1958), где довольно широко представлено эпистолярное наследие писателя и среди других адресатов есть Л. И. Веселитская (В 11-й том включено 16 писем, адресованных ей).

думаю, что все это, что нам приходит на ум, уже побывало не раз в несравненно более совершенном и сильноном уме Л(ьва) Н(иколаевича). Я весь на стороне автора и никакими деталями не смущаюсь.¹⁷ Это сделано на тех, «иже хочет совершен быти», а не на «простую чадь», которая хочет «небесная улучшить, не погубляя земного жития сладости». А из этого «запроса», конечно, могут и должны быть уступки — что и помечено с указанием любимой моей мысли, что отступающий от истинного пути не должен, однако, себя оправдывать, а должен «сам быть не на своей стороне». Разгром и распластание церковной подлости и очезримой фальши ее учения, подменившего учение Христа, произведены с страшною силою и яркостью молоньи, раздирающей ночное небо. Порою мы кончали страницу и сидели как пораженные громом. Сын Спиридона Ив(ановича)¹⁸ читал мужественно, но не раз оч(ень) бледнел. До 8-й гл(авы) это все так, как было сначала, но с 8-й тон повышается, и 9-я, 11 и 12 — силы необычайной и удивительной! Пропусков и потерянных листов нет. Они просто лежали в беспорядке. Экземпляр у меня будет, и я Вам дам его прочесть, хотя, собственно, я не понимаю: зачем Вы хотите это читать? Для Вас там есть места оч(ень) неприятные, и весь дух сочинения совсем Вам противный и даже *укоризненный*.¹⁹ Человек, остающийся в общении с «*infame*»,²⁰ гораздо легче может читать все, что написал об «инфаме» Вольтер, чем читать это «как молоткованое слово». Остается одно из двух: или подать руку автору и отвернуться от «инфамы», или идти и рыдать у старого алтаря и просить у него, чтобы он защитил себя и людей от этого разрушителя, которому не было и нет равного по силе и решительности. Или он проклял как дерзкий, или она — как *уличенная подлячка!* Из этой дилеммы выскочить невозможно, если только нет охоты *себя дурачить*. Зачем этим интересоваться, если вывод ни на что не нужен! Это одно беспокойство и расслабление себя в том самом, на чем надо всего крепче себя основать, чтобы «не принести безумия Богу своему».

Хирьяков уехал от меня позавчера и хотел быть у Вас. Л(ю)б(овь) Як(овлевна) о журнале своем *не* заботится.²¹ Я был глуп, когда

¹⁷ Об искренности и твердости этого отношения Лескова к трактату Л. Н. Толстого «Царство божие внутри вас» свидетельствуют и другие его письма той поры. «Я от общего содержания нахожусь в восхищении», — писал он, например, М. О. Меньшикову. См.: *Лесков Н. С. Собр. соч.*: В 11 т. М., 1958. Т. 11. С. 555.

¹⁸ «Сын Спиридона Ивановича» — так участники чтения шуточно называли священника Григория Спиридоновича Петрова, ввиду совпадения отчества Петрова с именем мужа Мимочки — героини трилогии Веселитской.

¹⁹ Л. И. Веселитская была привержена православной церкви.

²⁰ «*Infame*» (фр.) — подлая. Взято из Вольтера («Раздавите подлую!»).

²¹ Гуревич Любовь Яковлевна — издательница журнала «Северный вестник».

думал иначе. В Меркуле оч(ень) хорошо. Мы с Вареем теперь ходим вдвоем и вспоминаем Вас. Она Вас нежно и горячо полюбила, и я, конечно, оч(ень) этому рад и очень от этого счастлив. Прошайте, жму Ваши руки и целую их как преданный Вам старик, чувствующий к Вам добрую приязнь и радующийся, что на свете есть такие женщины, как Вы.

Н. Лесков

Сопоставление подлинника с публикациями Фаресова и Веселитской позволяет сделать несколько серьезных выводов.

Во-первых, письмо Лескова от 23 июля 1893 года адресовано не одному, а двум лицам: Веселитской Лидии Ивановне и ее подруге, приехавшей на чтение рукописи произведения Л. Н. Толстого в Меррекуль. Лесков начинает свое послание с обращения к ним обоим: «Боголюбным и всечестным женам-легконосцам Лидии и Наталии благодать и мир...». Фамилию этой гостьи писателя установить не удалось. Известно лишь, что Лесков упоминает ее имя в двух последующих письмах к Веселитской от 10 и 13 августа 1893 года: «Наталие Александровне кланяюсь».²² Веселитская же, как было замечено выше, не раскрывает личности своей спутницы.²³

Во-вторых, ни Фаресов, ни Веселитская не дали полный текст письма. Помимо бытовых моментов ими опущены и такие сведения, суждения, в которых раскрываются и мировоззренческие аспекты, и общественно-литературные позиции писателя. Так, Веселитская совсем не включила строки, поясняющие характер восприятия Лесковым изложенных в «Царстве божием внутри вас» основ нравственного учения Толстого: «А из этого „запроса“, конечно, могут и должны быть уступки — что и помечено с указанием любимой моей мысли, что отступающий от истинного пути не должен, однако, себя оправдывать, а должен „сам быть не на своей стороне“».

Пренебрегла она также и той частью письма, где говорится о восприятии всеми участниками чтения идей, мысли Толстого и где содержится оценка произведения по главам, из которой очевидно, что Лесковым особенно высоко ставятся главы, развертывающие сокрушительную критику государства, аппарата насилия, господствующих классов, общественной морали и церкви. Имеется в виду текст: «Порою мы кончали страницу и сидели как пораженные громом...», завершающийся словами: «... с 8-й тон повышается, и 9-я, 11 и 12 — силы необычайной и удивительной!».

²² *Микулич В.* Письма Н. С. Лескова. С. 288. Датировка писем дается по данной публикации; возможно, она неверна.

²³ По описи рукописного отдела ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Шедрина она значится Натальей Ивановной Веселитской, т. е. сестрой Л. И. Веселитской. Однако вряд ли Лесков мог дважды ошибиться, называя ее Натальей Александровной, при том что Лидию Ивановну он хорошо знал и постоянно общался с нею.

В указанных публикациях Фаресова и Веселитской опущена очень важная фраза, подытоживающая рассуждение Лескова о бескомпромиссности идейных позиций Толстого, его отрицания официальной церкви: «Или он (Толстой, — Л. Ч.) проклят как дерзкий, или она — как *уличенная подлячка!*». А ведь именно тут Лесков предсказывает будущее отлучение великого писателя от православно́й церкви.

Все эти пропуски, как и другие, не отмеченные нами, конечно, привели к очень существенным смысловым потерям.

В-третьих, Фаресов и Веселитская позволили себе произвольное редактирование тех частей письма, которые они опубликовали, заменив или переиначив отдельные слова и выражения. Из сопоставления их публикаций с автографом ясно, что искажение текста шло по двум линиям. Фаресов осуществляет «редактирование» главным образом в целях смягчения суждений Лескова, касающихся церкви и ее разоблачения Толстым. Так, немаловажное высказывание «Разгром и распластание церковной подлости и очезримой фальши ее учения. . .» в публикации Фаресова предстает выхолощенным. О церкви и ее лицемерии, бесчестности нет и речи; взамен точности выражения Лескова — какая-то общая туманная фраза: «Разгром и распластание всего внешнего, подменившего сущность жизни, произведены с страшною силою. . .».

Далее, уже после того как открыто сказано о «церковной подлости», Лесков заменяет слово *церковь* французским словом «инфама», взятым из вольтеровского изречения в адрес церкви «Ecrasez L'infame!», что буквально означает «Раздавите подлую!». Фаресов оставляет слово «инфама», но в таком контексте, в котором оно понятно не всякому читателю. Более того, Фаресов выбрасывает и еще один синоним официальной церкви, употребляемый Лесковым, — «старый алтарь» — и тем самым окончательно затушевывает первоначальный смысл письма. Насколько меняется содержание суждений от подобной редактуре, можно видеть хотя бы при сравнении одного предложения.

У Лескова: «Остается одно из двух: или подать руку автору и отвернуться от „инфамы“, или идти и рыдать у старого алтаря и просить у него, чтобы он защитил себя и людей от этого разрушителя, которому не было и нет равного по силе и решительности».

У Фаресова: «Остается одно из двух: или подать руку автору и отвернуться от „инфамы“, или идти назад и просить защиты от этого автора, которому не было и нет равного по силе и решительности».²⁴

²⁴ Фаресов А. И. Против течений. С. 116.

Веселитская редактирует текст письма, исходя из своих вкусовых соображений. Она довольно свободно переиначивает фразы в их синтаксическом и словарном составе, снимает кавычки с отдельных слов или целых словосочетаний, т. е. уничтожает прием, столь характерный для стиля Лескова. Вот один из многочисленных примеров.

У Лескова: «Он желает, чтобы я написал ему „впечатление“, но я этого сделать не способен и не буду. Будет ему писать Меньшиков, к(ото)рый „собаку съел“ на эти дела».

У Веселитской: «Он желает, чтобы я написал ему о наших впечатлениях. Но я это сделать не способен и писать не буду. Напишет ему Меньшиков, который собаку съел на эти дела».²⁵

Наконец, еще раз необходимо заметить, что датирует письмо Веселитская неправильно. В сохранившемся автографе стоит дата не 2 августа 1893 года, а «23 июля 93 г.». Как отмечалось выше, в этих же числах — 22 июля — Лесков сообщал А. И. Фаресову об окончании чтения произведения Толстого и отъезде всех гостей.

Все вышеизложенные наблюдения дают основание для окончательного вывода: Фаресов и Веселитская осуществили намеренную фальсификацию текста письма из своих личных соображений. Их недобросовестность в обращении с литературным документом вполне очевидна, и нельзя далее не замечать этого. Произвольно отредактированный Лесков должен уступить место Лескову подлинному.

Установление такой грубой фальсификации приводит и к сомнению в добросовестности указанных лиц при обнаружении других эпистолярных источников. В 1939 году А. Н. Лесков сделал пометку на книге В. Микулич «Встречи с писателями»: «Публикация писем небрежна и местами неточна и оч(ень) произвольна. . . Хуже, чем в „Лит(ературной) мысли“. III, 1925».²⁶

Этому замечанию до сих пор не придавали особенного значения. Теперь же очевидно, что рассмотренный образец манипулирования текстом Лескова не только подтверждает правоту сына писателя, но и рождает недоверие к публикациям литературных документов, сделанным в свое время А. И. Фаресовым, — публикациям, к которым так часто обращались и обращаются исследователи творчества Лескова.

²⁵ Микулич В. Письма Н. С. Лескова. С. 285.

²⁶ Цит. по: В мире Лескова: Сб. статей. М., 1983. С. 355. Этот экземпляр книги с дарственной надписью Л. И. Веселитской писательнице Е. И. Зариной-Новиковой хранится в библиотеке Музея И. С. Тургенева в Орле.

«ПРОГРЕСС ЧЕЛОВЕЧНОСТИ»

(ЗАБЫТЫЕ РЕЦЕНЗИИ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА В ЖУРНАЛАХ
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК» И «ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»)

В сложных отношениях с критикой¹ начался в середине 30-х годов непродолжительный, но очень насыщенный событиями период литературной жизни А. Платонова, когда обстоятельство побудило его самого выступить в роли критика. Со стороны этот шаг писателя мог показаться неожиданным, но на самом деле он был вызван многими причинами.

30-е годы — нелегкое время для Платонова. На рубеже десятилетия он пережил тяжелейший духовный кризис. Его сатирические произведения второй половины 20-х годов — свидетельство глубокой озабоченности проблемами современной социальной действительности. Писатель стал замечать существенные отклонения от ленинских принципов социалистического переустройства общества. В повести «Город Градов» (1926), рассказе «Усомнившийся Макар» (1929) и очерке «Че—Че—О» (1928) Платонов показал, насколько велика опасность бюрократизма. В рассказе «Усомнившийся Макар» возникает поразительный по своей смелости образ «научного человека»: «Человек тот стоял и молчал, не видя горящего Макара и думая лишь о целостном масштабе, но не о частном Макаре. Лицо ученойшего человека было освещено заревом дальней массовой жизни, что растлилась под ним вдаль, а глаза страшны и мертвы от взора. . . Макар долез до образованнейшего и тронул его толстое, громадное тело. От прикосновения неизвестное тело шевельнулось, как живое, и сразу рухнуло на Макара, потому что оно было мертвое»².

Эти строки опубликованы в 1929 году. Писатель почувствовал, какая мертвящая сила нависла над народом. Он понимал, что диктат единоличной власти может заглушить творческую инициативу «частных Макаров», от которой зависела сама возможность построения социализма.

И все же, с достаточной ясностью осознавая, что происходит вокруг, Платонов не был готов к реакции критики на его сатиру. Он верил, что честное и открытое предупреждение будет верно понято. Первый удар рапповской критики — статья Л. Авербаха «О целостных масштабах и частных Макарах» — не остановил писателя. Он не теряет надежды на оздоровляющую общество силу социальной сатиры. Повесть-хроника

«Впрок» (1931) была написана как предостережение от волюнтаризма в осуществлении коллективизации. Тревога Платонова о судьбах деревни и крестьянства, попытка представить такие пути коллективизации, которые не уничтожили бы в крестьянине чувство хозяина, осталась непонятой. Последовала целая серия статей о «кулацкой» идеологии автора повести. Л. Шубин в известной своей статье о Платонове, опубликованной в 1967 году, писал, что Платонов воспринял критику как голос народа. Он искренне пытался принять ошибочную точку зрения на сатиру как на нечто враждебное создаемому новому миру, полагая, что таково мнение народное. В результате советская литература лишилась одного из талантливых писателей-сатириков. Сатирических произведений Платонов больше не напишет.

Последствия рапповской критики 1929—1932 годов оказались для писателя очень серьезными. Имя Платонова надолго исчезает со страниц журналов, за все десятилетие выходит единственный небольшой сборник прозы А. Платонова «Река Потудань» (1937).

В тяжелое для него время Платонов обращается за поддержкой к Горькому, надеясь на помощь в публикации романа «Чевенгур». Он посылает Горькому роман и получает с известной оценкой и приговором о невозможности напечатать «Чевенгур» в сложившейся к тому моменту обстановке. Горький писал Платонову, что единственным человеком, способным оценить роман по достоинству, мог стать А. К. Воронский, в 1927 году устранный с поста редактора «Красной нови»³. Отношения Платонова с Горьким не ограничиваются перепиской. В 1929 году Платонов посетил Горького на его квартире в Москве. Воспоминания Платонова об этой встрече сохранились в его архиве. Вдове писателя Марии Александровне удалось опубликовать их в 1966 году⁴.

Реальную помощь Горького Платонов получил, когда в 1934 году был приглашен в коллектив авторов задуманной Горьким художественной летописи «Две пятилетки»⁵. Участие в коллективной работе, творческая командировка с группой писателей в Туркмению вывели Платонова из состояния безнадежности.

Эти события совпали по времени с моментом

¹ Иванова Л. А. Творчество А. Платонова в оценке советской критики 20—30-х годов // Творчество А. Платонова. Воронеж, 1970. С. 173—192.

² Платонов А. Усомнившийся Макар // Октябрь. 1929. № 9. С. 28—41.

³ Лит. наследство. 1963. Т. 70. С. 313—314.

⁴ Платонов А. Первое свидание с Горьким // Лит. Россия. 1966. 5 авг. С. 6.

⁵ Выступление Горького на совещании, посвященном изданию книги «Две пятилетки» // Архив А. М. Горького. М., 1964. Т. 10. Кн. 1. С. 328—343.

создания вместо рапповского журнала «На литературном посту» нового периодического издания — «Литературный критик» (1933). В 1936 году у журнала появился «тонкий» спутник — «Литературное обозрение». Возникновение этих журналов на несколько лет определило литературную судьбу Платонова.

Можно предположить, что в редакцию журналов привел писателя его давний воронежский знакомый В. Келлер, который стал к тому времени известным критиком (печатался под псевдонимом «В. Александров»). В начале 20-х годов в одной из первых рецензий на поэтический сборник Платонова «Голубая глубина» он пророчески предсказал Платонову трудную судьбу большого художника: «Толкаться в литературных лавочках Питера и Москвы и кричать о себе он, разумеется, не будет... Но те, кому нужен Платонов, найдут к нему дорогу. А нужен он многим».⁶

В редакции журнала, которая размещалась на Тверском бульваре (во дворе дома, где жил Платонов), писатель познакомился с критиками Е. Усиевич, Ф. Левиным, Г. Лукачем. Последующее сотрудничество с редколлективом «Литературного критика» и «Литературного обозрения» ясно показало: Платонов пришелся здесь ко двору.

С 1936-го по 1941 год критические статьи Платонова появлялись в печати чаще, чем его повести и рассказы. Началом тесной связи писателя с литературно-критическими и теоретическими журналами (художественные произведения здесь никогда не публиковались) стал поступок, который потребовал от руководства журналов немалого мужества и уверенности в своей правоте. В восьмом номере «Литературного критика» за 1936 год были напечатаны рассказы А. Платонова «Фро» и «Бессмертие». Публикация сопровождалась редакционной статьей, объяснявшей столь необычное решение редколлектива журнала: «Ни один из московских журналов не согласился печатать эти два рассказа». Причину столь категорического неприятия произведений Платонова авторы редакционной статьи видели в несоответствии прозы этого писателя уже прочно утвердившемуся в современной литературе требованию «поверхностного, никого не убеждающего и никого не заражающего оптимизма».⁷ Рассказы Платонова не укладывались в рамки бесконфликтной литературы, в которой «все богато и многообразно развивающейся жизни»⁸ (ярко и талантливо воплощаемое Платоновым) оказывалось втиснуто в упрощенную схему мнимого благополучия. Отношение к творчеству Платонова было верно оценено как признак серьезного неблагополучия в современном состоянии литературы.

С выступления в «Литературном критике»

началась борьба за Платонова. Объединившиеся вокруг журналов «Литературный критик» и «Литературное обозрение» литераторы старались все сделать для «возвращения» Платонова и его героев в советскую литературу. Но поскольку объяснить и оправдать платоновскую сатиру рубежа 20—30-х годов представлялось в то время невыполнимым, они вместе с самим писателем начали творить легенду о «коренном повороте»⁹ в творчестве Платонова, отразившемся в его рассказах «Фро» и «Бессмертие». В уже упоминавшейся редакционной статье говорилось: «Такой сложный писатель, как Платонов, под воздействием жизни может взять да и передумать себя заново».¹⁰

Утверждение возможности перемен в мировоззрении и творчестве Платонова становится общим местом статей сторонников писателя в дискуссии, вспыхнувшей после публикации рассказов «Фро» и «Бессмертие». Наиболее веским аргументом в пользу того, что новые произведения Платонова отличаются от старых, считали появление в рассказах положительного героя. Э. Левин из рассказа «Бессмертие» был охарактеризован как носитель идеи гуманизма и творческих возможностей рабочего класса.¹¹

Главную удачу Платонова видели в полемичности его героев по отношению к серым персонажам бесконфликтной литературы: «Именно то обстоятельство, что Левин носит в себе противоречия нашего времени, и делает его подлинным героем рассказа... Он живой не потому, что не имеет душевных изъянов, а потому, что, несмотря на них, является передовым человеком нашего времени... Он дан во внешней и внутренней динамике».¹²

Г. Лукач поместил статью об Э. Левине в юбилейном номере «Литературного обозрения», посвященном 20-летию Октября, в подборке «Герои советской литературы». Лукач писал: «Большое искусство Платонова сказывается в том, что в маленьком, внешне незначительном отрезке жизни, который он рисует, он показывает нам громадное множество процессов, обнаруживающих эту внутреннюю перестройку людей».¹³

Высоко оценил героя «Бессмертия» и критик А. Дроздов: «Как хорош, как глубок человек нашей страны, как он чуток и человечен, как цели, которым он служит, окрашивают его жизнь новым светом. Платонов стремится решить сложнейшую проблему положительного героя, причем берет проблему не внешне, а идет вглубь, не обходя трудности, а навстречу им».¹⁴ А. Дроздов тоже уловил спор писателя с ходячей схемой «безуказанно идеального героя»: «Левин вовсе не герой, если понимать героя как

⁹ Лит. газ. 1937. 26 дек.

¹⁰ О хороших рассказах и редакторской рутине. С. 113.

¹¹ Там же.

¹² Там же.

¹³ Лит. обозрение. 1937. № 19—20. С. 55.

¹⁴ Лит. газ. 1937. 10 марта. С. 5.

⁶ Келлер В. Андрей Платонов // Зори. 1922. Кн. 1. С. 34—36.

⁷ О хороших рассказах и редакторской рутине // Лит. критик. 1936. № 8. С. 109.

⁸ Там же. С. 113.

целокупность совершенно безукоризненных, высоких и благородных черт».¹⁵

Е. Усевич выделила в герое «Бессмертия» стремление «не мириться с миром, каков он есть, постоянно стремиться к переделке его напряженным трудом. Поддерживать в этом труде товарищей, работающих и борющихся рядом с тобой, будить их творческие силы».¹⁶

В дискуссию о творчестве Платонова включились читатели. В «Литературной газете» (1937. 26 окт.) было опубликовано обсуждение произведений Платонова в рабочей аудитории. И здесь, в разговоре с читателями, писатель сознательно акцентирует внимание на вопросе: «Отличаются ли мои новые произведения от старых?». И получает ответ: «Писатель старается, и небезрезультатно, разрушить узкий мир своих героев, увидеть советскую действительность, полную здорового, жизнерадостного оптимизма».

Несколько позже и критические статьи Платонова были восприняты как свидетельство «поворота» их автора к социалистическому реализму. Само стремление отстоять творчество талантливого художника было вызовом «рутинности, узкости представлений. . . работников наших издательств и критиков и — в первую очередь — редакций литературно-художественных журналов».¹⁷

Но легенда о переломе в мировоззрении Платонова, якобы происшедшем в середине 30-х годов, при всем благородстве целей ее создания все же не соответствовала действительности. Писатель задолго до этого признавался в письме к жене Марии Александровне: «Мои идеалы однообразны и постоянны».¹⁸ И противники Платонова, обрушившие на его произведения поток несправедливых обвинений, в одном были все же правы — в понимании того, что сломить писателя, заставить его изменить себе — невозможно.

Нападки на творчество Платонова во второй половине 30-х годов носили целенаправленный характер. Критики, выступавшие против Платонова, обнаруживали в своих статьях редкостное единодушие, повторяя друг за другом основные тезисы «разоблачений» Платонова. Прежде всего произведения Платонова противопоставлялись советской литературе. Рецензент сборника «Река Потудань» утверждал, что платоновский мир «тесен и душен», а герои его — «маленькие, загнанные, одинокие и отчаявшиеся люди». «Эта философия не имеет ничего общего с философией советского писателя»,¹⁹ — заключал он.

В 1937 году была опубликована пространная

статья о Платонове А. Гурвича. Стремясь доказать, что писатель неизменен в своих взглядах и творческих принципах, А. Гурвич напомнил о сатирическом рассказе Платонова «Усомнившийся Макар», упорно повторял приговор, вынесенный ему вульгарно-социологической критикой: «Все произведения Платонова несут на себе печать единого, глубоко порочного и в этом смысле весьма устойчивого мироощущения автора».²⁰ Обвиняет писателя в наличии якобы в его творчестве «дурных традиций декадентской и индивидуалистической литературы» критик Б. Костелянец.²¹

Упрекая Платонова за «воспевание» «аполитичной и маленькой личности»,²² Гурвич, Илюшин, Костелянец отрицали положительное содержание образа главного героя рассказа «Бессмертие» Э. Левина. Б. Илюшин утверждал, что Левин — «мученик, страдалец, терпеливо наслаждающийся своей мукой. . . бедный, несчастный, источающий добро человек».²³ Б. Костелянец заявлял, будто в рассказе «Бессмертие» «порочность метода Платонова вывлекается с особенной силой», ибо в трактовке этого критика «Левин оказывается носителем темы одиночества», «все время остро ощущает свою отчужденность от окружающих, страдает от этого».²⁴

Истинную причину неприятия платоновского творчества можно обнаружить в особом неудовольствии его противников по поводу того, что писатель «настойчиво, от рассказа к рассказу, навязывает нашей современности чуждые ей конфликты».²⁵ Судя по такому признанию, творчество Платонова критиковали с позиций теории бесконфликтности. Характер этой критики был понятен единомышленникам писателя. В редакционной статье журнала «Литературный критик», озаглавленной «Порочная критика»,²⁶ разоблачались методы критической деятельности Б. Илюшина. Не успел сборник Платонова «Река Потудань» выйти из печати, как критик поспешил осудить книгу. Судя по искажениям платоновских произведений, допущенным в его рецензии, Илюшин не потрудился даже внимательно прочитать сборник. Поспешность и безграмотность лишали доводы критика всякой убедительности. Что касается А. Гурвича, то он и не пытался понять творчество писателя. Полемизируя с подобными критиками в статье «Разговор о герое», Е. Усевич писала: «Наиболее талантливым среди писателей. . . ищущих жизненных, конкретных и трудных, часто трагических форм развития, является у нас Андрей Платонов».²⁷ Сам Платонов точно определил

²⁰ Гурвич А. Андрей Платонов // Красная новь. 1937. № 10. С. 195.

²¹ Костелянец Б. Фальшивый гуманизм // Звезда. 1938. № 1. С. 255.

²² Там же.

²³ Илюшин Б. Указ. соч. С. 3.

²⁴ Костелянец Б. Указ. соч. С. 259—260.

²⁵ Там же. С. 255.

²⁶ Лит. критик. 1937. № 9.

²⁷ Там же. 1938. № 9—10. С. 171.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Усевич Е. Разговор о герое // Лит. критик. 1937. № 9—10. С. 180.

¹⁷ О хороших рассказах и редакторской рутине. С. 108.

¹⁸ Платонов А. Собр. соч.: В 3 т. М. 1985. Т. 3. С. 534.

¹⁹ Илюшин Б. Порочная философия // Комсомольская правда. 1937. 17 сент.

приемы Гурвича и других в единственном ответе на жестокие нападки критики — «Возражении без самозащиты»: «Уничтожено самое то, что хотели вначале якобы „методически изучить“ на предмет „дальнейшего улучшения“: „подопытное животное“ умерщвлено ради его перестройки. . . Зачем критику или исследователю предпринимать длительное изучение чего-либо, когда ему ясен конечный результат прежде, чем он написал заголовок своей работы?»²⁸

В дискуссии о Платонове 1936—1939 годов борьба за «возвращение» писателя советской литературе не увенчалась успехом. Более того, она дорого обошлась критикам, выступавшим с положительной оценкой произведений писателя. Б. Илюшин, Б. Костелянец, А. Гурвич, а вслед за ними В. Ермилов²⁹ перешли от упреков в адрес редколлегии журналов, поддерживавших Платонова, к их прямым «обличениям». «Шаг „Литературного критика“ был не проявлением минутного увлечения, а началом глубокой и прочной привязанности журнала к А. Платонову»³⁰ — возмущался Б. Костелянец. Разумеется, «привязанность» эта сурово осуждалась. «Мы привыкли видеть „Литературного критика“ на передовых позициях борьбы за социалистический реализм, и нам трудно понять, как на его страницах нашли место вещи, всем существом своим воинствующие против метода советской литературы»³¹ — вторил ему Б. Илюшин. Дискуссия о Платонове касалась принципиальных проблем метода социалистического реализма.

В 1938—1939 годах противники журнала перешли к его оголтелой травле. Несмотря на попытки редколлегии защищаться, журнал «Литературный критик» был закрыт. И все же критикам, которые поддержали Платонова при жизни, удалось немало сделать. К факту «второго рождения» Платонова через семь лет после смерти писателя был непосредственно причастен один из постоянных авторов журнала «Литературный критик» Ф. Левин. Он написал предисловие к первому после длительного перерыва изданию прозы Платонова.³² Возвращаясь к Платонову, Левин возобновлял спор о социалистическом реализме: «Его своеобразное творчество — одно из свидетельств того, насколько богата наша литература, насколько вздорны всякие измышления о том, что метод социалистического реализма нивелирует писателей».³³

Однако для того, чтобы в 30-е годы противостоять нивелировке, от писателя требовалось немало мужества и сил. Свое право говорить о «трудных» и «трагических» противоречиях эпохи Платонов не только утверждал собственным творчеством. Он пытался влиять на совре-

менный литературный процесс в качестве критика. Обращение Платонова к литературной критике было и закономерным и вынужденным в равной мере. Лишенный возможности публиковать свою прозу, художник воспользовался той трибуной, которую предоставил ему «Литературный критик». И здесь, и в «Литературном обозрении» стали с 1936 года регулярно появляться статьи и рецензии А. Фирсова, А. Климентова, Ф. Человекова. Долгое время немногие знали, что за этими фамилиями скрывается Андрей Платонов. Мало кто помнил, что в первые годы литературной работы в Воронеже Платонов нередко выступал со статьями об искусстве и рецензиями. Лишь очень небольшую часть своих критических выступлений он подписывал тем же именем, под которым выходила его проза.

Статьи Платонова 30-х годов о русской и советской классике хорошо известны. Литературно-критический сборник Платонова «Размышления читателя» был подготовлен автором к печати в 1939 году. Тогда вышел лишь сигнальный экземпляр книги да чудом успела появиться рецензия на него.³⁴ О критическом наследии Платонова забыли почти на два десятилетия. Впервые напомнил о нем в уже упоминавшемся предисловии Ф. Левин. Затем в периодике стали появляться публикации отдельных статей со вступительными заметками В. Кривцова и А. Дымшица.³⁵ Лишь в 1970 году осуществился платоновский замысел издания «Размышлений читателя».

* * *

История восприятия критических статей А. Платонова полна противоречий и парадоксов. В 30—40-е годы ему ставили в вину «отказ от социологии вообще».³⁶ Современные критики упрекают писателя в противоположном. В. Гусев заметил в платоновских статьях «налет вульгарного социологизма».³⁷ Вслед за ним В. Чалмаев писал: «Его эстетический анализ порой излишне социологичен».³⁸

Основанием для таких выводов было представление Платонова о том, что вся слепошутинская литература переживала упадок. Вновь достичь «пророческой» силы удалось лишь Горькому. Л. Шубин, исследуя критическую прозу Платонова, предостерегал от упрощенного ее истолкования: «Опрометчиво было бы объяснить эти неверные суждения лишь непреодоленным вульгарным социологизмом. Дело обстояло

²⁸ Платонов А. Возражение без самозащиты // Лит. газ. 1937. 20 дек.

²⁹ Ермилов В. О вредных взглядах «Литературного критика» // Лит. газ. 1939. 10 сент.

³⁰ Костелянец Б. Указ. соч. С. 255.

³¹ Илюшин Б. Указ. соч. С. 3.

³² Левин Ф. Андрей Платонов // Платонов А. Избр. рассказы. М. 1958. С. 21.

³³ Там же.

³⁴ [Без подписи]. Размышления читателя // Вечерняя Москва. 1939. 27 авг.

³⁵ Лит. Россия. 1964. 3 июля; 1967. 1 дек.

³⁶ Крекшин Е., Севрук Ю. Традиции Маяковского // Знамя. 1941. № 2. С. 201.

³⁷ Гусев В. Практическая теория А. Платонова // Платонов А. Мастерская. М., 1977. С. 4.

³⁸ Чалмаев В. Размышления читателя // Платонов А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. С. 518.

значительно сложнее».³⁹ Но эта сложность так и осталась необъясненной.

Существенным препятствием в определении роли критики Платонова в литературном процессе 30-х годов является неполнота нынешних представлений о критическом наследстве Платонова. Часть статей писателя остается мало или совсем неизвестной читателям и не попала в поле зрения исследователей.

Остались неперезданными рецензии писателя на произведения современной литературы. Между тем именно в них наиболее ярко проявилось платоновское неприятие бесконфликтной литературы, порожденной вульгарно-социологической схематизацией современности. Небольшие, на 4—5 страниц, рецензии Платонова появлялись чаще всего в «Литературном обозрении» под псевдонимом Ф. Человеков.⁴⁰ Часть платоновских статей сохранилась в других изданиях 30—40-х годов.⁴¹

Немало платоновских рецензий посвящено произведениям малоизвестных авторов. Эти рецензии, разумеется, не равноценны известным

³⁹ Шубин Л. Критическая проза Андрея Платонова // Платонов А. Размышления читателя. М., 1970. С. 8.

⁴⁰ См.: Страдания молодого одиночника. — 1937. № 13; «Творчество». — 1937. № 15; «Из дневника пилота». — 1937. № 21; «Золотая Колыма». — 1938. № 2; Творчество народов СССР. — 1938. № 4; Ярославский альманах. — 1938. № 16; «Так начиналась жизнь». — 1938. № 16; «Несолоеное счастье». — 1938. № 17; «Вратарь республики». — 1939. № 6; «Разбег». — 1939. № 12; Курский альманах. — 1939. № 18; «Земля в ярме». — 1939. № 22; «Дальневосточная поэма». — 1940. № 8; «Литературный Сталинград». — 1940. № 14; Пробуждение героя. — 1940. № 22; Ванда Василевская. — 1940. № 21. В «Литературном обозрении» публиковались также статьи за подписью «А. Климентов» («Великое противостояние». — 1941. № 6; Пережитое. — 1941. № 8) и за подписью «А. Платонова» (Письмо в редакцию. — 1937. № 6; Академик Плющов. — 1941. № 9), в «Литературном критике» — за подписью «А. Фирсов» (статья «Джамбул»). Не включалась в сборники литературно-критических статей писателя и опубликованная после его смерти статья «Первое свидание с Горьким» (Лит. Россия. 1966. 5 авг.).

⁴¹ Платонов А. 1) Возражение без самозащиты // Лит. газ. 1937. 20 дек.; 2) Михаил Семенович Щепкин: К 150-летию со дня рождения // Труд. 1938. 17 февр.; 3) Писатель-большевик // Там же. 1938. 22 дек.; 4) Народные таланты // Там же. 1939. 12 февр.; 5) Советский Таджикистан // Там же. 1939. 17 окт.; 6) Игорь Ипполитов // Вечерняя Москва. 1945. 8 сент.; 7) Сказки русского народа // Огонек. 1946. № 26; 8) «В окопах Сталинграда» // Там же. 1947. № 21; Человеков Ф. 1) Ирина Годунова // Лит. газ. 1939. 30 мая; 2) В. Сафонов: Власть над землей // Детская литература. 1941. № 4.

критическим статьям Платонова о классиках русской и советской литературы, но в них представляют интерес отдельные мысли и суждения писателя.⁴²

Платонов откликнулся на журнальные публикации романа Ф. Панферова «Творчество» (завершающего «Брусски»), романа Л. Кассиля «Вратарь республики», повести К. Горбунова «Семья», поэмы Д. Алтаузена.⁴³ В сборниках произведений начинающих писателей Платонов выделил роман Н. Сухова, первая часть которого публиковалась под названием «Казачий хутор»,⁴⁴ а вторая — под заголовком «Казачка».⁴⁵ В поле зрения Платонова попадают мемуары Г. Байдукова, сборник публицистики И. Гехтмана, а также изданные отдельными книгами романы Ал. Савчука, Б. Дальнего, пьеса С. Ващенко.⁴⁶

Две статьи посвятил Платонов творчеству В. Василевской.⁴⁷ В рецензии «Курский альманах»⁴⁸ он одобрительно отозвался о «Воспоминаниях» П. А. Заломова, рассказе Н. Белых «По старым тропам», отрывке из романа В. Аристова «Осада».

Заметки Платонова о книгах Г. Байдукова и И. Гехтмана, романах Ф. Панферова, Л. Кассиля, А. Савчука, Б. Дальнего, Н. Сухова, повестях К. Горбунова и Е. Федорова обнаруживают острополюемический характер платоновской критики, направленной против литературной халтуры, нередко на страницах журналов и в сборниках начинающих писателей. Однако, несмотря на остроту полемики, тон рецензий Платонова не имел ничего общего с грубыми разоблачениями, которые со времен «напостовской» критики едва ли не преобладали в крити-

⁴² По пути отбора высказываний Платонова о литературе пошли составители трехтомного собрания сочинений писателя, включив в него отрывки из рецензий на сборники «Разбег», «Орел», «Рассказы о просторе» В. Козина (Платонов А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. С. 418—424).

⁴³ Панферов Ф. Творчество // Октябрь. 1937. № 2—3; Кассиль Л. Вратарь республики // Красная новь. 1938. № 10—11; Горбунов К. Семья // Новый мир. 1936. № 11—12; 1937. № 1; Алтаузен Д. Пробуждение героя // Знамя. 1940. № 8.

⁴⁴ Разбег: Сб. произв. писателей Сталинградской обл. Сталинград, 1938.

⁴⁵ Литературный Сталинград: Литературно-художеств. сб. произв. писателей Сталинградской обл. Сталинград, 1939.

⁴⁶ Байдуков Г. Ф. Из дневника пилота. М., 1937; Гехтман И. Е. Золотая Колыма. Хабаровск, 1937; Савчук Ал. Так начиналась жизнь. Свердловск, 1937; Дальний Б. Дальневосточная поэма. Воронеж, 1939; Ващенко С. В наши дни: Пьеса в 3 действиях, 8 картинах. М., 1937.

⁴⁷ Василевская В. 1) Облик дня. М., 1940; 2) Земля в ярме. М., 1939; 3) Родина. М., 1940; 4) Пламя на болотах. М., 1940. Рецензии Платонова указаны в сн. 40.

⁴⁸ Литературный альманах. Курское обл. изд., 1939.

ческих статьях 30-х годов. Бесплезность «обличительной» критики была очевидна уже в то время для авторов, действительно стремившихся понять литературу своего времени. «Самое легкое дело (и самое бесполезное) — это встать в позу скучающего всезнайки и с горделивым видом собственного превосходства обличить писателя в непонимании столь очевидных для просвещенного критика истин», — писал в статье 1938 года В. Друзин. Такой критической позиции Друзин противопоставляет платоновскую оценку романа Олдингтона «Суший рай»: «Искренняя и честная работа. . . заслуживает того, чтобы с ней познакомиться и поговорить о ней так живо, интересно и содержательно, как это, не в пример постным критикам, сделал писатель Андрей Платонов. . . Он подробно разобрал сущность исканий Кристофера. . . уязвимость новых взглядов героя». ⁴⁹ Платонов спорит с Олдингтоном и его героем, учитывая то ценное, что есть в произведении. «Такие статьи полезны и для читателей, и для писателей», ⁵⁰ — заключает В. Друзин.

Платонов открыто выступал против литераторов, которые «развращены долговременным употреблением вульгаризаторских схем, освобождающих от обременительной необходимости думать». ⁵¹ Ныне забыта одна из первых критических публикаций Платонова 30-х годов, о которой нет упоминаний ни в одном из библиографических указателей, — это литературная пародия в стихах «Лепящий улыбку». ⁵² Здесь многое необычно для Платонова: и форма (драма в стихах), и герой-скульптор (фигура в творчестве писателя нетипичная), и художественный уровень пародии заметно ниже уровня критической прозы Платонова. И все же стоит напомнить об этом опыте, ибо в нем обозначено главное направление критической деятельности писателя. Открыто, с беспощадной иронией он выступает против псевдонскуства, ничего не проясняющего в жизни, лишенного мысли и цели. Избрав объектом сатиры пьесу В. Соловьева «Улыбка Джоконды», Платонов раскрывает всю безнравственность позиции скульптора Леонида Кедрова, паразитирующего на доверии народа. Интересно, что содержание пародии тесно связано с проблематикой блестящих статей Платонова о Пушкине, над которыми он тогда работал (статьи «Пушкин — наш товарищ», «Пушкин и Горький» были опубликованы в 1937 году).

Платонов считал губительной для творчества сознательную установку литератора на схему, которая, как правило, оказывалась ложной, ибо была оторвана от жизни. В рецензии на повесть К. Горбунова «Семья» Платонов показал, что надуманный конфликт делает фальшивым все произведение. Автор повести решил проиллюстрировать положение о том, что крестьянское происхождение человека предпо-

лагает его скрытую враждебность по отношению к советской действительности. «Темная глубина Добычина (героя повести, — Н. М.) происходит не из его собственной природы, и она. . . не объясняется условиями действительности, — нет, это просто намерение автора», — пишет Платонов. Стремление К. Горбунова навязать персонажам своей повести предвзятое, подозрительное отношение к Добычину разрушает правду их характеров. Платонов мужественно выступил против насаждавшейся тогда атмосферы взаимного недоверия, выискивания скрытых врагов, основанной на известной формуле «обострения» классовой борьбы.

Неприятие Платоновым «развлекательно-утешительного» искусства отразилось в его рецензии на пьесу С. Вашенцева «В наши дни». В этом произведении был представлен стандартный набор образцовых героев, ярко выраженных подлеев и запрограммированный с самого начала пьесы безоблачный финал, присущий лакировочной литературе. «Делать людям в пьесе все равно нечего, поскольку они сразу явились перед читателем первозданно счастливыми, лишенными причин для внутреннего движения, по существу трупами, украшенными под живых», — с горечью замечал Платонов. По его убеждению, отсутствие конфликта делало пьесу искусственной и совершенно ненужной. Облегченное изображение будущей войны, котарам, по нарисованному автором пьесы картина, быстро и без больших потерь закончится на чужой территории, естественно вызывает сомнение у Платонова, писавшего в конце 30-х годов антифашистские рассказы, где реальная опасность фашизма раскрывалась с гениальной силой предвидения. Время показало, кому удалось сказать правду о надвигающейся войне. Рассказы Платонова «По небу полуночи», ⁵³ «Алтерке», ⁵⁴ «Мусорный ветер» ⁵⁵ отличаются острой конфликтностью и высокой трагедийностью. «Герои Платонова даны в острых критических ситуациях, требующих от личности немедленного самоопределения», — справедливо указывает исследователница философской прозы писателя Н. Г. Полтавцева в своей монографии. ⁵⁶ Писатель не только показал, что фашизм как «крайняя форма весьма рациональной авторитарно-бюрократической системы» ⁵⁷ ведет к дегуманизации человека. Он понял, какую угрозу представляет собою фашистская агрессия для будущего всего человечества. В платоновских антифашистских рассказах центральное место занимают образы детей, потерянных и лишенных разума. Помимо конкретной реальности в этих образах содержится и символический смысл — дети означают будущее человечества. Как ни печально это признавать, произведения, подобные пьесе Вашенцева,

⁵³ Индустрия социализма. 1939. № 7.

⁵⁴ Дружные ребята. 1940. № 2.

⁵⁵ Написан в 1934 году, при жизни автора не был опубликован.

⁵⁶ Полтавцева Н. Г. Философская проза Андрея Платонова. Ростов, 1981. С. 69.

⁵⁷ Там же. С. 53.

⁴⁹ Друзин В. Живой писатель и постный критик // Резец. 1938. № 17. С. 22.

⁵⁰ Там же. С. 23.

⁵¹ [Без подписи]. Откровение «Литературной газеты» // Лит. обозрение. 1937. № 18. С. 40.

⁵² Там же. 1936. № 18.

встречали в конце 30-х годов большее сочувствие издателей, чем рассказы Платонова. Наиболее яркое и трагическое предостережение содержалось в рассказе «Мусорный ветер», где писателю удалось представить фашистский концлагерь, ужасающая реальность которого могла показаться читателю-современнику безумной фантастикой, особенно на фоне усыпляющего благополучия той литературы, которую представляла пьеса Ващенко.

Всматриваясь в современную литературу, Платонов не раз убеждался в том, что схематическая «заданность» неизменно приводит авторов к неудаче. В романе А. Савчука «Так началась жизнь» Платонов уловил немало близкого. Но попытку писателя создать образ героя корчагинского типа счел неудавшейся. Вопреки замыслу А. Савчука его молодой пролетарий Саша Яхно оказался лишен главного качества истинного человека — способности к самоотдаче. Анализируя роман, Платонов обнаруживает мастерское владение социологическим анализом именно в духе марксистской критики, а такой анализ не имеет ничего общего с принципами вульгарной социологии. Здесь Платонов покусается на самую основу вульгарной социологии: он убедительно, на примере героя романа Савчука показывает, что пролетарское происхождение вовсе не является гарантией высокой нравственности человека, — ведь он, в сущности, предаёт своих близких, расценивая свое рабочее происхождение как удобный трамплин для будущей карьеры. Платонов точно угадал тот социальный тип, который активно проявлял себя в жизни и помимо воли А. Савчука отразился в его произведении. В отличие от рецензента романа автор его, видимо, не вполне ясно понимал, кого он изображает. Платонов же еще в сатирических произведениях второй половины 20-х годов пытался предупредить о возникновении опасной антидемократической тенденции «возвышения» недавних рабочих над средой, из которой они вышли (повести «Впрок», «Котлован»).

Очевидно, те же проблемы продолжают волновать писателя и в конце 30-х годов, хотя он вынужден отречься от своей сатиры под давлением обстоятельств. Судя по критической прозе Платонова, в целом ряде произведений писателей-современников он находит персонажей, подтверждающих собственные его наблюдения над действительностью. Это Ждаркин и его жена Стеша в романе Ф. Панферова «Творчество», Саша Яхно в романе А. Савчука «Так началась жизнь».

Встречая в современной литературе правдивые образы, Платонов испытывал искреннюю радость. Одним из первых он оценил по достоинству роман Н. Островского «Как закалялась сталь». Ведь, как известно, роман был сначала восторженно воспринят читателями, а лишь потом критика попыталась осмыслить причину огромного успеха этого произведения.⁵⁸

О героях романа Н. Островского Платонов писал: «Это не ходульные, безжизненные схемы „сверхчеловеков“, еще нередко встречающиеся в литературе. Островский наделил своих героев простыми, типичными человеческими чертами».⁵⁹ Писатель не устал повторять, что схематизм наносит современной литературе непоправимый ущерб, и особенно ценил, когда автор произведения шел от жизни. «Мы не помним, чтобы кто-нибудь так детально изобразил пожилого высококвалифицированного рабочего, со всеми противоречиями его души и социального положения», — замечает Платонов в рецензии на роман А. Савчука, ведя речь об образе отца главного героя, второстепенном персонаже, который, вопреки замыслу автора, оказался интереснее и значительнее остальных.

Размышления Платонова о герое забытого теперь произведения связаны с его давним интересом к личности «пожилого высококвалифицированного рабочего». Хорошо известны платоновские Фома Пухов («Сокровенный человек») и Захар Павлович («Происхождение мастера»). Даже скромные эпизодические персонажи такого типа в рассказах Платонова, как, например, отец Фро из одноименного рассказа, удавались ему лучше всего. На то были у Платонова причины глубоко личные. Истоки этих образов обнаруживаются в одном из его ранних очерков. В газете «Воронежская коммуна» 7 ноября 1920 года за подписью «А. П.» был опубликован очерк «Герои труда». Часть очерка о трех «великих рабочих» посвящалась слесарю железнодорожных мастерских Платону Фирсовичу Климентову — отцу писателя. Платонов писал: «Люди, о которых я буду говорить, люди старые. . . почти темные, но с прекрасными дальновзоркими глазами, светлыми головами и сердцами революционеров. . . Они революционеры особенные. . . одарены твердой неутомляющейся любовью. . . ко всему и к каждому. . . эта любовь держит их у станков голодными и раздетыми и все-таки, сквозь шепот и ненависть, заставляет надеяться на успех нашей революции и работать на нее день за днем». Платонов утверждал, что мастерство рабочего равноценно творчеству: «Нет искусства и нет работы. Они одно и то же. Отлить, выверить и проточить цилиндр для паровоза требует такого же напряжения высших сил человека, как и танец балерины». С болью рассказывает Платонов о судьбах старых мастеров: «Среди нас жили десятки лет великие герои, мученики и гении терпения и труда, а о них никто не знал. . . их томили в тисках нищеты и безнадежности». О своем отце Платонов оставил несколько зарисовок: «Работа его заключается в ежедневной бдительности, внимании и математическом расчете. Тут героизм и упорство расплывено на длинные года, и его уловить нельзя поэтому в одном выдающемся дне. Все дни выдающиеся, все необыкновенны, каждый день — это схватка, явление художественного мастерства и битва со сталью и железом за точ-

⁵⁸ Усевич Е. Традиция писателя и литературный герой // Лит. критик. 1936. № 1.

⁵⁹ Платонов А. Писатель-большевик // Труд. 1938. 22 дек.

ную, прекрасную форму. Теперь он опять каждый день марширует по гудку из цеха в цех. И тянется его жизнь, как нераспутанная нить».

Очерк об отце и рецензию на роман А. Савчука разделяют 18 лет, но в них заключена одна общая идея, объясняющая, почему Платонов всегда оставался противником попыток создания «идеального» героя. И в начале творческого пути он понимал, что личность старого мастера сложна и противоречива. Замечая в своих героях и «старые пережитки», и те свойства характера, которые выработаны годами рабочего труда, Платонов видит в них главное — преданность революции, доказанную трудом для ее пользы.

Реально оценивая сложность внутренней перестройки человека, Платонов считал важнейшей задачей советской литературы «открытие нового центра внутри человека». Он верил в «прогресс человечности в человеческом существе» и с особым интересом относился к тем произведениям литературы, в которых находил приметы нравственного совершенствования людей. В книге известного летчика Г. Ф. Байдукова Платонов ищет ответа на вопрос: «Нет ли в человеке-летчике некоторых новых черт, которые устойчиво перейдут затем в характер будущего человека?». В самой постановке вопроса заложено глубокое понимание длительности процесса обновления человека в социалистическом обществе. Платонов был одним из тех советских писателей, кто раньше многих понял, что преобразование человека не может осуществиться мгновенно. Потому его собственные произведения запечатлевали настолько глубокие и трудноуловимые сдвиги в душах и сознании людей, что для некоторых исследователей остается проблематичным сам факт движения многих платоновских сюжетов, построенных, как правило, по принципу отражения «прогресса человечности».

В творчестве собратьев по перу Платонов обращает внимание на то, какие факторы могут содействовать воспитанию личности нового типа. На материале рассказа Байдукова о своей судьбе Платонов приходит к мысли о том, что талант, полученный человеком от природы, играет в его судьбе определяющую роль. Талант предполагает способность человека усваивать результаты коллективных усилий. В автобиографическом герое Байдукова большой творческий потенциал был направлен в нужное русло, в нем была воспитана ответственность за результаты работы большого коллектива людей, за ту сложную технику, которая ему доверена. Цель автора книги «Из дневника пилота» Платонов воспринял как стремление «показать образ наиболее отважного и совершенного труженика нашего времени». Такая цель совпадала с представлением Платонова о подлинном искусстве, которое должно утверждать любовь к истинному человеку и защищать его.

Для Платонова важнейшим критерием оценки героя литературного произведения было отражение в каждой отдельной судьбе истории народа. Без показа «внутренней органической

связи» героя со «всеобщей» жизнью он не мыслит себе искусства. С этих позиций Платонов подошел к повести Гехтмана «Золотая Колыма». «Автор не раскрыл нам, что любовь людей может быть одновременно не только путем сближения их друг с другом, но и средством для высокого героического отношения к „внешней“ действительности», — писал Платонов о повести Гехтмана. Его наблюдения проясняют суть одного из самых загадочных из наиболее известных произведений Платонова — рассказа «Фро». В письме к жене в 1936 году Платонов сообщал: «Пишу о нашей любви. Это сверхъестественно тяжело. Я же просто отдираю корки с сердца и разглядываю его, чтобы записать, как оно мучается».⁶⁰ Очевидно, рассказ имел конкретную автобиографическую основу. И вместе с тем в его философском подтексте обозначен путь героини из «замкнутого круга существования» ко «всеобщей» жизни. В статье «Пушкин — наш товарищ», написанной одновременно с «Фро», Платонов высказал свое неприятие эгоистического прозябания человека, раскрыв смысл пушкинского «Тазита» как рассказа о «горе души, переполненной одним чувством и обессиленной им, горе ограниченной жизни, которая ничего больше не берет для себя из действительности, не участвует в ней».⁶¹

Смысл рассказа «Фро», внутренняя динамика образа главной героини раскрываются в финале: Фро слышит музыку губной гармоник и выпускает в свой дом маленького музыканта. Появление ребенка предсказывает будущее героини, ее выход из одиночества. В будущем ребенке заключено для нее человечество, с ним открывается возможность участвовать в общей жизни, служить «дальним целям истории». «Человеку чувства» Платонов открывает органичный, естественный путь к исполнению не только природного, но и общественного — «истинного» — предназначения.

В статьях о современной литературе Платонов всегда руководствовался тем, что «истина действительности... должна иметь родство с идеей художественного сочинения».⁶² Исходя из этого, он был убежден, что творческая энергия художника должна быть направлена на поиски истины, а не растрачиваться впустую. И если усилия писателя, его «глубокий творческий труд» приведут к желаемому результату, появляется «главное — это глубокая, могучая мысль, проникающая общественное явление до дна».⁶³

В рецензиях на пьесу Вашенцева «В наши

⁶⁰ Платонов А. ... Живя главной жизнью: (А. Платонов в письмах к жене, документах и очерках) / Публикация и вставные главы М. Платоновой // Волга. 1975. № 9. С. 173. Письмо перепечатано в кн.: Платонов А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 536 (с ошибочным указанием даты: вместо 1936 года — 1926 год).

⁶¹ Платонов А. Размышления читателя. С. 29.

⁶² Там же. С. 142.

⁶³ Там же.

дни», роман А. Савчука «Так начиналась жизнь», повесть И. Гехтмана «Золотая Колыма» и повесть К. Горбунова «Семья» Платонов говорит о серьезном препятствии на пути современной литературы к истинному совершенству — это наивное отождествление фактов действительности и художественных образов, для создания которых необходима способность «работать... из собственной души». ⁶⁴ «Даже над лучшим материалом писатель должен быть полным и беспристрастным хозяином и не давать ему тяготеть над собой. . . Самые поразительные факты, переданные в сыром виде, конечно, имеют большую силу, но эта сила их имеет значение частного случая, а не долговечную, всеобщую силу искусства», — наставлял Платонов автора романа «Так начиналась жизнь». Неумение литератора «овладеть материалом» Платонов расценивал как серьезный недостаток. Устанавливая соотношение материала действительности и создаваемой на его основе эстетической реальности, Платонов употребляет понятия «возводить», «вырастать», «превращать». Решающее значение приобретает в творческой переплавке действительности личность художника, который усилием своего таланта «возводит» «частные» случаи на уровень художественного обобщения. И только таким образом они обретают «долговечную, всеобщую силу искусства».

Как видим, Платонова всеерьез волновали проблемы специфики искусства, ⁶⁵ что коренным образом противоречило вульгарной социологии. Платоновские принципы анализа литературы свидетельствуют о глубоком усвоении ленинской методологии, предполагавшей сочетание социологической и эстетической оценок. Современные исследования показывают, насколько непростым был путь к освоению подлинно марксистского подхода к литературе. Одним из первых его проделал А. В. Луначарский, лишь к концу жизни завершивший труд «Ленин и литературоведение» (1932). ⁶⁶ Традиции Луначарского были продолжены и развиты журналом «Литературный критик».

Выдающаяся роль журнала в утверждении перспективной методологии сегодня не вызывает сомнений. По признанию историков советской эстетической мысли, журнал «способствовал положительной разработке марксистско-ленинской эстетики как науки, опирающейся на достижения предшествующей философской мысли о художественном развитии человечества». ⁶⁷

Сотрудничество Платонова с редколлегией журнала «Литературный критик» было вызвано глубоко осознанной им необходимостью отстаивать принципы реализма в советской литературе, утвердить собственное право на высказывание правды жизни. Решимость художника сохранить верность подлинным идеалам революции вопреки агрессивно утверждавшейся сталинской концепции социализма и социалистического реализма во многом поддерживалась тем, что в журнале «Литературный критик» он обрел единомышленников. И писатель и его литературные собратья в борьбе против «обуженного и зачерствевшего марксизма» (Луначарский) ⁶⁸ проявили большую стойкость.

Сегодня многие осознают, что на протяжении 30-х годов продолжалась напряженная и трагическая борьба двух концепций социализма и обусловленных ими трактовок социалистических идеалов. В недавней дискуссии о социалистическом реализме Ю. Боров сказал, что в этот период «вступили в неизбежное... противоборство марксистско-ленинский идеал, вдохновлявший партию, трудовые массы, первопроходцев советской литературы, и сталинская модель социализма, которая, отвергая этот идеал... прикрывалась его лозунгами, дабы народ не заметил подмены». ⁶⁹

В литературной среде того времени было известно резко отрицательное отношение Сталина к Платонову. ⁷⁰ После публикации повести «Впрок» А. Фадеев, который в то время находился на посту редактора «Красной нови», был вызван к Сталину и увидел у него на столе экземпляр журнала, перечеркнутый сталинской надписью: «Платонов — сволочь». ⁷¹ Сразу появилось немало желающих в угоду Сталину клеймить Платонова по любому поводу.

В этих условиях трудно переоценить силу духа и благородство людей, не побоявшихся выступить в защиту писателя, прекрасно понимавших своеобразие его таланта.

Вслед за ними и мы, спустя полвека, в полный голос заговорили о значении Платонова: «Теперь уже ясно, что он был предтечей, опередившим сознание большинства и воплотившим идеи Революции с наибольшей последовательностью». ⁷²

⁶⁴ Платонов А. Лепящий улыбку // Лит. обозрение. 1936. № 18. С. 49.

⁶⁵ Об этом подробнее см. в монографии автора данной статьи «Эстетика Андрея Платонова» (Иркутск, 1985. С. 80—118).

⁶⁶ См. об этом: Перхин В. В. «При свете огней ленинских высказываний...» // Русская литература. 1987. № 3. С. 38—56.

⁶⁷ Козюра Н. Н. Борьба с вульгарной социологией // Из истории советского искусствоведения и эстетической мысли 1930-х годов. М., 1977. С. 96.

⁶⁸ Цит. по: Перхин В. В. Указ. соч. С. 55.

⁶⁹ Лит. газ. 1988. 25 мая.

⁷⁰ Иванов Вяч. Вс. «И дышат почва и судьба» // Лит. газ. 1988. 1 июня.

⁷¹ Об этом эпизоде вспоминала вдова А. Платонова. Она рассказывала, что Фадеев приехал к Платонову после разговора со Сталиным и передал ему все подробности встречи. После этого появилась статья Фадеева «Об одной кулацкой хронике» (Красная новь. 1931. № 5—6).

⁷² Лит. газ. 1988. 25 мая.

Б. К. ЗАЙЦЕВ О РУССКИХ И СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЯХ

(ПУБЛИКАЦИЯ Л. Н. НАЗАРОВОЙ)

В литературном наследии известного русского писателя Бориса Константиновича Зайцева,¹ скончавшегося в Париже 28 января 1972 года, значительное место занимают три его книги, посвященные В. А. Жуковскому, И. С. Тургеневу, А. П. Чехову,² а также статьи о наших классиках XIX века (Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Л. Толстой) и воспоминания о писателях-современниках (Л. Андреев, Бунин, Бальмонт, Мережковский и др.).

Книги, статьи и воспоминания Б. Зайцева отличаются высокими художественными достоинствами; они написаны человеком, стремившимся постичь внутренний мир своих предшественников (или современников), раскрыть наиболее существенное в их творческой индивидуальности.

Автору настоящей публикации и В. А. Мануйлову в течение ряда лет посчастливилось переписываться с Б. К. Зайцевым. Было это в последнее десятилетие жизни писателя. Особенно интенсивным был мой обмен письмами со старейшим из русских писателей: у меня сохранилось более 50 писем Б. К. Зайцева 1962-го—начала 1970-х годов, а также довольно значительное количество его статей о наших классиках и советских писателях, напечатанных в парижских русских газетах.

1

Особенным было всегда отношение Зайцева к Пушкину. К жизни и творчеству великого русского поэта он обращался неоднократно, выступая на юбилейных пушкинских вечерах, печатая свои статьи о нем, интересуясь книгами и сборниками о Пушкине, выходившими в Советском Союзе.

¹ См.: Храбровицкий А. В. Зайцев Б. К. // КЛЭ. М., 1964. Т. 2. Стлб. 978; Назарова Л. Н. Зайцев Б. К. // Писатели Орловского края: Библиографический словарь под общей редакцией К. Д. Муратовой и Г. М. Шевелевой. Орел, 1981. С. 71—74; Огонек. 1987. № 51. С. 12 (вступит. заметка А. В. Храбровицкого).

² Зайцев Б. К. 1) Жуковский. Париж, 1951; 2) Жизнь Тургенева. Париж, 1932 (2-е изд. — Париж, 1949); 3) Чехов: Литературная биография. Нью-Йорк, 1954. Об этих книгах см.: Шилева А. Борис Зайцев и его беллетризованные биографии. Нью-Йорк, 1971; Назарова Л. Н. О книге Б. К. Зайцева «Жизнь Тургенева» // И. С. Тургенев и русская литература. Курск, 1982. С. 149—157. Книга Б. К. Зайцева о Жуковском перепечатана в 1988 году в журнале «Русская литература» (№ 2—4) с обширными комментариями и вступительной статьей Ю. М. Прозорова.

19 апреля 1962 года Зайцев писал мне: «...получил „Пушкина и его время“³, сердечно благодарю. Превосходно издано и материала уйма. 6-го мая у нас будет большой вечер пушкинский, я открою его небольшим вступительным словом, приблизит(ельно) так: „Пушкин, Рафаэль, Моцарт — три необычных кометы, залетевшие в наш мир ненадолго, и гениально сиявшие, и унесшиеся в вечность. (Все молодыми ушедшие!)“ Сходства, различия».

Это «Слово» Б. К. Зайцева было затем опубликовано в газете «Русская мысль» (гранки с авторской правкой и датой «17/V 62» автор любезно прислал мне). Вот текст этого «Слова» (не со всеми его положениями можно согласиться, но оно представляет несомненный интерес, полно большой любви к Пушкину).

Три кометы

Слово на Пушкинском вечере 6 мая

Шестнадцатый век, восемнадцатый, девятнадцатый. Три века, три в них кометы, неизвестно откуда взявшиеся, в вечность унесшиеся. Кометы живописи, музыки, поэзии. Рафаэль, Моцарт, Пушкин — наш Пушкин, русский, мы и собрались сегодня поклониться третьей этой комете: 125 лет тому назад Пушкин скончался.

Общая и бесспорная всех троих черта: залетность. И почти одинаковая длина жизни — краткой! Моцарт 35 лет, Рафаэль 37, Пушкин 38. Есть общее и в трагичности судеб, но у каждого свой оттенок. Есть общее и в искусстве, но каждый — особенный, неповторимый.

Рафаэль молод — казалось бы, вечно молод, старым его не видишь, — блестящ, красив, знаменит. Его любят папы и кардиналы, дамы знатные и простые трастевринки.⁴ Богат, мирен, мягкого нрава. Воздушно мягки, нежны и творения его. Будто все ему улыбается, весь мир приветствует, и под всем этим... «Но помни, смертный...»⁵ Да, внезапно, какая-то болотная лихорадка⁶ — голос рока. Несколько дней — и нет его. Улетел туда же, откуда явился... Только прах в Пантеоне римском. «Но помни, смертный...»

На рю Франсуа Мирон в Париже есть старинный дом — на стене внутреннего двора барельеф — изображен Моцарт. В этом доме жил он мальчиком, уже давая концерты; так нечто

³ Пушкин и его время: Исследования и материалы. Л., 1962.

⁴ Жительницы римского квартала (Трастевро) на правом берегу Тибра.

⁵ Восходит к латинскому выражению.

⁶ Зайцев приводит одну из версий смерти Рафаэля.

инфантильно-божественное и в музыке его сохранилось. Какой-то вечно священный младенец, сходят к нему райские звуки, столь же невесомые, как фигуры апостолов и мудрецов в «Афинской школе» Рафаэля (Ватикан). Но младенец этот вовсе не так беззаботно блестящ, как Рафаэль. Напротив, болезнен. Туберкулез сдает его, жизнь нелегка, никакого блистания Рафаэлева, тесно с деньгами, тяжело с женой, сильно его угрызающей. И тоже безвременная кончина и воистину трагические похороны: холод, метель и один-единственный человек за гробом, да и тот не дошел до могилы, так выла метель. Гения похоронили одни могильщики.

Наконец тот, кто вот вызвал на мгновение великие тени. Вот и наш Пушкин, тоже тайком похороненный в дальнем монастыре — один Александр Тургенев провожал его! Тоже рано, еще отроком прогремел в лицее, двадцатилетним юношей прославился («Руслан и Людмила»), все время шел потом в гору как художник, при колебаниях славы, но все же быстро обогнал современников — Жуковского в том числе, Баратынского и других, меньших. Как Моцарт, Рафаэль, тоже как бы с неба свалился, слил в себе Запад и его культуру с извечно русским, с некоей Ариной Родионовной символической, и создал целую новую литературу, открыл собой блистательный XIX век нашей словесности — этот век сравнит позже Поль Валери с золотым веком Греции и итальянским Возрождением, — и все летя, летя. В Пушкине есть полет, это не гетевская мерная поступь — о, тот чувствовал, что его путь долог, он кометой не был, а у Пушкина как бы предчувствие краткости — он был упорный и «взыскательный» художник, не баловался своим изумительным инструментом, выверял, менял, вычеркивал — но был всегда в полете.

Очень многим отличался от двух других комет. При всей воздушности и легкости стиха был внутренне драматической натурой, опыняли его страсти. Он был очарователен по уму, открытости душевной, блеску всего существа, но в нем сидели и семена будущей гибели. Не вижу ни Рафаэля, ни Моцарта на дуэлях — и не по одному тому, что другие натуры. Представить себе Моцарта, вызывающего на дуэль! Рафаэль тоже не подходил для такого дела. А Пушкин не однажды вызывал сам... — вплоть до последней своей дуэли... Вообще трагическое сильней чувствовал Пушкин, и был мужественнее, чем Рафаэль и Моцарт. Моцарт был верующим католиком. Рафаэль и Пушкин полуязычники, полухристиане (Пушкин в юности написал «Гавриилиаду», но предсмертная его исповедь потрясла самого священника). Рафаэль как бы замыкал собой Возрождение. Пушкин открывал великий век. И удивительно: век христианнейшей литературы открыл поэт как будто аполлиническо-языческого склада. Но вот был в нем яд, отравлявший его язычество. Язычество не знало покаяния, а Пушкин знал.

И с отвращением читая
жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
и горько жалуюсь,
И горько слезы лью, но строк
печальных не смываю.

(Толстой считал это замечательнейшим произведением. Но полагал, что для себя лично должен сказать «строк позорных»). Не за это ли так возлюбил Пушкина и Достоевский? Всеотзывность, всеотзывность... — отлично, но вряд ли за это можно так преклониться Достоевскому. А вот... «Что милость к падшим призывал» — это уже опора и как бы заповедь для Достоевского. Это его мир. Но что вместилось это в таком полуафриканском, полуфранцузском (по культуре), а в конце концов великорусском Пушкине — загадка.

Загадкой остался он и для иностранцев. «Почему русские так превозносят этого поэта? В нем совсем нет „восточного“, *âme slave*, как в Достоевском и Толстом? Для нас он что-то как бы известное уже, не экзотическое».

Тут, кажется мне, две причины: зерна того, что произросло позже в других великих наших писателях, были, конечно, в Пушкине. Все же главное в нем — чистое художество, творение ради творения. И удивительный инструмент. Но чтобы оценить это, надо, во-первых, понастоящему воспринимать чистое искусство, второе — надо знать русский язык. Тут Рафаэлю, Моцарту больше «повезло». Их язык всемирный. Глаз и слух — для всех. Все могут в подлиннике оценить и живопись, и музыку, в подлиннике ее воспринять. Пушкина надо переводить. Его много переводили и переводят. Есть отличные переводы (на итальянский — Ло Гатто⁷ и Вячеслава Иванова «Евгения Онегина»), но прелесть пушкинского стиха невозможно дать на чужом языке.

Рафаэль и Моцарт для всего мира. Пушкин главнейше для русских. Или для иностранцев, вошедших в стихию русского языка (Ло Гатто, например).

Но тем более мы, русские, должны держаться за свою славу, за своего гения. Так оно и получается. Кажется, никого из писателей наших не любили в России так безоговорочно, чисто, светло, как Пушкина.

Этот гость, залетевший к нам, повернувший всю нашу литературу, так и остался — более чем на столетие — неким сияющим столпом, ведущим за собой Россию.

Бор. Зайцев.

2

Отношение Зайцева к Лермонтову особенно интересовало В. А. Мануйлова, который в эти годы возглавлял подготовку к изданию «Лермонтовской энциклопедии». В связи с его

⁷ Известный итальянский славист, историк русской литературы и переводчик.

письмом Зайцев в 1962 году (23 июня) писал ему: «Мне очень нравится, что Вы так погружены в Лермонтова. . . Лермонтов „дошел“ до меня очень рано, раньше Пушкина, я его возлюбил почти с детства, потом несколько отошел. Во всяком случае, облик удивительный. Инструмент, сама „лира“ у Пушкина выше, музыка и легкость непревзойденная в нашей литературе. В Лермонтове же есть особая таинственность, зерно глубины необычной».

Отметив далее, что у Лермонтова «замечательна его проза», ибо «это корень русской прозы», Зайцев с восхищением писал, что «Максим Максимыч» и «Тамань» — «прелесть».

В статье «О Лермонтове»⁸ Б. К. Зайцев, упомянув сначала о том, что «Лермонтов является человеку рано, вероятно, раньше всех русских поэтов», пишет о своем восприятии его творчества в годы детства и юности, а затем переходит к поэмам «Демон» и «Мцыри», к роману «Герой нашего времени».

Хотя Лермонтов по натуре и был, видимо, интимен, склонен к одинокому высказыванию, все же в «лирическое стихотворение» он не очень вмещался, что-то ему мешало. . .

Более просторно и «подходяще» чувствовал он себя в поэме. Кажется, в «Демоне», «Мцыри» достиг предельной силы яркости, образности и величия. Это все тот же пушкинский четырехстопный ямб, но обращенный к героическим сюжетам, а не к милой России, Татьяне, деревне «Онегина». Тот, да не тот ямб. По-иному звучит, по-иному живописует. Разумеется, тяжелее и громче Пушкина. Менее сдержан, чем в мелких лермонтовских же вещичках. Здесь Лермонтов как бы захлебывается в полноте, богатстве чувств. Некоторая громоподобность есть в его поэмах. И удивительно помог ему Кавказ! «Мцыри» вполне рожден Кавказом. «Демон» пережил длинный и медленный путь — одиннадцать лет возрастало это произведение, меняя форму, облик, место действия. Наконец, из воображаемой Испании, которая никак не могла бы удасться, «Демон» переселился на Кавказ и сразу принял нечто убедительное и живое. Высылка Лермонтова в 1837 году очень оказалась полезной для литературы.

«Демон» и «Мцыри» при явной романтической юности замыслов их остаются на огромной высоте, в своем роде единственными в поэзии нашей. По силе вдохновения и звучания — просто перлы. Кавказ же дал приподнятому героизму их живую одежду.

Перелистывая лермонтовское писание, поражаешься краткостью недетской его полосы. Почти все, что он оставил, написано в последние четыре года жизни. Умри Лермонтов одновременно с Пушкиным, нам не о чем было бы говорить. Но он как бы подхватил выпавший факел — юношескими руками. Слава его при жизни началась со стихотворения «На смерть

Пушкина», славу посмертную надо считать тоже с этого момента писания.

Замечателен его след в нашей прозе. Весь он — небольшая книжка «Герой нашего времени» — название ужасное, вероятно, нравилось Марлинскому, но это не меняет дела. Двадцатипятилетний офицер, дотоле написавший «Княгиню Лиговскую» и «Вадима», вдруг дал нечто такое, в чем формальная сторона даже выше внутренней. Конечно, Гоголь в это время уже существовал. Но не Гоголь развивал и укреплял линию пушкинской прозы. Это сделал «Героем нашего времени» Лермонтов, подготавливая переход к Тургеневу и даже ко Льву Толстому (раннему, 50-х годов).

Удивительно: в лирике форма не была силою Лермонтова. В прозе наоборот. Проза его сама по себе превосходна. Он учился, конечно, у Пушкина, но не только научился, а и дальше двинул этот род литературы.

Беру замечательное пушкинское «Путешествие в Арзрум», сравниваю с Лермонтовым. Пушкин: «Дорога сделалась живописна. Горы тянулись над нами. . . Мы различили пастуха, быть может русского, некогда взятого в плен и состарившегося в неволе. Мы встретили еще курганы, еще развалины. Два-три надгробных памятника стояли на краю дороги». Лермонтов (тоже о Кавказе): «До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере».

У Пушкина совсем иной прием, ритм, фразы поставлены иначе и звучат иначе. Вместо пушкинских суховато-кратких, мало красочных и как бы стилизованных «главных предложений» — здесь начало спокойной реки (русского романа), с описаниями, красками — тем, без чего роман обойтись не может. Разумеется, в последнем счете наш роман восходит к «Капитанской дочке». Все-таки. . . прозу Пушкина можно очень любить и высоко ставить, но в общем это проза поэта, а не романиста. Станным образом байронически-романтический Лермонтов дальше, чем Пушкин, двинул изобразительную возможность прозы. Будто и парадокс, но в этой сумеречно-таинственной и скорбной душе больше сидел настоящий романист, чем в Пушкине.

Бор. Зайцев.

3

Одним из самых любимых писателей Б. К. Зайцева был всегда И. С. Тургенев. 6 апреля 1962 года Зайцев писал В. А. Мануй-

⁸ Возрождение. 1939. 24 ноября. № 4211.

лову: «...весьма рад, что „Тургенев“⁹ мой пришелся Вам по душе. Сейчас я мало читаю Тургенева, м(ожет) б(ыть) потому, что слишком хорошо его знаю, он прошел через всю мою жизнь. 11-ти лет, в Людинове (Калуж(ской) губернии)), впервые я прочел „Первую любовь“ и, кончив, полчаса бродил в восторге по аллеям нашего большого сада. С тех пор и стал Тургенев моим вечным спутником. В эпоху символизма русского (начало века) Тургенев был особенно непопулярен, но я привык быть одиночкой и наперекор почти всем современникам (а отчасти и приятелям) к Т(ургенев)у отношения не изменил».

Я как-то попросила Зайцева написать мне о возможности влияния Тургенева на его собственное литературное творчество. 26 июня 1968 года автор «Жизни Тургенева» отвечал: «...по писательской манере — если формально это брать, то маловато, думаю. Если говорить о внутренней близости, то гораздо больше. Писать так, как писал Тургенев, сейчас невозможно, но ощущать дыхание его, весь его склад лирический и духовный — более чем можно... Спасскому-Лутовинову и всей земле тургеневской и русской поклониться от меня низко».

В особенности высоко ценил Зайцев «Записки охотника», которым посвятил специальную статью, написанную к 100-летию со дня их выхода в свет. Приводим текст этой статьи.¹⁰

С особым чувством перелистываешь сейчас тургеневскую книгу. Конечно, это высокая литература. Но и часть твоей Родины, России, ее старина, прелесть, природа, очарования и недостатки, даже уродства (рабство) — пестрая и живая картина, такая правда и поэзия! И во всем создании — в невидимых подземных его слоях — тихая струя благоволения. Она не выпирает. Просто присутствует. Книга рождена любовью и как любовь жива, несмотря на всю свою старомодность.

Вижу собственные пометки, сделанные много лет назад. «Ермолай и мельничиха» — весенний вечер в лесу. «Тяга» вальдшнепов. Он знает всех птиц и всю жизнь их!.. «Затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки». А дальше умолкают разные горихвостки, дятлы, пеночки, иволги... «Соловей шелкнул в первый раз».

— Откуда у ваших классиков столько птиц? И неужели в России их так много? — спросил меня раз один итальянец. — Удивляюсь...

В России всего много, не приходится удивляться, что много птиц. Тургенев знал их потому, что любил все это. И не только птиц, а вообще природу.

⁹ Речь идет о книге Б. К. Зайцева «Жизнь Тургенева».

¹⁰ Полностью опубликована в «Русской мысли» (1962. 13 авг. № 475); с сокращениями — во втором межвузовском тургеневском сборнике (Орел, 1968. С. 213—215. (Учен. зап.; Т. 51)).

Отмечены у меня первые страницы «Свидания» (березовая роща в сентябре — после дождика вдруг солнце, и сквозь облака «лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз»), начало «Бежина луга» (жаркий и погожий день в июле), середина «Касьяна с Красивой Мечи» (жара в лесу, лазурь в небе, как бездна, отдыхающий охотник лежит на спине и смотрит вверх сквозь лепет листьев) — все это совершенно первый сорт. Эпилог книги — «Лес и степь» — того же, приблизительно, достоинства.

И конечно, не только природой, но и людьми, теми, «столетними», наполнено произведение. Они являются, говорят, что-то делают, ничего сложного и замысловатого, а потом безвестно исчезают. Никаких «фабул», «развития сюжета» — появился, ушел, но запечатлелся.

Все как будто совсем близко к действительности, чуть ли не «очеркизм», но вот именно «чуть ли не»: окрашено очень тонко самим автором, через него прошло, а потому не фотография, а художество.

Охота сводила Тургенева с очень различными людьми: от помещиков до простых охотников, неустроенных, бездомных бродяг — эти особенно его привлекали. Сам он был барин, но странный. При всем блеске, культуре, утонченности и западничестве своем все-таки это русский скиталец, несмотря ни на какие Спасские. Западно-мещанского в нем не было, он не «буржуа», а дальний родственник, каким-то концом души своей брат бездомным Калинычам, Ермолаям, Сучкам, Касьянам, певцам Яковам и другим.

Баре ему нравились только непутевые — Радиловы, Каратаевы, Чертопхановы, а тогдашних «устоев общества» он терпеть не мог (одни фамилии чего стоят: Пеночкин, Лоснякова, Стегунов — этого и назвал Мардарием Аполлонычем. Он Тургенева угощал чаем на террасе, а на конюшне драли в это время буфетчика Василия. «Чюки-чюки, чюки-чюки...» — хозяин ласково улыбался).

Женщин не весьма много в «Записках охотника», по их малому отношению к охоте, но Тургенев есть Тургенев. И даже в самой его мужской книге так он русскую женщину превознес, что один всего — более поздний — очерк «Живые мощи» заслужает собой едва ли не половину написанного.

В технике «Записок охотника» многое устарело. И времени прошло немало, да и вообще Тургенев был врожденно старомоден (хоть иногда стремился изображать «нового человека»). «Мои снисходительные читатели...», «Дайте мне руку, любезный читатель...» — Толстой никогда не мог такого написать. Друг и сверстник Тургенева Флобер тоже.

Почти на смертном одре, в Буживале, Тургенев просматривал корректуры собрания своих сочинений, но вот не убрал из раннего своего писания этих любезных читателей, разных «бедняг», «добряков» и пр.

А великий был знаток и мастер языка. Фраза шла у него вольно, без длиннот, но и без флоберовской закованности. Фраза будто и

незаметная, естественно-кругловатая, без остроты, но и не утомляющая повторением любимых оборотов — этим именно вольная, как река, та Ока, на которой стоит его Орел.

Знаменитые слова о языке-утешителе он не зря сказал. Был и западник, и барин, а вскормлен народом, писание его шло из народной стихии русской, возведенной лишь на верхи. Чрез него Орел говорит и Ока, но прошедшие сквозь пушкинский мир.

* * *

Просматривая книгу, замечаешь, что 47 годом помечено 8 рассказов, 48-м — 5, 49-м — 4, 50-м — 2, 51-м — 3. Чем дальше, тем меньше по числу и выше качеством: естественный, законный путь художника.

Подавляющее количество очерков написано во Франции, но лучшие или на рубеже отъезда * («Певцы», «Свидание»), или в России («Бежин луг», «Касьян с Красивой Мечи»). А еще через двадцать лет создались и были добавлены два шедевра: «Конец Чертопханова» (с удивительно написанной цыганкой, бросающей Чертопханова, — по драматизму и действительности это даже не совсем «Записки охотника») и «Живые мощи».

Все перечисленное более позднее писание особенно поражает поэзией, жизненной простотой и трогательностью. Еще ранний Калиныч, открывающий собою книгу, входит в избу к Хорю «с пучком полевой земляники в руках» — подарок приятелю. («Признаюсь, я не ожидал таких „нежностей“ от мужика» — но вот они оказались, не напрасно у Калиныча было лицо кроткое и ясное, «как вечернее небо»).

В «Касьяне с Красивой Мечи» эта кротость получает уже некое религиозное освещение: мужичонко Касьян, утлый и последний, ненавидит убийство, не любит охотников. «Святое дело кровь! Кровь солнышка божия не видит, кровь от свету прячется... великий грех показать свету кровь, великий грех и страх...»

Блуждая с ним, Тургенев не находит ни одного вывода, случайно убивает вылетевшего коростеля и вызывает упрек Касьяна. В конце признается этот Касьян, что таинственными заговорами отвел всю дичь, всех тетеревов.

Кто охотою занимался, знает эту острую страсть, в корне своем темную. Она, конечно, греховна. В ней есть связь, не вполне для меня ясная, но несомненная, с мрачной стороной пола.

Тургенев, явно сочувствующий своим Касьянам и Калинычам, прославивший в «Живых мощах» Лукерью, создатель Лизы из «Дворянского гнезда», так до конца дней от этой страсти и не освободился. (В 1880 году стрелял с Толстым в Ясной Поляне вальдшнепов на тяге — Толстой занимался в это время «Кратким изложением Евангелия!») Но кто, кроме святых,

от страстей освобождался? Или если от одной, то не приходила ли другая? «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» — это апостол сказал, две тысячи лет назад. Человек с тех пор не изменился. Весь он основан на противоречии, и на каждом шагу это проявляется.

И вот в «Живых мощах» тоже есть строки об охоте — как будто случайные, но существенные.

Лукерья, красавица некогда, крестьянка-крепостная, разбитая загадочной болезнью, лежит недвижно в сарайчике на хуторке матери Тургенева. Он случайно, охотясь, забредает туда. Они беседуют. Среди замечательных по смиренной простоте и прозрачности рассказов Лукерьи есть упоминание о ласточке, свившей гнездо в ее убежище, выведшей птенцов. «А детки тотчас — ну пищать да клювы разевать... Я их и на следующий год поджидала, да их, говорят, один здешний охотник из ружья застрелил. И на что покорытился? Вся-то она, ласточка, не больше жука... Какие вы, господа охотники, злые!» (Тургенев смущен и оправдывается довольно неловко: «Я ласточек не стреляю» — как будто она одобряет стрельбу тетеревов, бекасов).

И она сама скажет через несколько минут, когда он предложит ей помощь, что он «добрый». От больницы отказывается, но что добрый, хоть и охотник, в этом права, конечно. И еще удивительней, что этот «охотник», никак к церкви себя не причислявший, с такой неотразимой проникновенностью написал деву Лукерию, скромно прославил ее смирение («Послал Он мне крест — значит, Он меня любит», «Всем довольна, слава Богу»).

Собственно, он написал икону русской святой, вознес в ее лице и женщину русскую, и народ, ее родивший.

«Вот вы не поверите — а лежу я иногда так-то одна... и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я живая! И чудится мне, будто что меня осеняет... Возьмет меня размышление — даже удивительное!

— О чем же ты тогда размышляешь, Лукерья?

— Этого, барин, тоже никак нельзя сказать: не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет, и что такое было, не поймешь!»

Да и кто, правда, может понять вяние благодати, сходящей на страстотерпицу?

* * *

«Бежин луг» любишь с детства. Мальчики вокруг костра, «ночное», куда и сам когда-то гонял лошадей, дымка таинственности и грусти, облакающая весь рассказ, — все располагает. Помню альбом гравюр к нашим классикам. Из темноты высовывается к костру с лежащими вокруг мальчиками лошадиная морда, огромная, мирная. На другой картинке лакей развязно полулежит в роще, рядом крестьянская девушка, смущенно перебирает цветочки — прино-

* Он уехал в Россию летом 1850 года.

шение любимому. Певцы состязаются в притынном кабаке — поет беспутный талант Яша, высокий и худой. Дикий Барин ухватился руками за голову, другие слушатели тоже потрясены.

Это все и есть «Записки охотника», которые выдавались потом в гимназиях как награда. Читались и перечитывались в юности, зрелости. Сопровождают до поздних лет.

... Тем излучением добра, каким сияет эта книга, глубоким созвучием с малыми сими, незаметными, страждущими, даже вознесением их «Записки охотника» не только поколебали рабство (а они именно поколебали: ученик Жуковского, будущий император Александр был поклонником этих «Записок»). Они оставили какое-то свидетельство и о народе русском, и о русской литературе. Прошло сто лет, свидетельство не умолкает.

Тургенев утешался тем, что великий язык дается великому народу. Всмотриваясь во все горестное, что касается самой России, видя и то поверхностно-высокомерное, что складывается в мнении о ней Запада, можно расширить тургеневское утешение: великая литература дается только великому народу.

Бор. Зайцев.

4

В письмах ко мне нет отдельных высказываний Зайцева о Л. Н. Толстом. Только однажды, говоря об отношении Бунина к этому писателю, Зайцев отметил, что «моральный и духовный мир Т(олсто)го были ему неблизки». Из контекста письма (от 17 мая 1962 года) можно сделать вывод, что самому Зайцеву они, наоборот, близки.

И уж несомненно импонировал Зайцеву по своему мировоззрению и философскому отношению к окружающей действительности, своей религиозностью Достоевский. По свидетельству зарубежных исследователей (А. Шляевой и Рене Герра), Зайцев собирался написать книгу о Достоевском. Осуществлению этого намерения помешала длительная и тяжелая болезнь жены писателя, Веры Алексеевны.

4 ноября 1967 года Зайцев писал мне, узнав, что в Пушкинском Доме думают начать подготовку к изданию полного собрания сочинений и писем Достоевского: «Над „Бесами“ попытите, но ничего (я небольшой любитель этих «Бесов» — «Карамазовых» и «Идиота» предпочитаю). Но все же, как и „Преступление и наказание“ (название неудачнейшее), — вершины».

Представляет несомненный интерес статья Зайцева «На весах»,¹¹ которая посвящена «Войне и миру» Л. Н. Толстого и «Братьям Карамазовым» Достоевского.

Не помню, когда именно начал читать Толстого. Во всяком случае не в этом веке, раньше.

Книги его водились в нашем доме с незапамятных времен, раннего моего детства. Маленькие книжки — собрание сочинений — на тонкой бумаге, томов тринадцать. Издание неказистое, строчки просвечивали местами, переплетено в Жидре, переплетики в бумаге «под мрамор». Но в книжечках было все толстовское, что надо. Главное же «Война и мир».

Достоевский вошел тоже на заре, в Калуге, когда гимназистик некий таскал в скучнейшую гимназию ранец за плечами, форменную шинельку чуть не до пят и ненависть к латыни. В сумрачные осенние дни домика на Никольской и явился Достоевский — тоже еще ранний: «Униженные и оскорбленные» (мы говорили тогда «униженные») ... такой же сумрачный, как и осенние утра, когда надо идти в гимназию. Сумрачный, но уже пронзительный. Мелодраматичный, но владевший, детскую душу потрясавший и разными Неточками Незвановыми. Это не ante, apud, ad, adversus ...

Время же шло, жизнь менялась, «детство, отрочество и юность», взрослость, писательство — а два Эльбруса все сопровождали, плыли рядом, но не как чужие горы: как живые существа. Меняя очертания, сильнее входя одними сторонами своими, вытесняя другие. Долгое странствие, через всю жизнь. Хочется теперь подсчитать, проверить. — Частью уж подведено, не со вчерашнего дня. «Война и мир», «Братья Карамазовы». Ни у того, ни у другого выше этого ничего нет. И в мировой литературе выше нет. Толстой написал «Войну и мир» взрослым, конечно, но «на половине странствия нашей жизни», во всяком случае здоровым, крепким. Достоевский отправил эпилог «Карамазовых» за два месяца до кончины. Так Данте кончил «Рай» в Равенне (1321 год) да и умер. В 1910 году и Толстой скончался, а «Война и мир», «Братья Карамазовы» продолжают великое свое хождение по душам.

Что больше? С другими сравнивать нечего. Нет соперников. Но между собой? На одной чашке весов «Карамазовы», на другой «Война и мир». Кто перетянет? Чья чашка хоть медленно, но и решительно пойдет вниз?

Перечитал в последний раз. И приговор. Уже без апелляции.

* * *

Насчет «Войны и мира» было некое колебание: года три назад все четыре книги вслух мною прочитаны. А сколько раз про себя читал раньше? — Все же перечел.

И хорошо сделал. Все опять новое, живое, вновь свежее. Ведь чуть не наизусть знаешь, как Багратион «неловким шагом кавалериста» вел под Шенграбеном тот «шестой Егерский», атака которого «обеспечила отступление правого фланга». И знаешь, и опять читаешь, будто не читал и будто написано это вчера, а не сто лет назад. И всех милых Тушиных, Тимохиных, скромных героев, тоже насквозь знаешь, а вот они новые и живые вновь выныр-

¹¹ Русская мысль. 1966. 21 мая. № 2467.

нули, как князь Андрей и толстяк Пьер, и худенькая Наташа и княжна Марья, и чудачище старый Болконский, все давние знакомые, и никто не надоел, и все свежи.

Яснополянский человек со львиным именем так подстроил, что через сто лет не можешь оторваться от призраков, им таинственно воплощенных. Небывшее обратил в бывшее, нас всех прехитро обманул.

Всем известно толстовское лицо: мужицкий нос, брови мохнатые, огромнейшая борода. (Не всегда, конечно, так было. Но и когда «Войну и мир» писал, все же лицо «сурьезное»). Но отчего же так получилось, что во многих местах является у читателя улыбка, ясная, улыбка любви и сочувствия, освещающая рядом стоящие главы о страшных делах жизни: войне, убийствах, смерти? Улыбка — и странно о Толстом сказать: почти умиленная. Там, где простые люди, где солдаты, где Тимохин и Тушин, где юная Наташа — сперва ребенок шаловливый, потом томящаяся по любви девушка (бродит по дому и бессмысленно твердит: «Мадагаскар»). Это место творения вообще волшебное: влюбленность, езда на тройках на Рождество, деревенский маскарад, подрисованные уски у Сони-гусара — страницы у всего Толстого единственные по колдовству. Вот вам и «резвый» Толстой! Чего-чего в нем не было! А описание охот? Доезжачий Данило, крепостной графа Ростова, чуть не замахнувшийся нагайкой и словесно «обложивший» барина, прозевавшего лицу?

Но тут новая загадочность: ни крепостного права, ни языка того времени в романе нет, а всему веришь. Опять великий обман.

Пьер Безухов, князь Андрей — внутренний мир автора той поры его. Равно и Платон Каратаев. Все трое тоже вполне живые и — по-разному — даже трогательны. Сцена, когда в Мытищане приходит к князю Андрею, смертельно раненному под Бородином, Наташа, — незабываема. (А Толстой очень за нее боялся. Не выйдет ли сентиментально. — Напрасно боялся. Но на то он и великий художник, чтобы строим быть к себе).

Однако уже в этих трех фигурах (мужских) есть опасный намек. Намек на философствование. Толстой знал за собой слабость: рассуждения (в дальнейшем — одержимость ими). Но не избавился от нее. С годами, наоборот, она усилилась. «Война и мир» начата была проще, непосредственней, называлась «1805 год». Но ведь писалась годы, разрослась в эпопею. Как великие творения, составляла жизнь внутреннюю автора, в возрастании своем и открыла дверь мудрствованию. Явилась «философия войны», «роль личности в истории» — надо сказать: все по-толстовски новое и острое, и внутреннее, шедшее наперекор общепринятому. Чем далее, тем больше. Здание частью и перестраивалось. Наполеон явился — вы его считаете гением, а я сделаю центром насмешек и хулы. А вот Кутузов и народ, стихия, по таинственным законам действующая, — истинные герои. Страстность не знает тут предела. Но

это уж Толстой, его характер и неуправляемый темперамент. Философия так философия — несишь, неукротимая тройка!

Бородинский бой — апофеоз народного героизма, в то же время драгоценность искусства. Пожар Москвы, Пьер, собравшийся убить Наполеона, расстрел близ Девичьего поля (воображаемых «поджигателей»), отступление, смерть Каратаева, партизаны — сплошь шедевры.

Но на этом «отступлении» силы, даже гигантские, ослабевают. Четвертый том «Войны и мира» — некоторая усталость. Вновь замечательны разговоры солдат. Гибель Пети Ростова — двадцать пять золотых страниц. («Денисов не отвечал; он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо Пети. „Я привык что-нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь“, — вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и схватился за него»).

Дальше в романе идет вновь местами прекрасно, но рассуждения все растут. В описании войны попадают странички, почти или просто «заимствованные» у историка.

Конец охлаждает. Все постарели, потолстели. У Наташи «часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка». Являются детские пеленки с желтыми пятнами — нечто от Ясной Поляны и Кити Левинной. Думаю, вряд ли нравилось это Софье Андреевне Толстой (хотя она была гораздо глубже и трагичнее «этой» Наташи).

Дальше идет у Толстого уже «карамазовский безудерж»: эпилог в сорок пять страниц опять рассуждений. Написано языком толстовским, ни на кого, конечно, не похожим в первобытной своей силе, но в общем невыносимом.

* * *

«Братья Карамазовы» не для юности. Для самого автора были они венцом прощальным, и читать их надо в зрелости.

Это завершение пути, завещание натуры гениальной прошедшей через Ад, Чистилище и, смею надеяться, к Раю приблизившейся. Сколь разные с Толстым закаты жизни, в которой они и не встретились ни разу. Мало даже известно, как относились друг к другу как писатели. Помните, Достоевский высоко ставил «Анну Каренину», но и раздражался: барин писал это, в тысячном имени, о долгах и платеже за квартиру не думая. О Толстом не знаю достоверно, то ли он начисто отвергал «Братьев Карамазовых» (прочел сто страниц и бросил), то ли прочитал вновь, уже предсмертно, все — и поразился. Прочно одно мне известно: в более раннее время (до «Карамазовых») лучшим у Достоевского считал «Записки из Мертвого дома» — по «здравому» смыслу понятно: наиболее из

Достоевского «близкое к жизни», без фантастики и особого вулканизма.

Но без настоящего вулкана нет полного Достоевского, «Мертвый дом» — Достоевский, но не весь. Более сильные вулканы потрясали его позже, всю зрелую жизнь потрясали — в «Братьях Карамазовых» обузданы они — крепко ли? — но обузданы. Данте в скитальчестве своем постучался однажды на вечерней заре в ворота монастыря и на вопрос привратника: «Чего тебе надо?» — ответил: «Мира».

Мира очень надо было и Достоевскому. (Как и Толстому, конечно, но ему было еще трудней). Достоевский же, в бурных метаниях и скитаниях своих, в опыте человекобожества — Раскольникова, Кириллова, — зла, подполья, всяких Ставрогинных и Свидригайловых, пришел в конце концов к «воротам Обители», к той самой Оптиной, которую и обесмертил в «Карамазовых» (и до которой Лев Толстой так и не достучался, как-то заробел пред ней в страшные последние свои дни).

«Толчите и отверзится». Достоевский долго метался, но стучал яростно, и достучался. Старость его оказалась мирною. В Анне Григорьевне своей нашел он мир домашний (бежать от семьи не пришлось), в православии нашел мир духовный.

Но горе не отходило. Только горе это и благодатно. Весной 1878 года, когда начал он «Карамазовых», у него умер трехлетний сын Алеша. Он его обожал. И страдал ужасно, еще и то мучило, что сын умер от припадка эпилепсии — отцом как будто переданной (так, по крайней мере, думал Достоевский).

Тут вот и пришла помощь. С молодым философом Владимиром Соловьевым уехал он в Оптину — дело рук Анны Григорьевны, вечная ей память. Там был у старца Амвросия (о нем некогда, в раннем детстве, почтительно рассказывала мне няня — мы жили в шестидесяти верстах от Оптиной). В Оптиной этой видел Достоевский и «верующих баб» вроде моей няньки, там «Братья Карамазовы» получили живое, огненное свое крещение, имя умершего младенца перешло на младшего из Карамазовых, любимца Достоевского — Алешу. Свет Оптиной озарил сиянием своим роман.

А озарять и преодолевать было что. Только Оптину пустынь, только благословение любви и высшей правды можно было противопоставить карамазовщине и смердяковщине, черту Ивана Карамазова. В самом же начале романа, в сцене «примирения» (якобы) Федора Павловича с сыном, старец Зосима вдруг в ноги кланяется этому буяну и беспутному Дмитрию — к великому удивлению всех. Много позже только выясняется, что «не ему кланяюсь, страдания его будущему кланяюсь» — безвинной двадцатилетней каторге, ожидавшей Дмитрия.

Достоевский сам на каторге побывал. «Вкусная вкусих мало меду», но великое страдание и великие последствия дало. Без Голгофы личной Достоевского ни Раскольников, ни Дмитрий не явились бы. И вот там, в «Мертвом доме», встретил он некоего Ильинского, без-

винно осужденного за убийство. Веселый, бодрый, он и оказался будущим Дмитрием Карамазовым. (Но его через несколько лет все-таки освободили — настоящий убийца нашелся).

В «Карамазовых» убил отца не Дмитрий, а незаконный сын, лакей Смердяков. Темой отцеубийства пронизан, однако, весь роман — у Дмитрия в душе все же было намерение. В последнюю минуту «по молитве матери» не убил. Отцеубийство — страшная тень, как от ужасной птицы, над всем тут реет. И опять что-то из личной жизни Достоевского. Никакого отца он не убивал, но его собственный отец тоже был вроде Федора Павловича. Овдовев, дни кончал в именье своем Даровое, Веневского уезда, в пьянстве и разврате. Крестьяне (крепостные!) в конце концов убили его.

(Позволяю себе маленькое отступление. Детство мое прошло недалеко от Оптиной, в молодости жил я долго в имении моего отца в Тульской губернии. «География» Карамазовых более чем близка мне. Знаменитое по роману село Мокрое находилось в четырех верстах от нас, «Чермашню» много раз слышал. «Даровое» от нас было верстах в тридцати).

А в романе вышла потрясающая история убийства Федора Павловича. Рядом с гигантскими вопросами бога и дьявола, веры и неверия, тайны зла и страдания (за безвинную «слезинку ребенка» «почтительно билет возвращаю») поразительный «криминальный» роман. С какою изобретательностью, волнующим интересом пишет Достоевский об убийстве старого Карамазова, сколько сил и страниц отдает самому преступлению, и следствию, и суду даже, речам прокурора, защитника. Тут он просто как дома — все фантазией овевая, и во все веришь. И Смердякова насковзь чувствуешь, и Грушеньку, даже самую неудачную фигуру романа Катерину Ивановну (тут только «воздух» безумных женщин Достоевского, но не воплощено никак). Менее воплощен и любимец Достоевского Алеша. (Хотя глава «Кана Галилейская» необычайна). Старец Зосима проходит светлым полумечным видением. Но как «это» воплотить? Дантовский «Рай» скорее музыка — но Данте был поэт. Достоевскому музыка не подходит.

Вулкан же бьет во все стороны: и свет, и тьма, и суд, и восторг, и мелодрама, и рыдание Снегирева над телом Илюшечки, и «речь на могиле» — все необыкновенный букет, по частям можно подкапываться и придирааться, а получилось нечто небывалое ни в нашей, ни в мировой литературе.

* * *

Вот и сравнивай, взвешивай. Перечитав теперь, приходишь к мнению, кажется, окончательному: не к чему взвешивать. Столько все разное, что на каждое — свои веса. Все же некие замечания сделать хочется.

Чего нет в «Карамазовых»? Улыбки читателя, радостной и трогательной. Есть и рыдательность, и трагедия, и катарсис, как в траге-

дних полагается, — высшее духовное очищение в любви. Но вот улыбки сочувственной на простого милого человека, вполне живого и трогательного своей плотской теплотой, — этого как раз нет. Человек — плотски-духовное существо. Это не животное и не идея, а таинственное их соединение. Этого как раз мало у людей Достоевского. Сам он жизнь страстно любил, но вот природы, например, никогда не описывал (значит, не чувствовал). Все «клеящие листочки» Ивана Карамазова, и Алеша, целующий землю и как бы чрез нее окончательно приходящий к вере («Кана Галилейская»), все это чисто духовное. Толстой с Пьером Безуховым, князем Андреем и Каратаевым за этой высотой угнаться не может, но непосредственного обаяния, телесно-душевного, толстовских людей из «Войны и мира» в «Карамазовых» нет. Выше, но и отвлеченней. Иван Карамазов — я его совсем не вижу, он не воплощен (черт кошмара его воплощен больше), клейкие листочки для меня слова, это Достоевский говорит, а не он сам. Алеша более чем мил, но все же стилизован.

«Война и мир», «Братья Карамазовы» — соперников им нет, лежат на весах оба, гири огромные, а весы покачиваются себе, ни та чашка, ни эта перевесить не может. И возможно, посмеиваются про себя: «Вот, выдумал что взвешивать. Не согнулось бы коромысло. А за тебя твоия ни к чему».

Бор. Зайцев.

5

К жанру мемуаров, посвященных писателям-современникам, Зайцев обращался неоднократно. Сложными и далеко не всегда однозначными были взаимоотношения между Зайцевым и Бунинным. В молодости писатели были на «ты», дружили. . . Иначе получилось позднее. Это отчетливо видно из писем Зайцева ко мне. 17 мая 1962 года Зайцев сообщал: «Иван был человек и обаятельный и жуткий. Увы, к концу жизни очень озлобился и был очень несчастен». И 29 ноября 1963 года снова писал: «Конец его (Бунина, — Л. Н.) жизни был очень тягостен, не только из-за болезни, но и от крайнего раздражения, в котором он находился. . . Лично для меня было грустно, что он и меня возненавидел в конце жизни».

В воспоминаниях Зайцева «Иван Алексеевич Бунин»¹² создан очень интересный, яркий, запоминающийся образ Бунина — человека и писателя. Приводим текст.

Передо мной тоненькая, хорошо переплетенная книжечка с надписью: Вере и Борису с любовью. Ив. — 25.IV.46.

Собственно, это ничья особенная молодость, ни его, ни Верина, ни моя. Да еще если вспом-

нить, что теперь ему было бы сто лет и что мы чувствуем ныне его юбилей.

Все-таки от чувства молодости не отказываюсь. Может быть и потому, что тут же, в «Речном трактире» этом, изданном Марией Самойловой Цетлиной, другом и покровительницей писателей эмигрантских, через страницу от дарственной надписи помещен портрет автора — это молодой человек, недавно оперившийся писатель.

Я его знал с 1902 года, но тут раньше. Тут совсем молодое лицо. А одежда! Очень высокие воротнички крахмальные (еще не треугольные, как все мы тогда носили, а какие-то тургеневско-гончаровские, с широким поперечным галстуком).

Все довольно удобное и производит впечатление мягкости. Сюртук, хорошо сшитый, покорно ложится складками по коленям — Бунин сидит в кресле. Это именно молодой русский писатель с тонким изящным лицом — будущее украшение литературы нашей.

Первый раз встретился я с ним вот тогда, у Любы Рыбаковой, подруги моей жены, в Москве, в Неопалимовском переулке, близ всех этих «священных» мест Арбата и Пречистенки, Поварской, где некогда ходили да и жили и Тургенева, Толстые и Ростовы из «Войны и мира».

Люба Рыбакова — чудесная брюнетка с кудряшками, тогдашний стиль модерн, Бальмонты, Волошины, теперь как будто Бунин и целая компания юных, «будущих». Разные Саши, Кости, Зиночки, Лели. . .

Удивительно, как запомнился мне Бунин с первого же раза. Он сидел спокойный, слегка насмешливый, снисходительно побалтывая в стакане чая ложечкой. А из залы неслись последние звуки пения (муж Любочки, врач Федюка — так его все звали): «Целовался сладко я, да с твоей жен-н-ной!» И через минуту, в белом нелепом галстуке, оглаживая рукою волосы, с победоносным видом влетел поблдевший Федюка, с размаху выпил стакан холодной воды: «Вот, мол, какой я Собинов!» Ему аплодировали. Бунин сидел по-прежнему, не без любопытства поглядывая, но в меру — никакими Федюками, психиатрами московскими, распевашками у себя на вечерах, его не удивишь.

Очень скоро потом стали мы с ним сотоварищами по литературному «Средам» — все равно, отношение такое же: младший к старшему, и такому, кто кроме изящества обладает над тобой некоей властью. Он мне даже легким высокомерием своим (сдержанным, как бы застенчивым) нравился, не говоря уже о внешности и писании. Но и смущал. Это не приятель какой-нибудь начинающий — тут писатель уже явный, из толстых журналов и «Сосны» из «Мира божьего» — дай же всякому так написать. Да не всякому такие сосны даются.

Сам я только еще прикасался к литературе, со страхом и трепетом. С Бунинным, кроме Любы и Литературного кружка, стал встречаться у Леонида Андреева, Телешева, Сергея Глаголя (критика художественного).

¹² Русская мысль. 1970. 22 окт. № 2813. Более ранние воспоминания см.: Новое русское слово. 1964. 10 мая.

Чувствовал себя робко, больше молчал. Там бывали люди хорошие, теплая Москва, иногда проездом и знаменитости — Чехов, Горький. Бунин знаменитостью еще не был, все-таки несколько подавлял. Просто собой, недооцененный еще, но ощущавшимся талантом и взглядом сверху.

Помню, подарил он мне раз только что вышедшую свою книгу — перевод «Песни о Гайавате». Это поэма из жизни краснокожих тогда очень известного поэта Лонгфелло. Сколь помню, простодушная, отлично переведенная, теперь показавшаяся бы «для юношества».

Пришел домой, в маленькую свою светелку переулка Годеинского (ныне его нет). Там, за углом, на Арбате, рядом с «Прагой» жил в номерах «Столица» Бунин.

Сел читать и читал до рассвета. Все прочел, уже лампа стала тухнуть. Кончил в почти восторженном состоянии. Трудно заснуть после такой вещи. Во всяком случае тогда было трудно.

И потом вышло, что почти вся жизнь — литературная особенно — прошла вблизи этого человека, редко одаренного, нелегкого, для меня обладавшего шармом особенным. Как он садился, закладывая ногу за ногу, морщился, когда вино не очень нравилось, как изображал «в лицах» других, даже как артистически сквернословил — все было первый сорт. Не говоря уже о писании. Это, конечно, самое главное. За это вполне можно простить, что в первоклассном ресторане обнюживал он иногда поданное («Не тухлятину ли дали, анафемы!»).

Кроме таланта литературного был у него и актерский (в хорошем смысле), так что Станиславский приглашал его в Художественный театр, это бесспорно. Помню, как, провожая в поезде нас с женой от Грасса до С.-Рафаэля, он так смешил, изображая разных мужиков, что слезы выступали на глазах — веселые слезы. Станным образом, подземно соединялось в Бунине неистребимо барское в неистребимым простонародным. Любил выражения непечатные. И великий знаток был их. По его собственным словам, это спасло его раз в революцию. Засиделся он со своей Верой где-то в Елецком уезде, в имении, пришлось просто бежать, «господ» начали уничтожать. Вера оделась бабой, Иван прасолом, и на убогих лошаденках в тележке тронулись они к станции. Поезда еще ходили. Бежать можно, но небезопасно. По дороге перехватил их народ-богоносец, и Ивана спасло только то, что он стал ругаться не по-барски («Ну, братцы, это свой... не барин»). Да, не зря давал он в свое время пастушонку по две копейки за ругательство.

А литература его иногда, особенно в молодости, несла в себе ноты и нежные. Помню сразившие меня «Осеню», «Скит», «Тишина», «Сосны» — небольшие лирические и почти бессюжетные произведения в прозе.

Дальше крепнет он, может быть, и образительность растет — «Деревня» (произведшая большое, не всегда сочувственное впечатление), «Игнат», «Ночной разговор» — более мрачные

вещи. Но это привело уже к званию академика и радостным чествованиям в Литературном кружке, «Праге». Тут уже некогда было спрашивать, тухлое или свежее, только чокайся.

Ясней проступила в нем еще черта: любовь к путешествиям.

Не столь Европа, как Азия. К Азии таинственное у него было тяготение, связанное частью с буддизмом, частью с древностью доисторической вообще. Все это ему нравилось. И жило в нем. Откуда? Бог весть. Происхождения он был чисто славянского, древний дворянский род.

Уже в 1907 году, полюбив Веру Муромцеву, ставшую женой его и подругой на всю жизнь, отправился он с ней в дальнейшее плавание — Иудею, написал там чудесную «Розу Иерихона», прославление любви в высоком тоне. А затем — Цейлон, очень много ему давший для писания.

Много обо всем этом можно сказать. Тут лишь беглые заметки, связанные (жутко сказать) со столетием его рождения.

* * *

Не сумею с точностью передать странствия его. Помню, что было их много — и до Веры, и при ней. Можно бы назвать его непоседой. Да и правда, прочного своего угла, хоть бы и скромного, в первой половине жизни у Ивана не было. Не сидеть же в номерах «Столица» на Арбате. Или, несколько позже, в квартире Муромцевых в Скатертном переулке, тоже близости. Тоже скучно. Своя комната, но, как всегда у него — как бы необитаемая. Здесь читал он нам — брату своему Юлию, моей и своей Vere и мне «Деревню», «Астму»... — и как будто во всем убежище этом, кроме коробки с гильзами и рассыпанного по клеенчатому столу табаку, ничего и не было, разве чемодан с наклейкою «Порт Саид». А за стеной Лидия Федоровна, мать, мечтавшая отдать дочь за «солидного» человека, да смиренный отец, Николай Андрейч, православнейший член Городской управы, не такой театралный, как брат Сергей, председатель Государственной думы, вполне уверенный в своих достоинствах и умело выпячивавший, где надо, грудь в накрахмаленной рубашке. Вера была отзвуком отца, не матери, не дяди. Скромный листик святой Руси.

Вот Иван и рвался всегда, то вдруг в Ниццу, то в Иерусалим, то на Цейлон, Капри — там Горький, с ним он тогда дружил.

В эти же годы и несколько позже написал некоторые замечательные вещи: «Господин из Сан-Франциско», «Братья», «Сны Чанга». (Не тот Бунин, что побалтывал ложечкой у Любы Рыбаковой). Тут уже академик, будущий лауреат Нобелевский. Крепче, тверже и отчасти сумрачней. Что делать? Себя не переделаешь.

Война, революция. Все наши жизни сломаны, «спасайся, кто может» и «Выход евреев из Египта» — в этот выход русский попал Иван рано, чуть не раньше всех из клана нашего

литературного, уже в 1920 году он председатель Союза русских писат(елей) в Париже.

В этом Париже все мы и засели. Но Ивану скоро наскучило жить вечно в Пасси на улице Оффенбаха. Особенно летом. Был он человек солнца, воздуха, любил море. Бальмонт сказал ему раз: «Бунин, в вас живет душа корабля». Пышно, а в общем правильно. И он выбрал Грасс, хоть и не море, но приморский город провансальский. Прелестная небольшая вилла на горе с видом на Эстерель, море, зеленватые холмы налево, к Ницце. Сначала жил здесь только летом, потом переселился вовсе. В Париж наезжал (иногда, зимой).

В Грассе было ему по душе. Ночью звезды, днем дальний, синеватый дым моря, тишина, «благорастворение воздуха». Тут написал он завершительные свои, выдающиеся вещи — «Жизнь Арсеньева», «Митину любовь», «Солнечный удар». Произведения зрелости художественной. Русское, пропитанное солнцем провансальским.

Когда пришла, в 33 году, Нобелевская премия, он проводил зиму в Грассе. Тихий город был взбаламучен журналистами, телефонами, автомобилями. Это была, кажется, последняя радостная и бурная зима его. Париж, куда тотчас он отправился, еще большая толчея в отеле «Мажестик», где поселился он временно (до Стокгольма), банкеты, адреса, чествования публичные — нечего говорить, закат жизни шумный, но до последнего упокоения еще далеко. Еще двадцать лет — и нелегких! Мировые события, отрезанность полная от друзей и Парижа — да и чуть не половина Парижа русского оказалась в Нью-Йорке. Шум и аплодисменты далеко. Письма того времени в Париж — стоны и жалобы. Здоровье хуже и хуже.

В 45-м (или 46-м?) мы увидели в Париже другого Бунина. Где далекие прогулки пешком в Грассе, купание морское в Канн или Жуан ле Пэн. Там был человек хоть и немолодой, но в купальной голытьбе почти красивый, с тем же художавым, но и живым телом, что некогда в Москве у Любы Рыбаковой, — тут вполне надломленный Иван, слабый, недовольный, раздраженный.

От Нобелевской премии и морально, и материально мало что осталось. Появились разные осложнения жизни, а впереди?

Смерти Иван всегда очень боялся. Теперь чувствовал ее рядышком. Вечные доктора, операция, режим. . . Часто стал пробовать пульс — ослабел.

* * *

Вот жизнь и прошла. Почти вся взрослая на наших глазах — с радостями, горем, одиночеством, славой, превозношением и нелюбовью — всяко бывало.

Чашу с темным вином

Подала мне богиня печали. . .

Вино было разное: и светлое (кипучее), и темное. Немало последнего. Но любовь к жизни,

природе, красоте — стихийная. К каждому листику, лучу, краске заката, красивому женскому лицу, запаху леса, туче, грому. Расставаться с этим страстно не хотелось. Но смирения, преклонения пред Высшим не нашлось И повиновения. До конца он сопротивлялся. Это усилывало тягость.

Скончался он ночью, в полусне, на руках любящей Веры. Кажется, и не заметил смерти, которую так ненавидел. Взяла она его потихоньку.

В столетие его рождения поклонимся писателю первостепенному.

Бор. Зайцев.

6

Очень охотно делился Зайцев воспоминаниями о Л. Н. Андрееве, сыгравшем большую роль в его писательской судьбе. Зайцев в молодости был близок с Андреевым и очень любил его. Вот отрывок из его воспоминаний о Леониде Андрееве.¹³

.. Для меня Андреев не просто русский писатель: друг и сочувственный юных лет. Не хочется ни оценивать его, ни переоценивать. А всего-навсего помянуть в тридцатилетие кончины.

Может быть, для него лучше, что ушел он. . . «Красный смех» (японская война) показался бы ему теперь детской шуткой.

Впрочем, долго он никак не выдержал бы: слишком был нервен и одолеваем воображением, призраками, кошмарами. . .

Вспоминаю его лучше всего молодым, когда он был очень красив, привлекателен и приветлив, вокруг Москва, разные дачные Царицыны, Бутовы.

Жива была еще Александра Михайловна, тоненькая и изящная его невеста (а потом жена, скоро скончавшаяся). Он жил тогда с матерью, Настасьей Николаевной, трогательной старушкой, считавшей его гением.

Вот как вспоминаю Андреева: я ездил к нему из Москвы летом сначала в Царицыно, потом в Бутово (по Курской дороге, не доезжая Лопасни, где жил в Мелихове Чехов).

Вечер, надо возвращаться. Дача со всегдашней парусиной на балконе. Мы выходим. Он меня провожает на поезд. Идем в белеющей березовой роще. Май. Зелень нежна, пахуча. Бродят дачницы в светлых платьицах. Привязанная корова пасется у забора. Закат алеет, и по желтой насыпи несется поезд, в белых

¹³ Русская мысль. 1949. 14 окт. № 180. Существует еще мемуарный очерк Зайцева о Л. Андрееве 1919 года (см.: Книга о Леониде Андрееве. Пб.; Берлин, 1922) и воспоминания, опубликованные в «Русской мысли» (1969. 23 окт.); вторично: Андреевский сборник: Исследования и материалы. Курск, 1975. С. 226—232.

или розовеющих клубках. С полей привет, простор России. Мы же идем легко, быстро и говорим взволнованно. Вот он со мной на платформе — в широкополой артистической шляпе, в какой-нибудь синей рубашке с летящим галстуком или в бархатной куртке. Возбужденные, темно-блестящие глаза, папироса за папиросой. . . Он старше меня и уже известен. «Леонид Андреев», — шепчут вокзальные бутовские барышни.

Поезд, вечерней зарей, летит в Москву. Смотришь в окно, переживаешь все вновь. Возвращаясь, все о том же будешь думать: об этом тридцатилетнем человеке с прекрасными глазами. Пишет он больше об ужасах, и это, собственно, не наше хозяйство, но он так весь нравится, как никто. В нем нечто и зажигающее, подстрекающее: нервный ток, что ли? Или ощущение, что это новое и свежее в литературе, та струя, к которой и сам начинаешь принадлежать? (Позже это назовут импрессионизмом).

* * *

«Жизнь человека» — первая из его пьес, шла и в Художественном, и в Петербурге у Мейерхольда. Дала автору много славы и совпала с несчастием в его жизни: умерла Александра Михайловна. Он уехал на Капри, кошмарно переживая там горе, потом вернулся в Россию, метался между Москвою и Петербургом, вел жизнь бурную, сильно пил. В 1908 году вновь женился. И переехал в Финляндию, там на Черной речке выстроил дачу — огромную, в стиле северного модерн. . .

Это был верх его славы. Портреты, интервью, поклонники, паломники. В Москве, когда он входил в ресторан «Прага», посетители вставали, аплодировали. Оркестр играл марш из «Жизни человека». Из Ростова-Дону и Пензы ему писали, что он равен Достоевскому, Шекспиру. Все это не могло не опьянять: да и натура у него была мягкая, мечтательно-славянская и легкоплавающая.

Но. . . — «судьба загадочна, слава недоверна». Нечто предсказал Андреев о своей жизни в своей пьесе. Слава постояла-постояла на верхушке, поколебалась туда-сюда, да вдруг так же стремительно начала падать, как возносилась. Теперь уже из Таганрога и Бердичева писали не о Шекспире, а бог знает что. . . Газетные вырезки полны были брани. Он писал еще бурнопатетические свои трагедии «Царь Голод», «Океан», «Самсон», получал огромные гонорары, но слава пряталась.

Я видел его в последний раз в Москве, осенью 1915 года. Шла его пьеса «Тот, кто получает пощечины». Вряд ли это удача художественная. Но в ней есть нечто острогорестное, очень скорбное и едкое.

Тяжкая душа, израненная и больная, чувствовала и в нем самом. Это иной был Андреев, не тот, с кем философствовали мы некогда на Пресне, бродили среди берез Бутова, Царицына. Надлом, усталость, тягостная раздраженность. Начинаясь и болезнь сердца. Только

глаза блестели иногда по-прежнему. «Пьесы испортили. Сгубили. Главная роль не понята. Но посмотри, — он указывал на ворох вырезок, — как радуются все эти ослы. Какое наслаждение для них — лягаться».

Прощаясь с ним мы, немногие его друзья, не угадывали, что настоящего, живого Андреева, в бархатной куртке и с блистающими темными глазами, нам уже не увидеть.

* * *

Андреева застала революция в Финляндии. Он. . . скончался в сентябре 1919 года. Через много лет, уже отсюда (из Парижа, — Л. Н.), нам с женой удалось побывать в Финляндии. Мы гостили в Келломяках и решили съездить на автомобиле на могилу Андреева.

Выдался прелестный день, как раз сентябрьский. Сосны, дачи, слева все виднее сиреневое море. Воздух чуть туманится. Приятны в него нисходящие, как в подводное царство, лучи солнца — северного, небогатого!

Машина сделала поворот, мы поднялись на изволок, дальше от моря: тут-то вот Черная речка. Здесь когда-то бывали мы. . . Поля, леса вдали, но виллы Леонида нет. Ах, вон фундаменты! Аллейка елочек, сильно разросшихся, — и голое место. Это и все, что осталось от виллы. . .

Кладбище при небольшой церковке — пустынно и одиноко. Мы не нашли даже кладбищенского сторожа. Пришлось просто перелезть через ограду. Но все-таки куда нужно мы попали.

Да, тут упокоен Леонид. Могила его проста, благородна, но печальна: нет любящей руки, о ней заботящейся. Деревянный черный крест, без надписи. Никакой плиты. Вокруг кайма густого, невысокого шиповника — это устроено умно, памяти «Шиповника», где издавались наши книги.

Жена привезла с собою букет роз — стала раскладывать по земле могилы. Украсила ими и крест, вставляя стебли в трещины его. Крест хорошо расцвятился темно-красным. . .

И пока мы потихоньку копошились около могилы, набирая здешних цветиков, подбрасывая их Леониду, или просто сидя близ ограды и любуясь красотой, тишиной места, из тугих роз потекли по кресту капли росы: мы с собой привезли эту влагу в глубине венчиков.

— Смотри, — сказала жена, — точно слезы. Ну, пусть это и будут слезы по тебе, Леонид.

Вдали сиреневело море. Тишина такая, будто кроме нас да этого креста ничего и вообще нет в мире.

Бор. Зайцев.

7

Посылая в мае 1963 года статью о себе из «Revue de Deux Mondes» под названием «Boris Zaitzev, ecrivain russe de Paris», Зайцев писал мне о том, что в ней говорится: он

«остался... целиком русским — и это верно». «И даже странно, — продолжал он в том же письме, — когда был молод, много читал по-французски и по-итальянски, а теперь только по-русски. И конечно, я ихтиозавр, вросший корнями в нашу великую литературу: она мне близка и родна».

Он проявлял также постоянный и живой интерес к советской литературе, к трудам советских литературоведов, к изданию полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева (1961—1968).¹⁴

Узнав о кончине К. Г. Паустовского, Зайцев в небольшой статье-некрологе¹⁵ писал:

Несколько лет назад, не помню, в каком советском журнале прочел я рассказ — небольшой, но меня удививший.

Охотник заблудился в лесу и забрел в какой-то домишко, где его приютила старая дама, у которой на стене висел портрет Тургенева... Просто охотник переночевал и распростился дружески с хозяйкой. Он любит лес, природу, Россию. Только и всего. А написавший сумел передать расположение к себе и своему писанию... неизвестно чем, неким невидимым дыханием облика своего — это и есть таинственное в искусстве, то, чему нельзя научиться и научить этому нельзя: если есть у тебя — скажется, если нет — насильно не устроишь.

Потом об авторе я почти забыл. Но он был жив и стал передо мной являться — имя его в печати мелькало, а настал день, когда и книгу его я прочел — «Повесть о жизни»: это окончательно показало писателя настоящего, пишущего для себя, как ему нравится, а не как приказывают, писателя одаренного, умного и спокойного, в спокойствии своем иногда очень трогательного (смерть Лели, сестры милосердия, в войне 14 года), но не сентиментального. Напротив, сдержан, мужествен, образителен. То, что я читал, больше автобиографическое, но попадались и прелестные маленькие рассказы — «Старый повар» (не лишено некоего волшебного элемента)... Или итальянский рассказ... — Рим, вблизи виллы Боргезе,¹⁶ душная ночь, старый астматик, вышедший из отеля подышать свежим воздухом, встреча с японкой какой-то. Можно бы назвать «Ночной разговор», но название другое. Просто, живо, горестно написано. Оттого и доходит.

В 1962 году он был в Париже. Общие знакомые привезли его ко мне, мы сидели вечером в небольшой моей квартире под иконами моей жены, мирно беседовали — и то же впечатление, что от писаний: сдержанный и умный, и глубоко

кий человек. Никаких острых тем не трогали. Да если бы и тронули, вряд ли особая разница оказалась бы во взглядах. Расстались дружелюбно, обменялись книгами с автографами соответственными.

Два года назад дочь моя с мужем, в странствии по России, была у него в Москве, нашла сильно ослабевшим и полубольным. Не знаю, писал ли он уже что-нибудь. Но что заступался за преследуемых молодых писателей, знаю. И это снова особо располагает к нему.

А вот третьего дня вычитал, что он скончался. Если б мог, послал бы в Москву венки на могилу.

Мир праху. Мир праху достойного, настоящего писателя.

Бор. Зайцев.

8

Очень значительным представляется обращение Зайцева к А. А. Ахматовой в дни ее триумфальной поездки в Париж, Италию, Лондон. Приводим текст.¹⁷

АХМАТОВОЙ

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей...

Я Вас встретил, Анна Андреевна, всего раз, бог знает когда, в 1913 году. Веселая ли Вы были грешница, царскосельская ли насмешница, не знал — да и встреча была беглая, в Петербурге, в «Бродячей собаке». Все мы тогда (говорю о круге литературном) жили довольно беспечно, беззаботно и грешно, о будущем не думали, ничего не подозревали (кроме Блока и Белого: те предчувствовали).

Вот и Вы мне показались в этой Собаке кабаретно-артистической, среди гама и шума, вина, распушенности, песенок Кузмина... юной элегантной дамой, остролицей и изящной, избалованной, слегка с ужимкой — похожей на портрет Ваш Сорины («Requiem» теперешний).

Мне представили Вас как молодую поэтессу, Вы уже и тогда выдвинулись. Литературно я Вас знал, но мало. Да и позже — не скажу, чтоб очень. «Четки» и другие книги. Все изящная дама.

Но вот грянуло. Ураган кровавый, дикий, все перевернувший. Правого и виноватого без разбору косивший. Но некие души и зажигающий. В нем они очищались, росли, достигали всей силы...

Буря Вас взрастила, углубила — подняла...

Некогда Достоевский сказал юноше Мережковскому: «Молодой человек, чтобы писать, страдать надо». Если бы Достоевский не стоял у столба смерти и не побывал в «Мертвом доме»... — был ли бы он вполне Достоевским?

¹⁴ См. об этом: Назарова Л. Н. И. С. Тургенев в неизданных письмах Б. К. Зайцева // И. С. Тургенев: Проблемы мировоззрения и творчества: Межвуз. сб. науч. тр. Элиста, 1986. С. 164—172.

¹⁵ Русская мысль. 1968. 25 июля.

¹⁶ Рассказ К. Г. Паустовского «Вилла Боргезе» был впервые опубликован в газете «Известия».

¹⁷ Русская мысль. 1964. 13 июня. № 2164.

Вы ни в ссылке, ни в «Мертвом доме» не были, но около него стояли. Бились ли дома головой об стенку за близкого — не знаю. Но искры излетели из сердца. Вылетели стихами, не за одну Вас, а за всех страждущих, жен, сестер, матерей, с кем делили Вы Голгофу тюремных стен, приговоров, казней.

Вот о них, как и о себе, Вы сказали позже:

Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

С даром поэзии Вы родились. Вначале безраздумно расточали, но судьбе угодно было по-другому:

Чашу с темным вином
Подала мне богиня печали.

Вот и выросла «веселая грешница», насмешница царскосельская из юной элегантной дамы в первую поэтессу Родной Земли, голосом сильным и зрелым, скорбно звенящим стала как бы глашатаем беззащитных и страждущих, грозным обличителем зла, свирепости. В эти отмеченные Вами дни обращаюсь к Вам, Анна Андреевна, с низким поклоном — от собственного человеческого сердца, от сердца старшего литературного собрата и, смею думать, от лица многих почитателей Ваших. Храни Вас Бог. Дай сил и здравия.

Бор. Зайцев.

Прошло два с половиной года. . . 30 декабря 1966 года, рассказывая о литературных вечерах в Париже, в частности о посвященном Блоку, Белому, Есенину, Зайцев писал, что «народу было много. . . Но рекорд — вечер памяти Ахматовой, наш Союз писателей (коего я председатель) устраивал. Зал „ломился от публики“. Лучшие наши силы (мало их осталось!) выступали».

Однажды, когда я послала Б. К. Зайцеву книжку стихотворений В. А. Рождественского, он не замедлил отозваться на нее в письме от 4 февраля 1967 года: «Рождественского стихи очень хороши. Я это имя знаю, но ничего толком его не читал. И не думал, что ему за семьдесят!»

В том же году (письмо от 25 июня) Зайцев сообщал, что переписка его «с Россией все растет», что он получает книги «больше молодых авторов», среди которых «есть очень милые и интересные». А в письме от 4 февраля 1967 года содержится отзыв его о книжке «небольших рассказов» одного из них — молодого тогда краснодарского писателя В. И. Лихоносова, дарование которого Зайцев ценил. Это письмо, написанное под впечатлением от чтения произведений Лихоносова, заканчивается знаменательными словами: «Вообще я за „молодой“ России очень стараюсь следить, и меня многое радует. Скоро померещ, многого не увидишь, все-таки хорошо. Я надеюсь. Я в Россию верю».

В. И. Глоцер

ХАРМС СОБИРАЕТ КНИГУ

Почти все статьи о Данииле Хармсе (1905—1942), поэте, прозаике, драматурге, прославившемся в конце 20-х — в 30-е годы в детской литературе, упоминают, что при жизни он печатал всего две свои «взрослые» вещи: «Случай на железной дороге»¹ и «Стих Петра-Яшкина».² (Столько же своих «взрослых» стихотворений сумел опубликовать и ближайший друг Д. Хармса — Александр Введенский, 1904—1941).³

¹ Собрание стихотворений. Л.: Л[енинградское] О[тделение] В[сероссийского] С[юза] П[оэтов], 1926. С. 71—72.

² Костер. Л.: Ленингр. Союз поэтов, 1927. С. 101—102. Точное название: «Стих Петра-Яшкина — коммуниста» (см.: ИРЛИ. Ф. 172 (ГИИС). Ед. хр. 377).

³ «Начало поэмы» («верьте верьте. . .») — в «Собрании стихотворений», с. 14—15, и «Но вопли трудных англичан. . .» — в сборнике «Костер», с. 23—25.

ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства), в литературную секцию которого входили Д. Хармс и А. Введенский, возникло в конце 1927 года и перестало существовать году в 1930-м.⁴ Прекратило оно существование потому, что общественная и литературная обстановка складывалась совсем не в пользу этой неординарной литературной группы, обособившейся под крышей ленинградского Дома печати. К 1930 году обэриуты все больше, все сильнее подвергались устной и печатной брани.⁵

⁴ Краткая литературная энциклопедия в статье Л. Н. Черткова «Обэриуты» (М., 1968. Т. 5. Стлб. 375) неверно называет годы существования ОБЭРИУ: 1926—1927. Это тем более странно, что декларация обэриутов, на которую ссылается автор статьи, опубликована в начале 1928 года (Афиши Дома печати. 1928. № 2).

⁵ См., к примеру: *Нильвич Л.* Реакционное жонглерство. Об одной вылазке литературных

У Хармса и Введенского оставалась единственная печатная площадка — детские журналы («Еж» — с января 1928 года и «Чиж» — с января 1930-го), Детский отдел Госиздата, редакция детской литературы в издательстве «Молодая гвардия» и с 1934 года — Детгиз (Детиздат), где время от времени появлялись их книжки для детей: реже — у Хармса, чаще — у Введенского.

Причем большая часть детских книжек Д. Хармса вышла в 1928—1931 годах, до его первого ареста и ссылки.⁶

С 1928 года Д. Хармс, судя по дошедшему до нас архиву, даже не перепечатывает на машинке свои рукописи, — за ненадобностью.⁷ И с этих пор все его рукописи, сохранившиеся благодаря другу поэта, музыканту и философу Я. С. Друскину, — это в полном смысле слова *рукописи*, автографы. Хармс писал либо на отдельных листах и листочках бумаги (гладкой, или вырванных из грощбуха, или из блокнота, или тетрадных, или на обороте кладбищенских бланков, счетов «прачешного заведения», таблиц крепежных деталей и точечных винтов, обороте печатных нот, страничках из блокнота сотрудника журнала «Гигиена и здоровье рабочей и крестьянской семьи» и т. п.), либо — в тетрадях (школьных или общих), в грощбухах, в блокнотах и совсем редко — в разного рода самодельных книжках («Голубая тетрадь» и прочее).

Если во времена ОБЭРИУ Хармс читал свои вещи публично — в университете, в студенческих обществах, в клубах и т. д., то после того как ОБЭРИУ не стало, слушателями его произведений оставались только друзья: Л. Липавский (Л. Савельев), А. Введенский, Я. С. Друскин и немногие другие.

Хорошо знавшая Хармса художница Алиса Порет вспоминала:

«Хармс сам очень любил рисовать, но мне свои рисунки никогда не показывал, а также

хулиганов // Смена. 1930. 9 апр.; *Слепнев Н.* На переломе // Ленинград. 1930. № 1. С. 2. Последний писал: «В Ленинграде... мы имели не так давно вылазку такой реакционной группы поэтов, какой является группа т. н. „Обереуты“ (объединение реального искусства), под словесным жонглированием и зауными творениями которых скрывается явно враждебное нашему социалистическому строительству и нашей советской революционной литературе течение».

⁶ Двенадцать из шестнадцати, изданных при его жизни. Считая в числе этих четырех ивольный перевод поэмы В. Буша «Плих и Плюх» (М.; Л.: Детиздат, 1936), и два издания «Рассказов в картинках» Н. Радлова (М.; Л.: Детиздат, 1937, и там же, 1940), в которых, наряду с подписями Н. Гернет и Н. Дилакторской, есть подписи Хармса.

⁷ Об этом нам уже приходилось писать. См.: Вопросы литературы. 1987. № 8. С. 262; Новый мир. 1988. № 4. С. 130; Московские новости. 1988. № 35. 28 авг. С. 16.

всё, что он писал для взрослых. Он запретил это всем своим друзьям, а с меня взял клятву, что я не буду пытаться достать его рукописи».⁸

Впрочем, есть свидетельства людей, близких к Д. Хармсу, что он мог иногда прочитать какую-нибудь свою сценку в кругу знакомых, в гостях. Но все же такое чтение было в 30-е годы тоже весьма редким. И можно с уверенностью сказать, что большую часть написанного им не слышал никто.

Между тем Хармс писал изо дня в день. Писал, как работал. Это была упорная, ежедневная работа *не печатающегося* и не рассчитывающего на прижизненные публикации писателя. Работа «в стол».

Эту работу Хармс непременно предусматривал в своем ежедневном расписании, и ей отводились определенные часы. Вот, по-видимому, одно из ранних расписаний Хармса:

«На каждый день

Расписание.

Невзирая на денежные удачи и неудачи, ежедневно проделывать следующее:

1). Писать не менее 10 строк стихов.

2). Писать не менее одной тетрадной страницы прозы. (. . .)».⁹

Даже упрекая себя за «расхлябанность», он констатирует в дневнике:

«Но какое сумасшедшее упорство есть во мне в направлении к пороку. Я высиживаю часами изо дня в день, чтобы добиться своего, и не добиваюсь, но все же высиживаю. Вот что значит искренний интерес!

Довольно кривляний: у меня ни к чему нет интереса, только к этому.

Вдохновение и интерес — это то же самое.

Уклониться от истинного вдохновения столь же трудно, как и от порока. (. . .) 18 июня 1937 года».¹⁰

Теперь очевидно, что эта ежедневная работа за столом — в Ленинграде или в Детском Селе, где Хармс часто гостил у своей любимой тетки по матери, Наталии Ивановны Колюбакиной, принесла свои плоды. Даниил Хармс оставил без преувеличения огромное литературное наследие, сотни произведений в самых разных жанрах. И надо помнить, что все, что он успел написать, написано до неполных 36 лет, до того как он был арестован в третий и последний раз, и еще не забыть вычеркнуть из его писательских лет год пребывания в тюрьме и в ссылке (1931—1932), во время первого ареста.¹¹

⁸ *Порет Алиса* Воспоминания о Данииле Хармсе // Панорама искусств. М., 1980. Вып. 3. С. 357.

⁹ ГПБ. Ф. 1232 (Я. С. Друскина). Ед. хр. 76. Л. 17.

¹⁰ Там же. Ед. хр. 74. Л. 45.

¹¹ «Я был наиболее счастлив, когда у меня отняли перо и бумагу и запретили мне что-либо делать, — записывает он в конце 1936 года. — У меня не было тревоги, что я не делаю чего-то по своей вине, совесть была спокойна, и я был счастлив. Это было, когда я сидел в тюрьме» (Новый мир. 1988. № 4. С. 130).

Однако такая работа втуне, без постоянного читателя и без расчета на то, что он может появиться еще при жизни, не могла, конечно, не отразиться на авторских побуждениях Хармса. Разумеется, Даниил Хармс, как всякий автор, думал о читателе, не мог не думать. Таков естественный и непреложный закон литературного труда.

Но вот что именно он о нем думал? О чем размышлял наедине с собой? Как относился и как оценивал в связи с невозможностью печататься написанное? Эти и другие вопросы не могут не занимать исследователя.

Теперь, когда архив Даниила Хармса находится в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина и тщательно изучается, пришло время приоткрыть завесу и над этими существенными вопросами судьбы писателя.

Рукописи Хармса пестрят самооценками, которые дает автор только что написанному, законченному или незавершенному, брошенному им. «Это очень плохо, так продолжать нельзя». ¹² «Хорошо». ¹³ «Это экзерсис. Рифмоплетство». ¹⁴ «Плохо, а могло бы быть и хорошо!». ¹⁵ «Считаю, что очень плохо написано. Да и всякий это сочтет». ¹⁶ «Плохо, а потому брошено». ¹⁷ И т. д. и т. п.

И так на протяжении всей литературной жизни.

В 30-е годы Хармс приступает к циклу рассказов и сцен «Случай», которому было суждено стать центральным в его творчестве. Сам Хармс поначалу датировал его 1933—1938 годами и посвятил своей жене, Марине Владимировне Малич. ¹⁸ Но совершенно очевидно, что он продолжал этот цикл и после 1938 года, и к нему относятся рассказы «Упадание», «Власть», ¹⁹ «Победа Мышина», ²⁰ «По-

меха» ²¹ и другие, написанные позднее, в 1939—1941 годах.

Несомненно, что Хармс сам придавал особое значение рассказам названного цикла, потому что большую часть его переписал с черновиков в общую беловую тетрадь. ²²

Друг Хармса, Я. С. Друскин, так охарактеризовал поэтику историй и сцен, входящих в этот цикл:

«Хармса интересовало зло, корень зла в человеке. Но он был не философ и не моралист, а писатель, хотя и несомненно с философским уклоном. Поэтом и в своих страшных рассказах он не морализирует, а смеется, обнажая зло, ограниченность, туфность, и его смех временами не менее страшен, чем смех Гоголя, которого он очень любил и с которым творчески был связан. Одна из тем его рассказов — самодовольный, влюбленный в себя псевдочеловек, не признающий никаких нравственных принципов или ценностей. Особенно страшны некоторые из этих рассказов и стихов; когда они написаны от первого лица. Когда начинаешь читать их — смешно. Но постепенно смех как бы застывает и под конец становится страшно. Они написаны с такой непосредственной художественной убедительностью, что иногда даже кажется, что первое лицо, от которого ведется рассказ, это сам автор. Конечно, он не был героем этих страшных рассказов и стихов, но в некоторых его вещах три главные момента — жизнь в чуде, обнажение некоторых лицемерно скрываемых сторон жизни и тема недочеловека настолько переплетаются, что создается какой-то новый литературный жанр, и уже трудно сказать, что это: дневниковая ли запись, философское размышление, рассказ или стихотворение. Страшное в этих вещах уже выходит за пределы искусства». ²³

В беловой общей тетради Д. Хармс составил «Оглавление», в котором назвал все вошедшие в нее рассказы и сцены и указал страницы, на которых они вписаны. Вот оно:

«Оглавление. Страница

1. Голубая тетрадь, № 10	1
2. Случай	1
3. Вываливающиеся старухи	3
4. Происшествие на улице	4
5. Сонет	6
6. Петров и Камаров	8
7. Оптический обман	9
8. Пушкин и Гоголь	10
9. Столяр Кушаков	12
10. Сундук	14

²¹ Не опубликовано. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 309.

²² Там же. Ед. хр. 228.

²³ Это высказывание приведено в статье А. Александрова и М. Мейлаха «Творчество Даниила Хармса» // Материалы XXII научной студенческой конференции: Поэтика; История литературы; Лингвистика. Тарту, 1967. С. 103—104. (Ротапринтное издание).

¹² ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 186. Л. 1.

¹³ Там же. Ед. хр. 321. Л. 3.

¹⁴ Там же. Ед. хр. 192. Л. 1.

¹⁵ Там же. Ед. хр. 90. Л. 1.

¹⁶ Там же. Ед. хр. 96. Л. 3.

¹⁷ Там же. Ед. хр. 365. Л. 1.

¹⁸ Посвящение на л. 1 ед. хр. 228.

¹⁹ Книжное обозрение. 1988. № 1. 1 янв. С. 7. Публикация Владимира Глоцера.

Каждый раз я ссылаюсь на отечественную публикацию, потому что хоть некоторые вещи Хармса и печатались по-русски с конца 60-х годов за границей (см., например: Даниил Хармс. Избранное. Edited and introduced by George Gibian. Würzburg, 1974), но по разным причинам многие зарубежные публикации содержат серьезные текстологические ошибки. Почти все иностранные публикации произведений Д. Хармса (и литература о нем) учтены в библиографии, составленной Жаном-Филиппом Жаккаром. См.: Jaccard Jean-Philippe. Daniil Harms. Bibliographie // Cahiers du Monde russe et soviétique. 1985. XXVI (3—4). Juil. — Déc. P. 493—522.

²⁰ Даугава. 1987. № 12. С. 120—121. Публикация Валерия Сажина.

11. Случай с Петраковым	17
12. История дерущихся	18
13. Сон	19
14. Математик и Андрей Семёнович	21
15. Молодой человек, удививший сторожа	24
16. Четыре иллюстрации	27
17. Потери	29
18. Макаров и Петерсен № 3	31
19. Суд Линча	34
20. Встреча	35
21. Неудачный спектакль	36
22. Тюк!	37
23. Что теперь продают в магазинах	40
24. Машкин убил Кошкина	42
25. Сон дразнит человека	43
26. Охотники	45
27. Исторический эпизод	51
28. Федя Давидович	55
29. Анегдоты из жизни Пушкина	59
30. Начало очень хорошего летнего дня	62
31. Пакин и Ракукин	64» ²⁴

Начиная с № 27 все дописывалось явно позднее основного свода. Заглавие каждого рассказа или сцены красиво выписано ручкой и цветными карандашами. Под «Историческим эпизодом» стоит дата: «1939 год».²⁵

Самое простое — считать эту общую тетрадь рукописной книгой Хармса, которую он, будь его воля, издал бы для своих читателей.

Да, многое из того, что написано в эту тетрадь, действительно относится к лучшему у Хармса. И читатель, следящий за публикациями его рассказов, сцен и стихотворений, я думаю, в этом убедился и сам.

Но — можно ли сказать, что это все, что Даниил Хармс хотел бы видеть изданным из написанного?

²⁴ ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 228. Л. 2—3.

Это не единственное «Оглавление», которое составил Хармс. По-видимому, еще раньше, в 1936-м году — датировать можно по дневниковым записям, находящимся рядом, — он составляет следующее «Оглавление» в другой общей тетради (Ф. 1232. Ед. хр. 275. Л. 8):

1. Размышление о Девике	3
2. Неизвестной Наташе	4
3. Математик и Андрей Семёнович	5
4. Пушкин и Гоголь	8
5. Неудачный спектакль	10
6. Обезоруженный	11
7. Макаров и Петерсен	12
8. Оптический обман	14
9. Петров и Камаров	15
10. Новая Анатомия	15
11. Песнь. (Мы закроем наши глаза)	16
12. Страшная смерть	17».

Однако самих произведений в этой тетради нет.

Все упомянутые вещи написаны до конца 1936 года, и мы обнаруживаем некоторые совпадения в двух «Оглавлениях» (№ 3, 4, 5, 8, 9).

²⁵ ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 228. Л. 57.

Изучая рукописи Хармса в фонде 1232, я не сразу, признаюсь, обратил внимание на значок с порядковым номером, поставленный около заглавия некоторых произведений. Это по своему начертанию скорее всего латинское *m* (вряд ли русское рукописное *т*). Он обычно написан синим карандашом и взят в кружок, и рядом с ним (как бы *m*, возведенное в степень) поставлена тем же или простым карандашом цифра: 1, 5 и т. д.

Вот соответственно порядковые номера и названия, рядом с которыми я обнаружил этот значок.²⁶

*m*¹ Четыре иллюстрации того, как новая идея огораживает человека, к ней не подготовленного. 13 апреля 1933 года.²⁷

*m*² Пять неоконченных повествований. 27 марта 1937 года или после этого дня.²⁸

*m*³ «Жил-был человек, звали его Кузнецов. . .». 1 ноября 1935 года.²⁹

*m*⁴ О Пушкине. 15 декабря 1936 года.³⁰

*m*⁵ На смерть Казимира Малевича («Пам'яті розорвав струю. . .»). 17 мая 1935 года.³¹

²⁶ Повторяю, что я не сразу заметил его, и потому возможно, что называю не все произведения, отмеченные таким образом.

Впервые об этом значке и его смысле я написал в предисловиях к своим публикациям в газете «Неделя» (1988. № 29. С. 22) и в журнале «Новый мир» (1988. № 4. С. 130).

²⁷ Не опубликовано. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 229. Л. 1. Здесь и дальше указана единица хранения, в которой стоит значок *m*.

²⁸ Неделя. 1988. № 29. С. 22. Публикация Владимира Глоцера. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 367. Л. 2—2, об.

²⁹ Книжное обозрение. 1988. № 1. 1 янв. С. 7. Под заглавием «Пять шишек», данным публикатором. Публикация Владимира Глоцера. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 255.

В тех случаях, когда законченный рассказ у Хармса без названия, публикаторы иногда озаглавливают его («Вопросы литературы», 1973, № 11, с. 297—302, «Как я растрепал одну компанию», публикация Анатолия Александрова; «Аврора», 1974, № 7, с. 78, рассказ «Медный взгляд», публикация Владимира Эрля; «Юность», 1987, № 10, с. 93, рассказ «Диван», публикация Владимира Глоцера, и т. д.), при этом в своих публикациях я всегда оговариваю, что в рукописи нет названия (ставя заглавие в квадратные скобки, помечая его звездочкой и делая сноску и т. д.). В газете «Неделя», 1988, № 29, с. 22, по техническим причинам такая сноска выпала (сохранилась корректура).

³⁰ Московский комсомолец. 1988. № 153. 1 июля. Публикация Владимира Глоцера. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 274.

³¹ Книжное обозрение. 1988. № 43. 28 окт. С. 10. Публикация Владимира Глоцера. Факсимильное воспроизведение автографа в книге: *Andersen Troels. Malevich. Amsterdam, 1970. P. 16.* ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 227. Л. 4—4, об. Первоначально стихотворение, написанное

м⁷ Вариации («Среди гостей, в одной рубашке...»). 15 августа 1936 года.³²

м⁸ В альбом. 23 августа 1936 года.³³

м⁹ Происшествие на улице. 10 января 1935 года.³⁴

м¹⁰ Вываливающиеся старухи. 1937.³⁵

м¹¹ Соч. 22 августа 1936 года.³⁶

м¹² Случаи. 22 августа 1936 года.³⁷

м¹³ Сундук. 30 января 1937 года.³⁸

м¹⁴ Сонет. 12 ноября 1935 года.³⁹

м¹⁵ Столяр Кушаков.⁴⁰

м¹⁶ История дерущихся. 15 марта 1936 года.⁴¹

м¹⁷ Пушкин и Гоголь. 20 февраля 1934 года.⁴²

м¹⁸ Неудачный спектакль. 1934.⁴³

м¹⁹ Математик и Андрей Семёнович. 11 апреля 1933 года.⁴⁴

м²⁰ Новая Анатомия. 1935.⁴⁵

5 мая 1935 года, было обращено к «Николаю» (Ед. хр. 168. Л. 1). Но, узнав о смерти Казимира Малевича, Д. Хармс переадресовывает его.

³² Новый мир. 1988. № 4. С. 158. Публикация Владимира Глоцера. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 183. Л. 1.

³³ Приведено в высказывании Я. С. Друскина, цитируемом в статье А. Александрова и М. Мейлаха в «Материалах XXII студенческой конференции...», с. 104. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 75. Л. 1.

³⁴ Не опубликовано. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 250.

³⁵ В мире книг. 1974. № 4. С. 95. Публикация А. Александрова. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 316.

³⁶ В мире книг. 1974. № 4. С. 95. Публикация А. Александрова. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 269. Л. 1—1, об.

³⁷ В мире книг. 1987. № 12. С. 86. Публикация Владимира Глоцера. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 269. Л. 1, об.

³⁸ Литературная учеба. 1979. № 6. С. 231. Публикация А. Александрова. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 282. Л. 1—1, об.

³⁹ Даугава. 1986. № 10. С. 112. В заметках Валерия Сажина «Читая Даниила Хармса». ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 253.

⁴⁰ Литературная учеба. 1979. № 6. С. 230. Публикация А. Александрова. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 258.

⁴¹ В мире книг. 1987. № 12. С. 86. Публикация Владимира Глоцера. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 265.

⁴² Радуга (Таллин). 1988. № 7. С. 28—29. Публикация М. Мейлаха. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 227. Л. 1—1, об.

⁴³ Вопросы литературы. 1987. № 8. С. 267. Публикация Владимира Глоцера. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 227. Л. 1, об.

⁴⁴ Книжное обозрение. 1987. № 14. 3 апр. С. 39—40 вкладки. Публикация Н. Богомолова. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 227. Л. 2—2, об.

⁴⁵ Крокодил. 1988. № 33. С. 9. Публикация Владимира Глоцера. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 227. Л. 2, об.

м²¹ Страшная смерть. Апрель 1935.⁴⁶

м²² «По вторникам над мостовой...». 1928.⁴⁷

м²³ Виктору Владимировичу Хлебникову («Ногу на ногу заложив...»). 1926.⁴⁸

м²⁴ Обезоруженный, или Неудавшаяся любовь. 1934.⁴⁹

м²⁵ Оптический обман. 1934.⁵⁰

м²⁶ Окно. 15 марта 1931 года.⁵¹

м²⁷ О драме. 28 сентября 1935 года.⁵²

м²⁸ Неизвестной Наташе («Скрепив очки простой веревкой, седой старик читает книгу...»). 23 января 1935 года.⁵³

м³⁰ «Григорьев (ударяя Семёнова по морде)...». ⁵⁴

м³¹ Случай с Петраковым. 21 августа 1936 года.⁵⁵

м³² Что теперь продают в магазинах. 19 августа 1936 года.⁵⁶

м³³ Тюк!⁵⁷

м³⁴ Потери.⁵⁸

⁴⁶ Книжное обозрение. 1988. № 43. 28 окт. С. 10. Публикация Владимира Глоцера. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 227. Л. 3, об.

⁴⁷ В воспоминаниях Бориса Семёнова «Далекое — рядом» (Нева. 1979. № 9. С. 181). ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 227. Л. 3, об.

⁴⁸ Звезда. 1985. № 12. С. 181. В «Октябрьском хронографе Велимира» Анатолия Александрова. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 227. Л. 3, об.

⁴⁹ Не опубликовано. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 227. Л. 3.

⁵⁰ Литературная учеба. 1979. № 6. С. 230. С текстологическими ошибками. Публикация А. Александрова. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 227. Л. 4, об.

⁵¹ День поэзии. 1986. Л., 1986. С. 382—383. Публикация А. Александрова. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 227. Л. 5.

⁵² Вопросы литературы. 1987. № 8. С. 265. Публикация Владимира Глоцера. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 227. Л. 6, об.

⁵³ День поэзии. 1986. С. 384. Публикация А. Александрова. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 166. Л. 1, об.

⁵⁴ В мире книг. 1987. № 12. С. 88. Публикация Владимира Глоцера. Под заглавием «Григорьев и Семёнов», данным публикатором. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 362. Рядом со значком и порядковым номером — рукой Д. Хармса: «закончить и отделать».

⁵⁵ В мире книг. 1987. № 12. С. 88. Публикация Владимира Глоцера. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 267.

⁵⁶ В мире книг. 1974. № 4. С. 95. Публикация А. Александрова. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 266.

⁵⁷ Литературная газета. 1967. № 47. 22 ноября. С. 16. С купюрами. Публикация А. Александрова. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 342. Л. 1, об.

⁵⁸ Литературная учеба. 1979. № 6. С. 232. Публикация А. Александрова. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 323.

м³⁷ Макаров и Петерсен № 3.⁵⁹
 м³⁸ Петров и Камаров.⁶⁰
 м⁴⁰ Голубая тетрадь № 10. 7 января
 1937 года.⁶¹
 м⁴¹ Охотники.⁶²
 м⁴² Новый талантливый писатель. 12 и
 30 октября 1938 года.⁶³

Значок стоит и перед рассказом «Сон дра-
 нит человека», но не имеет порядкового но-
 мера.⁶⁴

Таким образом, выбор Хармса охватывает
 почти все годы его литературной деятельности:
 с 1926-го («Виктору Владимировичу Хлебни-
 кову») до конца 1938-го («Новый талантливый
 писатель») и включает произведения не только
 разножанровые (рассказы, стихи, сцены), но и,
 казалось бы, совсем «мелкие» по своему объему:
 двухстрочное стихотворение «Виктору Влади-
 мировичу Хлебникову» или рассказ в две коротких
 фразы «Новая Анатомия».

При этом, выделяя, например, «Вариации»
 (м⁷), Хармс не придает никакого значения
 своим же пометкам на том же автографе:
 «Вариации не удались» (фраза подчеркнута)
 и ниже: «Сюжет неясен и плохо выражен»
 (тоже подчеркнута).⁶⁵ В таких противоречивых
 самооценках творит он: сам автор и сам себе
 читатель.

Как видим, содержание общей белой тет-
 ради в значительной степени поглощает то, что
 выделил Хармс из своих вещей, пометив знач-
 ком м.

Но целиком ли поглощает?

Нет, в общей тетради нет №№-ров (примем
 обозначение Хармса) 2 («Пять неоконченных
 повествований»), 3 («Жил-был человек, звали
 его Кузнецов...»), 5 («На смерть Казимира
 Малевича»), 7 («Вариации»), 8 («В альбом»),
 20 («Новая Анатомия»), 21 («Страшная
 смерть»), 22 («По вторникам над мосто-
 вой...»), 23 («Виктору Владимировичу Хлеб-
 никову»), 24 («Обезоруженный, или Неудав-
 шаяся любовь»), 26 («Окно»), 27 («О драме»),
 28 («Неизвестной Наташе»), 30 («Григорьев
 (ударяя Семёнова по морде)...»), 42 («Новый талантливый писатель»).

Некоторые из этих вещей есть в двух бело-
 вых автографах:⁶⁶ 5, 20, 21, 22, 23, 24. Причем

⁵⁹ Книжное обозрение. 1987. № 14. 3 апр.
 С. 40 вкладки. Публикация Н. Богомолова.
 ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 226. Л. 4, об. — 5.

⁶⁰ Книжное обозрение. 1987. № 14. 3 апр.
 С. 39 вкладки. Публикация Н. Богомолова. ГПБ.
 Ф. 1232. Ед. хр. 226. Л. 6 и 7.

⁶¹ В мире книг. 1974. № 4. С. 95. Публика-
 ция А. Александрова. ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 75.
 Л. 3—4.

⁶² Не опубликовано. ГПБ. Ф. 1232. Ед.
 хр. 321. Л. 2 и 3.

⁶³ Вопросы литературы. 1987. № 8. С. 266.
 Публикация Владимира Глоцера. ГПБ. Ф. 1232.
 Ед. хр. 293. Л. 1—1, об.

⁶⁴ ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 326. Л. 1.

⁶⁵ ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 183.

⁶⁶ Ед. хр. 226 и 227.

три-четыре вещи повторяются в обоих белых
 автографах («Обезоруженный, или Неудав-
 шаяся любовь», «Математик и Андрей Семёно-
 вич», «Пушкин и Гоголь...»). Но некоторые но-
 мера, как видим, отсутствуют и в белых авто-
 графах и в общей тетради.

То есть сорок две вещи, отобранные Харм-
 сом (среди них и неизвестные нам), и произве-
 дения в общей тетради совпадают неполностью.
 Не поглощают все номера и переписанные
 произведения в единицах хранения 227 (разроз-
 ненные листы, вырванные из гроссбуха) и 226
 (разрозненные листы, вырванные из общей тет-
 ради в линейку).

Значит, во-первых, безусловно, что Хармс
 пометил свои произведения особым значком не
 для переписывания в общую клеенчатую тетрадь.
 А во-вторых, можно предположить, что значок
 и порядковые номера поставлены им позднее
 (хотя, конечно, все же нет в этом уверенности),
 нежели он переписал в общую тетрадь тридцать
 одно произведение. Потому что к тому же циклу
 «Случай», составляющему содержание общей
 тетради, он мог без всякой натяжки отнести и
 ранее написанные рассказы «Жил-был человек,
 звали его Кузнецов...» и «Пять неоконченных
 повествований», и сценку «Григорьев (уда-
 ряя Семёнова по морде)...», и другие свои
 вещи.

В архиве Хармса сохранился листок сле-
 дующего содержания:

41). Прогулка в лес.

42). Новый талантливый писатель.

43). О доброй и общественно-полезной дея-
 тельности.⁶⁷

Совпадение заглавия сорок второго номера
 на этом листке из блокнота и сорок второго
 номера со значком м дает основание думать,
 что: 1) на листке заканчивался список отобран-
 ных Хармсом произведений, помеченных знач-
 ком м, 2) что всего было 43 названия и 3) что
 Хармс пересматривал свои вещи и составлял
 этот список после 30 октября 1938 года (время,
 когда он окончил работу над рассказом «Новый
 талантливый писатель»).

(Кстати, под № 41 и 43 фигурируют две
 вещи, неизвестные по архиву Хармса).

Следовательно, пока удалось выявить трид-
 цать семь произведений из сорока трех. А если
 считать также рассказ «Сон драматический»,
 рядом с которым стоит значок, но нет порядко-
 вого номера, то тридцать восемь.

Так, сопоставляя беловую тетрадь и произ-
 ведения, помеченные особым значком, мы полу-
 чаем представление о том, что Хармс считал
 лучшим из написанного в своей жизни, —
 во-первых. И, во-вторых, можем составить
 себе — пусть неполное, отрывочное — пред-
 ставление о том, какой по содержанию хотел видеть
 свою будущую книгу Даниил Хармс.⁶⁸

⁶⁷ ГПБ. Ф. 1232. Ед. хр. 76. Л. 24.

⁶⁸ Не исключено, что Хармс мог думать
 о двух сборниках: одном — из произведений,
 выделенных значком м, и другом — составлен-

Книга, на издание которой Даниил Хармс вряд ли надеялся, была для него вместе с тем заветной, невысказанной мечтой. Ибо он прозревал своего читателя — в потомстве. И об этом говорит такая запись в его дневнике:

«Мои творения, сыновья и дочери мои.

Лучше родить трех сыновей сильных, чем сорок, да слабых.

Не путай производительность и плодливость.

Производительность — это способность оставлять сильное и долговечное потомство,

ном из цикла «Случаи», который безусловно был основным для его прозы.

а плодливость это только способность оставить многочисленное потомство, которое может долго жить, однако может и быстро вымереть. <...> 20 окт. 1933».⁶⁹

Популярность Даниила Хармса у современного читателя, к которому он пришел через десятилетия, свидетельствует, что писатель оставил «сильное и долговечное потомство». Классическое.

⁶⁹ Глоцер Владимир. «Мои творения, сыновья и дочери мои...» // В мире книг. 1987. № 12. С. 83.

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

В. Н. Баскаков

ЛИТЕРАТУРНОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ СИБИРИ

Интерес к истории литературы и литературной жизни Сибири в последние десятилетия растет чрезвычайно интенсивно, а одновременно развиваются и те отрасли науки, которые этот интерес стимулируют. Сейчас можно с полным основанием утверждать, что в результате многолетних поисков и исследований сложилось прочное основание для целой отрасли литературоведения, которая призвана заниматься народной и профессиональной словесностью Сибири, литературно-общественным движением в этом регионе и его связями с прошлым и современным литературным развитием страны. Все эпохи литературной жизни Сибири в настоящее время изучаются с историко-литературной, источниковедческой и библиографической точек зрения: восстанавливается история литературного движения в крае, исследуется творчество писателей, критиков, литературоведов, разыскиваются и публикуются ранее неизвестные или затерянные произведения, наконец, создается библиографическое оснащение литературного процесса.

В послевоенные годы в Сибири сложилось несколько научных центров, успешно занимающихся изучением исторического, культурного и литературного прошлого края. В Институте истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР изучается, например, история сибирской литературы, ведется собирательская и исследовательская работа в области археологии и источниковедения, в Центральной научно-технической библиотеке СО АН СССР развивается сибирское книговедение, в Иркутске выходит посвященная декабристам серия «Полярная звезда», в Новосибирске издается «Литературное наследие Сибири».

Литературоведческие исследования в Сибири становятся все более и более оживленными и результативными, здесь формируется своя литературная наука, очень многообразная и быстро развивающаяся. Однако появляющиеся в Сибири работы далеко не всегда получают отклик в научной и общественно-литературной печати, а обобщения научной деятельности в различных сферах сибирского литературоведения и вообще отсутствуют, что замедляет формирование научного процесса и выработку его наиболее перспективных и плодотворных направлений. Учитывая это обстоятельство, полагаем полезным обратиться к обзору работ по литературному источниковедению и литературной библиографии Сибири, т. е. затронуть области литературной науки, которые, кстати сказать, нуждаются в особом и постоянном

внимании как ученых, так и издателей. Конечно, обзор не является полным. В нем затронуты лишь наиболее значительные источниковедческие и библиографические труды, определяющие сегодня уровень и состояние исследований в этих областях и тем самым намечающие пути их дальнейшего совершенствования и развития.

1. Археология и источниковедение в трудах новосибирского научного центра

Для создания научной истории Сибири в ее социальных, экономических, культурных проявлениях необходим широчайший круг источников. Такие источники, хотя и с разной интенсивностью, собирались и изучались постоянно на протяжении почти двух столетий, но еще и сегодня этот процесс далек от завершения и предсказать характер и обширность возможных открытий в этой области пока трудно. Надо иметь в виду, что с конца 1950—начала 1960-х годов, когда заметно оживилась деятельность по сбору и сохранению культуры прошлого, историческое и литературное источниковедение стало пользоваться особенным вниманием и результаты его деятельности сделались столь значимыми, что порою превосходят многое из совершенного за все предшествующие эпохи.

Растущий интерес к прошлому вызвал к жизни новые источниковедческие исследования, новые издания, в том числе и продолжающиеся поныне, способствовал разрыванию в Сибири широкой экспедиционной деятельности. С созданием в 1957 году Сибирского отделения Академии наук СССР в Новосибирске начал функционировать Институт истории, филологии и философии, а вскоре здесь же по инициативе академика М. Н. Тихомирова было открыто и Сибирское отделение Археологической комиссии. Вновь созданные научные центры взяли на себя инициативу в развитии исторических и литературоведческих исследований, в организации археологических поисков, в собирании сохранившихся в крае памятников прошлого, в том числе памятников книжной и рукописной культуры.

В основу археологических и источниковедческих исследований легло уникальное собрание древнерусских рукописей и старопечатных книг, принадлежавшее академику М. Н. Тихомирову и подаренное им вновь созданному сибирскому

институту.¹ Это собрание, по словам академика Д. С. Лихачева, позволило не просто начать здесь собрание и описание рукописей, но и изучение их в широком историческом и археографическом контексте.² Интенсивное собрание рукописей в районах Урала, Алтая и Западной Сибири вскоре привело, по сути дела, к «археографическому открытию» Сибири, к обоснованию необходимости глубокого археографического обследования региона и введения результатов этого обследования в исследовательский процесс. Экспедиционная и археографическая деятельность опровергли бытовавшее ранее мнение об отсутствии в докапиталистической Сибири почвы для развития письменности, книжности, литературы. Здесь была открыта обширная крестьянская и старообрядческая литература с множеством памятников, местных и завезенных из Европейской России, с кругом своих «письменных людей», переписчиков и распространителей книг, со своими книжными собраниями и библиотеками.

Первая экспедиция новосибирских ученых состоялась в 1965 году. Собранные тогда материалы положили основание крупнейшей в Сибири коллекции, в которой сейчас около 2000 рукописей и старопечатных книг. Результаты собирательской работы заставили задуматься о необходимости их обобщения, о систематизации найденных материалов, о публикации их и приведении в известность того, что хранится в многочисленных сибирских архивах и частных собраниях, но далеко не всегда становится достоянием даже специалистов. Эта мысль начала претворяться в жизнь в 1975 году, когда под редакцией Н. Н. Покровского вышел в свет сборник «Археография и источниковедение Сибири», положивший начало серии научных трудов, продолжаемой и поныне. Название этого сборника со временем стало и названием серии, хотя оно присутствует не на всех ее выпусках, каждый из которых имеет свое индивидуальное заглавие. Осуществляется издание, как обозначено на его титульных листах, Институтом истории, филологии и философии СО АН СССР и СО Археографической комиссии; готовит же издание небольшая группа работающих в этом институте историков-медиевистов, литературоведов и археографов, в настоящее время руководимая Н. Н. Покровским и Е. К. Ромодановской.

С 1975 года в серии «Археография и источниковедение Сибири» напечатано 168 материалов, статей, сообщений, публикаций, описаний

рукописей, обзоров, библиографий.³ Структура томов на протяжении издания не менялась: в первом разделе, как правило, помещаются историко-литературные, исторические и теоретические работы, почти всегда построенные на новых или ранее не изучавшихся материалах, предлагающие новые концепции рассматриваемых явлений и событий либо уточняющие старое их понимание; во втором — обзоры и описания архивных и печатных материалов, подлежащих введению в научный оборот; в третьем — публикации текстов.

Если судить по заглавиям отдельных выпусков, то можно подумать, что все издание без всяких исключений посвящено Сибири, историческим и литературным аспектам ее развития. На самом деле это не совсем так. В издании культурно-исторический процесс представлен в его общерусском единстве, не замыкаясь исключительно на сибирско-уральском регионе, а поэтому на страницах сборников публикуются материалы и решаются проблемы, порою далеко выходящие за пределы Сибири и принадлежащие историческому и литературному развитию страны в целом.

Издание в значительной степени основывается на рукописных и печатных материалах, собранных в Сибири, на источниках из собрания М. Н. Тихомирова или из сибирских государственных архивов, а также привлекает к исследованию рукописи из архивов Европейской части страны, преимущественно из московских и ленинградских (ЦГАДА, ГПБ, ГБЛ, ГИМ, Пушкинский Дом и др.). Исследования по истории, литературе, культуре России, во многом

³ Приводим перечень сборников, изданных в Новосибирске в серии «Археография и источниковедение Сибири» (Сибирское отделение Издательства «Наука»): 1) «Археография и источниковедение Сибири» (1975); 2) «Источниковедение и археография Сибири» (1977); 3) «Сибирская археография и источниковедение» (1979); 4) «Сибирское источниковедение и археография» (1980); 5) «Древнерусская рукописная книга и ее бытование в Сибири» (1982); 6) «Источники по культуре и классовой борьбе феодального периода» (1982); 7) «Рукописная традиция XVI—XIX вв. на Востоке России» (1983); 8) «Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России» (1984); 9) «Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма в России» (1985); 10) «Источники по истории русского общественного сознания периода феодализма» (1986); 11) «Литература и классовая борьба эпохи позднего феодализма в России» (1987); 12) «Источники по истории общественной мысли и культуры эпохи позднего феодализма» (1988). Ссылки на материалы серии приводятся в тексте статьи с указанием римской цифрой номера выпуска по приведенному списку и страниц. Путеводителем по первым десяти выпускам серии является алфавитный указатель к ним (XII. 252—258).

¹ История, состав и значение собрания М. Н. Тихомирова рассматриваются в кн.: Собрание М. Н. Тихомирова и проблемы археографии: Сб. науч. тр. / Гос. научно-тех. б-ка СО АН СССР. Новосибирск. 1981. 172 с.

² Лихачев Д. С. Археографическое открытие Сибири // Покровский Н. Н. Путешествие за редкими книгами. 2-е изд., доп. М., 1988. С. 3.

следуя традициям, методам и принципам, сложившимся в отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, руководимом академиком Д. С. Лихачевым, и отражая проблематику гуманитарных работ, свойственных сибирскому краю, делают издаваемые сборники явлением не региональным, а принадлежащим к общему развитию исторической и литературной науки страны.

В научной деятельности сибирских археологов и источниковедов заметно выделяются несколько проблем (или направлений), в этом регионе особенно актуальных и ему свойственных. Из них прежде всего следует назвать интерес к сибирскому летописанию (тема традиционная), к крестьянской письменности, часто очень тесно связанной со старообрядчеством и его формами антифеодалного протеста, к истории и культуре Выговской пустыни — главного культурного центра старообрядчества, влияние которого в Сибири, как сейчас установлено, было очень сильным и охватывало все стороны исторического и культурного бытия. Много внимания уделено в издании судьбам древнерусского литературного наследия в Сибири. Однако надо иметь в виду, что в исследовании здесь включаются не только литературные памятники, но и исторические источники. Это позволяет глубже, точнее, всестороннее раскрыть особенности духовной жизни края, что достигается многоаспектностью подходов к изучаемому памятнику или документу, которые рассматриваются с разных точек зрения — с текстологической, археографической, источниковедческой, кодикологической. Здесь же следует еще раз подчеркнуть, что исследования, в серийном издании сосредоточенные, не ограничены проблемами только сибирской археологии и источниковедения, они часто затрагивают вопросы литературного развития страны в целом, истории крупнейших памятников древней русской словесности и деятельности выдающихся ее представителей. Круг участников издания также региональным назвать нельзя: в нем сотрудничают ученые Москвы, Ленинграда, Свердловска, Горького и других городов. В дальнейшем, останавливаясь на вопросах сибирского источниковедения и археологии, в рассматриваемом издании освещаемых, мы будем иметь в виду все печатаемые в нем работы независимо от того, живет ли в Сибири их автор или он работает за ее пределами.⁴

Сибирское летописание и отражение истории этого края в общерусских летописных сводах в издании затрагивается нередко, в разных статьях ставятся порою существенные вопросы, высказываются мнения, корректирующие быто-

вавшие представления, сообщаются новые сведения и материалы. Обращаясь, например, к началу сибирского летописания, Е. К. Ромдановская высказывает и старается обосновать предположение о том, что протографом Погодинского летописца является Казачье написание (1600—1601), составленное кем-то из сподвижников Ермака (предположительно, Черкасом Александровым). Конечно, предположение о связи Погодинского летописца с Казачьим написанием чрезвычайно заманчиво и на первый взгляд перспективно, но при крайней скудости документальных источников и косвенности доказательств это предположение все же остается гипотезой, хотя и вполне вероятной.

Летописям сибирских городов посвящает свою работу Д. Я. Резун (VI. 17—47). Рассматривая их как источник по истории социальной борьбы и культуры в Сибири в 1687—1723 годах, автор, во-первых, приходит к выводу, что летописцы никогда не были равнодушными записывателями событий, а руководствовались определенными политическими симпатиями и обладали высоким уровнем социального сознания, во-вторых, высказывает предположение о существовании в Тобольске в эту пору пяти или шести авторских центров местного летописания. Аналогичная проблема разрабатывается тем же автором в статье о сибирском городоведении (X. 105—119), где анализируется количественный и структурный состав источников, дается их оценка с точки зрения развития городоведческого направления в историографии XVIII—XIX веков. Новые аспекты сибирского летописания, прежде не замечавшиеся, устанавливаются в статье В. Г. Вовиной (XI. 58—69) при сравнении ею сибирских статей «Нового летописца», памятника XVII века, отражающего официальный взгляд на события эпохи, с «Кратким летописцем»; изменения в официальном сибирском летописании на рубеже XVII и XVIII веков (в связи с анализом Погодинского списка Сибирской летописи) устанавливает Н. А. Дворецкая (III. 47—57), а Е. И. Дергачева-Скоп, рассматривая найденный в ГПБ сборник конца XVII—начала XVIII века (V. 79—102), вводит в историю русской культуры имя М. Г. Романова, который оказался одним из составителей протографа двух редакций Сибирского летописного свода (редакция Головинская и Основная).

Именно в сибирских археографических сборниках появились работы Т. В. Черторицкой о составе минейных торжественников, об их эволюции и литературной истории (III. 13—27; IV. 5—27; XI. 15—24). Здесь же многочисленны обращения к памятникам древнерусской литературы, по своему происхождению не связанным с Сибирью, но до сих пор недостаточно изученным или не включенным в научный процесс вообще. В поле зрения медиевистов, печатающихся в сборниках, находятся не всегда памятники выдающиеся, а преимущественно известные мало или в читательской среде неизвестные совсем, но оставившие свой след в литературной истории страны, который с течением

⁴ Учitando, что издание по сути и широте своего содержания выходит далеко за пределы Сибири, было бы полезно печатать в нем краткие сведения об участвующих в нем авторах или, по крайней мере, обозначать при публикации их статей города и учреждения, которые эти авторы представляют.

времени восстанавливается полнее и полнее. К таким памятникам принадлежит, например, «Повесть о Францеле Венециане». В разных томах издания ей посвящен цикл из четырех статей. Автором их является Т. Н. Аписит. В одной из статей высказываются предположения относительно происхождения повести, представляющей не простую компиляцию, а «живое и увлекательное сочинение, созданное по законам ранних русских авантюрно-рыцарских романов и в процессе его создания несомненно ориентированное на французскую повесть „История о Париже и Вене“» (III. 77); в другой она рассматривается в русле рукописной традиции XVIII века с анализом ее многочисленных редакций (V. 189—210); наконец, внимание автора привлекает читательская аудитория повести, особенно ее социальный состав (VII. 126—130). Другой цикл статей посвящен «Повести об Андрее Критском», одной из наиболее известных обработок «эдипова сюжета» в древнерусской литературе. Их автор М. Н. Климова предпринимает текстологическое изучение памятника (V. 46—61), осуществляет анализ разных его редакций (V. 219—223), исследует соотношение памятника с фольклором (VII. 27—38), излагает свои соображения о художественном своеобразии этой ранее почти не изучавшейся повести (IX. 41—51). Среди памятников, заинтересовавших авторский коллектив серии, следует назвать «Повесть о Луке Колоцком» (III. 28—36; IV. 5—17), «Беседу отца с сыном о женской злобе» (III. 37—46; V. 62—71; IX. 123—134), «Повесть о Динаре» (V. 28—45), «Повесть о разорении Рязани Батыем» (VII. 120—125), «Плач Адама» (VIII. 152—165; IX. 164—182; X. 55—62; XI. 5—13), «Слово о хмеле» (IX. 14—23), «Сказание о Петре Волосском» (IX. 32—40), «Повесть о царице и львице» (IX. 98—113) и др.

Исследование литературного процесса в издании осуществляется не только посредством изучения отдельных памятников, но и введением в сферу научных интересов ряда русских писателей средневековья (XVI и XVII веков), среди которых Максим Грек, Николай Спафарий, протопоп Аввакум, Иван Тимофеев, Авраамий Палицын, Афанасий Холмогорский и др. Из посвященных им работ, пожалуй, несколько слов следует сказать об исследованиях, касающихся Максима Грека. Ему уделено больше внимания, чем остальным писателям древности. В статье А. Т. Шашкова (II. 93—123) поставлен вопрос о существовании в старообрядческой письменности традиции собрания сочинений Максима Грека, одним из проявлений которой является рассматриваемый список из коллекции М. Н. Тихомирова (автор называет его Поморским) — по замыслу и тщательности отбора сосредоточенных в нем произведений одно из крупнейших явлений выговской старообрядческой культуры. В другой статье тот же автор в «Обличении на Соловецкую челобитную» Юрия Крижанича рассматривает его аргументы в пользу дониконовских обрядов и находит, что важнейшую роль в формулировании их сыграли выступления и

труды Максима Грека (IV. 59—72), затем он анализирует тагильский сборник сочинений Максима Грека (сейчас он в собрании БАН), отмечая, что по содержанию своему он относится к тому типу, который в науке принято называть Соловецким (VII. 4—14). Наконец, в заключительной статье А. Т. Шашков рассматривает сборники сочинений Максима Грека из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря. Первоначально такие сборники хранились преимущественно в монастырях, но с конца XVII века «интерес к творчеству Максима Грека у представителей официального православия постепенно ослабевает, вследствие чего сборники его сочинений начинают различными путями перекочевывать из монастырских библиотек в руки старообрядцев, в среде которых популярность произведений Максима Грека не только не ослабевает, но даже возрастает» (XI. 5—11). Впрочем, наряду с Максимом Греком стоит несколько слов сказать о статьях о протопопе Аввакуме. Их меньше, но они уточняют отдельные положения существующих о нем знаний, выясняют новые факты биографии, касаются текстологических проблем его наследия. Так, например, Н. С. Демкова включается в полемику по поводу жанровой принадлежности сочинения протопopa Аввакума, известного под названием «О трех исповедницах слово плачевное» (VII. 15—26), А. Т. Шашков высказывает соображения относительно адресатов «Послания сибирской „братии“», оказавшего заметное влияние на развитие оппозиционной самодержавию общественной мысли (IX. 85—97), а Е. В. Яроцкая занимается исследованием разных редакций «первой» челобитной протопopa Аввакума (IX. 79—84).

Литературная проблематика в издании тесно переплетается с исторической, которая сосредоточена часто на проблемах старообрядчества и антифеодалного протеста в крестьянской среде; она проявляется в самых разных материалах издания, а иногда выливается в целые циклы исследований, среди которых можно, например, отметить работы Н. С. Гурьяновой, посвященные идеологии старообрядчества: «Неизвестный памятник старообрядческой полемики конца XVIII—начала XIX в. об императорской власти» (V. 125—133), «Царь и государственный герб в оценке старообрядческого автора» (VI. 80—86), «Старообрядческие сочинения XVIII—начала XIX в. о догмате немеления за государя» (VII. 71—81), «Старообрядческие сочинения о догмате немеления за государя в феодаловском согласии» (VIII. 75—86), «Об отношении крестьян филипповского согласия в XVIII в. к государственной власти» (XI. 142—153).

Обращение к историческим и литературным памятникам старообрядчества неизменно приводит к изучению идеологии и культуры Выговской пустыни, что вполне естественно и исторически обусловлено: ее влияние было исключительным и распространялось не только на европейские, но и на азиатские регионы страны. Поэтому и интерес к выговской духов-

ности, истории и литературе свойствен и ряду статей, сообщений, материалов рассматриваемого серийного издания. В нем напечатаны статьи А. И. Плигузова об авторских сборниках основателей Выговской пустыни (V. 103—112), об изучении орнаментики ранних рукописей Выга (VII. 82—101), Л. К. Куандыкова об идеологии общежителства у старообрядцев-беспоповцев выговского согласия в XVIII веке (VI. 87—100), о развитии общежительного устава в Выговской старообрядческой общине (VIII. 51—63), о выговских сочинениях уставного характера второй половины XVIII века (X. 120—130). Не касаясь всех материалов издания, в разной степени посвященных выговским традициям, следует все же отметить, что изучение этих традиций, во многом отразившихся на духовном, экономическом и культурном развитии края, ведущееся в издании на широкой основе исторических и литературных источников, имеет далеко не региональное значение, а касается порою важнейших моментов русской государственности, общественного, культурного и литературного развития.

Проблемы, связанные со старообрядчеством, то и дело появляются на страницах издания в работах, касающихся различных аспектов исторического и литературного прошлого Сибири. Часто они переплетаются с историей стихийного народного протеста, зафиксированного во множестве документов и памятников, в разной степени привлекаемых к исследованию. Конечно, во многих выпусках издания ведется разговор о знаменитых событиях 1722 года в Таре: А. И. Мальцев публикует неизвестное описание Тарского бунта С. Денисова (VI. 224—241), а Н. Н. Покровский находит следственное дело об этих же событиях и сопоставляет его с описанием С. Денисова, определяя тем самым источниковедческий потенциал того и другого документа (VII. 46—70), он же печатает интереснейшее исследование прямой связи «между памятниками народной письменности, бытующими в народе печатными книгами и проявлениями политических настроений, взглядов, теорий в практике острой классово-борьбы», сопровождая разыскания и выводы публикацией списков печатных и рукописных книг, отобранных у участников протеста в моменты его подавления (X. 155—190).

Разные формы народного протеста или антимонархических настроений затрагиваются в издании неоднократно: новые материалы о волнениях крестьян Бердского округа («Бердский скоп») 1720-х годов приводит И. В. Побережников (VIII. 64—74), неизвестные документы по «Нарымскому делу» 1642—1647 годов печатает Н. Д. Зольникова (V. 211—233), материалы следственного дела о побегах алтайских крестьян за пределы Российской империи рассматривает Т. С. Мамсик (VII. 135—164), донесение тобольского воеводы П. И. Годунова о ликвидации волнений усть-нищинских крестьян в 1667 году публикует Н. Н. Покровский (IV. 178—184), он же является и автором интересного с исторической и с литературоведческой точек зрения

исследования о «Повести дивной...» (рукопись найдена в 1977 году), написанной со слов ее главного героя оренбургского казака Владимира Трегубова и рассказывающей о неизвестном эпизоде антимонархического протеста в 1854 году в Оренбургском казачьем войске, об идеологии этого протеста, о расправе с его участниками (VIII. 103—130; IX. 135—163).⁵ Названные статьи и сообщения не исчерпывают, конечно, проблемы народных волнений, протестов, антицаристских выступлений. Они лишь свидетельствуют о ее значимости в издании, о широких возможностях дальнейшей разработки источников, раскрывающих эту сферу социальной жизни.

Издание «Археология и источниковедение Сибири» интересно не только с точки зрения истории русского средневековья и его культуры. С пользой заглянут в него историки и литературоведы, занимающиеся исследованием более поздних эпох, в том числе историки и литературы XIX и даже XX века. Пушкиниста, например, здесь привлечет сообщение В. Б. Кошеева о Евстафии Михайловиче Пушкине (предок великого поэта), который в XVI веке достиг думного чина, что во многом и обусловило впоследствии возвышение рода Пушкиных (XI. 12—14), шедриновед с пользой познакомится со статьей Е. В. Литвиновой «К вопросу о древнерусских источниках „Истории одного города“ М. Е. Салтыкова-Щедрина» о реализации мотивов эсхатологической литературы в главах названного произведения (VI. 182—196), а исследователь революционной деятельности Герцена не без удивления узнает из сообщения В. А. Черных о систематическом проникновении герценовских изданий на русскую Аляску и довольно широко распространенности их в этом далеком крае (II. 59—63).

На страницах издания изредка появляются публикации и сообщения, посвященные общественному и революционному движению в России XIX века. Их немного, но обратить на них внимание следует. Интересен сохранившийся в собрании М. Н. Тихомирова и опубликованный Н. Я. Эйдельманом дневник В. М. Чемезова — в 1860-е годы гимназиста, а потом студента Медико-хирургической академии. «Столь любопытных гимназических дневников той эпохи мы не знаем», — отмечает публикатор. Любопытен же дневник деталями, событиями, обстоятельствами тогдашней жизни, в том числе связанными с объявлением крестьянской реформы, свидетельствами о школьной жизни и педаго-

⁵ Интересным итогом деятельности по собиранию и изучению древних рукописей и старопечатных книг в Сибири является книга Н. Н. Покровского «Путешествие за редкими книгами» (М., 1964; 2-е изд., доп. М., 1988). Предназначенная для широких кругов читателей, она содержит живой рассказ об археографических экспедициях и найденных в Сибири редких рукописях, в том числе и о «Повести дивной...», обнаруженной в 1977 году.

гике, о студенческих волнениях, а также рассказами об аракечевских временах, записанными в самом Грузине (I. 47—63). Ту же и более позднюю эпоху освещает работы Н. П. Метхановой, посвященные известному врачу и общественному деятелю Н. А. Белоголовому. В одной из них исследуется авторский текст воспоминаний Белоголового о декабристах и Герцене, прослеживается процесс работы над главами воспоминаний, выясняется негативное отношение к теоретическим спорам в декабристской среде в начале 1820-х годов, уточняется отношение их к Петрашевскому, рассматриваются высказывания Герцена об издании французского «Колокола», о Бакунине (V. 164—178); в другой — на основе писем Н. А. Белоголового к брату Андрею в Иркутск выясняется отношение их автора, в то время (1858—1862) находившегося в самой гуще общественно-политических событий в столице, в провинции, за рубежом, к революционно-демократическим веяниям, к крестьянской реформе, к студенческим волнениям в стране (II. 64—75); в третьей — обзорное чудом сохранившегося сборника с письмами Н. А. Белоголового и М. В. Загоскина, декабриста А. В. Поджою и членов семьи декабриста С. П. Трубецкого. В сборнике много сведений о сибирском окружении декабристов, а при изложении его истории напечатана переписка В. Г. Короленко с Г. П. Казаковым, относящаяся к 1905 году (VII. 144—148).

Литература XX века с точки зрения изучения ее источников в издании почти не затрагивается. Исключение составляют лишь две статьи, посвященные Л. Мартынову. В одной из них З. А. Петрова рассматривает источники поэмы «Тобольский летописец» и, вопреки бытовавшим ранее представлениям, убедительно доказывает, что только «работа над историческим материалом позволила Мартынову создать запоминающуюся художественную историю Сибири в лицах» (VII. 163); в другой статье она же устанавливает, также в опровержение существовавших мнений, что в работе над поэмой «Домотканая Ванда» поэт использовал полемическое сочинение Екатерины II «Антидот (Противоядие)», читавшееся им в переводе с французского языка (XI. 154—167).

Отличительной особенностью серии «Археология и источниковедение Сибири» является пристальное внимание к справочно-информационным и обзорно-библиографическим материалам. Объединенные в специальном разделе, они присутствуют в каждом выпуске, и такое регулярное их появление, при современном невнимании к развитию справочно-библиографических служб в гуманитарных науках, следует рассматривать как неоспоримое достоинство издания, стремящегося не на словах, а на деле по мере своих возможностей поддерживать справочно-библиографическую деятельность в изучении истории и литературы Сибири. Печатаемые в этом разделе работы многообразны: описания или обзоры собраний (коллекций) рукописей и рукописных книг, а также книг кирилловской

печати, описания отдельных рукописей, сборников, произведений (рукописных и печатных) определенного автора, библиографические указатели и обзоры. К настоящему времени в издании напечатано 27 материалов справочно-библиографического характера. Среди них прежде всего обращают внимание научные описания рукописей и старопечатных книг из хранилищ сибирского региона: из Гос. архива Тюменской области в Тобольске (I. 64—143), Тюменского областного музея (I, 144—148), из Тобольского краеведческо-архитектурного музея-заповедника и Омского краеведческого музея (III. 104—117; IV. 176—177), из фондов Гос. публичной библиотеки Киргизской ССР им. Н. Г. Чернышевского (V. 179—188). Особое место среди работ этого жанра занимают, конечно, описания рукописей и книг XVI—XVII веков из собраний Института истории, филологии и философии СО АН СССР, т. е. того научного учреждения, которое и ведет в Сибири главные работы по собиранию, описанию и изучению рукописно-книжного наследия края (II. 162—198; IX. 183—232; X. 141—155, 156—268). Описания рукописей и старопечатных книг представляют собою не простые их перечни, а подробнейшие археографические описания с включением сведений по истории отдельных книг или рукописей, а также собраний, их объединяющих. Выполнены эти описания преимущественно сотрудниками института. Некоторые из них сделаны по следам известного ленинградского археографа В. И. Малышева. Он в первые послевоенные годы побывал в Сибири, познакомился с местными книжно-рукописными собраниями, а наиболее интересные описал (рукописи из Тюменского областного музея и Тобольского архива) и результаты этих предварительных описаний напечатал в «Трудах отдела древнерусской литературы Пушкинского Дома». Обзоры, как правило, обладают меньшей информативностью, чем научные описания, но по отношению к большим коллекциям, отдельным памятникам (преимущественно сборникам) жанр обзора позволяет глубже вникнуть в историю фондов или отдельных документов, выделить наиболее значимые и с научной точки зрения перспективные материалы, дать о них всестороннее представление, более основательное, чем то, которое можно создать методами научного описания. В справочной части издания обзоры довольно многочисленны, они отличаются новизной обозреваемых материалов, существенностью их значения для исторического и литературного развития страны, а не только Сибири. Интересен среди них, например, обзор И. Ф. Мартынова, посвященный литературным рукописям из собрания Музея приенисейского края, хранящимся сейчас в Библиотеке АН СССР (I. 149—155). Некоторые из обозреваемых материалов имеют штемпель красноярского библиофила Г. В. Юдина, что составляет еще одну загадку его собрания: каким образом принадлежавшие ему рукописи попали в Приенисейский музей? Сборник, содержащий «Повесть о Горе-злочасти», стал предметом обзора

Н. И. Колгуриной (XI. 193—205), археографический обзор сочинений основателя старообрядческого согласия бегунов или странников Евфимия дал А. М. Мальцев (VII. 164—178), а сочинений Игнатия Римского-Корсакова с описанием, систематизацией и характеристикой 33 найденных и изученных списков составила Л. Б. Воронова (VIII. 185—201). В этом разделе напечатано также сделанное Л. К. Круандыковым описание пушкинодомской рукописи (из собрания И. Н. Заволоко), содержащей сочинения, которые регламентировали поведение выговских старообрядцев в стенах монастыря (IV. 121—135), составленный Л. А. Ситниковым археографический обзор списков Летописи Сибирской тобольского ямщика И. Л. Черепанова (IV. 154—175). Встречаются в издании и археографические обзоры, по характеру своему близкие к библиографии или включающие пространные и систематизированные библиографические сведения. К таким работам относится обозрение сочинений XIX века «О Петре-антихристе», сделанное Н. С. Гурьяновой и регистрирующее 25 произведений (IV. 136—153), или составленный О. Н. Садовой обзор старообрядческих полемических сочинений о браке XVIII—первой трети XIX века, в котором перечислено 143 произведения (VI. 196—218). Все названные обозрения касаются полностью или преимущественно произведений литературного плана, но в издании встречаются, хотя и не часто, справочно-библиографические материалы исторического, экономического, статистического характера. Назовем, например, обзоры О. С. Тальской «Памятники учета труда зависимых крестьян в металлургической промышленности России» (II. 134—161) или В. И. Ивановой «Западносибирские поземельные частные акты в архиве ЛОИИ СССР АН СССР» (VIII. 166—184). В заключение следует сказать, что в справочно-библиографическом разделе издания интересы археографов, источниковедов, библиографов связаны, во-первых, с разработкой уникальных книжно-рукописных собраний Института истории, филологии и философии СО АН СССР и Уральского университета, во-вторых, с изучением и описанием старых региональных собраний в разных городах Сибири (Омск, Тюмень, Тобольск, Томск), в-третьих, с обращением к истории русского старообрядчества и его литературного бытия, отраженного в разных архивохранилищах не только Сибири, но и Европейской части страны.

Вслед за справочно-библиографическими работами в издании следует публикации, тоже собранные в самостоятельный раздел. Правда, надо отметить, что преимущественное место среди публикаций принадлежит историческим, а не литературным источникам, но тем не менее, взятые вместе, они дают разностороннее представление о ключевых моментах истории, культуры и литературы Сибири докапиталистической эпохи. Среди них — публикации литературных памятников, материалов по истории общественного движения, крестьянских волнений, старо-

обрядческих монастырей и общин, наконец, ряд документальных источников, касающихся сибирской ссылки декабристов.

Неизвестный памятник древнерусской беллетристики под названием «Слово о судьбах божиих, яко небе и земля мимо идет, а словеса моя не имут прейти» опубликован Е. К. Ромодановской по списку из собрания И. Е. Забелина (V. 234—241). Сочетание фольклорного и книжного начала, свободное построение сюжета позволяет, как отмечает публикатор, «поставить памятник в ряд наиболее интересных беллетристических произведений первой трети XVIII в.». Впервые в издании опубликованы М. Г. Кротовым акты источники «Повести о Василии Мангазейском», которые раньше, до их реставрации, разобрать и обнаружить было невозможно (XI. 127—140). В последнем, двенадцатом выпуске издания Н. С. Демкова напечатала третью редакцию «Повести о Марфе и Марии» («Сказание об уженском кресте») по его древнейшему списку, выявив разновидности текста повести и определив особенности ее переработки в XVII веке, здесь же Л. К. Титова напечатала по рукописям фольклорные обработки «Повести о рождении и похождениях царя Соломона», сделанные в XVIII веке (XII. 209—251).

Среди двенадцати вышедших выпусков издания научными публикациями литературных памятников более других богат выпуск одиннадцатый «Литература и классовая борьба эпохи позднего феодализма в России» (1987). В нем напечатана созданная около 1669 года «Повесть о мучении неких старец Петра и Евдокима» (публикация В. С. Кузнецовой), в которой, в согласии с традициями старообрядческой публицистики, создан образ царя, по словам публикатора, «диаметрально противоположный принятому в официальной литературе». Здесь же помещены сатирические вирши из сборника, содержащего «Повесть о Горе-злочастии» (публикация Н. С. Демковой и Н. И. Колгуриной), сатирический стих о пьянице, бытовавший среди старообрядцев и опубликованный Л. С. Соболевой по рукописи из собрания Уральского университета, «Повесть о царице и львице» в обработке самобытного крестьянского писателя из Усть-Цильмы И. С. Мяндина, в свое время открытого В. И. Малышевым (публикация Т. Ф. Чулковой), наконец, заключает серию публикаций в этом выпуске небольшой «Псковский синодик», подготовленный к печати Е. К. Ромодановской. Все публикации памятников в издании строго научны, сопровождаются историей создания, анализом текста или его редакций, обоснованным пониманием места памятника в современном ему и последующем литературном процессе.

Публикации исторических материалов в издании многочисленнее и разнообразнее. Они характеризуют не только общественно-политическую атмосферу эпохи, но и культурный уровень правящих классов, духовенства, крестьянства. Здесь впервые, например, предпринято изучение наказов сибирских крестьян в Уложен-

ую комиссию 1767 года. Русское историческое общество, издавая материалы этой комиссии, ознательно дискредитировало крестьянские аказы как исторический источник и отказалось от их публикации, а между тем именно они содержат порою удивительные по своей яркости, точности и глубине характеристики социально-экономического, бытового, культурного, идеологического состояния крестьянского населения Сибири. В первом выпуске это сделано М. Т. Беляевским, в последующих — им же совместно с О. А. Омельченко. Они опубликовали 32 наказа крестьян Енисейской провинции, 48 — Тобольской, наконец, 13 наказов ялutorовских крестьян. Состояние крестьянского дела в Сибири в XVIII веке эти публикации представили с точки зрения самого крестьянства, чего раньше никогда не делалось, да и без обращения к опубликованным источникам сделано быть не могло.

Особое место среди публикаций, как и вообще среди материалов этого серийного издания, занимают декабристские или связанные с декабристами мотивы. Их немного среди публикаций, но назвать их надо, пожалуй, все. Здесь опубликована «Записка о каторжных и ссыльных, в нерчинские заводы поступающих», написанная будущим декабристом Г. С. Батеньковым в 1822 году, когда он был активным деятелем сибирской реформы (IX. 249—253); записи М. С. Знаменского, воспитывавшегося среди декабристов (И. Д. Якушкин, М. А. Фонвизин, М. И. Муравьев-Апостол) и впоследствии рассказавшего в своих мемуарах (III. 200—234) об их жизни, участии в общественной деятельности и отношении к ним сибирского населения, а также небольшой отрывок из этих мемуаров под названием «Поездка в Марьино» — о встрече в 1874 году с возвратившимся из ссылки М. А. Фонвизинным (VIII. 229—239). Если к этому добавить, что здесь же напечатаны журналы Особого комитета 1826 года (VIII. 240—244), вырабатывавшего нормативные акты ссылки декабристов, то комплекс декабристских материалов представляется весьма значительным, интересным и предоставляющим исследователям ряд новых сведений, делающих наши представления о жизни, быте и правовом положении декабристов более полными и подробными.

Заключая обзор серии «Археография и источниковедение Сибири», надо сказать, что это издание, опираясь на традиции и опыт изучения средневековой, а отчасти и новой русской литературы, успешно поднимает тот пласт исторических источников и литературных произведений, который до сих пор лежит почти нетронутым. Перспективность археографических и источниковедческих исследований в Сибири сейчас не вызывает сомнений, и работы, рассмотренные или названные выше, лишней раз это мнение подтверждают.

2. Декабристская серия «Полярная звезда»

В литературной и исторической науке, которые в Сибири развиваются сейчас одинаково интенсивно, заметно выделяется интерес к декабристской теме. Он закономерен и понятен: три десятилетия первые русские революционеры провели в Сибири, принимая живое участие в культурной и литературной деятельности края и оказав огромное влияние на его социальное, экономическое и научное развитие.

Обращаясь к декабристской проблематике в сибирском литературном источниковедении, следует, пожалуй, прежде всего несколько слов сказать об иркутском трехтомнике «Декабристы в Сибири», в 1973—1975 годах выпущенном в свет Восточно-Сибирским книжным издательством к 150-летию восстания на Сенатской площади.⁶ Это издание представляет определенный интерес для историков литературы и общественно-революционного движения в России, но ориентировано оно преимущественно на широкие слои читателей. В первом томе этого издания помещены записки и воспоминания декабристов и их жен, из которых одни напечатаны полностью (А. П. Беляев, М. А. Бестужев, П. Е. Анненкова, М. Н. Волконская), другие в сокращении (Н. В. Басаргин, И. И. Горбачевский, И. Д. Якушкин); во втором томе — сибирская публицистика декабристов (В. И. Штейнгейль, П. Ф. Дунцов-Выгодовский, Д. И. Завалишин, В. Ф. Раевский, М. А. Бестужев) и воспоминания современников о декабристах в Сибири (Н. А. Белоголовый, С. Н. Бибилова, Б. В. Струве, А. М. Линден, Ал. Лучшев, М. С. Знаменский и др.), сопровождаемые краткими вступительными замечками и комментариями.

С литературоведческой точки зрения наибольший интерес представляет последний том декабристской трилогии, открывающийся статьями М. В. Нечкиной и Ф. А. Кудрявцева. В первой из них сформулированы задачи изучения сибирского этапа в жизни и деятельности декабристов, во второй дано краткое изложение истории освоения этой проблемы исторической и литературной науками. Это вступительные статьи, открывающие том, в котором главное место отведено исследованиям, основанным на широком круге исторических и литературных источников и сгруппированным в двух разделах, из которых в первом перепечатаны статьи 1920—1930-х годов, во втором помещены современные работы, публикуемые впервые. Среди исследованных прошлых лет здесь «Странички краеведческой деятельности декабристов в Сибири» М. К. Азадовского, «Политическая ссылка в

⁶ В серии «Декабристы в Сибири» изданы три книги: «Своей судьбой гордимся мы» / Сост. М. Сергеев. 1973; «Дум высокое стремление» / Сост. С. Коваль. 1975; «В сердцах Отечества сынов» / Сост. С. Коваль. 1975.

Минусинске» В. А. Ватина-Быстрянского, статьи Б. Г. Кубалова о крестьянах Восточной Сибири и их отношениях с декабристами, М. В. Нечкиной о заговоре в Зарентуйском руднике, В. Е. Деборина о докторе А. Веденяпине, Н. М. Дружинина о И. Д. Якушкине и его ланкастерской школе. Конечно, все эти работы известны, но печатались они давно и в изданиях, сейчас ставших по сути дела библиографической редкостью, а поэтому возобновление их с соответствующим комментарием полезно и как бы предвзвешивает серию современных исследований, этим же проблемам посвященных. Впрочем, из статей современных авторов принадлежащую Ю. Г. Оксману работу о «Записках» В. Ф. Раевского также следовало бы печатать в первом разделе, потому что написана она в 1930-х годах и не свободна, как отмечено в комментарии к ней (С. 324), от некоторых спорных и сейчас устаревших мнений. Новые источники и факты, используемые в статьях, написанных в более позднее время или подготовленных специально для этого издания, дополняют и уточняют ранее существовавшие представления и концепции событий, связанных с пребыванием декабристов в Сибири. В статье Б. Г. Кубалова, например, восстанавливаются недостающие звенья в биографии Г. С. Батенькова, В. И. Порох исследует обстоятельства отправки в Сибирь И. Д. Якушкина, С. Ф. Коваль прослеживает отношение декабристов к социально-политическим процессам, происходившим в России в 1850-х и в начале 1860-х годов, а И. В. Порох еще раз обращается к записке о «Донесении Следственной комиссии». Завершается том публикацией нескольких ранее неизвестных писем декабристов (Ф. Б. Вольф, В. Ф. Раевский).

Собранные в трехтомнике материалы служат как популяризации знаний о декабристах, так и представляют собою некую материальную основу для дальнейших работ в этой области, но основу пока еще недостаточно фундаментальную и требующую дальнейшего совершенствования.

Вскоре после завершения трилогии в Сибири зарождается другой замысел нового декабристского издания, задача которого, как обозначено в предисловии к первому его тому, заключается прежде всего в том, чтобы все проблемы, касающиеся деятельности декабристов в Сибири, «глубже и сложнее подключить к общественным процессам общероссийского развития», дать возможность рассматривать их в общем потоке современного декабристам и будущего социально-политического и общественного, научного и культурного развития страны. Подобная постановка задач обусловила сложность издания, его состав, характер поисковых работ и научной подготовки.

Идея декабристской серии возникла в Иркутском университете, где работает проблемный совет «Сибирь и декабристы». Этот совет и стал координатором в организационных работах, которые осуществляются в сотрудничестве с Институтом истории АН СССР. Непосредственное руководство подготовкой первого в Си-

бири серийного издания, посвященного декабристам и названного «Полярной звездой», осуществляется редколлекцией, состоящей из видных исследователей декабризма и возглавляемой академиком М. В. Нечкиной, а после ее смерти, с 1986 года, академиком И. Д. Ковальченко. К настоящему времени читатель получил 13 томов, содержащих сочинения и материалы о революционной деятельности десяти декабристов.⁷

Обращаясь к «Полярной звезде», прежде всего необходимо отметить, что это издание научное, при подготовке которого учтен обширный источниковедческий и текстологический опыт, накопленный советской исторической и литературной наукой, особенно в тех ее областях, которые посвящены изучению декабристского движения, литературного, публицистического и научного наследия его участников. Вместе с тем издание ориентировано не только на научную, но и на широкую читательскую аудиторию, а потому четкие научные принципы его составления и комментирования реализуются в формах, доступных любым читательским группам, что на протяжении почти десяти лет обеспечивает оживленный и устойчивый интерес к изданию и стимулирует очень высокий для подобного рода изданий тираж (50 тысяч).

При начале издания, в 1979 году, программа его была изложена весьма приблизительно: сообщалось, что читатель будет получать по две книги в год и среди первых выйдут в свет тома, посвященные М. А. Фонвизину, В. Ф. Раевскому, В. И. Штейнгейлю, А. Н. Муравьеву. Намечалась в издании и публикация исследований монографического плана, от которых редколлекция, видимо, отказалась, потому что до сих пор ни одного подобного выпуска в составе издания осуществлено не было.

Серия «Полярная звезда» построена по персональному признаку. Ее тома, иногда двухтомники, посвящены выдающимся представите-

⁷ Издание осуществляется в Иркутске Восточно-Сибирским книжным издательством. Вышли в свет: *Фонвизин М. А.* Сочинения и письма: В 2 т. / Изд. подг. С. В. Житомирской и С. В. Мироненко. 1979. Т. 1; 1982. Т. 2; *Раевский В. Ф.* Материалы о жизни и революционной деятельности: В 2 т. / Изд. подг. А. А. Брегман и Е. П. Федосеевой. 1980. Т. 1; 1983. Т. 2; *Трубецкой С. П.* Материалы о жизни и революционной деятельности: В 2 т. / Изд. подг. В. П. Павловой. 1983. Т. 1; 1987. Т. 2; *Розен А. Е.* Записки декабриста / Изд. подг. Г. А. Невелевым. 1984; *Лорер Н. И.* Записки декабриста / Изд. подг. М. В. Нечкиной. 1984; *Назимов М. А.* Письма, статьи / Изд. подг. О. В. Поповым. 1985; *Штейнгейль В. И.* Сочинения и письма / Изд. подг. Н. В. Зейфман и В. П. Шахеровым. 1985; *Муравьев А. Н.* Сочинения и письма / Изд. подг. Ю. И. Герасимовой и С. В. Думиным. 1986; *Бриген А. Ф.* Исторические сочинения / Изд. подг. О. С. Тальской. 1986; *Лукин М. С.* Сочинения, письма, документы / Изд. подг. И. А. Желваковой и Н. Я. Эйдельман. 1988.

лям декабристского движения. В них включены мемуарные произведения, автобиографические записки, дневники, художественные, публицистические и научные произведения, многочисленные и очень часто ранее не публиковавшиеся письма, наконец, обширный комплекс документальных материалов о революционной деятельности декабристов, взятых преимущественно из их следственных дел. Особое внимание при подготовке издания уделено материалам, которые ранее не публиковались или не были известны вообще. Такое построение издания преследует цель представить декабристов в посвященных им томах, их революционную и общественную, литературную и научную деятельность наиболее полно, широко, разносторонне.

Итак, сначала несколько слов о содержании издания «Полярная звезда». Для нашей эдиционно-текстологической практики оно не совсем обычно. В нем объединено наследие не одного писателя, а многих участников декабристского движения, которые не были профессиональными писателями, занимаясь литературным трудом преимущественно в силу сложившихся обстоятельств жизни и оставив память о себе порою в разрозненных и случайных произведениях, в основном связанных с их революционной деятельностью, с обстоятельствами жизни на каторге и поселении. Особенности литературного наследия декабристов обусловили многообразие составляющих серию изданий, посвящаемых отдельным дворянским революционерам первой половины XIX века. В одних изданиях литературное наследие декабриста собрано полностью (М. А. Фонвизин, М. А. Назимов, А. Ф. Бриген), в других почти полностью (С. П. Трубецкой, М. С. Лунин, А. Н. Муравьев), в третьих напечатаны лишь избранные литературно-эпистолярные произведения декабриста и материалы о его революционной деятельности (В. Ф. Раевский), в четвертых внимание акцентировано на законченных и ранее уже печатавшихся мемуарных произведениях (А. Е. Розен, Н. И. Лорер).

Среди вышедших в свет изданий следует несколько подробнее остановиться на двухтомнике В. Ф. Раевского. Дело в том, что он по принципам формирования своего состава заметно отличается от всех других. Это и понятно: литературное наследие В. Ф. Раевского неоднократно печаталось, а поэтому составители (А. А. Бергман и Е. П. Федосеева) предпочли преимущественное внимание обратить на материалы его революционной деятельности, расположив их в соответствии с тремя этапами жизни декабриста, намеченными им самим: «Светлая жизнь» (до ареста в 1822 году), «Подземная жизнь» (1822—1827), наконец, «Жизнь ссыльная» (1827—1872). В подготовке томов составители руководствовались убеждением «о необходимости включить в сборник главный архивный комплекс темы с тем, чтобы читатель имел возможность ознакомиться с ним» (С. 51). Конечно, в двух томах составителям удалось ввести в научный и читательский оборот известную часть документальных источников,

касающихся жизни и революционной деятельности В. Ф. Раевского, но только часть, так как весь объем известного сейчас материала составляет свыше 100 томов. Однако следует все же заметить, что композиция издания (хронологическое размещение разнохарактерных документов) представляется не очень удачной, особенно при отсутствии подробного оглавления. В томах трудно ориентироваться, а кроме того, такое расположение не дает четкого представления о Раевском как литераторе, о его эпистолярной манере, потому что касающиеся этих проблем материалы находятся в разных разделах, что не способствует созданию о них более или менее цельного представления. Например, у читателя может возникнуть вопрос, а все ли письма В. Ф. Раевского напечатаны в двухтомнике? Ответа на него он не найдет. Во втором томе сказано: «информация о составе, объеме и местах хранения названных групп документов дана в первом томе» (С. 54). В первом же томе никаких сведений об объеме и характере публикации эпистолярия мы не находим. Если составители хотели дать более или менее полное представление о В. Ф. Раевском, то более выгодно было бы представить в разных разделах документы следствия и надзора, затем литературное наследие В. Ф. Раевского, наконец, воедино собранный и полный его эпистолярный. При таком размещении материала представление о В. Ф. Раевском было бы более полным и всесторонним.

Оценивать издание с точки зрения его полноты пока рано: вышедшие тринадцать томов представляют собою часть замысла. Он совершенствуется в процессе работы, включает новые имена декабристов, творческое наследие и материалы о революционной деятельности которых собираются и готовятся к использованию в издании в результате тщательного и не скорого их предварительного изучения. Тем не менее следует сказать, что в изданных томах серии представлены зачинатели декабристского движения, его руководители, выдающиеся деятели и рядовые участники, наконец, историки и летописцы событий, авторы известных хроник, дневников, воспоминаний. Здесь сочинения и материалы о жизни и революционной деятельности инициатора создания Союза спасения А. Н. Муравьева; первого декабриста В. Ф. Раевского, арестованного в 1822 году; одного из основателей Союза благоденствия М. А. Фонвизина; мыслителя и революционера М. С. Лунина;⁸ политического

⁸ Почти одновременно с серией «Полярная звезда» сочинения М. С. Лунина почти в том же составе появились в серии «Литературные памятники», подготовленные также И. А. Желваковой и Н. Я. Эйдельманом (Лунина М. С. Письма из Сибири. М., 1987. 496 с.). В академической серии больше внимания уделено анализу произведений, их творческой истории и текстологическим принципам. Произведения, написанные по-французски, воспроизведены в этом издании на языке оригинала и в русском переводе.

руководителя восстания и организатора Временного революционного правительства князя С. П. Трубецкого; исполнявшего обязанности связного между Южным и Северным обществом А. Ф. Бригена; знатока социальных и экономических проблем России, участника подготовки вооруженного восстания В. И. Штейнгейля; пользовавшегося авторитетом в декабристской среде штабс-капитана М. А. Назимова; наконец, авторов известных мемуарных произведений («Записки декабриста») А. Е. Розена и Н. И. Лорера.⁹ Не будем забегать вперед со своими соображениями и советами: редколлегия имеет определенные планы относительно дальнейшего продолжения серии, из которых ближайшие ею обнародованы. Сейчас Восточно-Сибирское книжное издательство, которое является полиграфической базой издания, завершило подготовку к печати сочинений Н. В. Басаргина (два тома), сочинений и писем Г. С. Батенькова и А. В. Поджо. Надо надеяться, что не заставит себя долго ждать и задержавшийся второй том В. И. Штейнгейля. Впрочем, публикацию наследия декабристов названными томами ограничивать не предполагается. Следует полагать, что мы не нанесем ущерба изданию, если сообщим, что сейчас ведется работа по подготовке к печати сочинений и писем И. И. Пущина (два тома), И. Д. Якушкина, Ф. Н. Глинки, В. К. Кюхельбекера, Е. П. Оболенского, П. А. Муханова, П. Н. Свистунова, М. А. Дмитриева-Мамонова, А. И. Одоевского, А. А. Бестужева, Н. А. Бестужева, И. И. Горбачевского. А впереди Д. И. Завалишин, М. М. Нарышкин, А. П. Беляев. . . Издание не ограничено жесткими рамками — и в этом его достоинство. Ведь открытие декабристского наследия продолжается, продолжается его собирание и изучение, а потому нет ничего удивительного в том, что в таком сложном процессе постепенно возникают новые имена, появляются новые материалы, формируются новые замыслы.

Касаясь состава серии, нельзя не сказать о характере подготовки его текстов, которая осуществляется в соответствии с нормами, принятыми при публикации исторических документов и при издании классического наследия русской литературы. Тексты произведений и документов печатаются в издании с проверкой по всем сохранившимся источникам (рукопись, копия, публикация), а в случае их множественности с выбором наиболее достоверного среди них, который и становится основой публикации. Для декабристов в быту и в литературной деятельности характерно обращение к французскому языку (особенно в переписке). В таких случаях в издании печатается русский перевод, без воспроизведения оригинала, но с указанием языка подлинника. Текстологические принципы в развернутом или кратком изложении сооб-

щаются в заключительных частях вступительных статей почти в каждом томе, где говорится о составе тома и характере заключенного в нем материала, хотя было бы целесообразнее изложить их в редакционном предисловии к серии, ориентируясь на все издание, а не на его отдельные части.

Систему научного аппарата в серии «Полярная звезда» открывают вступительные статьи. Они сопровождают каждый том, в двухтомниках — каждую книгу. Построены статьи на широком круге исторических и литературных источников. Это и понятно: их авторы являются составителями и комментаторами томов и через их руки прошел весь круг документальных источников. На основе этих источников в статьях заполнены многие пробелы, существовавшие в наших знаниях о жизни и революционной деятельности декабристов, об их мировоззрении и роли как в революционном движении, так и в развитии культуры, литературы, науки. Надо иметь в виду, что обширность существующей литературы, к сожалению, не свидетельствует о равномерной изученности декабризма как явления политической и революционной истории народа, деятельности его основоположников, выдающихся и рядовых представителей. Это в полной мере подтверждается в процессе подготовки издания серии «Полярная звезда».

Обращаясь к томам издания, мы замечаем, что до их появления мы обладали порою весьма неполными знаниями о декабристах, которым эти тома посвящены, а посвящены они отнюдь не рядовым участникам движения, представления о которых историческая память народа могла до наших дней и не сохранить. Возьмем, например, А. Н. Муравьева — одного из виднейших деятелей раннего декабризма. В исследовательской литературе ему уделено очень скромное внимание: интересовались его участием в декабристском движении и в проведении крестьянской реформы в Нижегородской губернии, а вот вся остальная жизнь «этого одаренного человека, со всеми его исканиями, взлетами и падениями, почти совершенно не изучалась» (С. 4). Недостаток источников, не собранных и не введенных в научный оборот, долгое время не способствовал пересмотру или уточнению давно бытовавших представлений о мировоззрении А. Н. Муравьева. Не смирившись с николаевским режимом, он был не просто «довольно либеральным деятелем», как считалось ранее, а в своей деятельности, отстаивая законность и справедливость, руководствовался идеями первых тайных обществ, чем и объясняются неоднократные крушения его карьеры и позиции, занятые им в период подготовки и проведения крестьянской реформы. Впервые собранные документальные и эпистолярные источники сейчас дают возможность более полно взглянуть на деятельность А. Н. Муравьева, полнее и точнее судить об эволюции его взглядов, о его политической и общественной судьбе. И А. Н. Муравьев не исключение. Возьмем М. А. Назимова. К его жизни и революционной деятельности декабристovedы почти не обращались, а поэтому

⁹ Издание «Записок декабриста» Н. И. Лорера является вторым (первое, также подготовленное М. В. Нечкиной, вышло под редакцией М. Н. Покровского в 1931 году).

тупительная статья к посвященному ему тому «Полярной звезды» по сути дела является первым и достаточно полным исследованием биографии декабриста, его взглядов и судьбы, снованным на всем комплексе источников, акие в результате тщательных разысканий удалось обнаружить. Впрочем, крайний дефицит источников касается не только А. Н. Муравьева или М. А. Назимова. Это мы обнаружим при обращении почти к каждому тому декабристской серии, что лишний раз подчеркивает ее актуальность и научную ценность. Несобранность и недостаточная изученность источников относится и к таким известным деятелям декабризма, каким был, например, М. А. Фонвизин — участник и организатор Союза спасения, Союза благоденствия, Военного общества, один из инициаторов Московского съезда 1821 года. Между тем «жизнь, деятельность и мировоззрение М. А. Фонвизина изучены явно недостаточно», отмечают составители двухтомника его сочинений. И препятствием на пути дальнейших исследований опять является проблема источников. Поэтому издание их, предпринятое в серии «Полярная звезда», следует рассматривать как залог успешного развития общих и частных декабристоведческих исследований. Почти все тома серии «Полярная звезда» (за исключением сочинений М. С. Лунина и «Записок декабриста» А. Е. Розена и Н. И. Лорера) составлены из произведений и документов, разысканных для этого издания, ранее вместе не собиравшихся и публикуемых здесь в очень значительной части впервые.

Важнейшее значение в изучении декабристского движения, мировоззрения его участников, их жизни и деятельности в Сибири имеет обширное декабристское эпистолярное наследие, собранное и изученное пока еще далеко не полностью. В издании «Полярная звезда» письма декабристов порою занимают почти целые тома (С. П. Трубецкой, М. А. Фонвизин, В. И. Штейнгейль, А. Ф. Бриген) и являются одной из интереснейших и ценнейших его частей. Как источник для изучения декабристского движения печатаемые в издании письма сейчас в этой области не имеют себе равных по обширности заключенных в них свидетельств политического, литературного, бытового характера. В тринадцати томах, представляющих наследие десяти декабристов, напечатано 1278 писем. Одна эта цифра говорит об источниковедческом потенциале издания, а ведь еще надо учесть, что многие из этих писем введены в научный и читательский оборот впервые именно здесь. В разных томах издания письма печатаются с разной полнотой. Письма М. А. Фонвизина (210, впервые печатается 142), В. И. Штейнгейля (205, впервые — 132), А. Ф. Бригена (219, впервые — 202), М. А. Назимова (50, впервые — 40), Н. И. Лорера (19 писем) включены в соответствующие тома полностью — помещено здесь все, что к настоящему времени удалось обнаружить. Из 547 писем С. П. Трубецкого напечатано 397 (из них 363 впервые), избранные письма даны в томах, посвященных

А. Н. Муравьеву, М. С. Лунину, В. Ф. Раевскому.¹⁰ Такое пополнение декабристского эпистолярия не может не отразиться на общем процессе изучения декабризма, жизни и деятельности первых русских революционеров, особенностей их эпистолярного искусства, которое, кстати сказать, почти не привлекает внимания исследователей.

Вступительные статьи к томам по характеру или подходу к рассматриваемым проблемам не одинаковы. Одни более биографичны, другие подробнее характеризуют декабриста как личность, третьи касаются преимущественно мировоззренческих проблем. Это и понятно: каждый автор учитывает степень и характер изученности жизни и деятельности декабриста, а кроме того, он стремится задержать внимание читателя на новых материалах, им собранных или открытых, на нерешенных или не решавшихся ранее вопросах. Большое внимание в статьях уделяется истории изучения биографии, революционной деятельности, творчества декабриста, которому том посвящен, судьбе его архива, обстоятельствам собирания и публикации его наследия. При недостатке историографических работ и справочно-библиографических изданий значение этих фрагментов переоценить трудно. В некоторых томах они оформляются как самостоятельные работы. Так, во втором фонвизинском томе комментарий предпослана статья «Вступительные замечания к истории архива и письменного наследия М. А. Фонвизина», в лунинском томе — статья составителей «Вступительные замечания о литературном наследии М. С. Лунина, составе издания, текстологии». Иногда в томах появляются справочно-библиографические приложения, дополняющие и поясняющие публикуемые тексты: к «Запискам декабриста» Н. И. Лорера приложен список цензурных купюр в публикациях этого произведения в «Русском богатстве» и в «Русском архиве», а тома В. Ф. Раевского сопровождаются перечнем документальных источников, использованных или опубликованных в томе, составленным по хранящим их архивам с обозначением присвоенных им шифров.

Раздел Приложения появляется в нескольких томах издания, но определенной четкости в организации его состава не прослеживается: в нем помещаются самые разные, хотя и немногие, документы, не попавшие в печать или опубликованные, которые имеют непосредственное отношение к содержанию тома и дополняют его. Среди документов, печатаемых в Приложениях, мы находим, например, «Сон Муравьева», характерный для настроений А. Н. Муравьева в то время, когда он готовился к выходу из декабристских организаций (к со-

¹⁰ В томах, посвященных С. П. Трубецкому, А. Н. Муравьеву, А. Ф. Бригену, В. И. Штейнгейлю даны указатели писем по адресатам, а в томе с сочинениями и письмами А. Ф. Бригена помещен еще и перечень утерянных и необнаруженных писем декабриста.

жалению, не указан источник публикации), в лунинском томе в Приложениях напечатаны рассказы-воспоминания Е. С. Уваровой (письмо к И. С. Гагарину) и С. Ф. Уварова (из дневника), прямо или косвенно записанные со слов самого М. С. Лунина, а в томе, посвященном С. П. Трубецкому, помещен рекомендательный список литературы, составленный декабристом для членов общества «Зеленая лампа», и формулярный список С. П. Трубецкого. Самый обширный раздел Приложений в томе, посвященном М. А. Назимову. Среди напечатанных в нем документов свидетельство П. А. Висковатова о М. А. Назимове и Лермонтове, письма И. С. Одоевского Назимову, переписка Н. А. Некрасова с А. Н. Пыпиным о Назимове, наконец, некролог декабриста. Напечатанные в Приложениях документы интересны как источники для библиографии декабристов, и в этом отношении помещение их в соответствующих томах следует признать полезным, хотя и надо сказать, что подобный раздел в издании мог бы быть и более значительным, и более регулярным.

Важнейшей частью научного аппарата издания является реальный комментарий к печатаемым в нем произведениям и документам. Особенность этого комментария заключается в том, что почти для всех томов серии он создан впервые: раньше включаемые в издание сочинения, письма, документы либо печатались без комментария, либо не были опубликованы вообще. Это обстоятельство, с одной стороны, усложнило работу, так как все разыскания

пришлось производить заново, с другой стороны, обусловило полную оригинальность работы и относительную свободу в выборе формы комментария, который отличается scrupulosностью и документальной обоснованностью. Следует только заметить, что объяснение встречающихся в тексте имен в одних случаях делается в комментариях (и порою с излишними подробностями), в других — необходимые сведения приводятся в именном указателе, в этом случае аннотированном (А. Е. Розен, Н. И. Лорер, второй том сочинений М. А. Фонвизина). Следовало бы на протяжении всей серии выдержать единый принцип и в комментировании, и в составлении указателей.

Первые тринадцать томов издания «Полярная звезда» уже дали читателям огромный комплекс материалов по истории декабризма, раскрывая не только политические, идеологические и организационные его основы, но и судьбы отдельных участников этого движения. Кроме того, они наглядно показали, что проблема источников в той части литературной и исторической науки, которая занимается изучением декабризма, решена еще далеко не полностью: одни источники не разысканы, другие известны, но еще не включены в научный процесс, третьи только изучаются и готовятся к печати. Поэтому завершение начатой и сейчас успешно осуществляемой серии «Полярная звезда» является главной задачей в изучении декабризма как одного из важнейших этапов в развитии революционного движения в нашей стране.

О. Р. Демидова

ТЕККЕРЕЙ В РОССИИ *

В последние десятилетия появились серьезные монографические исследования о восприятии в России творчества Шекспира, Вольтера, Гюго, Диккенса, но, как это ни странно, истории восприятия великого английского реалиста У. Теккерей не уделялось должного внимания. Небольшие статьи по частным вопросам (оценка Теккерей русской критикой, первые русские переводы «Ярмарки тщеславия», типологические сходжения в творчестве Теккерей и некоторых русских писателей) не исчерпывали многогранней темы «Теккерей в России». Этот пробел частично восполняет книга С. Нураловой.

Автор кандидатской диссертации «Теккерей в России: Середина XIX века» (1985) и ряда статей о различных аспектах восприятия творчества Теккерей на русской почве, С. Нура-

лова хорошо знает литературу вопроса: в ходе работы ею были тщательно изучены материалы русской периодической печати эпохи, мемуары, дневники, переписка современников. Хронологические рамки работы охватывают время «мрачного семилетия» (1848—1855), предреформенные годы и последовавшие за ними годы реакции. Рассматриваемый период «представляет собою чрезвычайно важный этап развития в русской литературе реалистических принципов художественного изображения действительности» и является временем активного освоения творчества Теккерей в России, «когда его произведения действительно включались в развитие отечественной литературы» (С. 4).

Книга состоит из «Введения» и четырех глав. Во «Введении» дан краткий очерк жизни и творчества Теккерей, показана эволюция его мировоззрения, изложено эстетическое кредо писателя и охарактеризованы особенности его художественного метода. Основу книги составляют две обзорные главы — «Властитель наших дум» и «Теккерей в русской критике»; третья

* Нуралова С. Э. Теккерей в России: Учебное пособие для студентов филол. факультетов. Ереван, 1988. 101 с.

глава, значительно меньшая по объему, посвящена проблеме перевода произведений Теккерера на русский язык («К истории одного из переводов „Книги снобов“»); в последней главе автор касается истории взаимоотношений И. С. Тургенева и У. Теккерера, которая «представляет собой интересную страницу русско-английских литературных связей XIX века» (С. 93). Такое построение книги, отражающее основные аспекты включения творчества инационального писателя в данный литературный процесс — перевод, критическое истолкование, творческое усвоение, — представляется вполне оправданным и отвечает задачам исследования, определенным во «Введении».

В обзорных главах автор убедительно показывает, как английский писатель входил в русскую литературу, как происходил сложный процесс становления «русского Теккерера». Теккерей получил признание в России почти одновременно с признанием на родине, на рубеже 1840—1850-х годов, и на протяжении более чем двадцати лет пользовался неизменным вниманием русской читающей публики и критики, что свидетельствовало «о глубокой созвучности его творчества тенденциям русской литературы указанного периода» (С. 15). Рассматривая процесс восприятия творчества Теккерера, С. Нуралова подчеркивает, что оценка его «постоянно производится как бы сквозь призму гоголевских традиций и достижений» (С. 16). В связи с этим заслуживает внимания попытка С. Нураловой сопоставить восприятие в России Теккерера и Диккенса. Как известно, Теккерей и Диккенс осваивались в русской литературно-общественной жизни почти одновременно, и такое параллельное включение произведений двух крупнейших английских реалистов в литературную жизнь России, с одной стороны, подчеркнуло их непохожесть («...Теккерей преимущественно сатирик, Диккенс — юморист» — С.17), с другой — способствовало восприятию их в неразрывном единстве как представителей реализма нового типа (в отличие от того, как они воспринимались на родине, где сами писатели противопоставляли свои реалистические позиции). Причину подобного отношения русской критики к творчеству английских романистов С. Нуралова совершенно справедливо видит в общественных условиях «мрачного семилетия», когда на фоне безликой отечественной беллетристики произведения Диккенса, Теккерера и Шарлотты Бронте (чьи романы «Джейн Эйр», «Шерли» и «Вильетт» печатались в русских журналах в эти же годы) с их смелым обличением общественных пороков становились событием, хотя и рисовали другую действительность.

Используя богатый фактический материал, С. Нуралова подробнейшим образом воссоздает эволюцию отношения русской критики различной общественно-литературной ориентации к творчеству Теккерера на разных этапах его восприятия, начиная с первого упоминания имени английского романиста в «Отечественных записках» в 1847 году и до середины 60-х годов, когда завершился непосредственный контакт

Теккерера с русским литературным процессом и «началась пора осмысления роли и места творчества Теккерера в мировом литературном процессе, осознания его как факта истории русской литературы» (С. 38).

Годом подлинного «вхождения» Теккерера в русскую периодику и общественную мысль стал 1849 год, чему в значительной степени способствовали две статьи талантливого переводчика И. Введенского, опубликованные в «Отечественных записках» и предпосланные сокращенному изложению «Ярмарки тщеславия». Начало 1850-х годов — период наивысшей прижизненной популярности Теккерера в России, ознаменованный успехом сразу трех произведений писателя: «Ярмарки тщеславия», «Истории Пенденниса» и «Книги снобов». Романы Теккерера охотно печатали ведущие русские журналы демократического направления. Известно, например, что издатели «Современника» готовы были задержать выход очередной книжки, чтобы успеть набрать прошедшую цензуру часть «Ярмарки тщеславия», так как без нее книжка получалась «жидкой и неполной» (С. 20). В годы вынужденного молчания отечественной литературы передовая русская журналистика энергично пропагандировала творчество английского реалиста. Но в эти же годы хвалебные отзывы о Теккерее встречаются и на страницах либеральной и охранительной печати, хотя, как верно отмечает С. Нуралова, интерес «Библиотеки для чтения» и «Пантеона» к творчеству английского сатирика был вызван совершенно иными причинами. В период Крымской войны (1853—1855) усилились англофобские настроения, в результате чего обличительные романы о нравах английского буржуазного общества с готовностью печатали самые реакционные издания. Фальшивой английской морали, эгоизму и корысти противопоставлялась «святая патриархальность» русской жизни. 1856—1857 годы стали переломными для восприятия Теккерера в России. После того как в августе 1856 года в «Современнике» и «Библиотеке для чтения» закончилось одновременное печатание романа «Ньюкомы», наблюдается явное охлаждение передовой русской критики к творчеству английского романиста. С. Нуралова убедительно объясняет это не только появлением примирительных мотивов в мировоззрении Теккерера, но и изменением общественной обстановки в России («герой-скептик Теккерера становился неприемлемым в условиях общественного подъема предреформенной России» — С. 29).

Статьям Дружинина и Чернышевского о Теккерее посвящены специальные разделы второй главы, и это вполне закономерно. Дружинину принадлежит большая часть всего написанного о творчестве Теккерера в 1850—1860-е годы. К творчеству Теккерера Дружинин обращался на протяжении всей своей литературно-критической деятельности, и его интерпретация произведений английского писателя претерпела определенные изменения. Несомненным достоинством книги С. Нураловой является то, что в ней

не просто анализируются статьи Дружинина разных лет о Теккерее, но эволюция отношения к английскому романисту рассматривается в связи с изменением общественно-литературной позиции критика. Так, впервые знакомя русскую публику с Теккереем в 1850 году, Дружинин выделяет социальную доминанту его творчества, обнаруживая определенную близость к точке зрения революционных демократов, а рецензия на роман «Ньюкомы» (1856) воспринимается уже как манифест либеральных устремлений критика, к этому времени окончательно отошедшего от «Современника» и ставшего одним из наиболее последовательных поборников «артистической» теории искусства в противовес «дидактической».

«Критическое истолкование творчества Теккеря Чернышевским неразрывно связано с острой идеологической борьбой за социальное воздействие литературы, за ее актуальность» (С. 68). Уже в первых отзывах о Теккерее Чернышевский относит его произведения к образцам подлинно реалистической литературы, противопоставляя английского писателя эпигонам романтизма и используя его творчество в борьбе против эстетствующих сочинителей. Программой стала рецензия 1857 года на роман «Ньюкомы», в которой Чернышевский сосредоточил свое внимание на «проблеме соответствия теоретической мысли писателя объективным результатам его художественного изображения» (С. 72). Полемизируя со сторонниками теории «чистого искусства» (главным образом с Дружининым, чья рецензия на этот же роман появилась несколько раньше), Чернышевский выявляет в творчестве Теккеря все, что было перспективным для дальнейшего развития русского реализма, и решительно отвергает позднего Теккеря с его проповедью отвлеченной нравственной борьбы с социальным злом. Такой Теккерей «не мог быть ориентиром для переводной русской литературы» (С. 77).

Переводам в книге уделено значительно меньше внимания, чем критике (собственно говоря, речь идет лишь о «Книге сновов» в переводе Л. Голенищева-Кутузова). В определенной степени это оправданно: искусство прозаического перевода в рассматриваемый период находилось на самой начальной стадии, качество переводов было низким, так как большинство из них выполнялось наспех, без достаточного знания языка и реалий английской жизни, что вело к значительным искажениям авторского текста. Но, может быть, следовало включить в главу о переводе историю переводов «Ярмарки тшеславия», тем более что, как мимоходом указывает автор книги, в ходе полемики между «Отечественными записками» и «Современником», вызванной этими переводами, «обе стороны высказали оригинальные суждения по поводу принципов реалистического перевода» (С. 21).

Пожалуй, наибольшую трудность сравнительного исследования представляет постановка проблемы влияния. В книге С. Нураловой нет главы, посвященной этому аспекту восприятия творчества Теккеря в России, хотя автор и отмечает, что художественный опыт Теккеря «не остался вне поля зрения... писателей» (С. 3). Факты, подтверждающие это, немногочисленны, представлены разрозненно и не создают единой убедительной картины. Наиболее полно освещены случаи прямого подражания «Книге сновов» — «Опыт о хлыщах» И. И. Панаева, «Фанфарон» А. Ф. Писемского.

Очень жаль, что в книге отсутствует перечень просмотренных периодических изданий, а приведенная библиография явно не исчерпывает литературы вопроса; впрочем, вероятнее всего, это обусловлено характером издания: «Теккерей в России» — учебное пособие.

В заключение хочется сказать, что книга С. Нураловой вполне заслуживает положительной оценки, и пожелать автору успешного продолжения работы.

Л. Д. Опальская

ГОРИЗОНТЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

С давних пор красота и добро противопоставляются цивилизации, техническому прогрессу: техника губит природу, цивилизация — первозданные начала человеческой души.

Этот постулат, обоснованный в знаменитой книге Жан-Жака Руссо, варьировался потом много раз. В частности, в сочинениях нашего Толстого.

Кажется, что современная Япония опровер-

гает постулат. С поразительной мудростью оберегает она памятники своей древности, а в нынешних творениях человеческих рук и ума умеет сочетать мощь с красотой. Это подтвердит всякий, кто хоть раз побывал, например, в древней столице — Киото и теперешней — Токио.

Может быть, неистребимая тяга к добру и красоте влечет географически такую далекую и одновременно близкую (мы соседи!) страну к русской литературе. Говорят, что высокая духовность осталась в наши времена только в России. В 1927 году Акутагава Рюноске

* Рехо К. Русская классика и японская литература. М.: Худож. лит., 1987. 352 с.

в предисловии к русскому переводу своей книги написал (этим признанием знаменитого японца К. Рехо завершает монографию): «Среди всей современной иностранной литературы нет такой, которая оказалась бы на японских писателей и даже скорее на японские читательские слои такое же влияние, как русская. Даже молодежь, не знакомая с японской классикой, знает произведения Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Одного этого достаточно, чтобы стало ясно, насколько нам, японцам, близка Россия... Мое предисловие кратко. Но его написал японец, который считает ваших Наташу и Сою нашими сестрами. С этой мыслью и читайте написанное мною».

Сославшись на недавнее суждение авторитетного востоковеда Е. П. Чельшева: «в исследовании проблем восприятия русской классики в странах Востока у нас сделаны лишь первые шаги», К. Рехо затем всей своей книгой, шаг за шагом, глава за главой, наполняет конкретным материалом (часто привлекаемым впервые) историческую реальность литературных взаимоотношений. Освоено море источников, начиная с художественных текстов и кончая библиографическими справочниками, изданными в Японии.

Конечно, такая книга не могла быть сделана слету. За плечами ученого много лет кропотливого труда, воплощенного в прежних книгах «М. Горький и японская литература» (1965), «Современный японский роман» (1977) и превосходных статьях, опубликованных в сборниках «Контекст», «Толстой и наше время», «Тургенев в современном мире», «Взаимодействие культур Востока и Запада». Рецензируемая книга — итог, хотя в ней много нового и многое, напечатанное ранее, в нее не вошло.

Книга дает ясный ответ на поставленные в самом ее начале нелегкие вопросы: «Когда, собственно, начинается история освоения русской литературы, признание ее „мирового феномена“ в странах Востока? В какой степени Восток причастен к историческому выходу русской литературы на международную арену в XIX веке?»

Исследование ведется фронтально — по широкому спектру русских имен, японской литературе и культуре за целое столетие.

Не беда, что в 1883 году в японском переводе «Капитанской дочки» Гринев превратился в английского джентльмена Смита, Маша — в Мэри, а спустя три года отрывок из «Войны и мира» появился под цветистым заглавием «Плачущие цветы и скорбящие ивы. Последний прах кровавых битв в Северной Европе». Начиная с этого времени интерес к русской литературе будет почти непрерывно возрастать. Хотя, как свидетельствует история, «в отличие от английской или немецкой литературы, изучение русской литературы в Японии никогда не поощрялось сверху, ее признание рождалось в глубинах народной жизни» (С. 8).

Японский журнал «Кокумин-но томо» («Друг народа») в 1890 году напечатал: «Литература России, страны вечного снега, лютого

ветра, черной мерзлой земли, приобретает теперь широкую известность и, как утренняя заря, проникает во все уголки мира. Этим она во многом обязана Тургеневу и Толстому. Они — стражи врат в мир русского романа» (С. 21).

До сих пор считалось, что первыми японскими переводами из Тургенева стали рассказы «Свидание» и «Три встречи», увидевшие свет в 1888 году. К. Рехо установил, что уже в год смерти русского писателя (1883) появился перевод его знаменитого стихотворения в прозе «Порог». При этом переводчик дополнил заключительную строку. В оригинале: «Святая! — пронеслось откуда-то в ответ». Перевод: «Вдруг с неба раздались громкие звуки. Небо воздает хвалу девушке: — Ты святая, мудрая! Преданная своей родине!».

Таких открытий (и гипотез, когда нет неопровержимых данных) немало в книге о русской классике и японской литературе. Одновременно формулируется теория восприятия именно русской литературы: «историческое соответствие национального своеобразия русского литературного процесса и эстетического идеала русской литературы с духовной потребностью постмэйдзийского японского общества» (С. 33).

В русской литературе находили японцы идеалы внутренне свободной личности. «Читателям Востока, в том числе Японии, было чуждо любопытство Запада, разговоры о загадочной русской душе, склонной якобы к рефлексии; их восхищали прежде всего самоотверженность русского литературного героя, его последовательные и доскональные искания правды жизни» (С. 34—35). Слова «Раскольников думу думает» стали крылатой фразой в Японии конца прошлого века (в романе Достоевского это сцена, когда кухарка Настасья упрекает героя, что он ничего не делает; он отвечает: «Думаю»).

Точно так же некоторое время спустя всю Японию облетела знаменитая «Песня Катюши». Весной 1987 года, оказавшись на толстовском симпозиуме в Японии, я впервые услышала, как поется эта милая, трогательная песня, и теперь сам облик героини Толстого навсёгда связался с цветением сакуры. Подтвердилась символическая картина весны, которой Толстой начинает роман.

Толстой в Японии — тема не новая. Достаточно сослаться на обстоятельный обзор Н. И. Коррада, помещенный в томе 75 «Литературного наследия», и книгу А. И. Шифмана «Лев Толстой и Восток», вышедшую двумя изданиями.

Но К. Рехо находит свои подходы — прежде всего благодаря тому, что пишет не только о восприятии, отзывах, но и о творческом взаимодействии между японскими литераторами (романистами и рассказчиками) и русским писателем. Да и в самом восприятии, например «Воскресения», открываются новые закономерности. Япония восприняла «Воскресение» как роман о Катюше. Тонко чувствующие эмоциональную сторону жизни, японцы верно уловили, что сердце создателя отдано в этом романе Катюше Масловой. Нехлюдов, при всей притяга-

тельной (рационально) силе его раскаяния, его открытий окружающего зла и, наконец, едва ли состоявшегося воскресения, написан холоднее, иногда — с иронией. В пору завершения романа Толстой разлюбил этот тип — кающегося дворянина. В дневнике 1895 года, снова принявшись за «Воскресение» после нескольких лет перерыва, он записал, что «предмет, положительное» — жизнь народа, а «тьма, отрицательное» — господская жизнь и что надо серьезно описывать ее, т. е. Катюшу, а Нехлюдова — с усмешкой. Японцы начала нашего века, конечно, не знали этой дневниковой записи. Но, хочу повторить, почувствовали суть авторского отношения.

Особый разговор в главе о Толстом идет, естественно, про то, какую большую роль играл (и продолжает играть до сих пор) русский писатель в антивоенном японском движении.

Обширная глава о Гоголе — совсем новый шаг в исследовании темы. Этим еще не занимались японцы, а у нас напечатаны всего две статьи, посвященные преимущественно проблемам перевода. Традиционно японцы не могут себе позволить открыто смеяться: надо прикрыть ладонью рот. Поэтому «совсем не случайно... на первых порах японцы тянулись к Гоголю как к лирику, не замечая, что в произведениях писателя лиризм соединяется с юмором и сатирой» (С. 86). Еще в прошлом веке после «Майской ночи» из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» был переведен и пользовался огромным успехом «Тарас Бульба» (1895). «Маленькому» гоголевскому человеку Акакию Акакиевичу японцы придумали свое имя Акаки Акакити, что означает: «Красное дерево Красное счастье». Как писал японский критик, в этом имени — нежная любовь и доброе пожелание благополучия «существу беззащитному, никому не нужному». В современной Японии, как и во всем мире, Гоголь становится все более и более популярным. К. Рехо ссылается, в частности, на статью «Вечный Гоголь» (1976), где Сасаки Киити писал: «Я до сих пор не расстался с мыслью экранизировать „Нос“ Гоголя, перенеся действие в современный Токио» (С. 104—105). И затем автор книги справедливо утверждает: «Конечно, дело не только в том, что с гоголевскими типами можно встретиться и в наши дни, но и в том, что гоголевский прием художественного анализа и воспроизведения жизни — фантазмагория реальности и реальность царящей в ней фантазмагории — очень близок творческим поискам современных японских писателей» (С. 110). На следующей странице книги приводится интервью корреспондента «Литературной газеты» с Абэ Кобо в 1970 году. Услышав упоминание о Кафке, с которым некоторые критики его сравнивали, писатель возразил: «На вашем месте я назвал бы скорее Гоголя».

Две заключительные главы отданы А. П. Чехову и М. Горькому.

«В декабре 1945 года, когда в стране едва начала возрождаться культурная жизнь после разгрома японского милитаризма, в центре

Токио, в полуразрушенном здании театра „Юракудза“ состоялась первая послевоенная премьера. Это был „Вишневый сад“ Чехова» (С. 199). Понистине примечательный исторический факт!

Чехов, конечно, по-особому близок японцам. «Чехов пришел к японцам не как Лев Толстой — гигант и глашатай идей, властитель дум. Он пришел к ним тихо, со своими непретенциозными и негромкими, как сама обыденность, произведениями и остался навсегда самым близким человеком» (С. 214). Лаконизм, особый сюжет, кажущийся бессюжетностью, лиричность, символика, пропуски в тексте, которые должен заполнить сам читатель и зритель — все это родственно сокровенным основам японской эстетики. Рассказы Чехова начали переводиться еще при жизни писателя. И надо согласиться с автором книги, что библиография прижизненных переводов, помещенная в нашем академическом издании, может быть дополнена двумя вещами («Тссс!» и «Бабы»), опубликованными в июльских номерах двух японских журналов за 1904 год.

В 1984 и 1987 годах в переводе Накамото Нобуюки и Макихара Дзюн вышли два тома «Чехов и Книппер. Переписка», где тексты освобождены от нелепых купюр, делавшихся в прежние годы. Академическое издание Чехова, завершенное в 1982 году, дало письма к О. Л. Книппер без каких бы то ни было изъятий, по автографам; но письма самой Ольги Леонардовны в полном их виде придется пока читать по-японски.

Тот же Накамото Нобуюки посвятил в 1983 году специальную статью вопросу о том, какие духи могла купить Анна Сергеевна в ялтинском японском магазине («Дама с собачкой»). В художественном тексте важна точность каждой детали! И в комментариях тоже.

Японцы не без гордости и, очевидно, по праву полагают, что Чехова они понимают лучше европейцев.

Ноябрьская ночь.
Антоня Чехова читаю.
От изумления
немею.

О Максиме Горьком в Японии была сделана в свое время целая книга. Теперь дано главное и новое. Его «воздействие не ограничивалось влиянием на отдельных литераторов, но касалось становления всей литературы Японии» (С. 265). Учены самые современные материалы, например публикация 1984 года в газете «Горьковская правда».

В 1930 году Горький послал в Японию черновую рукопись рассказа «Терремото» — о землетрясении в Италии. Из книги К. Рехо узнаем, что владелец рукописи Исида Кёдзи в дни столетнего юбилея Горького преподнес ее в дар Институту мировой литературы.

Подводя итог, можно сказать, что перед нами замечательная, богатая материалом и мыслями книга.

Думаю, впрочем, о Тургеневе и Достоевском

можно было сделать особые главы. Автор оговаривается, что проблема Достоевского еще нуждается в дополнительных изучениях. Вполне возможно. Но посмотрите указатель имен, так удачно завершающий книгу: как много страниц отведено Тургеневу и Достоевскому. Особенно Тургеневу — первой любви японцев.

В начале нашего века Исикава Такубоку прочитал «Накануне»: «С ума сойду от романа Тургенева». А после «Рудина» родилось трехстишие:

Роман Тургенева!
Его я в поезде читал, долины
Исикари проезжая,
Где падал мокрый снег.

Тургенев особенно важен в общем контексте, потому что его рассказы были первыми, переведенными с русского оригинала (1888, перев. Фтабатэй Симэй).

Книга прекрасна, с большим вкусом оформлена. Открывая обложку, сразуходишь в ее мир, вглядываясь в автограф предсмертных дневниковых записей Толстого и загадочные для непосвященного иероглифы Фтабатэя Симэя.

Но издана книга странным, удивительно малым тиражом — 5000 экземпляров. Попробуйте купить ее! Не сможете. Думаю, что ее переиздание просто необходимо.

А. И. Павловский

КНИГИ О ВАЛЕНТИНЕ РАСПУТИНЕ *

Первый рассказ В. Распутина («Я забыл спросить у Лешки») появился в печати в 1961 году. За прошедшие почти тридцать лет творческой работы писатель сформировался в художника, известного не только широкому всесоюзному читателю, но и всему миру. Это одно из наиболее крупных имен литературной современности. Интерес к его произведениям велик и устойчив. В нашей литературе он олицетворяет живую преемственную связь с русской классикой — прежде всего (по его же словам) с Достоевским, Толстым и Буниным. Великолепная художественная сила сочетается у него с глубиной философского содержания, а также с тем проповедническим началом, неточно называемым публицистичностью, которое делает его творчество насущно-необходимым в нелегкой жизни современников. Он постоянно ставит в своих произведениях наиболее болезненные и животрепещущие проблемы, тотчас приковывая к ним внимание людей. Важно, что эти проблемы при всей своей кажущейся сиюминутности касаются кардинальных сторон бытия.

В. Распутин не обойден критикой, о каждом его произведении существует достаточно обширная литература.

Вышедшие почти одновременно три небольшие книги, принадлежащие Н. С. Тендитник, Светлане Семеновой и Н. Н. Котенко, дают — особенно в своей совокупности — хорошее представление о художнике, так как творчество писателя рассматривается в них достаточно полно,

т. е. с первых опытов до повести «Пожар». Они, кроме того, подводят как бы некий итог тому, что уже было сделано в разрозненных попытках по изучению творчества В. Распутина.

Несмотря на неизбежные сходства и совпадения (поскольку анализируются одни и те же произведения и затрагивается сходный круг тем), книги, к счастью, оказались неодинаковы: каждая со своим отличием, достоинствами и недостатками.

Наиболее общей особенностью, свойственной всем авторам, является, конечно, то, что все они не только современники изученного ими писателя, но и знают его лично, а это, разумеется, немаловажно, так как дает им ценное дополнительное подспорье и для более легкого и прямого выяснения тех или иных биографических деталей, и для понимания внутренней сути его исканий. Авторы всех трех книг хорошо, хотя и в разной степени, знают сибирский литературный регион, а среди этого региона особо выделяют наиболее близко им известный иркутский. Все они пишут — со знанием дела — о ближайшем литературном окружении В. Распутина, когда он только начинал свою писательскую деятельность в роли газетного очеркиста, в частности, указывают на Вампилова, но говорят также и о других, менее громких именах людей, сопутствовавших, а иногда и споспешествовавших становлению писателя.

Все три книги появились, как уже сказано, почти одновременно. Последней по дате выхода стала работа Н. Н. Котенко. Она справедливо и точно обозначена в подзаголовке «очерком творчества».

По сути дела, очерками творчества можно назвать и остальные две книги — такие же небольшие по объему и сходные между собой по линейности композиций, так как следуют исключительно хронологическому, почти чисто

* *Тендитник Н. С.* Валентин Распутин: Очерк жизни и творчества. Изд. Иркутск. ун-та. 1987. 226 с.; *Семенова Светлана.* Валентин Распутин. М.: Сов. Россия. 1987. 175 с.; *Котенко Н. Н.* Валентин Распутин: Очерк творчества. М.: Современник. 1988. 188 с.

биографическому, т. е. в основном описательному принципу.

Но, пожалуй, в наиболее «чистом» виде жанр литературно-биографического очерка присущ книге Н. Н. Котенко. Надо сразу же сказать, что его книга заметно проигрывает по сравнению и с более обстоятельной, насыщенной разнообразным, тщательно изученным материалом работой Н. С. Тендитник, и с глубокой, оригинальной по поворотам мыслей и чисто литературному исполнению книгой Светланы Семенов.

Однако для тех читателей, которым книга Н. Н. Котенко попадется по каким-либо причинам первой, получат достаточно хорошее и верное представление о В. Распутине — об основных вехах его биографии, сюжетных и тематических особенностях его произведений, о месте его в современном литературном процессе и в нашей общественной жизни. Для формирования первоначальных связных представлений о В. Распутине это уже немало. По-видимому, книга Н. Н. Котенко будет полезна для тех многочисленных читателей, которым важно на первых порах составить именно такое представление, для кого ценно получить самые необходимые знания, кому, может быть, еще трудно и рано вникать в многослойную философско-нравственную проблематику, что в особенности характерно для аналитической книги С. Семенов. Надо думать, что для такого читателя необязательна и насыщенная литературоведческой фактографией работа Н. С. Тендитник. Словом, небольшая книжечка, вышедшая в серии «Литературные портреты», которую выпускает издательство «Современник», принесет широкому читателю определенную и несомненную познавательную пользу. Книга вызывает к себе доверие и своеобразный дополнительный интерес еще и потому, что автор, по его словам и различным оброненным замечаниям (вроде тех, что иные из распутинских произведений он читал «еще в рукописи»), знает писателя давно и даже близко. Подкупает и его любовь к Сибири, к «распутинскому» литературному иркутско-красноярскому региону, хорошее знание тамошней писательской жизни, в частности иркутской литературной группы. И, наконец, самое главное, Н. Н. Котенко уверенно ориентируется в творчестве В. Распутина и дает, как правило, сжатые и верные характеристики его произведений. Прочитав эту книгу, читатель получит сведения и об эволюции писателя, т. е. от чего он шел, с чего начинал и к чему пришел в своих недавних рассказах и в «Пожаре».

И все же литературный портрет, выполненный Н. Н. Котенко, нельзя признать вполне удавшимся. Отчасти эта неудовлетворенность происходит от известного разочарования, когда видишь, что ни «близкое» знакомство с писателем, ни знание его рукописей, ни, надо думать, происходившие беседы — ничто не вошло в состав книги, не оживило ее черт, не сделало более выразительными и глубокими суждения автора, так и оставшегося на уровне не то информатора, не то грамотного популяризатора. В книге есть

отдельные места, написанные даже как бы с видимым подъемом и с проникновенностью, но в большей своей части текст очерка достаточно однообразен, в нем немало штампов, расхожих формулировок и тех унылых клише, на которые должен был бы обратить внимание хотя бы редактор книги. Получился бледным и пунктирным литературный контекст. Самые необходимые сведения, которые дал по этому поводу автор, сводятся к нескольким именам, уже и ранее неоднократно упоминавшимся разными авторами в основном в связи с «деревенской прозой». В. Распутин между тем может быть сопоставлен с гораздо большим кругом явлений. Замыкать его в рамках «деревенской прозы» вряд ли закономерно. Это тем более жаль, так как Н. Н. Котенко, судя по некоторым высказываниям, склонен рассматривать творчество В. Распутина в более широкой проекции. Он, например, верно пишет о большом и принципиально важном месте, какое занимает в его творчестве война, дает убедительное объяснение этому, лишь на первый взгляд неожиданному явлению. И все же и в этом случае автор опять-таки сбивается на информативность, а она влечет за собою критические штампы и стереотипы. Возможно, если бы маленькая и по-своему добросовестная книжка Н. Н. Котенко была первой, а не последней в ряду монографических очерков о В. Распутине, ее можно было бы принять не только положительно, но даже и с благодарностью, хотя бы за ту же самую информативность, но на фоне работ Н. С. Тендитник (ей же принадлежит книжка о В. Распутине, вышедшая еще в 1978 году)¹ и Светланы Семеновой она сильно проигрывает именно оттого, что элементарная информативность и описательность заняли в ней слишком много места.

Книга Н. С. Тендитник ценна двумя важными качествами. Исследовательница, серьезно занимающаяся творчеством В. Распутина уже много лет, с большой тщательностью, и, по-видимому, едва ли не исчерпывающе, собрала, классифицировала, осмыслила достаточно большой и пестрый материал, накопившийся о писателе за ту четверть с лишним века, когда он впервые попал в поле внимания журналистов, критиков, литературоведов. Для читателей книги Н. С. Тендитник, надо предполагать, явится известной неожиданностью само обилие разных отзывов, неожиданных мнений, противоположных точек зрения, высказывавшихся о писателе. В наши дни авторитет В. Распутина как художника в общем мнении так высок, а представления о нем и о главном смысле его творчества так устоялись, что разные другие мнения, подчас неожиданные, грубо ошибочные или парадоксальные, высказывавшиеся в свое время по мере появления его вещей, быстро забылись, затерялись — они теперь как бы никому больше не интересны: время произнесло

¹ Тендитник Н. С. Ответственность таланта: (о творчестве Валентина Распутина). Иркутск, 1978.

над ними свой суд, доказав их беспочвенность, а иногда и смехотворность. Но история литературы (как и история духовно-общественной жизни) обязана помнить все — не в отместку, не для того, чтобы задним числом посмеяться, а ради истины, которой пренебрегать нельзя. Заслуга Н. С. Тендитник заключается прежде всего в том, что она подошла к В. Распутину как ученый, добросовестно и с невозможнейшей полнотой учитывающий все компоненты и детали того конкретного литературного процесса, в который в свое время включился В. Распутин, вызвав в нем появление и волнение разных мнений. То, что его не понимали, упрекали жестоко, незаслуженно и нелепо, трактовали односторонне, говорит о том, что далеко не все было на его пути так гладко и триумфально, как могло бы показаться тем, кто знает лишь сегодняшние отзывы. Впрочем, в самом факте ошибочных трактовок или неприятия нет ничего неестественного. Ведь В. Распутин — художник социально-острый, беспощадно диагностирующий едва появляющиеся общественные опасности и заболевания, — уже одна эта черта его таланта ставит писателя в положение человека, почти незащищенного от непонимания и обвинений — по крайней мере в ту пору, когда его суждения еще не были подкреплены (как сегодня) огромным писательским и гражданским авторитетом. Эта черта писательского таланта особенно опасна именно в литературной молодости, когда оппоненты в своих суждениях и нападках подчас и не думают о подыскивании убедительных аргументов. К примеру, С. Шипачев, писатель, как известно, с большим художественным и жизненным опытом, не только не принял в свое время повесть «Прощание с Матерой», но счел самый смысл этого произведения... реакционным, а писателя ретроградом. Он считал, что распутинская Дарья настолько «привержена», как он иронически пишет, к «родному углу», что совершенно неспособна понимать (а вместе с нею и писатель), «что происходит в стране».² Н. С. Тендитник, анализируя эти мнения (С. 119—126), вспоминает и о дискуссии «Деревенская проза» на страницах «Литературной газеты» в 1979 году, которая открывалась 17 сентября статьей А. Проханова «Метафора времени». Автор полагал, что писатели, подобные создателю повести «Прощание с Матерой», отошли от... «актуальной сферы», что они (имелись в виду те, кто условно называли «деревенщиками», — А. П.) не показали «современного характера в эпической битве с природой». Как видим, даже в 1979 году, когда трагические издержки «битвы с природой» были уже, можно сказать, болезненно очевидны, все еще находились люди, призывавшие к ее продолжению и упрекавшие В. Распутину в том, что было в нем наиболее ценным и перспективным. Печально, но факт: при появлении повести «Прощание с Матерой» даже те критики, что оцени-

вали ее высоко, все же высказывали сомнения относительно ее смысла. «А так ли уж права Дарья, — писал Е. Сидоров, — упорно целящаяся корнями за уходящий остров и проповедью своей увлекающая других?»³ В. Оскоцкий, приводит Н. С. Тендитник и его характерный отзыв, упрекал писателя в ненужной трагедийности, в том, что у него ослаблен социально-аналитический элемент, что поэтическое начало взяло у него верх над трезвым подходом.⁴

Разнообразие мнений свидетельствует о том, что художественный мир писателя и его позиция формировались в достаточно сложной обстановке, что отстаивание своих убеждений требовало стойкости и борьбы. В результате и наши собственные представления о В. Распутине, его художественном своеобразии и смысле его творчества становятся богаче и многограннее. Книга Н. С. Тендитник, как уже сказано, серьезная и тщательно выполненная работа. Конечно, и в ней не все сказано в равной мере полно и удачно. Так, достаточно пунктирно намечены связи В. Распутину с русской классикой, почти столь же бегло говорится и о роли в его творчестве фольклора. Оба эти момента настолько важны и даже первостепенны, что хочется настоятельно посоветовать автору разработать названные проблемы специально.

Впрочем, в известной, хотя и в меньшей степени, оба эти пожелания можно отнести и к книге Светланы Семенович. В ее работе есть немало тонких и верных наблюдений, потенциально содержательных и значительных. Она, например, очень верно пишет о способности В. Распутину «к глубинному созерцанию природы, вчувствованию в окружающий мир», которую, как она замечает, «знали в творчестве немногие, и то преимущественно поэты, такие, как Федор Тютчев...» (С. 9). Подметив у В. Распутину действительно столь редкое для современной литературы качество, Светлана Семенова придала ему — и по праву — принципиальное значение. Она не только тесно связала его с классикой, но и с характерными особенностями психики сегодняшнего человека, заново познающего мир в его глубинных, неожиданных и таинственных, непознанных основаниях. Последовательно проводя и подкрепляя свои наблюдения в этой области, исследовательница интересно и совершенно по-своему проанализировала рассказы В. Распутину последних лет, вызвавшие немалое недоумение у критики, склонной даже упрекнуть писателя в мистицизме. Вообще, в отличие от многих других авторов, писавших о В. Распутине, в том числе и от Н. Н. Котенко и Н. С. Тендитник, Светлана Семенова свои усилия сосредоточивает на раскрытии нравственно-философского мира писателя, делая особое ударение на его мировоззренческих поисках. Она, опять-

³ Сидоров Е. Преодолевая забвение // Там же. 1977. 26 янв.

⁴ Оскоцкий В. Не слишком ли долгое это прощание? // Вопросы литературы. 1977. № 3. С. 44.

² Шипачев С. Дорогами в Шипачи // Лит. газ. 1977. 27 июля.

таки в отличие от большинства других критиков и исследователей, не только, так сказать, фиксирует устойчивые и теперь вполне общеизвестные черты и особенности миропонимания, свойственного В. Распутину, но и показывает, что он далеко не всегда был таким, каким мы все привыкли его видеть, что он пришел к своим убеждениям не сразу, что и на него в свое время наложила печать и мода, и определенные веяния времени. Как и Н. С. Тендитник, Светлана Семенова строит свои наблюдения и выводы на большом фактическом материале, в большинстве своем неиспользованном литературоведами. Она захватывает его даже несколько шире, привлекая забытые газетные заметки и в особенности различного рода интервью. Она полагает, что к прямым свидетельствам писателя (кстати, многочисленным, но неучтенным) надо относиться внимательно и вдумчиво, ими нельзя пренебрегать. Читатель найдет в ее книге немало отсылок и цитат, которые и удивят и заинтересуют его и заставят вместе с автором по-новому взглянуть на иные, казалось бы, хорошо знакомые произведения. Она, в частности, обращает внимание своих читателей на ранние книги В. Распутина, которых фактически никто уже не знает, а между тем в этих книгах «многие важные для зрелого Распутина оценочные измерения происходящего», пишет она, «здесь еще отсутствуют» (С. 19). Например, очерк «Подари себе город на память» в книге «Костровые новых городов» (1966) написан, как справедливо замечает Светлана Семенова, «буквально с точки зрения Андрея, внука старухи Анны, ее главного идейного оппонента. Тот же гипноз „великого“, „переднего фронта“, грандиозного покорения природы, как бы анестезирующий нравственное чутье человека. . .» (С. 20). Лозунги «Мы покорим тебя, Ангара!» и «Мы покорим тебя, Енисей!» звучат в тогдашних очерках В. Распутина с расхожей и бездумной бодростью. Затем Светлана Семенова показывает, как не сразу, но все же быстро свершается переворот в воззрениях В. Распутина, как формируются и крепнут, философски обосновываются его убеждения.

Интересны и наблюдения автора этой книги о В. Распутине, когда она анализирует его сборник «Человек с этого света» (Красноярск, 1967). «Собственно как художник, — пишет Светлана Семенова, — Распутин начинается с открытия для себя таежного саянского края, народа, живущего в тесном единстве с природой, сохранившего в чистоте и цельности самые первые и важные человеческие качества. . .» (С. 21). Речь идет о тофаларах. В очерках об этих людях, в особенности о старухах, впервые проявились самые характерные черты Распутина-художника. Здесь у Светланы Семеновой немало интересных наблюдений и сопоставлений.

И все же наиболее ценной чертой книги, вобравшей в себя разнообразный и во многом новый или малоизвестный материал, является осмысление художественно-философского мира писателя, который С. Семенова нередко, и чаще всего удачно, сопоставляет как с русской старой классикой, так и с советской, например с А. Платоновым. Главное для В. Распутина, резюмирует автор в конце книги свои разнообразные наблюдения, прикоснуться или, говоря словами самого писателя, «задуматься о тайне и судьбе народа». Вот почему, делает она и другой справедливый вывод, «в Распутине больше, чем в других ныне работающих писателях, выражена отчетливая *учительная интонация*» (С. 173). И она, опять-таки верно, связывает ее с традициями русской классики и, может быть, в первую очередь с поздним Л. Толстым.

Как видим, все три книги не похожи друг на друга. Работы Н. С. Тендитник и Светланы Семеновой говорят о заметном шаге вперед в изучении творчества В. Распутина. Остается правда, пожалеть, что ни один из авторов не сделал попытки соотнести художественный опыт В. Распутина, его искания с современным мировым литературным процессом, что кажется тем более странным, если учесть подлинно мировую известность этого писателя и наличие работ о нем за рубежом. По-видимому, решение этой задачи еще впереди.

ХРОНИКА

ЧЕТВЕРТЫЕ АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Ленинград

6 июня 1988 года состоялись Четвертые Алексеевские чтения, организованные Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР и Ленинградским государственным университетом.

Открыл конференцию доктор филол. наук Н. Н. Скатов. В своем вступительном слове он отметил, что проводимые чтения имеют не только памятный характер, ибо в нынешних условиях, когда наметилась явная тенденция к понижению культурного уровня, обращение к наследию выдающегося филолога нашего времени, человека энциклопедической образованности имеет глубоко актуальный смысл.

С докладом «Стихотворение А. С. Пушкина „Послание в Сибирь“» выступил доктор филол. наук С. А. Фомичев. Доклад был посвящен проблеме датировки этого стихотворения. Проанализировав всю совокупность событий, связанных с созданием стихотворения, докладчик предложил следующую гипотезу.

1. В мае 1827 года после выхода из печати «Цыган» Пушкин пересылает стихотворение «Мой первый друг, мой друг бесценный...» в Сибирь вместе со своими книгами.

2. Ознакомившись с полученным, А. И. Одоевский импровизирует стихотворение «Струн вещих пламенные звуки...», которое потом хранилось в памяти его союзников и было записано ими значительно позже.

3. Какими-то путями стихотворение Одоевского доходит до Пушкина — может быть, на Кавказе в 1829 году, — не исключено, что также в устной передаче.

4. В 1830-е годы Пушкин в ответ на стихотворение Одоевского пишет свое «Послание в Сибирь».

5. Стихотворение Пушкина доходит до Сибири, уже на Петровский завод. Постепенно в памяти декабристов закрепляется легенда о том, что в 1827 году было получено не «Мой первый друг, мой друг бесценный...», а «Во глубине сибирских руд...», которое, возможно, Пушкиным при пересылке было помечено заведомо неверной датой «1827 год».

6. В 1856 году А. И. Герцен публикует «Во глубине сибирских руд...», годом позже как анонимное стихотворение «Струн вещих пламенные звуки...» в сборнике «Голоса из России» (кн. 4). Вполне очевидная переключка этих текстов закрепляет в многочисленных списках с герценовских изданий и в памяти читателей обратную связь «Послания» и «Ответа».

Доклад канд. филол. наук Н. С. Никитиной «Первый роман Тургенева» был посвящен неосуществленному замыслу романа «Два поколе-

ния», от которого до нас дошли список действующих лиц, конспект и отрывок одной из первых глав. На основании анализа этих материалов, а также отзывов современников о рукописи первой части романа, впоследствии уничтоженной, Н. С. Никитина доказывает, что Тургенев в своем первом романе, опираясь на опыт Пушкина и Гоголя, пытался дать широкое отражение помещичье-крепостного быта, ориентируя свое первое произведение крупной жанровой формы на эпопею. В докладе подчеркивалось, что «Два поколения» были теснейшим образом связаны как с предшествующим, так и с позднейшим творчеством писателя.

В докладе «Восприятие Филдинга в России XVIII века» доктор филол. наук Ю. Д. Левин наметил основные этапы освоения творчества английского писателя в России. Первые переводы романов Филдинга появились в тот момент, когда в русской литературе наметился кризис классицизма, а господствующие жанровые формы этого литературного направления — трагедия и ода постепенно стали оттесняться прозой. Обращение к переводам в этот период обуславливалось тем, что русская литература не могла еще удовлетворить новые запросы. Докладчик отметил, что романы Филдинга не сразу привлекли внимание читающей публики, широкую известность английский романист приобрел в России лишь тогда, когда на русском языке появился «Том Джонс», переведенный сразу двумя переводчиками. Первый перевод был осуществлен Харламовым, который переводил не с языка оригинала, а пользовался сокращенным переводом на французский язык П.-А. Лапласа. Только после выхода в свет полного перевода роман Филдинга действительно приобрел широкое признание читающей публики: уже в 1772 году стали выходить сразу три романа Филдинга «Джозеф Эндрюс», «Джонатан Уайльд» и «Амелия». Отметив, что все переводы осуществлялись через «посредников», докладчик остановился на истории «многоступенчатого» перевода Филдинга на русский язык, вследствие чего английский романист во многом утрачивал свою оригинальность. Свидетельством необычайной популярности Филдинга в России, и в частности его романа «Том Джонс», явилась рецензия на этот роман в одном из петербургских журналов — явление довольно редкое для русской печати XVIII века. Во второй половине 1780-х—1790-х годах в связи с распространением в русской литературе сентименталистских настроений из английских романистов переводились главным образом Ричардсон и Стерн, но и Филдинг, как отметил докладчик,

не был забыт и еще долгое время он служил своего рода мерилom достоинств романа.

В докладе «К истории термина „нигилизм“» доктор филол. наук Р. Ю. Данилевский обратился к теме, привлекающей внимание русской и советской критики и литературоведения. В 1860-х годах слово «нигилизм» было, по выражению М. Е. Салтыкова-Щедрина, «пущено в ход» И. С. Тургеневым и с тех пор получило широкое распространение. В молодости М. П. Алексеев занимался историей этого слова и пришел к выводу, что и в западноевропейское употребление оно было введено Тургеневым благодаря международной популярности романа «Отцы и дети». Опираясь на наблюдения М. П. Алексеева и некоторых позднейших исследователей (А. И. Новиков, Б. Гройс), докладчик показал на ряде примеров, что «нигилизм» как одно из ключевых понятий философии позднего Ницше также восходит к Тургеневу и к русской политической терминологии 1860—1880-х годов. Разумеется, Ницше переосмыслил это понятие в духе своего неоромантического мировосприятия и воинствующего индивидуализма. Однако и ницшевский «нигилизм» в значительной мере сохранил, по мнению Р. Ю. Данилевского, смысл, вложенный в это слово тургеневским Базаровым, а затем и народолюбцами: отрицание старого общества, стремление к его разрушению и переоценке его лицемерной политики и морали. Материал доклада еще раз подтвердил, насколько существенна роль русской культуры в развитии общеевропейской мысли XIX—XX веков.

Второе заседание, проходившее в Ленинградском государственном университете, открыл доктор филол. наук Ю. В. Ковалев.

Доклад доктора филол. наук М. В. Разумовской «Русский Тартюф? («Тартюф». «Господа Головлевы»)» был посвящен выявлению аналогий, сближающих сочинения Мольера и Салтыкова-Щедрина, который сам счел необходимым сопоставить своего Иудушку с героем Мольера. М. В. Разумовская отметила, что для французского классициста и русского сатирика лицемерие являлось общественным бедствием, которое порождается социальными причинами. В докладе говорилось о сферах проявления лицемерия и приемах его анализа в «Тартюфе» и «Господах Головлевых», которые во многом сходны. Определив названные произведения как сатирические, М. В. Разумовская подчеркнула, что у Мольера и Салтыкова-Щедрина понимание сатиры было весьма близким.

Доклад канд. филол. наук А. В. Белобратова «Роберт Музиль и Морис Метерлинк» был посвящен анализу отношения австрийского писателя Р. Музиля к теоретическому наследию М. Метерлинка, произведения которого пользовались в Австрии и Германии конца 1890-х—начала 1900-х годов огромной популярностью.

В докладе «Культурно-историческая эпопея Й. Йенсена» доктор филол. наук И. П. Купринова остановилась на анализе культурно-исторической концепции Йоханнеса В. Йенсена, датского поэта и прозаика, еще при жизни при-

численного к классикам национальной литературы. Художественные достоинства его творчества высоко оцениваются читателями и критикой, однако идейные позиции писателя вызывают весьма противоречивые суждения. Объектом дискуссий является культурно-историческая концепция, положенная в основу эпопеи Йенсена «Долгий путь». Эта концепция неоднократно навлекла на автора упреки в проповеди расизма и ницшеанства. Однако непредвзятый анализ эпопеи убеждает в том, что концепция Йенсена при всей ее научной спорности базируется на сложном сочетании философских и эстетических принципов европейского натурализма конца XIX века с элементами скандинавской романтической традиции. Это подтверждается многочисленными высказываниями самого писателя, свидетельствующими о его резком неприятии ницшеанской расовой теории.

Канд. филол. наук Ю. К. Руденко начал свой доклад «Н. Г. Чернышевский-романист в свете литературных традиций» с напоминания о выдающейся и во многом основополагающей роли акад. М. П. Алексеева в исследовании взаимосвязей Чернышевского-художника с традициями мировой литературы. Отметив, что со времени появления известных работ ученого о Чернышевском и Э. Золя, Чернышевском и У. Годвине советское литературоведение успешно разработало несколько новых аспектов проблемы, докладчик подчеркнул, что далеко не все даже из наиболее принципиальных аспектов художественного своеобразия Чернышевского-романиста вскрыты или хотя бы намечены в литературе о писателе, что не способствует исторически объективному восприятию его беллетристики и определению ее действительного места в литературном процессе XIX века. Далее Ю. К. Руденко остановился на проблеме использования Чернышевским в романе «Что делать?» и преобразования им для своих идейных целей одной из магистральных традиций английской романистики XVIII—XIX веков — жанровой формы «романа с отступлениями». Оригинально контактируя в архитектонической структуре «Что делать?» такие разнородные композиционные конструкции, как «обрамленное повествование» и «роман с отступлениями», раслаивая «рамочный» образно-тематический и проблемный состав произведения, русский романист путем тонко разработанных мотивных, стилистических, оценочных и композиционно-структурных отсылок последовательно воспроизводит жанровые значения сначала «Ярмарки тщеславия» У. Теккерея, затем — «Тристрама Шенди» Л. Стерна, наконец, и главным образом, — «Тома Джонса Найденыша» Г. Филдинга, первооткрывателя жанра «романа с отступлениями». Тем самым, возвращаясь к начальным истокам европейской литературы Просвещения, Чернышевский-романист, с одной стороны, завершает традицию в ее более чем столетнем развитии, а с другой стороны — возобновляет ее на новой мировоззренческой и методологической основе с опорой на высшие достижения зрелого художественного реализма XIX века. Насильственное прекраще-

ние публичной литературной деятельности писателя после первого романа явилось тем негативным фактором, который помешал критике увидеть и по достоинству оценить меру и значение

столь художественно смелого и новаторского произведения, каким стал в русской и мировой литературе роман «Что делать?».

М. Ю. Коренева

ВТОРАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ «ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВО»

6—7 апреля в Ленинграде, в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР состоялась вторая научная конференция, организованная Советом молодых ученых и специалистов ИРЛИ, под общей темой «Литература и общество». Круг ее участников, по сравнению с первой конференцией такого рода,¹ значительно расширился. К уже традиционным участникам конференции — представителям ИРЛИ, ЛГУ, Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена и Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР — присоединились посланцы других научных учреждений и организаций Ленинграда (Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинградского отделения Института истории АН СССР, Музея Ф. М. Достоевского), а также докладчики из МГУ, Чечено-Ингушского университета, Вильнюсского университета, Шадринского педагогического института, Пермской картинной галереи, Киевского Софийского музея. Большое количество участников сделало необходимым организовать работу конференции по секциям. И после вступительного слова, которое произнес заместитель директора Института русской литературы доктор филол. наук О. В. Творогов, отметивший методическое значение выступлений молодых ученых и пожелавший успеха участникам открывающейся конференции, начались секционные заседания.

6 апреля работали секции фольклора (утреннее заседание) и древнерусской литературы (утреннее и вечернее заседания). Заседание секции фольклора открыл доклад аспирантки ЛГУ С. Б. Рюхиной «Пространство и время в волшебной сказке», затронувший важные теоретические проблемы.

Аспирантка ИРЛИ О. В. Васильева в докладе «Рукописная сказка как явление культуры примитива» рассмотрела ряд произведений демократической сатиры как нетрадиционные сказки, распространяемые рукописным спосо-

бом. Определенная социокультурная среда бытования, частичная утрата традиционного мотивирующего контекста, а также проникновение грамотности в демократическую среду явились, по мнению докладчицы, теми факторами, которые определили особенности нетрадиционной сказки и ее место в художественной системе примитива.

Изучая образ женщины-богатырши в русском эпосе, аспирантка ИРЛИ Е. Л. Демиденко (доклад «Женщина-богатырша в русском эпосе. (Баба-Златогорка)») считает возможным выделить определенные типы героинь. Особое внимание докладчица обратила на бабу-Златогорку (сюжеты «Илья Муромец и Сокольник», «Женитьба Ильи Муромца»), показывая, что значение Златогорки в сюжете гораздо более глубокое, чем это кажется на первый взгляд, и что в этом образе прослеживаются черты, близкие ряду других архаических женских образов.

Аспирантка ИРЛИ М. В. Рейли в докладе «Образ рассказчика в мифологических рассказах (быличках)» поставила вопрос о необходимости при филологическом и этнопсихологическом анализе текстов быличек обращать внимание на две стороны образа рассказчика: во-первых, рассказчик в его реально-бытовом конкретном существовании, во-вторых, художественное воплощение личности рассказчика в самом повествовании. В докладе была представлена ориентировочная систематизация различных уровней трансформации личности рассказчика в быличке.

Указывая, что религиозная легенда стоит как бы на перепутье между мифологическими представлениями, фантастической волшебной сказки и христианской канонической культурой, аспирантка ИРЛИ С. В. Селиванова в докладе «К проблеме жанровой природы религиозной легенды» остановилась на отношении легенды к сказке, мифу, христианской культуре. Докладчица пришла к выводу, что, находясь в кругу разножанровых и разнохарактерных явлений, легенда является жанром, соединяющим в себе разные принципы, свойства, особенности, впитывающим влияния разнообразных жанров и мировоззренческих систем.

Последним на заседании секции фольклора прозвучал доклад гостьи из Чечено-Ингушского государственного университета Е. М. Белецкой

¹ Первая конференция молодых специалистов «Литература и общество» проходила 26—27 марта 1986 года. Отчет о ней см.: Русская литература. 1986. № 4. С. 226—229.

«Песни гребенских казаков в рукописном сборнике конца XIX века». Рукописный сборник, охарактеризованный докладчицей, ценен не только тем, что содержит некоторые редкие тексты, ушедшие из живого бытования, но и тем, что знакомит с репертуаром и исполнительскими вкусами гребенских казаков конца XIX века.

Первые два доклада на утреннем заседании секции древнерусской литературы были посвящены текстологическим проблемам. В докладе аспиранта ИРЛИ Е. Г. Володазкина «К истории древнерусского перевода Хроники Амартола» были представлены результаты исследования двух списков Хроники: 1) ГПБ, Кирилло-Белозерское собр., № 7/1084 и 2) Гос. Эрмитаж, Отдел редкой книги, № 265577 (РК. 9.2.1). Докладчик выявил связь этих списков с Троицким списком Хроники, представляющим ее первую редакцию.

Аспирант ИРЛИ В. Ф. Хрипов, исследуя Хронику Иоанна Малалы в составе Тихонравовского хронографа (доклад «„Хроника Иоанна Малалы“ в составе Тихонравовского хронографа») и сравнивая этот текст с фрагментами «Хроники», содержащимися в Еллинском летописце, Архивском, Виленском, Софийском и Тихонравовском хронографах, объяснил ошибки и пропуски в рассматриваемом тексте, синонимические замены слов, а также отметил, что, несмотря на текстуральные дефекты и сильное сокращение при передаче источника, автору Тихонравовского хронографа удалось сохранить целостность отрывков из Хроники Малалы, и обратил внимание на повышенный интерес к античной истории и мифологии, нашедшей отражение в Тихонравовском хронографе.

Два доклада были посвящены связям житийных икон с текстом жития святого и сопровождалась демонстрацией слайдов и фотографий. Сотрудница Пермской картинной галереи Р. А. Седова («Иконография житийных икон митрополита Петра в отношении к тексту Жития») исследовала три известные сейчас житийные иконы Петра митрополита. Она не только установила письменные источники икон, но и, связав создание иконы школы Дионисия с идеями происхождения власти законных наследников московского великокняжеского престола — потомков Ивана Калиты, уточнила датировку этой иконы 1505—1508 годами.

Аспирантка ИРЛИ Т. Н. Украинская («Какой редакцией жития Димитрия Прилуцкого пользовался иконописец Дионисий?»), изучила 118 известных к настоящему времени списков жития Димитрия Прилуцкого и выделила пять редакций этого текста. Докладчица убедительно доказала, что знаменитая «чудотворная» икона Димитрия письма Дионисия создана на основе Минейной редакции, что дало исследовательнице возможность подтвердить более раннюю датировку этой редакции.

На утреннем заседании были также заслушаны доклады сотрудника Киевского Софийского музея В. И. Стависского «Политические симпатии Бояна и некоторые особенности поэтического стиля Древней Руси» и сотрудника ГПБ

В. А. Колобкова «Последнее письмо Ивана Грозного и свидетельство очевидца о его смерти».

Вечернее заседание секции древнерусской литературы было посвящено в основном проблемам литературы XVII века. Заседание открыла аспирантка ИРЛИ И. Ю. Серова докладом о литературе Смутного времени «К вопросу о соотношении „Рукописи Филарета“ и „Летописной книги“». Докладчица сопоставила «Рукопись Филарета» с тремя редакциями «Летописной книги», Краткой, Особой и Пространной, и наглядно продемонстрировала, что источником «Рукописи Филарета» явилась Особая редакция. Большое место в докладе занимала критика применения машинных методов при определении первичности или вторичности средневекового текста.

Аспирантка ИРЛИ Т. Р. Руди в докладе «„Повесть об Ульянии Осорьинной“ в составе муромских сборников» обратила внимание на сборники устойчивого состава, объединяющие пять литературных произведений XVI—XVII веков, созданных в Муроме или тематически с ним связанных. Описание и анализ состава этих сборников позволили докладчице сделать ряд наблюдений над бытованием «Повести об Ульянии Осорьинной», показать, что примерно к середине XVII века в Муроме сложилась местная литературная традиция, а также предположить существование книгописной мастерской в Муроме или его окрестностях в 70—80-е годы XVIII века.

В центре доклада аспирантки ИРЛИ С. А. Якуниной «Отношение „Повести о Тверском Отроче монастыре“ к фольклорным источникам» — мотивы «мудрой» и «вещей девы» и их реализация в ряде фольклорных и литературных текстов. Трагюта образ героини «Повести о Тверском Отроче монастыре» как образ «вещей девы», докладчица показала его изменение от одной редакции «Повести» к другой и соотношение его с некоторыми персонажами литературы и фольклора.

Аспирантка ЛГУ И. В. Сесекина в докладе «Протопоп Аввакум и Иоанн Златоуст (к проблеме литературных идеалов)» рассмотрела характер обращения протопопа Аввакума к жизни и творчеству Иоанна Златоуста, сходство и различие экзегетических сочинений этих авторов.

В докладе сотрудницы Пермской картинной галереи Г. П. Волгиревой «Эсхатологическая тема в народных редакциях лицевых Апокалипсисов XVII—XIX веков (на материале Уральского региона)» были рассмотрены основные направления эволюции миниатюр лицевых Апокалипсисов, бытовавших в старообрядческой среде.

Завершила вечернее заседание секции древнерусской литературы студентка V курса ЛГУ М. А. Федотова докладом «Автографы Димитрия Ростовского, хранящиеся в рукописных отделах Ленинграда, Киева, Ярославля и Ростова».

Работа секции новой русской литературы проходила 7 апреля. Утреннее заседание было

посвящено проблемам литературы XVIII и первой половины XIX века. В докладе сотрудницы ЛОИЯ АН СССР И. Ю. Елисеевой анализировалась семантика литературных терминов XVIII века, обозначающих прозаические жанры. Становление романа и повести оказало влияние на формирование значений уже освоенных языком жанровых наименований (слова «повесть», «история», «сказка», «письмо», «путешествие», «беседа», «записки» и др.). В это же время определяется семантика иноязычных литературных терминов («роман», «анекдот»). Смысл литературного термина находился в непосредственной зависимости от самого текста и оказывался различным в учебной литературе, филологических исследованиях, заглавиях произведений.

Доклад аспиранта ИРЛИ К. Ю. Лаппо-Данилевского «Неизвестные стихи А. М. Бакунина» был посвящен оригинальной и фактически ранее не исследованной лирике поэта-сентименталиста А. М. Бакунина (1768—1854). Поэзия Бакунина отмечена автобиографизмом и стремлением решать общие для литературы русского сентиментализма задачи. Для нее свойствен интерес к внутреннему миру человека, культ любви как высшего человеческого чувства. Темы умеренности, умения наслаждаться необходимым сближают поэзию Бакунина с горацианскими стихотворениями Капниста.

Аспирант ЛГУ А. В. Ильичев в докладе «„Зачем крутится ветер в овраге“: источники, поэтика, концепция поэзии и поэта» остановился на анализе так называемого второго отступления о свободе поэтического творчества в неоконченной поэме Пушкина «Езерский». Исследователь доказал, что этот отрывок представляет собой законченное художественное целое, стихотворение о поэте и поэзии, соотносимое со стихотворениями «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Эхо», «К Гнедичу». Источниками стихотворения являются библейская книга Иова и трагедия В. Шекспира «Отелло».

В докладе сотрудника ЛОИИ АН СССР В. В. Лапина «Гусары и „гусарство“ в жизни и литературе» исследован процесс создания художественного типа «гусара» в литературе XIX века и воздействие образа литературного героя на бытовое поведение современников. Свободомыслие гусар, эпатаж ими общепринятых условностей вызывали общественные симпатии. Дворянская молодежь видела в «гусарстве» возможность вырваться из-под жесткого контроля общества и государства. Развитие гусарской поэзии, появление образа «лихого кавалериста» в прозе 20—40-х годов способствовало закреплению в общественном сознании стереотипного представления о «гусаре». С другой стороны, литературные образы оказывали огромное влияние на современников. Происходило взаимовлияние жизненного типа и литературного образа.

Аспирант ИРЛИ А. В. Чернов в докладе «Легенда о Вельтмане (парадоксы восприятия)» вскрыл причины несправедливого забвения творческого наследия А. Ф. Вельтмана. В значи-

тельной мере двойственное отношение историков литературы к писателю и его произведениям базируется на противоречивости оценок современников. В частности, большое влияние на формирование посмертной литературной репутации Вельтмана оказали суждения М. П. Погодина, высказанные в статье-некрологе Вельтмана. «Забитость» Вельтмана может быть преодолена лишь при условии пересмотра «легенды» о писателе-чудаке и литераторе-дилетанте, созданной Погодиным.

Доклад аспиранта ЛГУ В. А. Мартынова «Словесность и торговля (любомудры о связях литературы и общества)» был посвящен выяснению общественно-литературной программы любомудров и их полемике с Пушкиным по проблеме «литература и общество». Пушкинский вариант решения — уход от абстрактных определений, уход от логики терминов к логике жизни. Не «литература и общество», а «литература — личность — общество». Для любомудров противостояние литературы и общества ничем не опосредовано. Литература — явление высшего, духовного плана, а общество — нечто низшее и духовно мертвое. Такие представления наиболее полно развернуты в статье С. П. Шевырева «Словесность и торговля» (1835).

Сообщение Т. Ю. Обориной (г. Куйбышев) было основано на стилистическом анализе пародий на «Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева в журнале «Стрекоза».

Вечернее заседание секции было посвящено проблемам литературы второй половины XIX и начала XX века. Сотрудник музея Ф. М. Достоевского А. Л. Боген в докладе «„Белые ночи“ Ф. М. Достоевского и „Невский проспект“ Н. В. Гоголя (к вопросу об эволюции поэтических систем)» остановился на сходном сюжетном построении и на первый взгляд родственной образной системе обоих произведений. Однако оба писателя близки лишь в постановке вопроса о соотношении мечты и действительности, но совершенно различны в его решении. У Гоголя герой переживает крушение своих иллюзий и гибнет, потому что «низкая действительность» не оставляет места «высокой» мечте. У Достоевского конфликт перенесен в сознание героя. Для Достоевского одной из определяющих станет проблема «отчуждения героя».

В докладе сотрудницы ИРЛИ Е. Г. Васильевой «Сюжет о двух влюбленных (на материале романов «Сельский священник» О. Бальзака и «Нечотка Незванова» Ф. М. Достоевского)» рассмотрено особое значение сюжета о любви двух людей, принадлежащих к разным общественным слоям, и писателей, испытавших на себе влияние идей утопического социализма. Автор доклада рассмотрела особое преломление в обоих произведениях одного литературного источника — романа «Новая Элоиза» Руссо.

Аспирантка ИРЛИ О. Р. Демидова в докладе «Раннее восприятие творчества Шарлотты Бронте в России (1849—1855)» рассмотрела журнальные отклики на романы писательницы. Она отметила определенную односторонность раннего восприятия творчества Бронте в Рос-

сии — преобладание интереса к биографии писательницы, невнимание к социальной стороне ее творчества — и в то же время высокую оценку литературных достоинств ее романов.

Доклад Н. Э. Шалагиной (Чебоксарский пед. институт) «Дворянское общество в прозе А. Н. Апухтина» посвящен анализу проблематики повестей «Архив графини Д.» (1890), «Дневник Павлика Дольского» (1891) и рассказа «Между смертью и жизнью» (1892), которые автор доклада рассматривала как единый цикл. В первом произведении Апухтин художественно исследует, что есть дворянское общество, во втором — что есть средний современный дворянин, в третьем — каково историческое будущее дворянства. Большинство критиков недооценили этот цикл, только Скабичевский отметил новизну трактовок в прозе Апухтина многих традиционных тем его лирики.

В докладе Н. А. Николаевой (ЛГУ) «„Палата № 6“ А. П. Чехова и философия стоиков» была предпринята попытка проанализировать повесть Чехова в соотносении с постулатами стоической философии. Вывод докладчика: собственно чеховская философия жизни, выраженная и в элементах структуры повести (тема, характеристика героев, развитие сюжета, композиция), и в ее общей концепции, генетически восходит к стоикам. Был также затронут вопрос о сходстве и отличии между Чеховым и Толстым в их восприятии философии стоиков.

Канд. филол. наук А. М. Грачева в докладе «Из истории литературной критики начала XX века» проанализировала взгляды одного из видных представителей критики начала XX века Е. А. Колтоновской. Ее литературно-эстетические взгляды по своим методологическим основаниям представляли эклектическое сочетание принципов культурно-исторической и психологической школ академического литературоведения, а по общественной направленности критика Колтоновской носила либерально-демократический характер. В 1910-е годы она один из ведущих рецензентов в журналах «Русская мысль», «Вестник Европы», газете «Речь». В центре ее внимания — выявление особенностей нового этапа развития реализма начала века. Заслуга критика — опровержение тезиса о «смерти реализма» в литературе того времени.

Доклад сотрудницы ИРЛИ А. В. Островской «Поэтическая система цикла А. Блока „Ямбы“ в контексте литературной традиции» посвящен анализу поэтики этого цикла. Основанием для определения лирического героя «Ямбов» как поэта-пророка или поэта-теурга служит поэтическая система цикла. Блок сознательно использует в цикле элементы заклинаний. В прологе цикла декларируется тройственная цель жизни поэта, которую также можно определить как теургическую. С ролью поэта-теурга связан и ряд политических мотивов цикла (мотив взаимодействия поэта с подземными силами, мотив «слушания земли»), и растительно-злаковая символика, восходящая к мифологии. Если на материале самого цикла не всегда ясна связь его элементов с основной темой, то в свете

литературных традиций выясняется целостность его поэтической системы.

7 апреля состоялись два заседания секции советской литературы. Утреннее заседание открыл доклад сотрудника ИРЛИ В. Н. Запевалова «„Донские рассказы“ М. А. Шолохова. Проблема генезиса». Книга рассказов Шолохова, отметил докладчик, сложилась как итог нескольких творческих порывов писателя. Если первые рассказы были посвящены гражданской войне, то позднее акцент художественного исследования заметно смещается в сторону изучения советской нови на Дону. Рассказы могут быть прокомментированы публицистическим материалом газет и журналов 20-х годов, связаны с дискуссиями тех лет. Они имеют также под собой и автобиографическую основу. Лично-биографическое и региональное, преломляясь, входит в художественный мир Шолохова, становится элементом его философско-художественной концепции.

Е. В. Егорычева (ЛГПИ) в докладе «Мотив детства в „Донских рассказах“ М. А. Шолохова» отметила, что исследование этого мотива может стать одним из способов вхождения в художественный мир М. А. Шолохова. Этот мотив крайне важен для понимания идейного замысла и приемов художественного решения отдельных произведений писателя. В зоне пристального внимания Шолохова детство предстает как наиболее полное воплощение изначального в человеке и человечестве, момент наибольшего заострения нравственных конфликтов времени.

Доклад сотрудницы ИРЛИ Е. И. Колесниковой «Неопубликованная трагедия В. Брюсова „Диктатор“» был посвящен анализу этой пьесы, несущей в себе генетические признаки социально-утопической драматургии начала века. Избранная Брюсовым форма давала ему простор для раздумий о путях развития человеческой цивилизации, о социальном прогрессе и судьбе личности. Для писателя научно-техническое, социально-политическое развитие общества вовсе не означает столь же непреложного нравственного прогресса. Если законы человеческой совести и чести оказываются вне сознания людей, возникает угроза духовного варварства — в этом основа трагедийности драмы «Диктатор».

Сотрудник ИРЛИ В. А. Прокофьев в докладе «Ленин в творчестве А. Твардовского» отмечал, что обращение Твардовского к Ленину на всем протяжении развития этой темы никогда не несло в себе даже намек на декларативность, юбилейную заданность. Главный признак ленинской темы Твардовского — народное восприятие великого человека. Подчеркивая демократизм и человечность Ленина, Твардовский как бы предчувствует особую опасность в бездумном возвеличивании Ленина. В этом он видит одно из условий возникновения эпохи «культы личности»: «... грубо сдвоив имена, Мы как одно их возглашали...» Особый интерес представляет тема Ленина в стихах поэта, посвященных Сталину. В этой связи уместно вспомнить слова Твардовского на XXII съезде партии: «Были и

трудности преодоления привычных представлений, инертной психологии. Но вряд ли можно в таких случаях считать образцом душевной организации полную, так сказать, неуязвимость, состояние легкости и бездумья, когда человеку все как с гуся вода».²

Преподаватель Шадринского пед. института Т. И. Подкорытова в докладе «Социально-исторические корни „деревенской прозы“» остановилась на анализе конкретно-исторических основ крестьянской психологии, отраженной в произведениях писателей-«деревенщиков» В. Белова, В. Распутина.

На вечернем заседании секции преподавателей Вильнюсского университета Н. И. Дайлиденене выступила с докладом «Народнопоэтическая традиция в творчестве В. Распутина (повесть «Пожар»)». Она проанализировала фольклоризм В. Распутина, выявила мотивы и символы повести, восходящие к народнопоэтической традиции, и пришла к выводу, что в применении к творчеству Распутина можно говорить о типе «закрытого» фольклоризма, когда фольклорный материал лежит не на поверхности художественного текста, но внутри него.

В докладе сотрудника ИРЛИ А. Л. Ершова «Конфликт реального и идеального. К истокам народной нравственности (роман С. Залыгина «Южноамериканский вариант»)» исследована проблематика и поэтика романа Залыгина. Отличие произведения Залыгина от других романов, посвященных сходной теме, — отсутствие прямолинейной заданности в разрешении острых конфликтов современной жизни. Для писателя сохранение и приумножение основ народной нравственности — единственный путь к гармоническому существованию личности.

С. И. Бушуева (МГУ) в докладе «Древнерусские мотивы и сюжеты в структуре художественного мира Ф. А. Абрамова» остановилась на различных сторонах восприятия Абрамовым древнерусской культуры (воздействие на писателя личности и творчества протопопы Аввакума, житийной литературы).

Сотрудник ИРЛИ А. М. Любомудров в докладе «Историко-философские взгляды средневековья в романах Д. Балашова» рассмотрел

художественную интерпретацию средневековых философских систем, в частности исихазма, в романах Д. Балашова о Руси XIV века. В ряде случаев Балашов, недостаточно глубоко разобравшись в историко-философских взглядах того времени, порой принижает нравственную высоту некоторых исторических деятелей, чья праведность подтверждается и источниками, и народным преданием. Художнику удалось передать глубину, сложность и напряженность духовных исканий времени. Однако суть тех взглядов на мир и человека, которые господствовали в древнерусском обществе, не всегда раскрывается точно и исторично.

В докладе сотрудника ГПБ Д. Н. Шубина «Рок-поэзия 70—80-х годов: функционирование в обществе, тематика, тенденции» были рассмотрены причины зарождения рок-поэзии в середине 1960-х годов, ее источники, проанализировано ее развитие по трем основным направлениям — гражданская поэзия, любовная лирика, буффонада — и сделана попытка дать характеристику ее современного этапа.

Каждое заседание завершалось обсуждением докладов. В обсуждении участвовали руководители отделов и многие сотрудники Института русской литературы: О. В. Творогов, Л. А. Дмитриев, В. В. Тимофеева, Н. А. Грознова, В. А. Туниманов, Г. Н. Моисеева, В. В. Бузник, А. А. Горелов, Ю. В. Стенник, В. Э. Вацура, Н. Д. Кочеткова, Т. М. Вахитова, В. И. Еремина и др. Прения показали внимательное отношение к молодым ученым со стороны старшего поколения. Была отмечена новизна тематики большинства докладов, актуальность проблематики, их высокий научный уровень. По сравнению с предыдущей конференцией молодых ученых в ИРЛИ было отмечено усиление внимания молодежи к литературе второй половины XIX века. На заседаниях были прочитаны доклады, посвященные Ф. М. Достоевскому, И. С. Тургеневу, А. П. Чехову. В то же время недостатком конференции 1988 года явилось проведение параллельных секционных заседаний, что препятствовало возможности послушать все интересные доклады. Итог конференции — публикация тезисов ее материалов.

² Лит. газ. 1961. 28 окт. С. 2.

*А. М. Грачева,
С. А. Якунина-Семячко*

Н О В Ы Е К Н И Г И

- Абельтин Э. А.** Песня — свобода моя. . . Очерк жизни и творчества **И. В. Федорова-Омулевского**. Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1987. 93 [1] с.
- Аникин В. П.** К мудрости ступенька. О рус. песнях, сказках, пословицах, загадках, народном языке. Очерки. [Для среднего и ст. возраста]. М.: Детская лит-ра, 1988. 174 [2] с.
- Антюхин Г. В.** Литературное былое. Кн. очерков о лит. прошлом и памятных местах Воронежского края. Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1987. 285 [2] с.
- Артеменко Е. Б.** Принципы народно-песенного текстообразования. Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1988. 173 [1] с.
- Бабаяев Э. Г.** Творчество **А. С. Пушкина**. М.: Изд-во МГУ, 1988. 204 [2] с.
- Басина М. Я.** В садах Лицея; На брегах Невы: Докум. повести. [Об. **А. С. Пушкина**. Для сред. и ст. шк. возраста]. Л.: Детская лит-ра, 1988. 357 [1] с.
- Бахтин В. С.** От былины до считалки. Рассказы о фольклоре. [Для сред. и ст. шк. возраста]. Л.: Детская лит-ра, 1988. 191 с.
- Блажес В. В.** Сатира и юмор в дореволюционном фольклоре рабочих Урала. Свердловск: Изд-во Уральск. ун-та, 1987. 200 [2] с.
- Болдинские чтения (1986; с. Большое Болдино Горьковской обл.).** [Материалы, 1986]. Горький: Волго-Вятское книжн. изд-во, 1987. 269 [3] с.
- Буслаев Ф. И.** Русский богатырский эпос; Русский народный эпос. [Подгот. текста, заключит. статья Э. Л. Афанасьева]. Воронеж: Центрально-Черноземное книжн. изд-во, 1987. 253 [2] с.
- Бэлза И. Ф.** Пушкин и Мицкевич в истории музыкальной культуры. М.: Музыка, 1988. 254 [1] с.
- Васильев В. К.** Русская сказка Сибири. Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1987. 94 [1] с.
- Влияние В. Г. Белинского на развитие русской реалистической литературы.** Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: И. П. Шеблыкин (отв. ред.) и др.]. Рязань; Пенза: РГПИ, 1987. 160 [2] с.
- Гоголь и мировая литература.** [Сб. ст. Отв. ред. Ю. В. Манн]. М.: Наука, 1988. 318 [2] с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Дружинин А. В.** Прекрасное и вечное. [Сб. ст. Сост., вступ. ст. Н. Н. Скатова, коммент. В. А. Котельникова]. М.: Современник, 1988. 541 [2] с.
- Ермоленко Г. В.** Анонимные произведения и их авторы. На материале русских текстов второй половины XIX—начала XX в. [Науч. ред. Р. Г. Пиотровский]. Минск, 1988. 116 [2] с.
- Жакова Н. К.** Чешско-русские литературные связи в XIX веке. М. Ю. Лермонтов и чешская лит-ра. Учеб. пособие. Л.: ЛГУ, 1987. 84 с.
- Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками. Переписка. Воспоминания. Дневники: В 2 т.** [Сост., вступ. очерки и примеч. В. В. Куннина]. М.: Правда, 1988. Т. 1 — 733 [1] с.; Т. 2 — 702 [1] с.
- Жуковский и русская культура.** Сб. науч. тр. [Редколлегия: Р. В. Иезуитова (отв. ред.) и др. Л.: Наука, 1987. 502 [2] с. (Ин-т русской лит-ры).
- Западов А. В.** Подвиг Антиоха Кантемира. Ист. роман. М.: Сов. писатель, 1988. 301 [3] с.
- Зленко Г. Д.** Берег Пушкина. Худож.-докум. очерки [о южной ссылке]. Одесса: Маяк, 1987. 237 [1] с.
- Изучение языка произведений Л. Н. Толстого.** Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: А. Н. Карпов (отв. ред.) и др.]. Тула: ТГПИ, 1987. 159 [1] с.
- Илюшин А. А.** Русское стихосложение. М.: Высшая школа, 1988. 165 [2] с.
- Искра Л. М. Д. И.** Писарев и его роль в истории русской общественно-политической мысли. Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1988. 150 [2] с.
- Кавказ и Россия в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова.** Материалы Всесоюзной лермонтовской конференции, состоявшейся 27—29 сент. 1984 г. в Грозном. [Сост. К. Б. Гайтукаев]. Грозный: Чечено-Ингушское книжн. изд-во, 1987. 135 с.
- Коган А. Г.** Уроки памяти. Лит.-критич. очерки. М.: Худож. лит-ра, 1988. 478 [1] с.
- Красухин Г. Г.** Покой и воля. Некоторые проблемы пушкинского творчества. М.: Современник, 1987. 267 [2] с.
- Кулешов В. И.** Жизнь и творчество **А. С. Пушкина**. М.: Худож. лит-ра, 1987. 415 с.
- Кусков В. В., Прокофьев Н. И.** История древнерусской литературы. [Учеб. пособие для пед. ин-тов. . .]. Л.: Просвещение, 1987. 286 [1] с.
- Летенков Э. В.** «Литературная промышленность» России конца XIX—начала XX века. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. 173 [2] с.
- Литература Древней Руси. Источниковедение.** Сб. науч. тр. Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука, 1988. 311 [1] с. (Ин-т русской лит-ры).
- Лобанов М. П.** Страницы памятного. Лит.-критич. статьи. М.: Современник, 1988. 331 [2] с.
- Лунин М. С.** Письма из Сибири. [Изд. подгот. И. А. Желвакова, Н. Я. Эйдельман]. М.: Наука, 1988. 492 [3] с. (Лит. памятники).
- Некрасов Н. А.** Стихотворения. 1856. [Изд. подгот. И. И. Подольская]. М.: Наука, 1988. 525 [1] с. (Лит. памятники).
- Овчинников Р. В.** За пушкинской строкой. Челябинск: Южно-Уральское книжн. изд-во, 1988. 206 [2] с.

- Островская Н. К.** Я жил тогда в Одессе. Путеводитель по Музею-квартире А. С. Пушкина. Одесса: Маяк, 1987. 62 [1] с.
- Очерки русской культуры XVIII века** [В 4 т. Гл. ред. Б. А. Рыбаков. Ч. 2. Подгот. Л. А. Александрова и др.]. М.: Изд-во МГУ, 1987. 406 [2] с.
- Памятники литературы Древней Руси, конец XVI—нач. XVII в.** [Сборник. Сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева, вступ. ст. Д. С. Лихачева]. М.: Худож. лит-ра, 1987. 616 с.
- Петербургские встречи Пушкина.** [Сборник. Сост. Л. Е. Кошечкина]. Л.: Лениздат, 1987. 477 [1] с.
- Плетнев П. А.** Статьи. Стихотворения. Письма. [Сост., вступ. ст. и примеч. А. А. Шелаевой]. М.: Сов. Россия, 1988. 381 [1] с. (Б-ка рус. критики).
- Поэтика жанров русской и советской литературы.** Межвуз. сб. науч. трудов. [Редколлегия: С. Ю. Баранов (отв. ред.) и др.]. Вологда: ВГПИ, 1988. 134 [2] с.
- Прозоров В. В.** Салтыков-Щедрин. Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1988. 173 [2] с.
- «России верные сыны...». Отец. война 1812 г. в русской лит-ре первой половины XIX в.** [В 2 т. Сост. Л. Емельянов, Т. Орнатская. Вступ. ст. Л. Емельянова. Комментар. Т. Орнатской, М. Турьян]. Л.: Худож. лит-ра, 1988. Т. 1 — 414 [1] с.; Т. 2 — 507 с.
- Русская бытовая сказка. Быт, сказки, а также байки, нар. анекдоты, притчи, небылицы и сказки, бывшие в ходу между русскими людьми в XVI, XVII, XVIII, XIX и XX вв., отобраны из старых и новых книг и рукописей В. Бахтин.** Л.: Лениздат, 1987. 509 [1] с. (Б-ка нар.-поэтич. тв-ва).
- Русская классическая литература. Анализ художественного текста.** Материалы для учителя. [Сборник. Сост. А. Ф. Белоусов]. Таллин: Валгус, 1988. 118 [2] с.
- Русская книга в дореволюционной Сибири. Государственные и частные библиотеки.** Темат. сб. науч. тр. [Редколлегия: Е. И. Дергачева-Скоп (отв. ред.) и др.]. Новосибирск: ГПНТБ, 1987. 188 [1] с.
- Русский фольклор и современность.** Тезисы докладов конференции, посвященной 70-летию революции, 24—25 ноября 1987 г. Свердловск: УрГУ, 1987. 43 [2] с.
- Селиванов Ф. М.** Русский эпос. [Учеб. пособие для пед. ин-тов...]. М.: Высшая школа, 1988. 205 [2] с.
- Серебряная пражка. Сказы о русских мастерах.** [Сост., автор послесл. А. Шавкута]. М.: Современник, 1988. 399 с. (Авт.: Н. Лесков, Б. Шергин, П. Бажов, Е. Пермяк, М. Кочнев и др.).
- Скотов Н. Н.** Русский гений. [Об А. С. Пушкине]. М.: Современник, 1987. 350 [2] с.
- «Слово о полку Игореве» в гравюрах В. А. Фаворского. Рисунки. Эскизы. Гравюра.** [Подгот. и написал послесл. Ю. А. Молок]. М.: Искусство, 1987. 258 с.
- Смирнов Ю. И.** Восточнославянские баллады и близкие им формы. Опыт указателя сюжетов и версий. [Отв. ред. Е. П. Наумов]. М.: Наука, 1988. 116 [1] с.
- Сохряков Ю. И.** Русская классика в литературном процессе США XX века. М.: Высшая школа, 1988. 109 [2] с.
- «Стезю правды и добра». 150 лет со дня рождения Н. А. Добролюбова.** Материалы Добролюбовских чтений и памятных дней на родине Н. Добролюбова. [Общ. редколлегия: М. Я. Ермакова (отв. ред.) и др.]. Горький: Волго-Вятское книжн. изд-во, 1987. 291 [1] с.
- Стеллиферовский П. А.** Евгений Абрамович Баратынский. Кн. для учащихся ст. классов средней школы. М.: Просвещение, 1988. 206 [2] с.
- Тамарченко Н. Д.** Типология реалистического романа. На материале классич. образцов жанра в русской лит-ре XIX в. Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1988. 195 [2] с.
- Творческое наследие Н. А. Добролюбова.** [В. В. Богатов, Б. В. Емельянов и др. Отв. ред. В. В. Богатов]. М.: Изд-во МГУ, 1988. 199 [1] с.
- Токарева Е. А., Шуканов А. Г.** Пособие по пропедевтическому курсу русской литературы. Алма-Ата: Мектеп, 1988. 169 [2] с.
- Трубев Л. Л.** Остров Буян. Пушкин и география. Горький: Волго-Вятское книжн. изд-во, 1987. 237 [2] с.
- Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего Востока.** [Сборник. Редколлегия: В. М. Гацак (отв. ред.) и др.]. Горно-Алтайск: Б. и., 1986 [1987]. 334 [1] с. (Ин-т мировой лит-ры; Горно-Алт. НИИ истории, яз. и лит-ры).
- Фризман Л. Г.** Декабристы и русская литература. М.: Худож. лит-ра, 1988. 301 [2] с.
- Ханмурзаев Г. Г.** Русские писатели XIX в. о Дагестане. Изображение нац. характера горца. Махачкала: Дагестанское книжн. изд-во, 1988. 127 [2] с.
- Чеховские чтения в Ялте. Чехов сегодня. Современные проблемы чеховедения.** [Сб. науч. тр. Отв. ред. А. Г. Головачева]. М.: ГБЛ, 1987. 171 [1] с.
- Чудakov А. П.** Антон Павлович Чехов. Кн. для учащихся. М.: Просвещение, 1987. 172 [3] с.
- Якобсон Р. О.** Работа по поэтике. [Сост. и общ. ред. М. А. Гаспарова. Вступ. ст. В. В. Иванова]. М.: Прогресс, 1987. 460 [1] с.